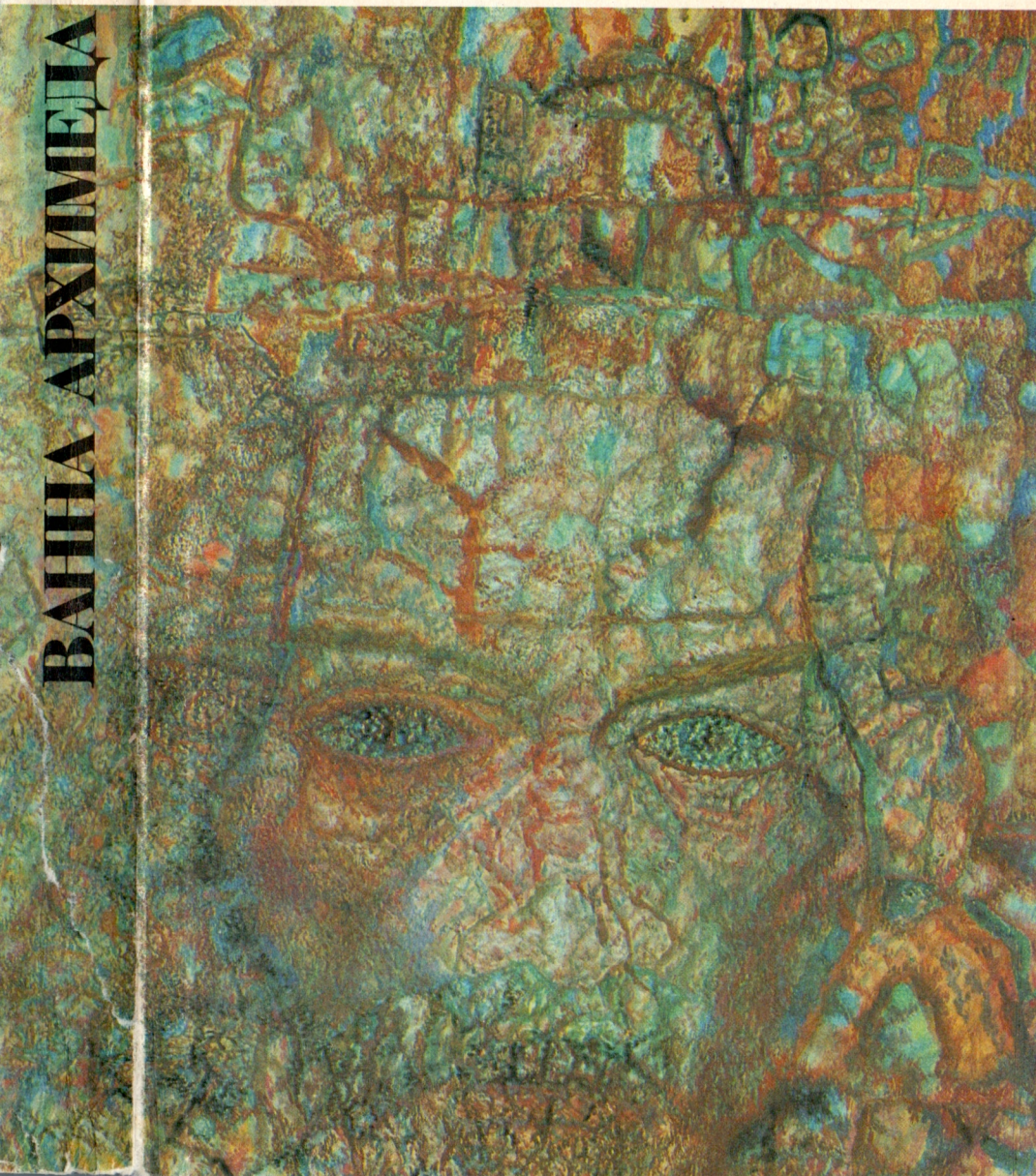


ВАННА АРХИМЕДА

ВАННА АРХИМЕДА



БАНА АРХИМЕДА

КОНСТАНТИН
ВАГИНОВ

НИКОЛАЙ
ЗАБОЛОЦКИЙ

ДАНИИЛ
ХАРМС

НИКОЛАЙ
ОЛЕЙНИКОВ

АЛЕКСАНДР
ВВЕДЕНСКИЙ

ИГОРЬ
БАХТЕРЕВ



ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
1991

ББК 84.Р7
В 17

**Составление, подготовка текста,
вступительная статья и примечания**

А. А. Александрова

Редактор

И. Степанов

Оформление художника

И. Лужиной

**В оформлении обложки
использован фрагмент картины**

Павла Филонова «Лики»

В $\frac{4702010206-084}{028(01)-91}$ без объявл.
ISBN 5-280-01832-5

**© А. Александров. Состав, вступительная статья, примечания.
1991 г.**

ЭВРИКА ОБЭРИУТОВ

Русский литературный авангард 20—30-х годов — явление разнородное. Оно включает в себя романы о Москве Андрея Белого и повести петроградца Евгения Замятина, мажорные призывы Маяковского и мрачную насмешку Введенского.

Почти все представители авангарда выступили в поддержку революционных преобразований в стране. Так было в самом начале истории нашего государства. Но затем, к середине 20-х годов, авангард разъединился. Одна его часть, заметно политизируясь, все более смыкалась с официальным искусством. Защитники новых художественных форм делались яростными пропагандистами идей «великого перелома», переводя их на язык плаката, броского лозунга, темпераментного памфлета.

Другая часть русского авангарда, не принявшая «перелом» полностью или частично, отвернулась от современного ей политического языка, от его псевдозлободневности, погружаясь в глубины индивидуального сознания или же, напротив, уходя в сверхличностные проблемы.

К этой части авангарда принадлежали и ленинградские писатели, входившие в группу ОБЭРИУ. В условиях, неблагоприятных для творчества, они создали свою оригинальную поэтическую систему. Здесь и философские «столбцы» Николая Заболоцкого, славившие дерзость человеческой мысли, и «случаи» Даниила Хармса, и «разговоры» Александра Введенского, и «хвалы» и «бичующие» послания Николая Олейникова.

Начинавшие как младофутуристы (вторая футуристическая волна), обэриуты заметно менялись как художники. Они не порвали с классической основой нашей культуры (основой не только художественной, но и мировоззренческой, философской), сохранив преемственность и с Чушью (народной комикой), и с Верой.

Ровно шестьдесят лет назад, в 1929 году, обэриуты хотели выпустить в свет свой коллективный сборник под названием «Ванна Архимеда». Книга тогда так и не пробилась к читателю.

Заемствуя название для настоящего сборника из прошлого, мы хотим предложить вниманию современного читателя книгу, позволяющую представить многогранность художественно-духовных поисков писателей, входивших в ОБЭРИУ. Это не антология — это выборка, с уклоном в прозу и стихопрозу. Обэриутская книга для чтения.

* * *

Активным центром художественной жизни Ленинграда второй половины 20-х годов был Дом печати. Он занимал особняк на Фонтанке, поблизости от многолюдного Невского (проспекта 25 Октября, как он тогда назывался). Двери этого учреждения — шумного конгломерата редакций, секций, месткомов, вечернего университета и дневного техникума — не закрывались с утра до позднего вечера. В залах и комнатах Дома печати время от времени загорались творческие дискуссии, обсуждались проблемы «левого» искусства, рьяным пропагандистом которого была дирекция Дома.

Особые споры вызвали одно за другим появившиеся на свет три детища Дома печати: его театр, студия художников-филоновцев и группа молодых поэтов и прозаиков.

Театром руководил Игорь Терентьев. В недавнем прошлом, в начале 20-х годов, Терентьев увлекался «языкоопытами». Тогда будущий режиссер-новатор входил в радикальную футуристическую группу «заумников», обосновавшихся в Тифлисе. Приехав в 1923 году в город на Неве, от «языкоопытов» Терентьев перешел к опытам на сцене. В Доме печати им был поставлен гоголевский «Ревизор», балаганно-сатирическое представление, переполошившее театральную критику Ленинграда.

Оформляли спектакль ученики Павла Филонова, замечательного художника и педагога. Они объединились в коллектив под названием «Мастера аналитического искусства» (МАИ), штаб-квартира которого находилась в том же Доме печати. В апреле 1927 года в его залах открылась большая отчетная выставка полотен филоновцев.

В начале 1928 года в театральном зале Дома печати выступила новая группа — «отряд левого искусства». Как и другие левые, он предпочитал себя именовать в духе времени загадочной аббревиатурой — ОБЭРИУ. Расшифровывалась она так: Объединение реального искусства.

Обэриутами — так называли себя участники нового объединения — на подмостках театра Игоря Терентьева, где совсем недавно висели полотна филоновцев, был устроен вечер под названием «Три левых часа» (24 января 1928 года)¹. В группу входили Игорь

¹ См. с. 463—464 наст. изд.

Бахтерев, Александр Введенский, Константин Вагинов (чуть старше остальных, имевший изданные поэтические книги), Николай Заболоцкий, Борис Левин, Даниил Хармс.

Обэриуты хотели на базе «реального искусства» объединиться с художниками, композиторами, деятелями театра и кино. И таким образом осуществить идею, заложенную в самом названии группы.

Кое-что в этом направлении ими было сделано. Так, на упомянутом выше вечере после первого «левого часа», во время которого поэты читали свои стихи, шел театральный час. На нем профессиональными актерами и любителями, разделявшими идею ОБЭРИУ, была разыграна пьеса Хармса «Елизавета Бам». Музыка к ней (к сожалению, не сохранившаяся) написал П. Вульфийус, впоследствии профессор Ленинградской консерватории. Последний час был отведен демонстрации документальных фильмов, смонтированных из кусков кинолент, выброшенных в «мусорный ящик». Авторами фильма были А. Разумовский и К. Минц.

В дальнейшей истории ОБЭРИУ идея объединения не получила воплощения. Не объединились в отдельную секцию ни изо-обэриуты, ни муз-обэриуты. Самоликвидировались кино-обэриуты. Планы инициаторов нового «отряда левого искусства» о расширении своего состава были утопичны. Они входили в явное противоречие с новой государственной политикой в области культуры. Общественный строй эволюционировал в сторону ограничения деятельности независимых творческих союзов, готовясь к тому, чтобы в будущем вообще их запретить.

Группа обэриутов возникла не вдруг, не за несколько месяцев. Задолго до ОБЭРИУ молодые писатели, будущее ядро объединения, собирались в союзы и «фланги», теряя одних сторонников и находя новых. В настоящей статье мы не ставим себе целью детально изложить историю ОБЭРИУ. Отметим лишь главные вехи.

В 1925 году на вечерах Союза поэтов стали выступать так называемые «заумники». Лидером группы был Александр Туфанов, автор книги «К Зауми» (1923). Среди участников — Даниил Хармс и Александр Введенский.

В начале 1926 года Хармс и Введенский объединились в «школу чинарэй». «Чинари» сочиняли смешные миниатюры, авангардистские «скоморошины», неожиданные, задорные, полные энергии и светлого нигилизма. В «чинарской» зауми слово звучало забавно, свежо.

Что означало словечко «чинарь», не могут удовлетворительно объяснить и бывшие «чинари». Я. Друскин в автобиографических заметках утверждал, что «чинарь» — некий «шебесный чин».

Замечание Друскина, бесспорно заслуживающее внимания, получает неожиданную корректировку в воспоминаниях И. Бахтерева об «идеале» Александра Введенского. Тот на вопрос, на кого бы он хотел походить, отвечал: «На Евлампия Надькина, когда в морозную ночь

где-нибудь на Невском Надькин беседует у костра с извозчиками или пьяными проститутками»¹. Надькин был популярным персонажем юмористических картинок на городские темы ленинградского журнала «Бегемот». Понятно, что Введенский отшучивался, ссылаясь на Надькина, пренебрегал солидностью.

«Чинари», судя по их произведениям и по газетной критике, не хотели быть положительными героями, вообще «чинами». Газета «Смена» обвинила их в хулиганстве и национализме². «Чинарь» звучало вызовом приглаженному и «приличному».

В 1927 году продолжились выступления «чинарей» на концертных площадках Ленинграда. Поэты хотели расширить свой состав, отойти от «чинарства». Для нового объединения предлагались разные названия, в том числе «Академия левых классиков». На общем собрании «чинарей» было решено устроить вечер поэзии, театра и кино, на котором общественность Ленинграда познакомилась бы с новой литературной группой, — «чинари» расширяли свои задачи, мужали как художники. Было найдено и ее название — ОБЭРИУ (*эр*, а не *ер*, то есть в соответствии с орфографией аббревиатур).

В записной книжке Хармса за 1927 год сказано: «Декларация — Заболоцкий». Имеется в виду Декларация ОБЭРИУ, опубликованная в информационном выпуске Дома печати в начале 1928 года, — единственный опубликованный документ новой литературной группы³. На наш взгляд, не следует понимать эту запись как подтверждение авторства Заболоцкого. Декларация — плод коллективной работы. Заболоцкий выступил скорее в роли организатора и редактора, нежели автора. Об этом пишет и Бахтерев. По его свидетельству, раздел о кино и театре написал он и А. Разумовский. В разделе «поэзия обэриутов» использованы идеи и выражения трактата «Предметы и фигуры, открытые Даниилом Ивановичем Хармсом» (1927), где говорится о двух независимых системах: «свободной воле слова» и предметном мире.

В своей Декларации обэриуты без оговорок заявляли, что их эстетические симпатии на стороне авангардного искусства.

«Нам не понятно, — читаем мы в Декларации, — почему Школа Филонова вытеснена из Академии, почему Малевич не может вернуть своей архитектурной работы в СССР, почему так нелепо освящен «Ревизор» Терентьева? Нам не понятно, почему так называемое левое искусство, имеющее за своей спиной немало заслуг и достижений, расценивается как безнадежный отброс и еще хуже —

¹ Бахтерев И. Когда мы были молодыми // Воспоминания о Н. Заболоцком. М., 1964. С. 63—64.

² Иоффе Н., Железнов Л. Дела литературные (О «чинарях») // Смена. 1927. 3 апр. № 76.

³ Афиши Ленинградского Дома печати. 1928. № 2. С. 11—12.

как шарлатанство. Сколько внутренней нечестности, сколько собственной художественной несостоятельности таится в этом диком подходе?»¹

После опубликования коллективной декларации и выступления обэриутов на театральном-литературном вечере в Доме печати начинается собственная история ОБЭРИУ. Она занимает небольшой отрезок времени — с 1928 по 1931 годы. Это период интенсивной работы, поиска своей художественной формы.

Затем начинается постистория, не менее значительная, чем предистория. Это 30-е годы. Время уничтожения надежд, злобной критики и репрессий. Объединения в эти годы давно не существует — есть редкие встречи бывших друзей, писание в сундук. 30-е годы в контексте ОБЭРИУ — это история изолированного существования бывших обэриутов, крайне неохотно вспоминаявших свою недавнюю молодость. В литературе провозглашен социалистический реализм — и не на три часа, а навечно, как казалось его теоретикам и adeptам. Однако именно в эти годы творчество бывших обэриутов достигает зрелости, утрачивая крайности словесного эксперимента, волны которых захлестывали поэтов в 20-е годы.

Состав обэриутов был текучим. Рано отошел от них Вагинов. Присоединились Ю. Владимиров и Н. Тувелев. Не вступая формально в ряды ОБЭРИУ, вместе с его участниками был Николай Олейников². С его именем связан успех обэриутов как детских писателей. Они влились в авторский коллектив нового ленинградского журнала для детей «Еж» (одно время его главным редактором был Олейников) и ощутимо помогли сделать его живым, веселым, полезным.

В 1929 году Хармс и его друзья задумали издать сборник своих произведений под названием «Ванна Архимеда». Было предложено и другим ленинградским писателям принять участие в сборнике. Вот что по этому поводу пишет Л. Я. Гинзбург: «В мае 1929 года я находилась в Москве, и В. Каверин писал мне туда по поводу «Ванны Архимеда»: „Сборник, о котором вы знаете (с участием обэриутов), составляется. Есть данные предполагать, что он будет напечатан в Издательстве писателей. Отдел поэзии вам известен (возможен и Тихонов). С отделом прозы — хуже, и именно по этому поводу мы решили побеспокоить вас...“³

¹ Афиши Ленинградского Дома печати. С. 11.

² О том, как относился Олейников к ОБЭРИУ, см. воспоминания И. Бахтерева в статье В. Назарова и С. Чубукина «Последний из ОБЭРИУ» (Родник. 1987. № 12. С. 54).

³ Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 369. Заметим, что в романе В. Каверина «Художник неизвестен» (1931) главный герой, художник-новатор, носит фамилию Архимедов.

Книга «Ванна Архимеда», как и несколько ранее задуманный коллективный сборник «чинарей» и их союзников — «Радикс», не вышла в свет. В данном случае помешали не официальные барьеры, а осторожность, если не сказать крепче, союзников — «формалистов» и «младоформалистов». Об этом честно пишет Лидия Гинзбург: «Главными обидами осени 1929-го были отказ ГИЗа от сборника по современной поэзии и наш собственный отказ от «Ванны Архимеда» (с оберютами). Сборник о поэзии получился средний. С «Ванной» получилось и того хуже. В этом боевом, молодом, несколько вызывающем, вообще ответственном сборнике исторический смысл имели только стихи — Заболоцкий, Введенский, Хармс, остальное оказывалось довеском...»¹

Этот эпизод — отказ «формалистов» от союза с оберютами — обыгрывается в стихотворении Хармса «Ванна Архимеда»:

Я загажен именами
знаменитейших особ
и, скажу тебе меж нами,
формалистами в особь.

В начале 1930 года пришел конец и выступлениям оберютов на концертных площадках Ленинграда.

Их последнее публичное выступление состоялось в апреле 1930 года в студенческом общежитии Ленинградского университета. Со свирепым лаем на оберютов набросилась газета «Смена», давно точившая на них зуб. В общежитии выступили Ю. Владимиров, Б. Левин, А. Пастухов. Но беспощадные выводы статьи относились ко всей группе: «Это поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага»².

Четкая формулировка, удобная для судилища, была произнесена, но «оргвыводы» в 1930 году сделаны не были. Оберюты по-прежнему с успехом печатались в детских изданиях, но публичные выступления «литературных хулиганов» прекратились.

Распространенное представление о литературе как «общественном барометре» в случае с оберютами сильно хромает. Ведь именно в годы «великого перелома» — 1930—1931 годы — возрастает их творческая энергия. Нет, они «не мерили» себя пятилеткой. Однако в предшествующие годы ими был взят сильный разбег. И они торопились осуществиться. В это время Заболоцкий заканчивает гротескно-философскую поэму «Торжество Земледелия» и фантастическую притчу «Безумный волк». К 1931 году относится и «Священный полет цветов» А. Введенского, замечательный сплав стихотворных диалогов и прозаических ремарок, рассказывающий о путешествии

¹ Гинзбург Л. Человек за письменным столом. С. 107—108.

² Нильвич Л. Реакционное жонглерство (об одной вылазке литературных хулиганов) // Смена. 1930. 9 апр.

по тому и этому свету безумного Фомина. Улетает в небесные сферы и Земляк, герой «Лапы» Хармса — сложного, как и у Введенского, жанрового образования из стихов, прозы и драмы.

Обэриуты по-прежнему отстаивали условную логику нового искусства, раскрепощающую творческие силы человека. Об этом и «11 утверждений» Даниила Хармса, и «Битва слонов» Заболоцкого. В замечательном стихотворении Заболоцкого работа фантазии художника уподоблена атаке боевых слонов. Мощный, тяжеловесный и одновременно артистичный слон, яростный и кроткий, сделан автором метафорой нового искусства. Оно ломает штампы устоявшихся художественных привычек, освобождает интуицию, открывает дорогу непосредственному чувству. В нем нет законченности и зализанности прежних художественных форм. И потому оно выглядит неуклюжим, тяжеловесным. Оно кажется и алогичным, так как идет против принятых правил. Но то, что с непривычки воспринимается как минусы, недостатки, и есть его живая красота.

Годы интенсивного творчества прервали аресты. В самом конце 1931 года Введенский, Хармс, Бахтерев, а также их знакомые по работе в детском отделе ГИЗа были арестованы. «Обвинения были вымышленными, явно инспирированными»¹.

Поэты, просидев около полугода в ДПЗ на улице Каляева в Ленинграде, были высланы в Курск. Ссылка продолжалась недолго. Уже в ноябре 1932 года Хармс и Введенский вернулись в Ленинград. В сравнении с жестокими сроками, которые получали несчастные, попавшие в машину НКВД, наказание, понесенное Введенским и Хармсом неизвестно за что, может показаться мягким. Однако бесследно для поэтов оно не прошло. Выпущенные на свободу, они уже не могли впоследствии забыть о нависшей над ними угрозе.

В 30-е годы обэриуты (теперь уже бывшие) допускались по-прежнему только в редакции детских журналов (исключение делалось для Заболоцкого). Литература для детей стала для них и трудом, и ярмом. «Дети — это гадость», — заявляет в повести Хармса «Старуха» ее герой, по профессии писатель. Такую фразу мог сгоряча произнести и сам автор — в минуту отчаяния от своей крепостнической прикованности к детской книге.

В 1933—1934 годах бывшие обэриуты продолжали встречаться — и в редакциях детских журналов, и в дружеском кругу. Это кружок друзей, собиравшийся довольно регулярно, — крайне интересное явление в неофициальной общественной жизни Ленинграда первой половины 30-х годов. Сохранились и записи бесед. Их вел кто-нибудь

¹ Так отозвался об этом деле в 1988 году начальник Управления КГБ СССР по Ленинградской области В. М. Прилуков. См. его беседу с корреспондентом газеты «Ленинградская правда»: Гласность и госбезопасность // Лен. правда. 1988. 4 окт.

из присутствующих. По обэриутской традиции записи получили название «Разговоры»¹. Шаржированные портреты участников дружеских встреч оставил Хармс в своих записках «об одной компании». Каждая главка посвящена или участнику беседы, или отклику автора на беседу.

Состав кружка не был постоянен. Темы, поднимаемые в нем, не всегда интересовали участников в равной степени. Просуществовав полтора года, он распался. Немалую роль в развале кружка сыграла политическая обстановка в стране, разъединявшая людей. С декабря 1934 года, после убийства Кирова, стало опасно собираться на квартирах. Большая компания мужчин могла показаться кому-нибудь оппозиционным сговором.

Хармс зарисовал кружок и в период его распада:

Вот сборище друзей, оставленных судьбою.
Противно каждому другому слушать речь,
Не прыгнуть больше вверх, не стать самим собою,
Насмешкой колкою не скинуть скуки с плеч.
Давно оставлен спор, ненужная беседа
Сама заглохла вдруг, и молча каждый взор,
Презреньем полн, копьем летит в соседа,
Сбивая слово с уст. И молкнет разговор².

Отношения между бывшими обэриутами сохранились, но они утратили коллективный характер.

Тридцатые годы — это время зрелости бывших участников ОБЭРИУ, это и время их арестов, смертей, физического уничтожения. В начале десятилетия умерли от туберкулеза Юрий Владимиров, затем Константин Вагинов. В 1933 году не вышла из печати готовая в корректуре вторая книга стихов Николая Заболоцкого. Ее выход остановили нападки критиков В. Ермилова и А. Тарасенкова на поэму «Торжество Земледелия». Они назвали поэму «клеветнической» и «кулацкой».

О том, как настраивалось общественное мнение против новаторского поиска в культуре, можно судить по представленной в этом сборнике повести Г. Гора «Вмешательство живописи»³. Современный читатель прочтет ее иначе, нежели читатель первых пятилеток. Время превратило эту книгу в документ заблуждений — боевитых, напористых, тотальных.

«Вмешательство живописи» Гора следует отнести к жанру разоблачительных, условно говоря, произведений, появившихся в годы

¹ Некоторые материалы из «Разговоров» приведены в публикации Л. С. Друскиной «Было такое содружество» (Аврора. 1989. № 6. С. 100—131).

² Хармс Д. Полет в небеса. Л., 1988. С. 519.

³ См. раздел «Приложение» наст. изд.

«великого перелома». Тогда судебный трибунал был одним из ускорителей индустриализации и коллективизации. Роль ускорителей выполняли и литературные произведения, цель которых была «разоблачить врага», «сорвать с него маску» и в результате «мобилизовать» советского человека на выполнение трудового плана, попросту запугать его. В небольшой повести Гор предает анафеме «буржуазное мышление». Что это такое, автор не объясняет. Но относит к нему и живопись авангарда, религию и немарксистскую биологию. Носителем буржуазной идеологии выведен в повести библиотекарь Петр Иванович Каплин. Он пишет инфантильные абсурдистские стихи, отдаленно напоминающие строчки Хармса. Стихи сочиняются просто: из колпака вытягиваются первые попавшиеся бумажки с написанными на них словами. Из случайных слов сляпываются строки. При этом следует прыгать на одной ноге, есть огурец и плевать в круг, нарисованный на полу.

Конечно, Гор не сочинял карикатуру на Хармса, а хотел попасть, так сказать, в обобщенную мишень. Он осуждал и теорию алогизма, и независимое поведение художника, и религиозную веру. Понятно, что Каплин при этом — спекулянт и рвач. Гор создавал образ врага пятилеток, человека бесполезного, а то и вредного для общества. Обэриутство вносилось в «список злодеяний»¹.

После критического шквала начались аресты. В 1937 году был арестован Олейников, его журнал для дошкольников «Сверчок» был объявлен вредительским и закрыт. В 1938 году арестовали Заболоцкого. К этому времени Введенский не жил в Ленинграде, он переехал в Москву, затем в Харьков.

В 1937 году перестали печатать в детском журнале «Чиж» Хармса. Возможно, редакция не хотела связываться с обреченным, по ее мнению, поэтом. «Погибли мы в житейском поле! // Нет никакой надежды боле. // О счастье кончилась мечта. // Осталась только нищета», — записал в «голубую тетрадь» Хармс. В 1938 году его имя снова появилось в «Чиже». Но ненадолго. Новая волна репрессий не миновала бывших обэриутов. В 1941 году, в начале войны с фашистской Германией, Хармс и Введенский были арестованы. Поэты погибли в заключении, обстоятельства их смерти до сих пор не выяснены.

Таков трагический финал «реального искусства».

¹ Со временем Геннадий Гор пересмотрел свой взгляд на «буржуазное мышление». Бывший противник обэриутских чудачеств в статье о культурной жизни Ленинграда 20—30-х годов «Замедление времени» (Гор Г. Геометрический лес. Л.: Сов. писатель, 1975. С. 384—423) отдал должное смелому новаторству обэриутов и в частности Даниилу Хармсу.

Как уже говорилось, сокращение *ОБЭРНУ* составлено из следующих элементов: *ОБ* — объединение, *ЭР* — реальное, *И* — искусство. *У* — не является словопредставителем. Его можно рассматривать как частицу слова «искусство».

Но скорее всего *У* вносит в аббревиатуру игровой и даже пародийный характер. Смысл игры — в нарушении принятой логики сокращений. *У* — приставлено просто так, смеха ради, по веселой логике детской присказки: потому, что кончается на *у*.

Ключевым в этом сокращении является слово РЕАЛЬНОЕ, открывающее дверь в поэтику обэриутов.

Реальное и реалистическое — слова одного корня. В повседневной речи мы их часто смешиваем. Но в искусствоведении, в теории литературы эти слова имеют разный вес.

В применении к искусству слово «реальное» означало у обэриутов то, что искусство реально, как сама жизнь. Искусство ничего не отражает. Живет само по себе. Первично оно или вторично — неизвестно. Вернее, оно и то и другое вместе: «Истинное искусство стоит в ряду первой реальности, оно создает мир и является его первым отражением»¹.

Из утверждения, что искусство реально, как и действительность, следовало, что оно живет по своим законам, имеет свою логику.

Эти общие положения были высказаны до обэриутов, явившихся вторым поколением авангарда в русской культуре. Многие идеи достались им по наследству. О самодвижении слова, о слове вне быта и пользы заявляли в своих манифестах футуристы. Бунтарям литераторам вторили живописцы, утверждавшие, что беспредметное искусство — это и есть современный реализм². Литературоведы и лингвисты, примыкавшие к авангардному движению, писали об имманентном развитии словесного искусства, о практическом и поэтическом языке, которые чем дальше уходят друг от друга, тем выразительнее.

Рассуждения о специфике искусства связаны с пониманием его особой художественной логики. Она у обэриутов необычна, странна, обратна принятому. Логике противостоит алогизм; связи, развитию — фрагментарность и случайность; психологии, характеру — маска.

«Может быть, вы будете утверждать, — писали обэриуты в Декларации, — что наши сюжеты «не-реальны» и «не-логичны»? А кто сказал, что «житейская» логика обязательна для искусства? Мы поражаемся красотой нарисованной женщины, несмотря на то, что, вопреки анатомической логике, художник вывернул лопатку своей

¹ Хармс Д. Полет в небеса. С. 483.

² См.: Малевич К. От искусства к супрематизму. Новый живописный реализм. Пг., 1915.

героине и отвел ее в сторону. У искусства своя логика, и она не разрушает предмет, но помогает его познать»¹.

Особенностью этой логики были фантастичность действия и персонажей, условность пространства, походившего на сценическую площадку, да и время развивалось сценически: то двигалось рывками, то скручивалось жгутом. Аналог такой логики — в сновидениях, волшебных сказках. В гоголевской фантазмагории «петербургских повестей». А если ближе — в футуристических драмах, в гротескных персонажах Хлебникова, свободно разгуливавших по периодам истории.

Обэриуты заставляли говорить покойников, переносили действие с земли на небеса, подслушивали беседу лошадей и воробьев. Они катили время в обратную сторону, а когда надоедало — растягивали его, как резиновый шланг. Столь же свободно обращались они и с категорией причинности, а потому в их изображении всегда нелпо выглядят те, кто считает, что причина найдена: судьи, врачи, учителя.

В творчестве обэриутов было много парадоксального. Одним из парадоксов следует считать защиту ими позитивистского тезиса о реальных законах поэтического языка и погружение этого языка в иррациональные дебри художественной фантазии. Европейский позитивизм встречался с русским алогизмом («чушь»), проходил обработку образами народной веры в чудесное.

У каждого обэриута в пределах общей системы была своя художественная логика. Так, поэтика Заболоцкого, соединенная многими нитями с творчеством Введенского, во многом отличалась от «столбцов» «авто-ритета бессмыслицы», как назвал себя в начале пути автор «Елки у Ивановых».

Понятно, что индивидуальные системы находились в движении, эволюционировали. Так, в центре размышлений Хармса — и в конце 20-х годов, и в середине 30-х — стоял вопрос о прекрасном, а значит, и о вечном, бессмертном. Об этом и «Лапа», и «Старуха» — произведения разных периодов. Как резко они отличаются! Многие страницы «Лапы» написаны по методу *цисфинита*², то есть «логики бесконечного небытия» (Хармс помещает даже „цисфинитный“ рисунок в текст). Эта «логика», точно ножницы, перерезает все скрепы и нити принятого порядка. Предметный мир рассыпается, и его части, обломки, все причины и следствия принятой логики уносятся, как супрематические конструкции Малевича, в Великий Космос. По-другому построена «Старуха». Повесть тяготеет к психологическому повествованию, к «петербургскому жанру».

¹ Афиши Ленинградского Дома печати. С. 11.

² Термин Даниила Хармса.

Такая полифония развивающихся индивидуальных систем затрудняет задачу вычленения общих принципов литературного сообщества.

«Уважай бедность языка», — сказано у Введенского. Вот еще один методологический парадокс. Оживают покойники, по русскому лесу разгуливает жирафа — «чудный зверь», молодой человек из-под носа дворника улетает на небо — и «бедность». Нет, свою фантазию, насмешку художники в узде не держали. Заслон выставлялся многословию и пустословию. Обэриуты не были охотниками до лирических самоизлияний, до «раскрытия души» — не принимали языка символистско-акмеистских групп. Проходили мимо психологизма, глухи были к общественной патетике.

Они хотели не столько сказать о себе, сколько выразить свои главные мысли о мире. Не прибегая к средствам «научной поэзии», не боясь упрека в дилетантизме. Прошло, как они считали, время поэтов гамаюнов и трибунов. Естественный человек, «естественный мыслитель» (а он всегда беден) стал основным персонажем обэриутов.

Он до всего хочет додуматься сам. Его обычное состояние — размышление. Вот как это состояние «объясняется» в стихотворении А. Введенского «Приглашение меня подумать»:

Нам непонятное приятно,
Необъяснимое нам друг,
Мы видим лес, шагающий обратно,
Стоит вчера сегодняшнего дня вокруг.

«Естественный мыслитель» — чаще всего чудак, «отпавший от века». Так сказал о Велимире Хлебникове Заболоцкий. Для обэриутов и Хлебников, и его герои — разнообразные маски авторского «я» — были примером современного мыслителя. Многие персонажи их произведений, подобно Зангези, герою одноименной «сверхповести» Хлебникова, бормочут странные мысли о мире — «бедные», «безумные», «сырые».

Ближайшие предшественники обэриутов — футуристы (кубо- и эго-). От них обэриуты переняли эксцентрику, эпатаж антиэстетизмом. И не только переняли, но значительно усилили традиции футуристического Смеха.

Бог смеха античной мифологии Мом, он же Момус, был любимейшим богом обэриутов (ср. с формулой творчества Заболоцкого — Мысль-Образ-Музыка: Мом, — найденной в начале 30-х годов), но богом, который находился в подчинении. Балаганное балагурство, гипербола, гротеск, ирония, пародия — многочисленные виды смешного лишь усиливают, сопровождают их поэтические идеи¹, суть которых

¹ О месте смешного в поэтике обэриутов см.: Герасимова А. ОБЭРИУ (проблема смешного) // Вопр. лит. 1988. № 4. С. 48—79.

глубоко серьезна. И нередко трагична. Исследователь языка Хлебникова В. П. Григорьев пишет, что «смех будетлянина слишком обременен *смехом смерти* в XX веке»¹. О тех, кто пришел после Велимира Хлебникова, тоже можно сказать, что их смех отравлен «смехом смерти».

Так, например, творчество Введенского, рассмотренное под определенным углом, может показаться романтической энциклопедией смертей. «Червяк ползет за всеми. // Он несет однозвучность», — меланхолично повторяет поэт. Как и Заболоцкий, он прослеживает родственные связи между человеком и природой. Но, в отличие от автора «Торжества Земледелия», он не ставит человека на эволюционную вершину, не верит в будущую социальную или же биологическую гармонию. Признает одно — Торжество Ночи. Уныние разгоняется балагурством. Оно становится привычкой. «Вершины — аршины». Аршины, конечно, до смерти. Вдохновение просыпается, когда перед взором Введенского открывается «смерти вечная система».

Но еще сильнее в творчестве обэриутов чувствуется воздействие жизни. Заболоцкий искренне воспринял начавшиеся социальные преобразования в стране. Как и тысячи русских интеллигентов, он поверил, что в дальнейшем их ход ускорится, страна придет к благотворному социальному и экологическому преобразению. Поэт был увлечен энтузиазмом проснувшихся молодых сил, он сам был частью наивного молодого поколения, воспитанного трудовым народническим прошлым.

Введенский точно слушал другую сторону: тех, кто погиб на гражданской войне, тех, кто голодал. Слушал тех, кого гнали на Север и в Сибирь «преобразовывать» страну. Ужас сталинщины заворожил поэта, не позволял ему выйти из круга мыслей о том, что «мир зарезали, он петух».

«Два человека — Введенский и Заболоцкий, мнения которых мне дороги, — писал Хармс. — Но кто прав — не знаю». Хармс колебался между новой верой и старой, между утверждением бессмертия и гимнами в честь червяка. Но кому бы он ни подражал и от кого бы ни отталкивался, он всегда выходил на свой путь. «У человека есть только два интереса, — рассуждал писатель. — Земной: пища, питье, тепло, женщина и отдых. И небесный — бессмертие. Все земное свидетельствует о смерти. Есть одна прямая линия, на которой лежит все земное. И только то, что не лежит на этой линии, может свидетельствовать о бессмертии. И потому человек ищет отклонения от этой земной линии и называет его прекрасным, или гениальным»².

¹ Григорьев В. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М., 1986. С. 182. «Смех смерти» — цитата из В. Хлебникова.

² Хармс Д. Полет в небеса. С. 532.

В эстетике Хармса понятие красоты связано с идеей Неба (Бога) и с «уходом с прямой» (алогизмом). Только отклонение, отход от принятого, от практических целей создает искусство. Так полагал центр ОБЭРИУ — Даниил Хармс. Его творчество — горизонталь над движущимися в противоположные стороны вертикалями эстетики Введенского и Заболоцкого.

«Приступить хочу к вещи, состоящей из 11 самостоятельных глав, — писал Хармс. — 11 раз жил Христос, 11 раз падает на землю брошенное тело, 11 раз отрекаюсь я от логического течения мысли» (дневниковая запись от 6^{го} мая 1931 года).

Между Христом, его жизнью и проповедями, и алогичным зигзагом догадок, откровений ставится знак равенства. В принципе такой подход не нов. Даже стар. В нем и состоит кредо христианства, изложенное Тертуллианом в трактате «О теле Христовом»: «И погребен он, и воскрес: это достоверно, так как невозможно». Но согласился бы Тертуллиан с той религиозной ветвью, которая бы выглянула из «невозможностей», созданных фантазией Хармса?

Сложный комплекс идей создавал и своеобразные, чисто обэриутские жанры — «столбцы», «разговоры», странные «циклы» из коротких рассказов, сценок, миниатюрных пьесок — скетчей. Жанры текучие, где проза переходит в стихи, а костяком служат диалоги. Так построена «Лапа» Хармса, «Некоторое количество разговоров» Введенского. Свободное чередование пластов различно организованного текста напоминает синкретизм фольклорных вещей. Это не случайное совпадение. В глубине многих обэриутских текстов светятся далекие огни стародавних народных представлений о добре и зле. Такое оживление старины связано с расколдовыванием подсознания, что умели делать обэриуты.

* * *

К моменту вступления Константина Вагинова в ОБЭРИУ у него была устойчивая репутация мастера стиха, тонкого ценителя искусства слова. У него вышли две книги стихов. В издательстве «Прибой» готовился к печати роман о литературной среде Петрограда — Ленинграда «Козлиная песнь».

Вагинов был на перепутье, когда появились обэриуты. Менял навыки работы: уходил от стихов к прозе. Вместе с ними пересматривалось и отношение к литературе, возникал вопрос, что делает ее современной.

В недавнем прошлом Вагинов был участником группы «Звучащая раковина», руководил которой Николай Гумилев. Ученика Гумилева — Вагинова интересовало творчество в пограничных областях. Свободный стих, где тоньше пластика образа, где из пространства про-

зы рождаются ритмы стиха. Повесть, как бы считанная со страниц дневника.

Покойных дней прекрасная Селена,
Предстану я потомкам соловьем,
Слегка разложенным, слегка окаменелым,
Полускульптурой дерева и сна.

То, о чем пишет Вагинов: лепка из сна и природы, соединение воображения с первозданностью материала, — такое любили обэриуты. Как и автогротеск и иронию — привычные художественные средства Вагинова.

Он называл себя «поэтом трагической забавы». И ей посвящен второй роман Вагинова о писательской работе — «Труды и дни Свистонова». Книга создавалась в период особенной близости автора к ОБЭРИУ (что, впрочем, не помешало ему насмешливо изобразить в романе выступление обэриутов в Доме печати).

В книге текст и подтекст, серьезное и комическое объединяются в сложные фигуры. Любимые автором «полускульптуры» из противоположных материалов требуют внимательного чтения. И чем суше стиль, чем меньше в нем сравнений, метафор, развернутых описаний, тем сгущенней авторская мысль в строке. Многое недоговаривается, усиливается роль детали и чуть заметного литературного намека.

Главный герой книги — писатель Свистонов. Фамилия, как видим, образована от слова «свист». В быту «свистеть» означает привирать, сочинять небылицы. Таких сочинителей обычно называют «свистунами». Но вульгарный суффикс *-ун-* автор заменяет греческим, благозвучным *-он-*. Фамилия переводится из низшего стиля в высший, сохраняя все же следы беспородности.

Книга о писателе с полугреческой фамилией названа «Труды и дни», в точности как знаменитый античный эпос о пахаре, часто пародируемый в литературе. Перед революцией с таким названием, ориентированным на филолога-писателя, выходил журнал. Многие из приемов Свистонова: переписывание фамилий с кладбищенских плит в свою рукопись, откровенный плагиат, бесцеремонное обращение с историческими фактами, — выглядят запоздалым вызовом корректному, несколько педантичному журналу ученых петербургских поэтов.

И все же Свистонов, несмотря на свою любовь к иронии и плагиату, нашел бы с ними общий язык. Из всех карикатур в романе он наименее карикатурен. Его образ несет авторскую идею о писателе Мастере, о самозабвенной преданности литературе, о полном подчинении себя бумажной странице. Ничего карикатурного в такой идее не было.

Жизнь для Свистонова состоит в извлечении из нее художественного эффекта.

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

Наверное, этот призыв Брюсова к поэту звучал для Свистонова слишком красиво. Но общее правило о самоотречении, о постановке знака тождества между восприятием жизни и литературной работой Свистонов признал бы без всякой иронии.

Художественное самосознание проделало большую эволюцию в среде петербургских писателей за четверть века. Еще до революции пятого года в моде были художники-пророки. Но жизнь несла «неслыханные перемены». Алогичные и страшные формы общественного бытия: террор, казни, войны межгосударственные и гражданские, революционные перемены, кровавые и бескровные, — все это превращало кабинетное пророчество в пустое занятие.

Вытесняя поизносившийся образ поэта-идеолога, в предреволюционной литературной среде формировался миф о поэте-артисте, человеке вне партий, аристократе духа. Классическими героями этого мифа были — по крайней мере в Петрограде — Блок и Гумилев. Вариантом такого мифа, распространившегося и в советское время, для которого аристократ духа уже не подходил, стали представления о поэте-мастере. Их широко поддерживали и сторонники «формалистических» теорий в литературе.

Все личное Свистонов отдает профессиональному. В пересказе это выглядит гоголевским гротеском. Но в книге растворение в профессии проходит методично, с холодной головой.

Детей Свистонов не имеет. Жена выполняет роль секретаря и заодно восторженной почитательницы. Писатель не семьянин и не соблазнитель женщин. Вот одна из них предлагает ему себя, но он равнодушен к ней, так как занят процессом сочинительства. Сцена, достойная будущих книг соцреализма, в которых производственные проблемы вытесняют и быт, и эротику.

Свистонов не религиозен, не принадлежит к какой-то определенной философской школе, не состоит в партии. Мастер не должен быть идеологически завербован. Впрочем, Свистонов (как и автор) довольно-таки осмотрителен. И не позволяет никаких критических обобщений насчет современности.

Свистонов словно занимается самоуничтожением. Он всячески урезает себя как личность. «Свистонов был уже не в тех годах, когда стремятся решать мировые вопросы. Он хотел быть художником, и только», — пишет Вагинов. Быть художником — значит «переносить» людей из жизни в роман, так полагает автор. И не только людей, но фрагменты из прочитанных старых газет и книг — «связность и смысл появятся потом».

В известной мере роман Вагинова «остраненный» (если воспользоваться старым термином «формалистов») рабочий дневник писателя. Рассказано об условиях и режиме писательского труда. Очерчен замысел произведения. Произошло знакомство с прототипами. Приподнята завеса над некоторыми секретами писательского ремесла.

Литература для Свистонова — мир особый, живущий по своим законам. Как мы уже знаем, это общее положение обэриутской эстетики. Оно утверждает, что искусство по отношению к действительности не «относительно независимо», а абсолютно самостоятельно.

По-разному этот тезис доказывается в романе. Одно из сильнейших доказательств — жизнь. Люди, сами того не замечая, усиленно подражают литературным образцам прошлого.

Вот Иван Иванович Куку, у которого «ничего не было своего — ни ума, ни сердца, ни воображения». Он банален и в своих претензиях на великого человека, и в самом строе размышлений, неглубоких, общеизвестных. Да и внешность его, стандартно одухотворенная, иронично выписана автором. Автора настраивает на риторику «его лицо, украшенное баками, его чело, увенчанное каштановой короной волос, его проникновенный голос...». Можно сказать, что Куку живет на проценты распространенного в предреволюционные годы в литературе и искусстве образа «властителя дум».

А вот сотворенный романтическими канонами в литературе фокусник и шарлатан «советский Калиостро» Психачев. Из эпохи сентиментализма переселились в советское Токсово «сухонькая Таня и сухонький Петя». Их отношения друг к другу трогательны, но наступает момент — и видишь механичность, повторимость отношений, рожденных привычкой, подражательностью.

История литературных стилей опрокинута на историю человеческих отношений.

Порой Свистонов не совсем понимает, как ему выйти из литературного кольца. Иронизирует и автор — Константин Вагинов: он сочиняет книгу о писателе, который сочиняет книгу о книгах. Получается что-то похожее на литературный джем, якобы состряпанный Свистоновым. Разыгрывая Ию, энергичную современную девушку, он говорит: «Я взял Матюринова «Мельмота-скитальца», Бальзака «Шагреновую кожу», Гофмана «Золотой горшок» и состряпал главу. Послушайте». — «Это возмутительно! — восклицает Ия, — только в нашей некультурной стране можно писать таким образом. Это и я так сумею! Вообще, откровенно говоря, мне ваша проза не нравится, вы проглядели современность».

Свистонов не спорит с Ией: проглядел так проглядел, если сам критик в этом убежден, то никакая из сил, ни логическая, ни эстетическая, за исключением правительственной, его не переубедит. И все же у Свистонова есть свои счёты с современностью. Может быть, не столь серьезные, как у самого Вагинова.

Время от времени Свистонов — этот Мастер с холодной головой, отказавшийся от «нормальной» жизни, — чувствует себя тоже какой-то литературной фигурой — Мефистофелем, лукавым ловцом душ. Он входит в доверие к заинтересовавшим его людям, а затем «похищает» их. Переносит в другую область, заселяет ими мир книги.

Можно сравнить Свистонова и с Чичиковым — собирателем «мертвых душ». Только на этот раз «мертвые души» — это «некое собрание интересных уродов и уродцев». Свистонов коллекционирует, холит своих питомцев, сам будучи таким же экспонатом музея городской жизни.

* * *

«С первых строк Машеньке показалось, что она вступает в незнакомый мир, пустой, уродливый и зловещий». Безусловно, эта реакция молодой слушательницы романа Свистонова аналогична и нашей, когда мы знакомимся с рассказами Даниила Хармса.

Один охотник отрывает другому ногу («Охотники»), из окна вываливаются старухи — числом шесть — и разбиваются («Вываливающиеся старухи»), «Тикакеев выхватил из кошелька самый большой огурец и ударил им Коротыгина по голове» («Что теперь продают в магазинах»). Уродливо. Зловеще. Но в сравнении с романом Вагинова — агрессивно зловеще, злобно уродливо.

Собирая уродцев, Вагинов, успокаивая себя и читателей, относил их к прошлому. Наставляя на них сатирическое око своих книг, писатель помогал настоящему избавиться от них.

У Хармса «человеческое стадо», вытянувшееся в длинную очередь за сахаром, — не прошлое, а настоящее и, может быть, будущее. Норма позабыта и, что самое страшное, — забыта на небесах, где — очень может быть — такие же порядки зловещей антилогики, что и на земле. Хармс как художник решительнее, принципиальнее Вагинова.

Объединяет же их не только интерес к карикатуре. У них был общий далекий литературный предок — гротески Гоголя. А если ближе — то твердая, графически отчетливая «петроградская проза», в ее лучших образцах оставленная Блоком и серапионами. Кредо этой прозы изложил Е. Замятин в статье «Новая русская проза», где говорилось, что светят «новые маяки перед новой русской литературой: от быта к бытию, от физики к философии, от анализа к синтезу». Замятин звал писателей к емким художественным средствам: фантастическому гротеску, иррациональным ситуациям.

Первые опыты Хармса в прозе относятся к концу 20-х годов: пародийная «Вещь», гротесковое жизнеописание мудреца Рундадарова, любителя знаний «высоких полетов». В «Истории сдыгр аппр» появляются и городские обыватели: один отрывает другому руку, уши — без особой злобы, скорей из озорства.

Злоба появится позднее — в цикле «Случай».

В этом цикле, собранном из произведений 1933—1939 годов, лаконичная, контурная проза Хармса достигает художественного апогея. Здесь намечен и переход к рассказам, где абсурд «психологизирован» (например, в «Феде Давидовиче»). Возможно, Хармс собрал бы «Случай-2», если бы не война.

Цикл «Случай» собран из разножанровых произведений. Это мозаика из прозы, сценок, ритмической прозы, а они подразделяются на «эпизоды», «анекдоты», «иллюстрации», «истории» и, конечно, «случаи». Название цикла программно. Случай — факт, небольшая иллюстрация к размышлениям автора о закономерном и случайном в нашей жизни. Или же о явлении и существовании — раз автор часто употребляет (всерьез или иронично) эти философские категории. Закономерностей в своем и в общем существовании автор не наблюдает. Если они и существуют, то механизм их непонятен. Честнее сказать, что их нет. Для доказательства и привлекаются «случаи» — абсурдные единицы сумрачного и непознаваемого целого.

В цикле Хармса, как это часто бывает у обэриутов, заключен пародийный элемент. Но не следует преувеличивать его роль. Нетрудно уловить насмешку автора над псевдоисторическим повествованием («Исторический эпизод»). Глубоко русскому человеку — Хармсу претила и сусальная народность, и не в меру разошедшиеся речи о патриотизме (с густым официальным налетом). Пародирует Хармс и невежественные представления о Пушкине, смыкавшиеся с юбилейными преувеличениями («Анекдоты из жизни Пушкина»). Но пародийность не создает основные цвета цикла, она дополняет их, разнообразя читательское впечатление.

В цикле Хармса мы не встретим и намека на доброе, положительное, созидательное. Царят разрушительные силы. Основные мотивы цикла — ожесточение, убийство, исчезновение. Последнее чаще всего. Исчезают предметы («Потери»), сон («Сон дразнит человека»), жизнь («Охотники»), люди («Молодой человек, удививший сторожа»).

Об исчезновениях и смертях рассказывается с жутковатым смешком. Без жалости. Жизнь человека приравнивается к огурцу или медному подсвечнику. Она не драгоценна, а заурядна, ничтожна — это спичка в коробке, где лежат десятки подобных спичек. Люди в рассказах Хармса зеркально похожи, духовно пусты. Они кажутся одинакового роста, одинаково одеты. Они однородны.

Вот рассказ «Машкин убил Кошкина». Он начинается так: «Товарищ Кошкин танцевал вокруг товарища Машкина». Затем следуют пантомимические сцены. Затем: «Товарищ Машкин вскрикнул и кинулся на товарища Кошкина. Товарищ Кошкин попробовал убе-

жать, но спотыкнулся и был настигнут товарищем Машкиным. Товарищ Машкин ударил кулаком по голове товарища Кошкина». Избиение. И финал: «Машкин убил Кошкина».

Каждая фраза коротенького повествования написана автором отдельно. Конструктивно фразы похожи. Повторение фамилий и действий создает особый ритм. Перед нами возвышенный, торжественный — свободный стих — об убийстве. Слово «убил» звучит в рассказике так же легковесно, так же пустотно, как и «товарищ».

Что же это — кровожадность автора?

Нет, равнодушие, жестокость толпы. Рассказывая о городских случаях, автор ведет речь от имени массового сознания. От имени народа, ставшего или готового стать стадом, массой. А человеческая масса, не одухотворенная большой идеей, — это конец культуры, злобное НИЧТО.

Один из исследователей творчества Хармса, югославский исследователь А. Флакер, заметил, что «Хармс своим творчеством как бы подтверждает мысль Честертона о том, что «нонсенс» — это только обратная сторона спиритуализма, утверждающая независимость писателя от интеллектуальных стандартов и пошлых дефиниций»¹. Собранные в цикл «случаи» Хармса и есть его «нонсенсы». Но эти отклонения от нормы, перевернутая норма, являются не только свидетельством интеллектуальной независимости художника, но и выразителями его позиции.

Хармс собирал свой цикл миниатюр, когда литературная мода повернулась к эпическим «полотнам». На всеобщее почтение перед эпопеей и социальный заказ на пухлый том «с психологией» Хармс ответил «случаем» «Встреча»: «Вот однажды один человек пошел на службу да по дороге встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к себе восвояси. Вот, собственно, и все». Это пародия. Но она сцеплена с другими «случаями», создающими нонсенс-эпос, эпос абсурда о том, что мир перевернулся, нельзя понять, где верх и где низ. В мире НИЧТО мертвый хватает живого.

В том же году, когда был завершен первый круг «Случаев» — цикла миниатюр о злобном НИЧТО массового сознания, Хармс написал небольшую повесть «Старуха».

Вряд ли современному читателю нужно разъяснять, что такое 1939 год в истории нашей страны. Это год сговора Гитлера со Сталиным, начало второй мировой войны. Зло фашизма и сталинщины нацелилось на Европу. Оно возмечтало о мировом господстве.

Главный герой повести — интеллигент, писатель. Само слово «герой» звучит странно в применении к прозе Хармса. Мы привыкли к небольшим произведениям, где действуют одномерные личности,

¹ Флакер А. О рассказах Даниила Хармса // Československá rusistika. 1969. № 2. С. 82.

персонажи, маски. Герой же — это прежде всего понятие психологической литературы, мы проникаем в его внутренний мир, достаточно сложный, возбуждающий нашу симпатию. Но именно так обстоит дело и с главным лицом повести Хармса. Мы испытываем сострадание к несчастному человеку, попавшему в железный капкан неразрешимых обстоятельств.

Это психологическая проза. К ней Хармс пришел, углубляя свое понимание абсурда, обогащая искусство гротеска, а не отступая от принципов авангардного искусства.

Подтверждение тому — рассказы, написанные после «Старухи», второй круг несоставленных «Случаев» («Помеха», «Реабилитация»; «Победа Мышиная»).

В «Старухе» можно усмотреть некое подобие «случаев», рассыпанных по тексту: рассказ о чудотворце, истории с покойниками, сон о глиняном приятеле. Но «случаи» эти соединены новыми отношениями. Они стали частью психологической ткани повести, приняли участие в циркуляции ее идей, то усиливая, а то и дополняя их.

В повести герой попадает в вакуум, созданный товарищами Машкиным и Кошкиным. Надежды героя, его отчаяние и передает психологическая проза, *подчеркнутая* (как писал в «Елизавете Бам» Хармс) абсурдом.

Отчасти в повести повторяется ситуация, знакомая нам по роману Вагинова «Труды и дни Свистонова». Книга о писателе, который пишет книгу. Хармс углубляет эту ситуацию, выстраивая в повести следующие этажи текстов: автор — рассказчик — произведения рассказчика. Эти неравномерные части, соединенные мыслью о чуде (Боге), то выступают согласным хором, то солируют поодиночке, не получая поддержки от других ярусов текста. Но главное отличие от романа Вагинова в том, что писатель в «Старухе» никак не может написать свой рассказ. Дело в том, что он не может быть холодным, бесчувственным Мастером, отвернувшимся от всего, что не относится к проблемам книгопостроения. Коренные вопросы существования выше любви к литературе — к этому склоняется герой «Старухи». И столкнувшись с одним из таких вопросов в виде мертво-живой старухи, он уже не может писать.

Эпиграф к повести взят из романа Кнута Гамсуна «Мистерии»: «И между ними происходит следующий разговор». Эпиграф носит характер указателя. Он обращает наше внимание на роль «разговоров» в повести. А их — где участвует рассказчик — два. С приятной дамочкой и с Сакердоном Михайловичем. «Мистерии» были одной из любимых книг Хармса. Возможно, он находил нечто близкое себе и в размышлениях Нагеля, героя Гамсуна, и в таинственно-мрачных ситуациях книги. Но в данном случае, в эпиграфе, Хармс не приводит названия книги. Он не хочет сопоставлений. Он предлагает лишь один из ключей к своей повести.

В диалогах повести речь идет о Боге. В первом — миловидная непосредственная собеседница рассказчика признается в вере в Него. Во втором — осторожный, недоверчивый, многоумный Сакердон Михайлович не отвечает на вопрос о своей вере. Похоже, что в Бога, в бессмертие, в прекрасное — он не верит.

Между этими основными сюжетными узлами бьется живым маятником герой повести. Мечутся его мысли о чуде и бессмертии. Безусловно, и раньше, до встречи со старухой, которая носит с собой часы без стрелок — сюрреалистический знак судьбы, — герой задумывался о чудесном. Иначе бы он не взялся писать рассказ о чудотворце.

Метания, раскачивания от «да» к «нет» усилены в повести метаморфозами, происходящими со старухой, которая пришла умирать в комнату рассказчика: то она живая, то мертвая, в общем мертво-живая. Старуха — это зло и это судьба. Может, смириться с ней? Принять бесчеловечное НИЧТО, не противясь злу, как к этому призывала мораль ранних христиан, чему учат и буддисты (упоминание о буддистском храме в конце повести вливается в общую тему судьбы, проходящую через всю книгу)?

Нервные ритмы повести создаются не только бросками от веры к отчаянию. Переходы от живого к мертвому также образуют особую ритмическую сеть. Контрастом симпатичной дамочке служит мертвое тело старухи; живому Сакердону Михайловичу — он же глиняный, безжизненный; несчастному писателю, автору невоплощенного рассказа о чудотворце противопоставлен «псих» с мыслями о покойниках.

Почему же все-таки чудотворец в рассказе писателя отказался от своей силы? В «Старухе», повести о живых и мертвых, этот вопрос не сформулирован прямо. Но он присутствует, его разрешение нужно и рассказчику, а еще более — самому автору.

Повесть подводит нас к страшному ответу, хотя отчетливо он и не произносится. Может быть, чудо и не нужно этому миру. Он заселен злом.

Страшная догадка кажется автору наваждением. И он прерывает повесть, как дурной сон. Литературный прием совпал с заклятием (с особым отношением Хармса к слову и литературному жанру вообще).

Произведения Хармса, относящиеся к первому периоду ОБЭРИУ — 1928—1931 годам, охвачены настроением полета. От земли он уносится в космос, в небесные сферы. Алогизмы небесного полета озорны, причудливы, их юмор динамичен, в нем угадывается сила и знание пути.

Второй период — 30-е годы — в творчестве Хармса можно охарактеризовать его же словом «упадание». Полет окончился, наступило падение. До небесных сфер так и не пришлось долететь. Неясно,

существуют ли они. А вот в жестокий абсурд современности врезаться пришлось. Герой последних рассказов Хармса или лежит на полу и не хочет подниматься, как Мышин, или попадает в страшный переплет обстоятельств, из которых выхода нет («Помеха»).

Юмор — обязательный конструктивный элемент произведений Хармса — есть и в этих рассказах об «упадании». Но это черный юмор в его хрестоматийных образцах. Антисмех жестокого, перевернутого, лишенного милосердия бытия.

* * *

Николай Олейников формально не входил в ОБЭРИУ. Но с обэриутами он был связан годами близких отношений, носивших не просто дружеский, а единомышленно-творческий характер.

Личность Олейникова послужила прототипом для героев произведений обэриутов — в частности, философа Лодейникова в одноименной незаконченной поэме Заболоцкого и Сакердона Михайловича в повести Хармса «Старуха».

Предполагалось участие Олейникова и в сборнике 1929 года «Ванна Архимеда».

«Его необыкновенный талант проявился во множестве экспромтов и шутливых посланий, которые он писал по разным поводам своим друзьям и знакомым», — вспоминал К. Чуковский¹. От этого множества до наших дней сохранилось около ста произведений, включая сочиненные в соавторстве, а также и приписываемые Олейникову. Подавляющее большинство этих произведений относится к первой половине 30-х годов, к той «отдушине» в истории нашей культуры, которая образовалась после годов «великого перелома» и сохранялась до момента убийства Кирова (впрочем, ревнителю официальной идеологии не дремали и в это время, готовя компромат на жертвы будущих репрессий).

Комические стихи Олейникова — масочны. Автор говорил в них от имени придуманного персонажа, включал себя в игру, соединявшую жизнь и литературу. Такое игровое поведение было характерно и для других обэриутов.

Молодым сотрудницам редакций детских журналов Олейников посвящал комические любовные послания, разыгрывая безнадежно влюбленного. Послания, стихи «на случай», басни в стиле Козьмы Пруткова — основные жанры Олейникова. В посланиях он надевал на себя личину современного бонвивана, любителя пожить в свое удовольствие, гурмана и волокиты. Жизнь принадлежит ему — ведь он или «технорук», или «политрук».

¹ Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 1979. С. 382.

Олейников называл себя и «новым Овидием», выступая певцом двух тем: воздержания и насыщения. Обеденный стол изображался с завидным жизнелюбием:

Прочь воздержание. Да здравствует отныне
Яйцо куриное с желтком посередине!
И курица да здравствует, и горькая ее печенка,
И огурцы, изъятые из самого крепчайшего бочонка!

С таким же вдохновением рассказывается и о женских прелестях:

Последний гост за Генриха, за неугасший пыл,
За все за то, что он любил:
За грудь-округлую, за плавные движенья,
За плечи пышные, за ног расположенье.

«Новый Овидий» — современный певец, любящий научную точность выражений. Объединение шаблонных поэтизмов с профессионализмами создает комический эффект.

Бесспорно, на творчество «злого насмешника», как называл Олейникова Хармс, повлияли басни и нравоучения Козьмы Пруткова. Сам автор не скрывал этого. И называл себя «внуком» иронического певца казенщины и ходульности.

Связь с Прутковым у Олейникова сложна. Иногда он прикрывается традицией, иногда развивает ее. Хорошо видна преемственность в жанре коротких басен и назидательных четверостиший. Иногда к «басням» Олейников относил стихотворения, форма которых не имела к традиционным басням никакого отношения. Например, «Чарльз Дарвин»: небасенный размер, герой — реальное лицо. Но в стихотворении заключен дидактический стержень, выводы его нелепы, а потому комичны. Басня о Дарвине пародирует невежественные представления о великом ученом, суть которых сводилась к тому, что Дарвин-де взялся доказать происхождение людей от обезьяны, потому что сам походил на нее, а не по причине установления истин антропогенеза.

Сколько нелепостей живет в массовом сознании! И один из способов уничтожения общеупотребимой глупости состоит в доведении ее до абсурда — как в басне о Дарвине. На басенный скелет напаяна оболочка городской песни «про несчастную любовь». С таким острым гротеском соседство выдерживают только знаменитые «Анекдоты из жизни Пушкина» Хармса.

Несмотря на внешнюю простоту стихотворной техники, поэзия Олейникова достаточна сложна. Об этой сложности писал и Хармс в своем послании к Олейникову:

Твой стих порой смешит, порой тревожит чувство,
Порой печалит слух иль вовсе не смешит,
Он даже злит порой, и мало в нем искусства,
И в бездну мелких дум он сверзиться спешит.

Постой! Вернись назад! Куда холодной думой
 Летишь, забыв закон видений встречных толп?
 Кого дорогой в грудь пронзил стрелой угрюмой?
 Кто враг тебе? Кто друг? И где твой
 смертный столб?

У поэта немало произведений, где сквозь смешное прорывается драматическое. В таких стихах сатирико-пародийная нацеленность отходит на задний план.

Вот стихотворение «Перемена фамилии». Его герою надоело быть Козловым, и он, заплатив соответствующую пошлину, стал носить фамилию Орлов. Возвратившись домой, он замечает странную метаморфозу в своей внешности. К нему прижилось «лицо негодяя». В основу стихотворения положен романтический мотив: смена имени — изменение облика, прорастание нового, незнакомого прежде человека в носителе старого имени. Этот мотив вплетен в бытовой рассказ о человеке, затосковавшем от собственной заурядности. Но, отказавшись от скромного обывательского лица, герой получает отвратительную личину состарившегося «негодяя».

Обыкновенный человек — или, как принято называть его, маленький — в стихах Олейникова выступает в облики карасей, тараканов, жуков, бабочек. Этот человек обречен. Ему, как и его далекому предшественнику из петербургских повестей Гоголя, не вырваться из тесного и жалкого круга своего существования. Что же это? Насмешка или гримаса сочувствия? И то и другое вместе, как это часто бывает у обэриутов. Насмешка над пошлостью жизни и боль от возрастания агрессивности злого в жизни, от неисчерпаемости пошлого. Юмор темнеет. Горечь вызывает этот «двоящийся животное-человеческий образ, с помощью которого Олейников рассказывает о насилии над беззащитным», как писала в своей замечательной статье о Макаре Свирепом Л. Я. Гинзбург¹. Автор подобных стихов и стал прототипом героя неоконченной поэмы Заболоцкого «Лодейников». Человек пытливого ума, он, несмотря на внешнее спокойствие, пребывает в душевном смятении. Его восприятие законов природы и общества трагично.

* * *

Александра Введенского обэриуты считали левым краем своего объединения. Поэт менее всего заботился о том, чтобы произведения его понял «широкий читатель». Его стихи алогичны, синтаксически неупорядочены, смысл его произведений (особенно «чинар-

¹ Г и н з б у р г Л. Николай Олейников // Г и н з б у р г Л. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 399.

ских»), можно подумать, состоит в том, чтобы запутать читателя, сбить с толку.

Молодой Введенский называл себя «авто-ритетом бессмыслицы». С большим разнообразием и легкостью балагурил он над авторитетом принятых норм. Где бы ни встречался с ними — в области этики, литературных традиций или литературной речи. С годами зазорный нигилизм пропадал, острые углы сглаживались. И все же из всех обэриутов Введенский как писатель был наиболее устойчив. Его поэтический стиль не знал резких поворотов, как это случилось с Заболоцким или Хармсом. Поэтика Введенского эволюционировала, как всякая живая структура. Но развитие было последовательным. Происходило это потому, что оно шло по одному тематическому руслу, выбранному поэтом еще в молодости. Он углублял с годами свою поэтическую идею, развивал ее, но никогда не отказывался от нее и не обращался к другим темам.

Уравнивание, упорядочивание поэтики «авто-ритета бессмыслицы» происходило вовсе не потому, что бывший «чинарь» захотел сделаться «попятным». Нет, и в конце 30-х годов Введенский также мало заботился о доступности своих произведений, как и в конце 20-х. Тут срабатывал механизм влияний, литературной моды, а главным образом — сглаживания крайностей требовала сама усложнявшаяся логика художественного языка Введенского.

Основным средством выразительности своей поэтики Введенский выбрал алогизм. Пользовался им часто, с изумительной изобретательностью. Только абсурд, по мнению поэта, мог передать связь жизни и смерти. Точнее, бессвязность. Гигантскую картину распада в движущемся пространстве и времени.

Через все творчество Введенского проходит, как он сам говорил, «ощущение бессвязности мира и раздробленности времени». Поэт был охвачен ужасом перед неумолимой нелогичностью жизни. А она казалась ему именно такой — недепой и жестокой.

Все поколения исторического человечества задавались вопросом о смысле жизни. Искался по возможности утешительный ответ. Бурный XX век поставил вопрос с наибольшей остротой. Тема скоротечной жизни человека, его обреченности — и биологической, и социальной — прокатилась по русской литературе уже в начале века, в кризисную пору нашей истории. Можно назвать произведения Леонида Андреева, Блока, Сологуба, Хлебникова. Переняв эту тему у предшественников, Введенский делает ее основной в своем творчестве. Пафос же сообщила сама современность — время революций, войн, голода, репрессий, разрушения. Нельзя обходить и личную потрясенность, гипнотическую привязанность поэта к этой теме. Вот что он писал в «серой тетради» (биографические записи Введенского):

«Не один раз я чувствовал и понимал или не понимал смерть. Вот три случая, твердо во мне оставшихся.

1. Я нюхал эфир в ванной комнате. Вдруг все изменилось. На том месте, где была дверь, где был вход, стала четвертая стена, и на ней висела повешенная моя мать. Я вспомнил, что мне именно так была предсказана моя смерть. Никогда никто моей смерти не предсказывал. Чудо возможно в момент смерти. Оно возможно, потому что смерть есть остановка времени.

2. В тюрьме я видел сон. Маленький двор, площадка, взвод солдат, собираются кого-то вешать, кажется негра. Я испытываю сильный страх, ужас и отчаяние. Я бежал. И когда я бежал по дороге, то понял, что убежать мне некуда. Потому что время бежит вместе со мной и стоит вместе с приговоренными. И если представить его пространственно, то это как бы один стул, на который и он, и я сядем одновременно. Я потом встану и дальше пойду, а он нет. Но мы все-таки сидели на одном стуле.

3. Опять сон. Я шел со своим отцом, и не то он мне сказал, не то я сам вдруг понял, что меня сегодня через час и через 1¹/₂ повесят. Я понял, я почувствовал обстановку. И что-то по-настоящему наконец наступившее. По-настоящему совершившееся — это смерть. Все остальное не есть совершившееся. Оно не есть даже совершающееся. Оно пупок, оно тень листа, оно скольжение по поверхности».

В записях, приведенных из «серой тетради», сохранена сновиденческая логика. Жутью тянет от этих рассуждений, схематичных, нацеленных все на одно, на смерть, лишенных даже тени юмора — этого постоянного спутника обэриутских текстов. Личная смерть мерещится как нечто весьма близкое. Ее неотвратимая неизбежность есть единственная закономерность в абсурде под названием «жизнь».

В приведенной записи изложены черные грезы о личной и семейной катастрофе. В своих текстах Введенский создает картины конца мира. Излюбленная тема проходит через все жанры поэта, чрезвычайно своеобразные. Здесь и философская поэма-мистерия, и драма для чтения, и «разговоры».

Центральный персонаж поэмы «Священный полет цветов» Эф, он же безумный царь Фомин, лишенный головы (ее отрубил у Эф палач), совершает путешествие по тому свету. Фомин — то живой, то мертвый. Разговоры о смерти, не в пример «серой тетради», окружены балаганным юмором. Смерть вдохновляет и автора, и его персонажей на мрачное балагурство.

Нечто похожее — путешествие по небесным сферам, или в зареальных пространствах, — совершается и в «Лапе» Хармса. И здесь разнопространственность сюжета подчеркнута монтажом стихов и прозы.

Путешествия по неземным областям, предпринятое персонажами обэриутов, имеют разные побудительные причины. Земляк («Лапа») желает найти чудодейственное любовное заклятие. Его путешествие имеет мистическую цель. Фомин настроен философски, хотя голова у него и отсутствует. Он, желая возвратить ее, силится понять, что сильнее смерти, есть ли смысл в полете часов. Любовными заклятиями удовлетвориться Фомин не может.

Общеизвестно, что эротическое балагурство в карнавальнх шествиях, в театральной народной комике являлось насмешкой и над лицемерием, и над мрачными запугиваниями моралистов и церковников. Было оно насмешкой и над смертью. Тоска и любовь — слова-синонимы, по Введенскому. Один из его центральных парадоксов — не жар любви, а любовный холод: точно человек парализован образом грядущей смерти. Это хорошо видно в драме для чтения «Елка у Ивановых». Эротические сцены перемежаются сценами убийства, суда, диалогами о смерти. Между персонажами нет душевной близости. Любимый прием Введенского состоит в присоединении уточняющей, дополнительной конструкции: коровы — они же быки; Пузыревы, они же Ивановы. Вещь преобразуется и делается своей противоположностью. Дети — стариками, родители — чужими людьми, воспитание — убийством, любовь — холодным сексом.

Эф, он же Фомин, путешествуя по зареальным областям, проходит через все эти метаморфозы. Более всего «безумного царя» интересует, можно ли сказать: «смерть, она же жизнь»? При этом он с явной насмешкой вспоминает рассуждения о диалектических превращениях живой материи:

Я говорю про будущую жизнь за гробом,
я думаю, мы уподобимся микробам,
станем почти нетелесными
насекомыми прелестными.
Были глупые гиганты,
станем крошечные бриллианты.
Ценно это? Ценно, ценно.

В «Священном полете цветов» противоречия выявлены, но не соединены в связную картину. С одной стороны: «Мир потух. Мир потух.// Мир зарезали. Он петух». Авторское заявление: «Миру, конечно, еще не наступил конец», — с другой. Боясь, как бы мир и в самом деле не зарезали, Фомин молится «двухоконной рукой». Из его груди вырывается обломок фразы: «Быть может только Бог». Что это — вопрос, он же утверждение? Окончательного ответа нет — в холодной Вселенной «горит бессмыслицы звезда».

Мы уже говорили, что излюбленными жанрами обэриутов, отно-

сящимся ко второй половине 20-х годов и началу 30-х, были «столбцы» и «разговоры».

Диалог — привычная форма философских рассуждений в стародавние времена. К диалогу обращались философы Возрождения и Просвещения. Обэриутские «разговоры» восстанавливают давнюю форму философского высказывания, но придают ей характер свободной беседы «естественных мыслителей», дилетантов, людей, не завербованных официальной наукой. «Разговоры» обэриутов разнообразны и по форме, и по характеру. Сохранились подлинные «разговоры» — записи бесед дружеского кружка 1933—1934 годов. Есть «Разговоры за самоваром» Хармса — фантастическая встреча за вечерним столом людей и фантомов.

Многие стихи Введенского построены как вопросы и ответы, диалоги на весьма серьезные темы. В беседе принимают участие самые экстравагантные персонажи: Морской Демон, Тапир, Голос на крылышках, маска под названием Факт. Задают вопросы друг другу и отвечают на него загадками, как в народных сказках.

В «разговорах» Введенского идет путаная беседа загадочных существ, находящихся на разных уровнях понимания мира. Только устанавливается контакт между собеседниками, как опять накатывает прибой разобщенности, разноязычия, беспорядка.

В середине 30-х годов Введенский написал цикл бесед. Диалоги вѣдут теперь не причудливые гротескные существа, а собеседники, обозначенные порядковыми числительными. Поэт словно бы желает обуздать диалог, сконцентрировать его силы. Цикл назван «Некоторое количество разговоров».

Интересно, что функция собеседников в этих «разговорах» скорее ритмическая, чем смыслоразличительная. Чередование номеров подчеркивает именно ритмический характер реплик. Иногда реплики оснащены рифмой, но большей частью они образуют свободный стих. В совокупности с ремарками, которые также включены в систему свободного стиха, реплики представляют оригинальнейший образец обэриутской стихопрозы.

С циклом «разговоров» А. Введенского хочется сравнить другой цикл — «Случаи» Д. Хармса (о которых подробнее мы писали выше).

Хармс пишет о массовом сознании, изображает разноликое НИЧТО. Введенский углубляется в бездонное НИЧТО индивидуального сознания. Ни тот ни другой автор не находят в себе сил отвернуться от открывшейся перед ними пропасти. Агрессивен и эгоистичен массовый человек. Нерешительно, бездеятельно его одинокое сознание. В произведении Введенского перед нами существование без действия, суть без явления. В рассказах Хармса — явление без сути.

Несбыточность, невоплощенность стала темой и драмы для чтения Введенского «Елка у Ивановых», действие которой происходит в канун Рождества. Дети (и среди них семидесятилетние «мальчики» и «девочки») с нетерпением ждут, когда загорятся на елке свечи. Вот наконец родители приглашают своих детей (носящих, кстати, самые разные фамилии) к рождественской елке. Радостные восклицания, и сразу за ними — каскад смертей. Умирают по очереди все — от годовалого младенца до Пузыревой, матери. Рождественский сюжет полностью автором перелицован. Елка — символ вечной жизни — стала деревом всеобщей печали и смерти.

В этой драме для чтения особенно наглядна связь творчества Введенского с приемами и традициями народной комедии. В данном случае — с народным театром. Балаганно-лубочный колорит сцен в полицейском участке и в суде очевиден. Но есть и более глубокие связи.

В народных драмах много места занимают обрядовые действия. Сошлемся хотя бы на «Царя Максимилиана». Не спеша, торжественно, как значительное событие, описывается в этой драме, как Максимилиан облачается с помощью слуг в царские одежды, какие он издает приказы, как они исполняются. Остальные, не таясь, пространно, изъясляют свои намерения и свои жалобы. Создан условный порядок жизни, истории. Этот порядок управляется еще более высоким порядком — законами наказания зла, неотвратимости возмездия за отступничество.

Введенский сохраняет пружины народного морализаторства, его балаганные одежды. Заводятся пружины во имя универсальной идеи поэта о наступлении всеобщей ночи. Законами жизни, по Введенскому, управляют часы смерти. В каждой картине своей пьесы автор не забывает в ремарках указать, который час показывают часы «слева от двери».

Подобно повести Хармса «Старуха», пьеса Введенского несла мысль о подступившей к самому дому катастрофе — изменить ничего нельзя.

* * *

На вечере в Доме печати в 1928 году читал стихи и Игорь Бахтерев — самый младший из обэриутов. В Декларации о нем сказано: «Поэт, осознающий свое лицо в лирической окраске своего предметного материала».

Однако в настоящий сборник включены только рассказы Бахтерева. Они также привлекают внимание «лирической окраской предметного материала», а кроме того, дают ясное представление о долгой жизни обэриутской прозы.

Реально ли это понятие — обэриутская проза? Вполне. Ведь, кроме Хармса, ее писали Введенский, Б. Левин, Владимиров. Соприкасается с обэриутской прозой Вагинов.

Но потери и здесь значительные. До сих пор не найден роман Введенского, носивший, по утверждению его друзей, название «Убийцы — вы дураки». Погиб архив Ю. Владимирова, уцелело лишь несколько страничек превосходного рассказа «Физкультурник». В блокаду пропал роман Б. Левина «Похождение Феокрита».

Читая прозу Игоря Бахтерева, нетрудно заметить нечто общее между его «небылями» и теми же «случаями» Хармса. Дело, конечно, не в том, что кассирша в рассказе Хармса достает молоточек из рта, а дама в сказочке Бахтерева вынимает топорик из-под юбки. Таких переключек немало, но общее заключается не в них, а в твердом убеждении, что в роде человеческом завелись и хорошо плодятся некие мутанты. Человек силой случая превратился в «тюк» (Хармс) или же в другую разновидность — в «чеболвека» (Бахтерев).

Отупение, оскотинение, оносороживание (как в пьесе Ионеско «Носорог») — страшная тема литературы XX века. Об этом и проза обэриутов. Их лидер Д. Хармс холодно констатирует «случаи» исчезновения из человека души и духа. Бахтерев сочиняет фантастические «небыли». Их строй эмоционален, фраза «колоборотна», с придыханием, смешком, потаенным вздохом. Ситуации удивительны. У Хармса — «Случай с Петраковым», у Бахтерева — «Случай в „Кривом желудке“». При ближайшем рассмотрении оказывается, что кривой желудок находится внутри будильника, а также является названием ресторана. «Чего только не бывает при „всеобщей кривизне“!» — как бы восклицает автор.

Мир «всеобщей кривизны» дик. «Он имел толстый живот, носил широкие штаны и убивал попадавших на пути собак, иной раз кошек». Это «Притча о недостойном соседе». Мальчишки играют в футбол оторванной женской головой — «Только дштырь». Герой «Колоборота» разгуливает задом наперед. Привык. И к нему привыкли.

Привычка к кривизне — важнейшая черта «небылей» Бахтерева. Его «чеболвеки» начинают обустриваться. Новая поросль этих существ сварганивает в себе какой-то эрзац душевности. Чеболвек имитирует человека.

У Хармса индивидуальность пропадает в толпе, в «человеческом стаде». Закон делается случаем. Теплота — холодом. Любовь — жестокостью. В «небылях» толпа стабилизируется. В ней прорастает «чеболвечность», новая душевность, пусть кривая, но зато лиричная, тепленькая.

Рассказы Бахтерева — и его воспоминания — еще одно свидетельство жизненности обэриутского творческого древа.

* * *

Как существуют экономические законы — неумолимо объективно, так с той же силой объективности действуют и законы современной художественной мысли. В прошлом мы не считались ни с теми, ни с другими. Кроили культуру по своему вкусу, тормозили ее развитие — в лучшем случае, вытапывали — в худшем. Результаты общеизвестны.

Были в свое время лишены возможности свободно работать и писатели ОБЭРИУ. А между тем они выходили на тропу, по которой можно было «далеко идти» (А. Введенский).

Публикация их произведений сейчас — не академическое занятие по ликвидации «белых пятен». Это высвобождение живой творческой энергии, бесполезной для современного думающего человека.

Анатолий Александров

ВАННА АРХИМЕДА

«Эй, Махмет,
гони мочало,
мыло дай сюда, Махмет!» —
крикнул, тря свои чресала,
в ванне сидя, Архимед.
«Вот, извольте, Архимед,
вам суворовскую мазь».
«Ладно, — молвил Архимед, —
сам ко мне ты в ванну влазь».
Влез Махмет на подоконник,
расчесал волос пучки,
Архимед же, греховодник,
осторожно снял очки.
Тут Махмет подпрыгнул.
«Мама!» —
крикнул мокрый Архимед.
С высоты огромной прямо
в ванну шлепнулся Махмет.
«В наше время нет вопросов,
каждый сам себе вопрос, —
говорил мудрец курносый,
в ванне сидя, как барбос. —
Я, к примеру, наблюдаю
все научные статьи,
в размышлениях витаю
по три дня и по пяти.
Целый год не слышу крика, —
веско молвил Архимед. —
Но, — прибавил он, — потри-ка
мой затылок и хребет.
Впрочем, да, — сказал потом он, —
и в искусстве, впрочем, да...
Я туда, в искусстве оном,

погружаюсь иногда.
Как-то я среди обеда
прочитал в календаре:
выйдет «Ванна Архимеда»
в декабре иль в январе,—
Архимед сказал угрюмо
и бородку в косу вил.—
Да, Махмет, не фунт изюму,—
вдруг он при-со-во-купил.—
Да, Махмет, не фунт гороху
в посрамленьи умереть!
Я в науке сделал кроху,
а теперь загажен ведь.
Я загажен именами
знаменитейших особ
и, скажу тебе меж нами,
формалистами в особь.
Но и проза подкачала...
Да, Махмет, Махмет, Махмет...
Эй, Махмет, гони мочало!» —
басом крикнул Архимед.
«Вот оно,— сказал Махмет,—
Вымыть вас?» — промолвил он.
«Нет,— ответил Архимед
и прибавил: — Вылазь вон!»

всё

1 октября 1929

Д. Хармс

**КОНСТАНТИН
ВАГИНОВ**

ТРУДЫ И ДНИ СВИСТОНОВА

Роман

Глава первая

ТИШИНА

Жена, сняв платье и захватив мохнатое полотенце, как всегда вечером, мылась на кухне. Она брызгалась и, зажимая одну ноздрю, чихала другой. Она, подставив горсти под кран, опускала голову, терла мокрыми ладонями лицо, запускала пальцы в бледные уши, мылила шею, часть спины, затем проводила одной рукой по другой до плеча.

В окне виднелись: домик с освещенными квадратными окнами, который они называли коттеджем, окруженный покрытыми снегом деревьями, недавно окрашенный в белый цвет; две стены консерватории и часть песочного здания Академического театра с сияющими по вечерам длинными окнами; за всем этим, немного вправо, мост и прямая улица, где помещался «Молокосоюз» и красовалась аптека и мутнела Пряжка, впадавшая в канал Грибоедова недалеко от моря. На Пряжку выходило большое здание с садом.

Свистонов смотрел из окна на этот район, где встретились театр, «Молокосоюз» и аптека.

Канал протекал позади дома, в котором жил Свистонов. Весной на канале появлялись грязечерпалки, летом — лодки, осенью — молодые утопленницы.

Позади канала шли улицы с трактирами, с выглядывающими из-за углов пьяными женщинами с поврежденными лицами, глотками, издающими хрипы.

Свистонову хотелось вновь надеть студенческую фуражку с голубым околышем, галоши и выйти в ночной город, где было Адмиралтейство со своим шпилем, Главный Штаб, арка, церковь св. Екатерины, Городская дума, здание Публичной библиотеки. Ему хотелось молодости.

За окном все уже давно скрылось, в квартире было тихо, только часы, пережившие всевозможные переезды, но лишившиеся боя, в столовой тикали.

Свистонову снился сон.

Человек спешит по улице. Свистонов в нем узнает себя. Стены домов полупрозрачны, некоторых домов нет, другие — в развалинах, за прозрачными стенами тихие люди. Вот там еще чай пьют, за столом, накрытым клеенкой, и глава семьи — кустарь, отодвинув стул от стола, смотря на собственное лицо, удлиненное самоваром, щиплет гитару, а дети, встав коленками на стул и подперши кулачками голову, часами глядят то на лампу, то на печку, то на уголок пола. Это отдых после трудового дня.

А за другой прозрачной стеной сидит конторщик, курит трубку, придает лицу американское выражение и часами смотрит, как дым вьется, как полусонная муха ползет по подоконнику или напротив, в окне, через двор, человек газету гложет и ищет, нет ли еще какого-нибудь занимательного убийства.

А там, через улицу, все вдовы собрались и судачат об интимных подробностях своей прерванной брачной жизни.

Видит Свистонов, что он, Свистонов, уже днем за всеми, как за диковинной дичью, гоится; то нагнется и в подвал, точно охотник в волчью яму, заглянет — а нет ли там человека, то в садике посидит и с читающим газету гражданином поговорит, то остановит на улице ребенка и об его родителях, давая конфетки, начнет расспрашивать, то в мелочную лавочку тихо зайдет, осмотрит и с торговцем о политике побеседует, то, прикинувшись человеком сострадательным, нищему гривенник подаст и его враньем насладится, то, выдавая себя за графолога, всех известных в городе лиц объездит.

Утром, посмотрев на часы, Свистонов все позабыл. Стараясь не будить жены, полуодевшись, сел за редактуру. Что-то такое исправил, что-то такое поправил, поспешил в писательский клуб. Там уже сидели в шляпах и кепках и друг другу сплетни передавали и последние происшествия. Редакторша курила, румяная и полная, за обветренным письменным столом и, читая рукопись, время от времени вздыхала и смотрела из-за рукописи в сторону. Ей интересны были все эти разговоры, подчас веселые, но шум шагов и раскатистый смех мешали ей

работать. Свистонов поздоровался с редакторшей и с присутствовавшими. Она подала ему руку и углубилась в чтение.

Посидели писатели, беседа часа четыре, кого-то поджидая, ожидая, кто первый встанет. Посидев, как все, насладившись, как все, разговорами, Свистонов исчез в лифте и очутился на проспекте 25 Октября. Было уже довольно поздно, и писатели и журналисты фланировали от издательства к Дому Печати и обратно. Согретые весенним солнцем, они беседовали о том, что Круглов пишет, как Честертон, что хорошо поехать в Крым, что хорошо этакую книжку загнуть, чтоб она ежегодно выходила. Они спускались в Московское Акционерное Общество, ели жареные пирожки, читали вечернюю «Красную газету», искали, нет ли о них чего-нибудь в хронике, покупали московские журналы и тоже справлялись — не пишут ли о них. Когда находили — то смеялись. Чушь пишут! Иногда к ним подбегал хроникер из студентов и спрашивал, над чем они работают. Тогда писатели ввали.

Это был нелегкий труд — просидеть в редакции часа четыре, а то и пять. К пяти часам у писателей разбивались головы. Придя домой и пообедав, утомленные, ложились поспать на часок. К вечеру, убедившись, что день прошел и что уже сегодня они не смогут работать, шли с женами к знакомым на чашку чая.

Вечером, когда Свистонов лег в постель и подумал о том, о чем бы почитать: о старинной ли русской утвари, которая может пригодиться для его нового рассказа, или не взять ли путешествие в восточные страны Вильгельма де Рубрук в лето благости 1253, именно главу о прорицателях и колдунах у татар, как они выливают новый кумыс на землю, или том из «Collection de l'Histoire par le Bibelot»¹.

Но поленился Свистонов надеть туфли, сшитые им из бобрика во времена нехватки всего и голода. Не вылез из-под одеяла, не поднялся на стул, быстро не достал книг. Вместо этого повернулся к жене и стал беседовать с ней об услышанных в редакции новостях.

— Леночка, — сказал он, закуривая.

Леночка опустила записки Панаевой на одеяло и,

¹ «Историческое собрание Бибело» (фр.).

облокотившись на локоть, стала смотреть на своего мужа.

— Граф Экеспар, — вяло тянул Свистонов, — свою любовницу цыганку называл Дульцинеей. Разделил свои владения на сатрапии и поставил во главе каждой сатрапии сатрапа. Выдавал своим солдатам чингисханский паек — трех баранов в месяц, а офицерам — двух баранов.

— Неужели? — спросила Леночка.

— Он мечтал образовать панмонгольскую империю с немецким государственным языком и двинуть цветные полчища на запад.

— Вот бы тебе взять такую тему. Можно было бы написать интересную повесть.

— Я тебе еще не сказал, — оживился Свистонов, — что он объявил себя Буддой, состоял в переписке с китайскими генералами, нашел даже претендента на императорский престол, какого-то англинизированного китайского принца, проживающего в Америке и краснеющего, когда его называют китайцем.

Свистонов, вытянувшись под одеялом, курил, смотрел в потолок, затем он повернулся и стал смотреть на стену.

— Эх, жалко, — сказал он, — что никогда я, Леночка, не был в Монголии. Монастыри — дыхание этой страны. По немецким сказкам дыхания не создашь. Пристроиться, что ли, к экспедиции Козлова, взять командировку от вечерней «Красной». — И уж закрыл глаза и стал засыпать, когда где-то сбоку появилась мысль об охоте и охотниках.

Ему захотелось писать. Он взял книгу и стал читать. Свистонов творил не планомерно, не вдруг перед ним появлялся образ мира, не вдруг все становилось ясно, и не тогда он писал. Напротив, все его вещи возникали из безобразных заметок на полях книг, из украденных сравнений, из умело переписанных страниц, из подслушанных разговоров, из повернутых сплетен.

Свистонов лежал в постели и читал, то есть писал, так как для него это было одно и то же. Он отмечал красным карандашом абзац, черным в переделанном виде заносил в свою рукопись, он не заботился о смысле целого и связности всего. Связность и смысл появятся потом.

Ч и т а л Свистонов:

В виноградной долине реки Алазани среди множества садов, ее охвативших, стоит город Телав, некогда бывший столицей Кахетинского царства.

П и с а л Свистонов:

Чавчавадзе сидел в кахетинском погребке и пел песни о виноградной долине реки Алазани, о городе Телаве, бывшем некогда столицей кахетинского царства. Чавчавадзе был неглуп и любил свою родину. Его дед был ротмистром русской службы, но нет, нет, надо вернуться к своему народу. Чавчавадзе с отвращением посмотрел на сидевшего рядом купца, певшего песню Шамиля и игравшего на гитаре. «Торгаш, — пробормотал Чавчавадзе, — подлое племя, лакей». Купец жалобно посмотрел на него: «Не обижай, я хороший человек».

Написав этот отрывок, Свистонов отложил листок: «Чавчавадзе, — повторил он, — князь Чавчавадзе. Что же думает инженер Чавчавадзе о Москве? Ладно», — решил он и продолжал читать о смерти царя Ираклия и о горе его жены Дарии.

На низких диванах сидели жены сановников, закутанные с ног до головы в длинные белые покрывала, и, ударя себя в грудь, громко оплакивали кончину царя. Против женщин, с правой стороны трона, разместились государственные чиновники, по старшинству, в безмолвии и с печальными лицами. Выше всех сидели старшие министры, за ними церемониймейстеры с переломленными жезлами. Из окна комнаты виден был любимый царский конь, стоящий у дворцовых ворот, оседланный наизнанку. Подле коня сидел на земле чиновник с непокрытой головой.

«Великолепно, — подумал Свистонов. — Чавчавадзе — грузинский посол при Павле I, граф Экеспар, потомок тевтонского рыцарства. Но может быть, и не тевтонского... Надо проверить...»

Какие-то дали будущего произведения замерещились Свистонову. «Поляка, — подумал он. — Надо бы еще поляка. Да еще бы изобрести незаконного сына, одного из Бонапартов, командовавшего в 80-х годах русским полком».

Влюбленные глаза Польши, устремленные на Францию, Генрих III убежал, Бонапарт на острове Св. Елены. Наполеон III, восста-

ние не удалось. Сейчас опять Франция и Польша — две культурные рыцарственные сестры, — подумал Пшешмыцкий, идя мимо собора Парижской Богоматери, — и третий рыцарь смотрит на нас — Грузия.

Написав это, Свистонов сел на постели: «И Париж прихватим, — посмотрел он на пол. — Завтра надо пойти к букинистам». — И Свистонов, завернувшись в одеяло, захрапел.

Утром, побывав в редакции, он отправился на проспект Володарского, стал заходить с портфелем в книжные лавки, как дама в Гостиный двор с ридикюлем.

Хозяева и приказчики спрашивали о его новом романе, говорили о том, что интересно будет почитать, что вот есть любопытная книжечка и что, может быть, он посоветует кому-нибудь из своих знакомых вот эту книжку.

Книжная вакханалия кончилась, и редкие книги стали снова редкими. Дела книгопродавцев в общем шли плохо. Библиотеки не продавали им больше книг по 1 р. 20 к. за пуд.

Свистонов рылся и искал польских эмигрантских книг, искал книг по Грузии, по Остзейскому краю.

Книжники, отходя в уголок, пили водку, беседовали с постоянными покупателями, смотрели издали на улицу.

Довольный Свистонов вернулся домой. Он нашел:

1) Recueil de diverses pieces, servans à l'histoire de Henry III roy de France et de Pologne. A Cologne, chez Pierre du Marteau MDCLXII ¹.

На этой книге был перечеркнутый экслибрис с гербом Д. А. Бенкендорфа; на гербе был девиз: Avec Honneur ².

2) Русское Балтийское поморье, вып. 1, издание Ю. Самарина. Прага, 1868.

3) Essai critique sur l'Histoire de la Livonie... par C.C.D.V. M.D.C.C XVII ³.

и еще много других в нежных свиных и телячьих переплетах.

Свистонов не любил электричества, поэтому в его квартире уже горели свечи. Леночка сидела за столом и читала:

¹ Собрание разных историй о Генрихе III, короле французском и польском. Издано в Кельне Пьером дю Марто, 1662 (*старофр.*).

² С честью (*фр.*).

³ Критический опыт по истории Ливонии... 1717 (*фр.*).

...лег я на драгоценную постелью и спал часа четыре очень спокойно, а проснувшись, увидел лежащую на окне флейту, которую я, взяв, заиграл в честь видимой на портрете красавицы арию, не зная, что сия флейта сделана чудною хитростию, ибо как скоро я заиграл, то в ту минуту все фонтаны с великим шумом пустили воды, а бывшие в саду разных пород птицы, каждая по своей природе, запели громогласные песни, отчего многие древа плоды свои с себя побросали. Я пришел от сей странности в великий страх, тотчас играть перестал, боясь, чтоб на сей шум кто ко мне не пришел и не убил бы меня за мое дерзновение до смерти. А как между тем день уже склонялся к вечеру, то я и не рассудил никуда из оного прекрасного места идти, но остался в сей беседке ночевать и на другой день до половины дня тут пробыл, но видя, что в саду ни одного человека нет...

Эту затрепанную и презираемую книжку Свистонов купил на Вербе, среди прочего барахла, несколько лет тому назад, когда он интересовался литературными стилями.

Леночка сидела при свечах. Она скучала над этим романом. Все же он был куда менее интересен, чем Уолтер Патер. Она проголодалась, но ждала Свистонова, чтобы вместе пообедать. Она подошла к среднему окну и посмотрела, не идет ли Свистонов.

Вернулась и стала дочитывать, но вспомнила, что она сегодня еще не вытирала пыли. Прошла в соседнюю комнату, приставила коричневую лестницу и принялась перетирать свистоновские книги. «Как давно Андрюша не пишет стихов», — подумала она и, передвинув лестницу, достала свистоновские тетрадки и застыла с тряпочкой на лестнице.

Она перелистывала свистоновские тетрадки со стихами, когда-то считавшимися непонятными, а потом ставшими слишком понятными, нашла в них свой локон, засохшие цветочки, стихи поблекли, выцвели от времени, но для нее все еще они горели.

Леночка провела тряпочкой по корешкам книг. Теперь здесь так много книг, но, боже мой, каких книг: рукописные дневники неизвестных чиновников, книжки «на каждый день» похотливых студентов, переписка какого-то мужа с женой, по-видимому железнодорожного служащего, тоненькие брошюрки, изданные графоманами, философские книги с кондачка, написанные актерами; длинненькие, в кожаных переплетах, альбомы восторженных подростков; Санкт-Петербургский календарь на лето от Рождества Христова 1754. С записями:

«6. Пускал кровь из ноги, 19. Шел снег, 28. Куплено соломы». Косметики от *Gli ornamenti delle donne* — Giovanni Marinello (1562 г.)¹ до самых новейших. Кулинарные книги, лечебники, книги, посвященные давно уже не существующим танцам, карточным играм, и полочки с классиками, и томы и пачки кое-как поставленных и положенных книг.

Сев на лестницу, Леночка стала читать стихи. Она читала и вспоминала, где и когда каждое писал Андрюша, как был одет тогда Андрюша и как она. Но тут раздался звонок, и Леночка, убрав лестницу и бросив пыльную тряпку, открыла дверь.

Свистонов, читая газеты, обводил красным карандашом фразы, которые Леночка должна была вырезать и наклеить на листы.

Суп остывал.

— Потом бы ты почитал! — говорила Леночка. — Расскажи что-нибудь.

— Что же тебе рассказать? — отвечал Свистонов и продолжал читать.

— Скажи хоть, какая сегодня погода, — попыталась завязать разговор Леночка. — Распустились ли почки и куда мы поедем на лето?

— В Токсово, должно быть, — лениво пробормотал Свистонов, вставая. — Там прекрасный воздух.

Пошел в комнату полежать. За обедом он выпил немного вина и поэтому не мог читать и писать. Лежа на диване, он рассматривал Леночку, следил, как она ходит по комнате и роется в книгах.

— Леночка, почитай вырезки, — сказал он.

Леночка достала листы, покрытые газетными вырезками, и, сев поближе к свечам, стала читать.

Ноябрь, 1914 год.

По словам раненых немцев, настроение у солдат весьма подавленное. Офицеры все время говорят им о победах, но солдаты больше уже не верят этим рассказам.

¹ Украшения донны Джованни Маринелло (*ит.*).

21 июня 1913 года.

«Осман»

Пример и совершенство!..
Курить его — одно блаженство,
Как папироса «extra fin»¹ —
Даст наслаждение «en plein»²!!!
Товарам «Шапошников» слава,
Criez, messieurs³, им фора, браво!!!
Дядя Михай.

29 июля 1913 года.

Бал американских миллионеров

...большинство дам явилось на бал либо в простых деревенских платьях, либо в костюмах героинь популярных детских сказок. Этим они желали подчеркнуть свое критическое отношение к воинствующим суфражисткам.

НАШЕСТВИЕ БЛОХ

В городе развелось невероятное количество *блх*. Дома, гостиницы, театры, кино — жалуются, что у них появилась масса блох. Плохая очистка помещений летом благоприятствует быстрому распространению блох. В бюро «*Рабочее Оздоровление*» обращаются целые дома с просьбой очистить квартиры от блох. Очистка производится при помощи газов и обходится очень недорого.

Некоторые гостиницы обратились с просьбой избавить их от *клопов*. Эта работа производится тоже в ударном порядке...

Горячие речи против немецкого засилья...

¹ Утонченный (фр.).

² Высшее (фр.).

³ Кричите, господа (фр.).

— Леночка, сколько раз я тебя просил собрать все вырезки и переклеить в хронологическом порядке. Ведь это, я думаю, не так трудно! К тому же сколько раз я тебя просил на всех, даже самых незначительных вырезках помещать дату, название газеты. Ведь это сильно облегчило бы работу.

Леночка перебирала вырезки, смотрела на своего героя.

— Хорошо, хорошо, — успокаивала она его, — обязательно буду ставить.

— И месяц, и число, и название, — твердил Свистонов.

Но в общем он был доволен чтением. Оно растолкало его воображение.

Леночка взяла деревянный гриб, носки и стала штопать. Свечи в алебастровых, в виде виноградных листьев, подсвечниках потрескивали. Свистонову стало скучно.

— Леночка, — сказал он, — почитай новеллы.

Новеллами он называл другие газетные вырезки.

Леночка встала с кресла, достала томик в сафьяновом переплете и стала перелистывать.

— О портном, — попросил Свистонов.

Это была новелла тридцать третья.

Новелла тридцать третья РОМАНИСТ-ЭКСПЕРИМЕНТАТОР

«Прежде чем написать что-либо, нужно самому пережить описываемое явление».

Этот принцип исповедует... портной Дмитрий Щелин. Он уже около двух лет пишет какой-то «роман из современной жизни», со всеми ее ужасами.

Два месяца тому назад Щелину потребовалось закончить главу его романа покушением на самоубийство героя, отравившегося ядом.

С этой целью Щелин пожелал сам испытать страдания, которые обычно испытывают самоубийцы.

Он достал яд, принял его, а затем лишился сознания. С квартиры Щелина доставили в больницу Марии Магдалины. Здесь он провел около двух месяцев.

Поправившись, Щелин опять стал продолжать «роман».

Теперь герою потребовалось испытать ощущение самоубийцы, пытавшегося утонуть.

В два часа ночи на сегодня Щелин бросился с Тучкова моста в Малую Неву.

Утопавшего вовремя заметил речной городовый и сторожа моста. На шлюпке они подплыли к Щелину и вытащили его из воды.

В бессознательном состоянии «романист-экспериментатор» был доставлен в ту же больницу Марии Магдалины. Утром он был приведен в сознание.

Это еще не все. Теперь нужно испытать, как бросаются под поезд. Тогда только все явления моего романа будут и реальны, и чувствительны.

Положение романиста-портного — тяжелое.

— Читать дальше? — спросила Леночка.
Свистонов кивнул головой и закрыл глаза.

Новелла тридцать четвертая СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Оно конечно, в суде иногда бывают странные истории. До того странные, что хочется смеяться до колик в животе, а иногда плакать. Например, один из последних номеров ленинградского журнала «Суд идет» рассказывает о таком веселом случае из практики Ахтюбинского губсуда.

В прокуратуру поступило заявление некоего гражданина о том, что какой-то парень изнасиловал корову.

По предложению прокурора следователь приступил к расследованию этого изумительного преступления.

Велось следствие. Дело росло и пухло. «Насильнику» было предъявлено обвинение, и наконец дело с обвинительным заключением поступило по подсудности в губернский суд.

Но в нашем уголовном кодексе нет статьи, по которой можно было бы судить за подобное преступление, и Ахтюбинский суд очутился в тупике.

Как быть? Как прекратить это дело?

Из этого пикового положения губсуд вышел весьма остроумно. Для возбуждения дела об изнасиловании необходимо заявление потерпевшей — так сказано в законе.

И знаете, что сделал губсуд?! Он прекратил дело «ввиду отсутствия заявления потерпевшей об изнасиловании»...

Леночка продолжала:

Новелла тридцать пятая ТАТУИРОВАННЫЙ

На основании 846-й, 847-й, 848-й и 851-й ст. ст. Устава уголовного судопроизводства, по определению Асхабадского окружного суда, от 3 декабря 1910 года, разыскивается Иван Григорьев Бодров, происходящий из крестьян села Чернышева Николо-Китской волости, Каренского уезда, Пензенской губернии, обвиняемый по 1, 13 и 1 ст. улож. о наказ.

Приметы обвиняемого: 29 л., полного среднего роста, среднего телосложения, статен, глаза серые, на теле следующая татуировка: 1) на груди между сосками нарисовано распятие с надписью на кресте «I.N.K.I.», по бокам такового нарисованы цветы: с правого соска — из породы лилий, с левого соска — неопределенной породы; 2) под распятием справа и слева на грудной клетке нарисованы двуглавые орлы, на правой половине грудной клетки копия российского государственного герба, в середине косы стоит буква Н., с левой стороны грудной клетки двуглавый орел, не похожий на герб... 3) на брюшной части выше пупка и немного правее изображен лев с гривой и поднятым хвостом. Лев этот стоит на стреле, которая острием своим обращена также вправо; 4) по правую сторону льва и на одной высоте с ним изображен св. Георгий-победоносец на коне, побеждающий дракона; 5) по левую сторону льва и на одной с ним высоте изображена женщина (амазонка), сидящая на лошади. Голова лошади обращена в сторону льва; 6) на левой руке с передней ее стороны выше локтя изображена женщина, поднявшая подол; 7) на той же руке, ниже локтя, на передней ее стороне изображаются неизвестные цветы и ниже их — лилия; ... 10) почти на самом локте, немного пониже, изображена бабочка, головкой обращенная к вышеописанным цветам; 11) на правой руке выше локтя, на передней стороне руки, изображена женщина, завернувшая юбку и открывшая одну ногу до бедра; 12) ниже локтя, на стороне руки, обращенной к телу, изображается сердце, пронзенное стрелой, якорь и крест; 13) как раз под якорем, сердцем и крестом изображается голая женщина, стоящая на какой-то голове и поднявшая левой рукой меч; 14) правее голой женщины с мечом изображена другая женщина, полуголая и больше по своим размерам, правую руку заложила на затылок; 15) правее последней еще женщина, полуголая, держащая позади головы развернутый веер; 16) левее женщины с мечом изображена сирена с мечом; 17) на правой ноге, почти на бедре, на передней ее стороне, изображена женщина, с курчавыми волосами, с ожерельем на шее, без ног, туловище заканчивается непонятным рисунком;

Леночка покраснела.

Свистонов взял книжку и дочитал сам:

.
.

Всякий, кому известно местопребывание разыскиваемого, обязан указать суду, где он находится. Установления же, в ведомстве коих окажется имущество обвиняемого, обязаны немедленно отдать его в опекуновское правление.

Свистонов чувствовал, что скоро можно будет приступить к работе. Новелла о портном уколола его, как неотчетливое оскорбление. Вторую он пропустил мимо ушей. Третья показалась ему достойной внимания. Над ней можно было подумать. И, передав обратно книжечку Леночке и уже не слушая, что дальше читает жена, представил в виде картины тридцать пятую новеллу.

— Черт знает что, — пробормотал он.

Жена прервала чтение и посмотрела на него.

— Андрюшенька, — сказала она, — ты опять выпил лишнее. Тебе плохо? — Подошла к постели.

— Скорей листок, — сказал Свистонов. — Дай карандаш, — сказал он.

Взял бумагу, стал рисовать на ней голого человека.

Свистонов начал с ног, больших и мускулистых, стоящих на дощатом полу, повел карандашом вверх, нарисовал крепкое туловище и руки с лопатообразными ногтями и увенчал все это приятной головкой с небольшими лихо закрученными усами.

— Нет ли у тебя акварели? — спросил он.

— Я думаю, найдется, — ответила Леночка и, поискав, принесла.

Свистонов покрыл все изображение ровной розовой краской и, взяв тридцать пятую новеллу, приступил к самому главному.

Выбрав и послунив тоненькую кисточку, все время заглядывая в новеллу, он стал наносить знаки разными красками. На груди между сосками он поместил серебряное распятие, по бокам — белую лилию, под распятием нарисовал герб и орла, на брюшной части, повыше пупка, вывел сочного льва с гривой и поднятым хвостом. Юбки он изобразил ситцевыми, женщине с веером придал нечто цирковое, собаку передал сладострастной, змею веселенькой зелененькой, а надпись «Боже меня храни» над непристойным местом вывел золотыми буквами...

Фон покрыл черной краской.

Свистонов, поднявшись на постели и выплюнув муху,

попавшую ему в рот, стал искать книжку наверху — на полке, потом внизу — в ночном столике. Он зажег несколько свечей, вставленных в бронзовые ампирные подсвечники. Вынул из ночного столика зеркало для бритья.

— Леночка, поставь воды, — сказал он.

Пока Леночка кипятила воду, Свистонов курил, задумчиво рассматривал рисунок, поставленный между свечами и зеркалом. Черный фон почти не пропускал света, и розовый человек выступал из коридора. Так забавлялся Свистонов. Затем, отложив рисунок, стал бриться и думать о том, куда пойти и с кем бы познакомиться.

Свистонов вошел в Дом Печати. Был литературный вечер. Молодая писательница выступала. После семи лет своей литературной деятельности, действительно славной, приковавшей к ее деятельности и к ней самой сердца лучшей части общества, она выкинула трюк, настолько непозволительный и циничный, что все как-то опустили глаза и почувствовали неприятную душевную пустоту. Сначала вышел мужчина, ведя за собой игрушечную лошадку, затем прошелся какой-то юноша колесом, затем тот же юноша в одних трусиках проехался по зрительному залу на детском зеленом трехколесном велосипеде — за ним появилась Марья Степановна.

— Стыдно вам, Марья Степановна! — кричали ей из первых рядов. — Что вы с нами делаете?

Не зная, зачем, собственно, она выступает, Марья Степановна ровным голосом, как будто ничего не произошло, прочла свои стихи.

Свистонов сидел в соседней комнате в кресле, откинувшись на цветную спинку с черными кариатидами, и прислушивался к голосам.

Голос в серой кепке говорил о том, что можно было бы взять Авеля и Каина в ироническом роде.

Голос в синей рассказывал о том, что он пишет книгу смертей, которая будет посвящена Пушкину, Лермонтову, Есенину и другим.

Голос в очках басил, что путают литературную критику с административными мерами.

Пьющий чай в третьей комнате крикнул: «Получите, пожалуйста».

Сидящий со шляпой в руке острил: «Мертвый локтей не раздвигает».

В антракте Свистонов пробился сквозь шумевшую толпу в зрительный зал.

Публика негодовала на представление.

— Итак, вы на меня не сердитесь? — спросил Свистонов у выходявшего Валявкина.

— Я понимаю, конечно, что искусство, но зачем же обязательно гильотина? — развел тот руками.

Протолкались в столовую, сели за столик у камина.

Свистонов рассматривал стекло поднятого им в воздух стакана.

— Выпьемте, — чокнулся он, — за ваше будущее выступление, за ваше исполнение. Эким талантом вас природа наградила!

Спустя немного к столику подсади еще литераторы, и скоро образовалось непринужденное и веселое общество. Анекдоты перемежались пивом, только что написанные стихи — облаиваньем рецензентов, разговоры о недавно вышедших книгах — смехотворными черточками их авторов.

Между тем заезжий писатель Валявкин то оживлялся, то опять становился печален.

Он обводил глазами столовую.

Он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, а между тем, точно нарочно, на него не обращали никакого внимания.

— Да, там известно. В Москве чтецы, — искося посматривая в сторону москвича, нервически рассмеялся человек за соседним столиком, — выйдет на эстраду, грудь колесом, полосатые чулочки выглянут, рука прострется и начнет прославляться: «Я и Шекспир». Или еще начнет перечислять предметы на все голоса и думает, что это стихи. Вы там в Москве живете, как канареечки, тесновато, а у нас здесь просторные палаты, — открыто обратился говоривший к москвичу.

Но его перебил другой молодой человек — агент по объявлениям:

— Наши литераторы свежим воздухом дышат, в Детском Селе живут, поближе к пушкинским пенатам! Мы здесь работаем по-настоящему, а у вас там в Москве лодыри.

— Бросьте, не стоит ссориться, — успокаивал секретарь месткома, — и Москва имеет свои достоинства, и Ленинград их не лишен. Мы действительно работаем здесь в тиши, а они там волнуются, а еще неизвестно, что лучше — спокойствие или волнение.

Куку, сидевшему за другим столиком, хотелось туда, где играло пианино, Куку влекла девушка с огромным ртом, с угреватым, грустным носом, с волосами, которые начинались почти у бровей и сильно поредели от аборт-ов. Она с псевдоизяществом ударяла по клавишам и пела:

До свиданья, друг мой, до свиданья...

Казалась комната Куку тихой, а девушка желанной. Но так как еще не наступила весна, то девушка влекла его недостаточно сильно. Ему, правда, нравилась линия ее плеч, плеч сильно покатых, и то, как поющая трясет в воздухе кистями рук, а затем выделяет пальцами фигуры на клавиатуре.

Хотя Куку был всем известен, но до сих пор Свистонов не обращал на него внимания. Тут же, в поисках за материалом, он решил с ним познакомиться.

Свистонов допил стакан и последовал за Куку туда, где играло пианино и девушка пела. Свистонова окружила толпа смеющихся молодых людей.

— Познакомьте меня с Куку, — сказал он, — мне он нужен для моего нового героя. — Часть молодежи отделилась и побежала.

Иван Иванович Куку страдал странной страстью писать письма. Это был толстый сорокалетний человек, великолепно сохранившийся. Его лицо, украшенное баками, его чело, увенчанное каштановой короной волос, его проникновенный голос вызывали сначала во всех знакомящихся с ним почтение. Такое умное лицо, говорили они, такие баки, такие вдумчивые глаза. Несомненно, Иван Иванович — человек значительный. Иван Иванович это чувствовал. Он старался холить как нельзя лучше свои баки. Он стремился к тому, чтобы глаза его постоянно светились вдохновением, чтобы лицо его всегда ласково улыбалось, чтобы все чувствовали, что он всегда думает о высоком и прекрасном. Все он совершал с величием. Брился он величаво, курил — пленительно, произносил ослепительно даже пустячок: я бы съел сегодня бифштекс.

«Несомненно, я похож на великого человека» — останавливался он иногда на улице перед зеркалом. И даже ученики трудовой школы глазели и говорили: «Смотри-ка, кто это?»

У Ивана Ивановича ничего не было своего — ни ума, ни сердца, ни воображения. Все в нем гостило попеременно. То, что одобряли все, одобрял и он. Он читал только книги, уважаемые всеми. Других книг он принципиально не читал. Он хотел быть светлым умом и достойной душой. Всегда он занимался тем, чем занимались другие. Когда увлекались религиозными вопросами, увлекался и он. Когда окрылились фрейдизмом, окрылился и он. Единственной оригинальной чертой его характера была страсть к письмам. Любил писать письма Иван Иванович и писал с дрожью. Всегда они начинались так: «Я честный человек, и поэтому должен я вам сообщить, что вы негодяй» — или: «Вы позволили себе распустить про уважаемого человека гнусную сплетню, вы — подлец» — или: «Вы отказались прийти по моему приглашению в рекомендованный мной вам дом и показать свои рисунки. Сообщаю вам, что ваши рисунки гнусны и что лишь снисходя до вас я увлекался ими». Пожимали плечами друзья, получая такие письма. «Ах, Иван Иванович,— говорили они друг другу, встречаясь на улице.— Надо у него побывать и его утешить. Все это ведь от нервности. Ведь если мы его оставим, то он останется совсем один, и неизвестно, что тогда с ним будет». Но прежде чем они, сговорившись, успевали побывать у него, Иван Иванович, осунувшийся и сгорбленный, приходил к ним и извинялся.

Под светом люстр знакомство состоялось.

Они — Свистонов и Куку — пошли друг другу навстречу. Они удивлялись, что до сих пор почему-то не были знакомы. Куку говорил, что он еще с юности следит за свистоновским творчеством и уже давно хотел познакомиться с автором, чтобы выразить ему свое восхищение. Свистонов говорил, что он слышал о Куку много прекрасного и интересного, что жаль, что Куку ничего не пишет, а что если бы взял Куку перо в свои руки, то, наверное, получилась бы очень интересная повесть.

Душа у Ивана Ивановича затрепетала. Показалось Ивану Ивановичу, что он нашел родственную душу, и стал петь лебедем Куку, стал позировать красавицей перед Свистоновым. «Посмотрите, какой у меня ум,— как бы говорил он Свистонову,— какое дивное образо-

вание. Ах, друг мой, друг мой! — как я страдаю. Почти не с кем мне побеседовать. Ведь я окружен ненастоящими людьми! Иван Дмитриевич, конечно, хороший человек, но ведь он нуль в биологии. Дмитрий Иванович неплох в филологии, но зато человек ужасный. Константин Терентьевич знающ, но всегда молчит. Терентий Константинович болтлив, но не сведущ». «А читали ли вы эту книгу? — спросил он, вынимая только что полученную книгу. — Она перевернула мое мировоззрение».

Из Дома Печати они вышли вместе. Куку был очарован. Свистонов обрадован. Они условились подружиться.

Куку жил в огромном доме, почти отдельном городе, где все было свое — и аптека, и магазины, и садик, и баня — на Лиговке. Иван Иванович Куку был любовью своих друзей. Они считали его неудавшимся гением. Они поражались его эрудиции, они принимали его порхание за разбросанность гениальной натуры. «Если бы Иван Иванович собрал свои знания и устремил бы в одну точку, мир перевернул бы он», — говорили они, расставаясь с Иваном Ивановичем Куку. И жалели его страшно.

Наступила весна, и Иван Иванович Куку решил прокатиться. Он сел в поезд. Сошел в Детском Селе и поехал на автобусе к Екатерининскому дворцу, превращенному в музей.

Иван Иванович сошел у лицея, встал у подъезда. Иван Иванович стал в профиль, так как он находил, что в этом положении его фигура еще более выигрывает. Он смотрел на улицу и делал вид, что читает. Он время от времени перелистывал страницы, смотрел, нет ли его знакомых. Между тем толпа у лицея собиралась. Некоторые подбегали к памятнику Пушкина, внимательно смотрели, стремились запомнить, возвращались на свой пост и делились впечатлениями.

- Конечно, страшно похож.
- Да нет же, у него нос не такой.
- А обратили внимание на лоб?
- И в сюртуке он как будто.
- А как думаете, какую он носит шляпу?

Со стихотворениями Дельвига Иван Иванович Куку пошел. Толпа в отдалении следовала за ним. Он прошел мимо памятника.

— А что, если он заgrimирован? — прошептала барышня.

— А это идея! Может быть, съемка в парке будет.

— Тише, а то все пойдут.

Толпа таяла, только молодежь следовала за Куку. Он прошел мимо дворца, повернул мимо служб налево, прошел по китайскому мостику, опять повернул налево по дорожке, прошел по мостику на островок. Куку любил великих людей нежной и странной любовью. Мог часами стоять перед портретом какого-либо великого человека. Величия жаждала душа его и какого-то необыкновенного подвига. Он любил страстно биографии великих людей и радовался, когда черты его биографии и великого человека совпадали. Походив по островку, Иван Иванович вернулся к лицу, важно и трогательно подошел к памятнику Пушкина, сел на скамейку и стал смотреть на бронзового отрока... Между тем молодежь стояла на китайском мостике и все ждала киносъемки. Она выбежала за ворота, смотрела направо и налево, не несется ли автомобиль с киноаппаратом, оператором, режиссерами и остальными артистами. Но клубы пыли на дороге не появлялись, а наступил час обеда.

Несколько разочарованные, обсуждая, что это значит, молодые дачники разошлись по домам.

Между тем Свистонов спешил к лицу.

Утро. Через сад еще торопились служащие на работу, когда Свистонов уже сидел на скамейке и поджидал Куку. Было холодно, было серо, было неприятно. Свистонов встал со скамейки и прошелся по саду.

Бюсты чернели на фоне одетых инеем деревьев.

В ворота Адмиралтейства въезжала телега.

За решеткой по мостовой промаршировали матросы.

По направлению к Республиканскому мосту двигались дроги.

Свежевыкрашенный в исторические цвета Дворец Искусства как бы уносился с площади.

Ангел на колонне, а ниже его — несущаяся квадрига, а ниже ее — два этажа и арка, откуда только что вылетел автомобиль.

Вверху небольшой аэроплан удалялся по направлению к Петропавловской крепости.

Наконец с трамвая сошел Куку в летней шляпе.

Свистонов пошел навстречу.

Пожал ему руку.

Сегодня они шли в Эрмитаж. Свистонову хотелось поискать изображений охоты.

Куку хотелось пройти по залам, себя показать, людей посмотреть.

— Поверите ли, — произносил Куку, — в детстве меня чрезвычайно расстраивало, что у меня нос не такой, как у Гоголя, что я не хромаю, как Байрон, что я не страдаю разлитием желчи, как Ювенал.

Глава вторая

ТОКСОВО

Медленно поднимался поезд. Куку и Свистонов сошли на станции, купили папирос и затряслись на таратайке. Избушка была заранее снята. Комната, в которой поселились Свистонов и Куку, выходила окнами на дорогу. Кроме этой комнаты и бревенчатой прихожей, других помещений в этой избушке не было. Построена она была специально для дачников, наспех. Стены комнаты были оклеены самыми дешевыми обоями, из сосновых досок были устроены нары, столик.

Снявшие убрали стены привезенными книгами. Свой угол Куку превратил в кабинет для работы. Он прикрепил к столу кнопками синий лист промокательной бумаги, поставил подсвечники и положил стопку чистой писчей бумаги; достал гусиные перья, одно подарил Свистонову, другое оставил себе. Сидя рядом, по вечерам они дружно будут работать, как Гонкуры, он изобретет сюжет, а Свистонов... Конечно, пора, пора ему, Куку, сесть за работу.

Однажды вечером в нескольких верстах от Токсово горел костер у подножия одного из холмов. Дачники лежали полукругом, подкидывали сосновые ветки, беседовали о политике.

Майские жуки летали вокруг молодых сосенок.

Песчаной стеной вниз обрывалась зелень.

Свистонов, глухая прачка Трина Рублис, Куку и городская девушка Наденька сидели среди дачников.

Трина Рублис была с прошлым, пышным, диким, обладала еще недавно красотой. Но года два тому назад она вся как-то обмякла и распустилась. Пепельные волосы ее уже не вызывали больше сравнений, а розовые щеки стали желты и одутловаты.

Неизвестно, о чем думало в тот вечер существо, жившее в мире, лишенном звучаний. Может быть, в ее воображении восставал красавец офицер Дикой дивизии, обвенчавшийся с ней наспех в Детском Селе во время наступления Юденича на Петроград по паспорту своего убитого товарища, затем бесследно, может быть не по своей вине, исчезнувший.

Куку важно сидел у ног девушки, смотрел поверх костра на рябь озера.

Свистонов сжимал руку прачки и, убедившись, что никто его не слушает, и зная, что она его не услышит, рассказывал ей, издевался над глухой бывшей красавицей. Та смотрела на его губы и думала, когда же ей следует рассмеяться.

— Вот я свел Куку с девушкой, — продолжал Свистонов, глядя руку глухой. — Я потом перенесу их в другой мир, более реальный и долговечный, чем эта минутная жизнь. Они будут жить в нем, и, находясь уже в гробу, они еще только начнут переживать свой расцвет и изменяться до бесконечности. Искусство — это извлечение людей из одного мира и вовлечение их в другую сферу. Литература более реальна, чем этот распадающийся ежеминутно мир.

Немного в мире настоящих ловцов душ. Нет ничего страшнее настоящего ловца. Они тихи, настоящие ловцы, они вежливы, потому что только вежливость связывает их с внешним миром, у них, конечно, нет ни рожек, ни копытец. Они, конечно, делают вид, что они любят жизнь, но любят они одно только искусство.

— Поймите, — продолжал Свистонов, он знал, что глухая ничего не поймет, — искусство — это совсем не празднество, совсем не труд. Это — борьба за население другого мира, чтобы и тот мир был плотно населен, чтобы было в нем разнообразие, чтоб была и там полнота жизни, литературу можно сравнить с загробным суще-

ствованием. Литература, по-настоящему, и есть загробное существование.

Костер догорал. Дачники разошлись собирать хвост.

Куку важно дремал у ног Наденьки.

Свистонов, сидя на огромном пне, беседовал с глухой.

Свистонов встал, подошел к спящим, сел рядом, стал внимательно рассматривать озеро, линию одинокой искривленной березы у обрыва, возвращающихся с хвостом дачников, спящих молодых людей.

— Вообразите,— продолжал он, вежливо склоняясь,— некую поэтическую тень, которая ведет живых людей в могилку. Род некоего Вергилия среди дачников, который незаметным образом ведет их в ад, а дачники, вообразите, ковыряют в носу и с букетами в руках гуськом за ним следуют, предполагая, что они отправляются на прогулку. Вообразите, что они видят ад за каким-нибудь холмом, какую-нибудь ложбинку, серенькую, страшно грустненькую, и в ней себя видят голенькими, совсем голенькими, даже без фиговых листочков, но с букетами в руках. И вообразите, что там их Вергилий, тоже голенький, заставляет плясать под свою дудочку.

В вечернем сумраке голос Свистонова крепчал.

Трина удивлялась, на кого сердится Свистонов, осматривалась по сторонам.

Уже сходили они с одного холма, поднимались на другой, сходили и с этого холма, поднимались на третий, озера все время были по обеим сторонам гуляющих.

Глухонемая знаками показывала, что она любит траву и чтобы солнце грело спину.

Повернув лицо к Свистонову, дотронулась до своей спины.

Свистонову показалось, что Трина озябла. Он снял пиджак и набросил ей на плечи. Она улыбнулась, затем она побежала, все время оглядываясь. Свистонов бежал за ней.

Достигли берега.

— Я хочу купаться,— знаками показала глухая.

Отвернувшись, Свистонов отошел и сел спиной к озеру. Трина Рублис отошла за кусты и разделась. Она осталась в одной рубашке, рубашку поддерживали две розовые ленточки, на груди была вышита роза. Глухая повесила чулки на куст.

В рубашке Трина Рублис вбежала в озеро. В воде она принялась шуметь. Свистонов понял, что она хочет, чтобы он повернулся. Свистонов нехотя подошел к воде. Сравнительно далеко от берега виднелась голова глухой, обвязанная полотенцем. Затем глухая поплыла к берегу; еле прикрытая водой, она легла у берега.

Свистонов в рубашке вошел в воду. Взявшись за руки, они поплыли.

У костра не заметили их отсутствия или сделали вид, что не заметили.

Глухонемая села поближе к Свистонову и уставилась на огонь.

И под влиянием ли наступавшей ночи и свежести или по другой причине, Федюша — чтец стихов и оратор — предложил скакать через огонь, но его предложение отвергли. Тогда культпросветчица предложила играть в горелки.

День был воскресный, и потому, что день был солнечный, от отдаленного вокзала, построенного в готическом вкусе, двигались многочисленные экскурсии, предшествуемые музыкантами. Трубы сверкали на солнце. Рабочие с женами, украшенные цветами, торопились за ними, смеялись, срывали травку или листочек с куста и жевали.

Другие экскурсии состояли из подростков в красных платочках, из юношей в трусиках, несших сандалии в руках. Третьи — из учащихся, почему-либо застрявших в городе. Все процессии были снабжены плакатами, инструкторами с повязкой на руке.

В такие дни трактир «Русская Швейцария» оживал.

За столиками становилось шумно. Чокались пивом, обнимались, ели мороженое, хохотали, перебежали от одного столика к другому, ели яичницу с колбасой, простоквашу, огурцы, вытаскивали из карманов или ридикюлей леденцы и сосали. То там раздавалось «тру-ру-ру», то здесь.

Оживали после двух часов и холмы над озером, оркестр располагался на самой вершине холма, где-нибудь под двумя-тремя соснами. Толпы в разноцветных трико купались и, лежа на животе, загорали. И опять то

там раздавалось «тру-ру-ру-ру», то здесь и уносилось за холмы.

Токсовские возвышенности превращались в живые человеческие горы, и плакаты тогда, колеблемые ветром, казались знаменами и штандартами и горели на солнце своими белыми, желтыми, черными, золотыми буквами.

Сухонькая Таня и сухонький Петя вышли. Петя запер дверь и потрогал замок.

— Вот мы снова на лоне природы. Все же мы десять лет не были на даче. Захватила ли ты журналы и газеты? Приятно почитать, лежа под тенью дерева.

— Ты все прежний,— надевая митенки и раскрывая летний, с кружевами и костяной ручкой, длинный зонтик, радостно замечталась Таня.

Они пошли прямо по полю к озеру. На Тани была коротенькая клетчатая юбочка, позволявшая молодым людям насмеяться над ее кривыми ножками, и крепдешиновая кофточка с треугольным вырезом, украшенная голубенькой ленточкой, несколько замусоленной.

— Солнышко греет,— сказала Таня.

— Да,— подтвердил Петя.

— Смотри-ка — цветы,— наклонилась Таня.

— Куриная слепота,— добавил Петя.— Какая ты у меня молоденькая!

— Я побегу! — И Таня пошла по тропиночке, стала нагибаться, срывать цветы, плести венок. Петя сел на пенек и раскрыл газету. Лицо у Пети было все в морщинах. Спина сутулая, глаза близорукие.

Таня пела романс и, сплетая венок, медленно шла вниз в долину.

Ее старческие ручки довольно быстро срывали клевер, ромашку, колокольчики. Ее сухонькие ножки ступали почти уверенно по траве.

— Хорошо здесь, Таня,— услышала она дребезжащий голос сверху.

И опять молчание.

Только наверху шуршит газета.

Внизу бесшумно порхают бабочки. Седые волосы выбиваются из-под голубенькой шапочки. А Таня смеется. Ах, молодость, молодость! Расстилает носовой платок, садится на него, снимает шапочку и, надев на голову веночек, слушает, как гудит и поет и шелестит трава.

По утрам Таня по старой привычке обтирает Петю. Сколько возни с мужем! И стоит худенький старичок в тазу с водой, а она его обтирает.

Петя играл когда-то на флейте в Академическом театре. Играл он с чувством, а Татьяна Никандровна где-нибудь сидела с подругой и слушала.

И наверху Петя, опустив газету на траву, достает из футляра флейту, играет.

Свистонов, гуляя над берегом озера и наблюдая праздничную толпу, слышит флейту.

Есть у супругов собачка. Она заменяет им ребенка. Маленький, славный девятилетний фоксик, так быстро и незаметно состарившийся. Правда, по-прежнему у него розовая ленточка вокруг шеи и по-прежнему он бежит, опустив мордочку по дороге, но зовут его супруги уже не Травиатой, а просто старушкой. Сидит «старушка» с розовым бантиком рядом со старичком, плюющим во флейту, а внизу другая старушка с голубым бантиком, стриженная, с веночком на голове, лежа с зелененьким листиком во рту, на небо смотрит.

Но вот фоксик бежит и садится рядом со старушкой и смотрит в траву, как бы засыпая.

Свистонов шел, раздвигая кусты палкой.

Глухонемая жеманно шла, искривив шею.

Старик играл все воодушевленнее.

Долго смотрел с холма Свистонов и слушал флейту. Затем спустился.

— Позвольте представиться, — сказал он, — Андрей Свистонов.

— Очень приятно, — опуская флейту, засуетился застигнутый врасплох старик.

Свистонов сел рядом со стариком. Глухонемая стояла в отдалении.

— Вы дивно играете, — начал Свистонов. — Я люблю музыку. Мне уже давно хотелось с вами познакомиться.

Старик зарумянился.

— По вечерам я слышу, как вы играете...

Гуляя вокруг озера, Свистонов и Куку встретили Наденьку, шедшую в обществе брата и сестры Телятниковых. Наденька медленно шла, играя прутиком, брат и сестра шли по бокам. Это были двадцатилетний Паша, считавший себя стариком и принципиально говоривший

умные вещи, и семнадцатилетняя Ия — всезнайка. Паша был сосредоточен и мрачен, так как полагал, что у него дурная наследственность и что он возвращен с малолетства. Ия была жизнерадостна и говорила об Анатоле Франсе. Сестра и брат дружили с Наденькой и ненавидели друг друга.

Увидев Свистонова и Куку, Телятниковы поклонились и пошли навстречу поздороваться.

— Андрей Николаевич, — сказала Ия, — какой я вам новый анекдот расскажу! — И пошла рядом со Свистоновым направо.

Куку, Наденька и Паша следовали за ними. Паша считал Свистонова крупным талантом. Поэтому с завистью смотрел, как Свистонов говорит с Ией. Паша страшно обрадовался, когда Свистонов, полуобернувшись, продолжая идти, обратился к нему, юноша, тотчас же добежав, пошел по другую сторону. Брат и сестра были честолюбивы.

Куку и Наденька отставали.

— Хотите сыграемте в рюхи? — предложил Свистонов брату и сестре, когда вдаль показались дачи.

Паше неудобно было отказаться, хотя это он считал ничтожным и презренным времяпрепровождением. Ия с радостью согласилась и побежала доставать палки и рюхи из ямки. Свистонов взял палку и принялся чертить городки. Но вот наверху, на холме, показались Куку и Наденька.

Свистонов пошел навстречу.

— Мы собираемся в городки играть, — сказал он. — Не желаете ли принять участие?

Но Куку отказался.

— Удивительный человек Свистонов, — произносил, идя вниз к озеру, Куку, держа Наденьку за локоть. — Какая бодрость в нем, какая веселость, какое остроумие. Он, по-видимому, любит Токсово. А мне оно совсем не нравится. Здесь природа не вызывает душевного волнения. А я люблю там жить, где все величаво. Хорошо жить в обществе великих людей, беседовать с великими людьми.

— Постойте, Иван Иванович. — Наденька подняла глаза. — Смотрите, как хорошо здесь.

Глаза у нее были действительно прелестные, полузеленые, полукарие.

На небесах были барашки в тот вечер, а в озере — и лазурь, и барашки.

Куку накрыл пень своим пальто. Наденька села.

Куку сел пониже.

— Наденька, — сказал он нежно, — этот вечер волнует меня. Не в такой ли вечер князь Андрей увидел Наташу на балу и запомнил. Любите ли вы Наташу?

Наденька мечтательно курила, следила, как распускаются в воздухе кольца дыма.

— Зачем вы курите, Наденька? — спросил Куку. — Это совсем не подходит к вашему образу. В вас должна быть великая жизнерадостность и естественность. Бросьте курить, Наденька. — Настоящее страдание звучало в голосе Куку.

Наденька бросила папироску. Папироса упала на сухой дерн и продолжала тлеть и дымить.

— Но я ведь собираюсь стать киноартисткой, — помолчав, сказала девушка.

— Наденька, это невозможно, — пробормотал Куку.

— Как невозможно, Иван Иванович?

— Если вы доверяете мне, не делайте этого шага. Поверьте моей опытности. Вы должны быть Наташей!

Наверху появился Свистонов с сестрой и братом. Свистонов сел с Ией под деревом. Паша стал читать писателю стихи.

— Здорово, — сказал Свистонов, — талантливо.

Паша просиял.

— Значит, стоит писать? — спросил он.

— Конечно, стоит! — подтвердил Свистонов и посмотрел вниз.

«Пора», — подумал он.

— Не будете ли вы любезны? — обратился он к Ие. — Спросите у Ивана Ивановича, который час.

Ия бросилась со всех ног.

В тот момент, когда Иван Иванович любовался озером, явилась Ия и, улыбаясь, спросила у задумавшегося:

— Который час?

Куку вынул часы.

— Десять, — солидно ответил он. — Где Свистонов?

— Ждет наверху.

Ия подошла к Наденьке.

— Проскучала? — спросила она тихо.

Теперь шли втроем — Свистонов, Наденька, Куку. За ними шли Телятниковы.

— Не думаешь ли ты, — мрачно спросил Паша, — что Свистонов нарочно играл с нами в городки, чтобы Куку мог полюбезничать с Наденькой?

— Брось, пожалуйста, — ответила Ия. — Откуда такая подозрительность? Просто Свистонов любит молодежь.

Опять день был воскресный. У кирки стояли таратайки. Кирка была наполнена девушками, похожими на бумажные розы, и желтоволосыми парнями. Играл орган. Сквозь цветные стекла падал свет. Наверху стояли Наденька и Куку. За ними — Свистонов и Трина Рублис. Наденька и Куку смотрели вниз на крестины, иногда бросали взгляд на проход и видели, как невеста, жених и сопровождающие готовятся двинуться к алтарю, лишь только кончатся крестины.

Жених волновался и переступал с ноги на ногу. Невеста была красна как рак.

— Какой материал для нас, Андрей Николаевич, — откинув голову, сказал Куку на ухо Свистонову. — Закрепите, прошу вас, закрепите это! — И Куку снова принялся смотреть.

Белокурая головка Наденьки была близка от него, и он представил свою свадьбу. Гордость изобразилась на лице Куку. Он увидел себя стоящим рядом с Наташей, то есть с Наденькой. На Наденьке белое платье, фата, в руках у неё свеча с белым бантом, и гулкие своды собора...

Достав платок, важно обтер лицо свое Куку.

Глухонемая вспоминала Ригу, красивый город Рига, и надежды, и свою прогулку с приехавшим на каникулы студентом Тороповым в лесок.

Но Куку помешал ее воспоминаниям. Он кашлянул, напряжинил грудь. Теперь он презрительно смотрел вниз. Молодые двинулись. Все в церкви зашевелились. Головы всех повернулись к проходу. Смотрел и Свистонов.

Играл орган. Затем говорил пастор. Затем опять играл орган.

Сквозь цветные стекла видно было, как колышется листва деревьев. Видно было, что листья освещены солнцем.

— Очень хорошо, — произнес Куку. — Но я хотел бы для своей свадьбы большего великолепия.

Когда вышли из кирки Наденька, Куку, Свистонов и глухонемая, обратно летели таратайки.

— Зайдемте выпьемте пива,— предложил Куку, и, вмешавшись в толпу, они вошли в сад при трактире. Все столики и скамейки были заняты. Смех, тяжелый запах пива, струйки дыма, разгоряченные лица, песни, звуки балалаек, гитар и мандолин.

— Настоящий Ауэрбахов кабачок на свежем воздухе,— сказал Куку Свистонову.— Недостает только Фауста и Мефистофеля.

— Ах, Иван Иванович,— ответил Свистонов.— Вечно литературные воспоминания. Надо подходить к жизни попроще, непосредственней.

Наконец один из столиков освободился. Четверо друзей сели и потребовали пива. В это время к ним протолкались брат и сестра.

— Можно сесть? — спросили они и кое-как устроились на конце скамейки.

— Я умею пить,— сказала после пятого стакана Ия,— а вот ты, Паша, хотя и мужчина, не умеешь.

— Я умею пить,— ответил Паша,— но я сдерживаю себя.

— Очень я интересный анекдот вспомнила.

— Меня твои анекдоты не интересуют.

— А меня — твои стихи!

— Не сорьтесь,— попросила Наденька.

За соседним столиком шел оживленный разговор:

— А насчет немцев ты, брат, не прав. Когда я в немецком плену был...

— А бабонька неплоха. Пойду приударю.

— Куда ты, размяк. Сиди!

Слева:

— Нет, нет. Митя, посмотри, задок какой. Маша, Маша, поди сюда.

Направо под соснами:

— Да, Петя, культура — великое слово. За него, мне Иван Трофимович говорил, люди на костер шли.

— Ну да, ты культуру построишь. Выпей, дурачок.

— Митька, я недавно прозрел, теперь в церковь хожу. Ты только никому не говори, понимаешь, никому.

Голос из толпы, дожидавшейся свободных столиков:

— Володя, Володенька! иди в помойную яму поспать.

Пьяный, шатаясь, кричит:

— Подойди сюда, ударю!

За оградой показывается группа: парни ведут за кисти рук девицу, вокруг подпрыгивают мальчишки.

У девицы платье в беспорядке, волосы распущены. Она плачет горячими слезами и кричит:

— Ой, тошно мне, ой, тошнехонько. Ой, дайте повязаться! — пытается вырваться. Парни, смеясь, ломают ей руки. Она пытается броситься на землю, но, подхваченная под мышки ухмыляющимися, опускается.

— В кустах с мужиком спала, — поясняют толпе парни. — В милицию ведем.

— Нет, нет, вы не Наташа, вы Гретхен, — шепчет опьяневший Куку. — А я — Фауст, а Свистонов — Мефистофель, а глухонемая — Марта!

— Не говорите ерунды, — раздраженно прерывает Свистонов.

Тяжело ступая, к столику друзей подходит пожилой рабочий.

Он останавливается, шатаясь.

— Вы, просвещенные люди, спросить вас можно, почему...

Куку от волнения задевает локтем Свистонова.

Шепотом:

— Сцена за городскими воротами. — Восторженно: — Сейчас доктором меня назовет!

Рабочий, всматриваясь в лицо Куку, размышляя:

— Гражданин, осмелюсь спросить, не доктор вы будете?

Куку самодовольно смеется.

Куку, Наденька, Свистонов и глухонемая, Паша и Ия, условившись совершить веселую прогулку, отправились к отдаленному озеру. Они захватили с собой одеяла, думки, мясные консервы, папиросы, немного коньяку.

Еще солнце чуть освещало вершины холмов, когда они вышли. Вчера шел дождь, и сегодня с холмов бежал беловатый туман к озерам, но небо было голубое, и воробьи чирикали и взлетали на сырую, покрытую блестящими каплями листву, раскачивались на кустах, слетали на извивающуюся вдаль дорогу. Канавы по сторонам просыхающей и час от часу желтеющей дороги были полны воды.

Ия хорошо зарабатывала, она носила желтые ботинки, купленное по случаю заграничное пальто и желтый портфель на ремешках. Она купила коньяку, головку голландского сыра, банку свежей икры, несколько банок

монпансье и компота. Она шла с зеленым мешочком за спиной впереди.

Паша ничего не купил, но ему покровительствовала Наденька. Она навьючила на него столбик своего любимого печенья, пирожки с вареньем, одеяло, подушечку для головы, полотенце, мыло, кружку и зубную щеточку. Глухонемая несла ватрушки и котлеты.

Куку был великолепен: он специально для прогулки съездил в город, привез краги, купил серую кепи, надел макинтош. Он, держа в руке артистический чемоданчик, шел веселый. В чемоданчике бок о бок с Пушкиным лежали телятина, ростбиф, ножи, вилки, входившие один в другой стаканчики, бутылка французского вина.

Не отстал и Свистонов. Он нес складную палатку, зеркало, фотографический аппарат.

Свистонов делал вид, что он ухаживает за глухонемой. Ему интересно было, какие возникнут сплетни.

Он нагибался, подносил ей цветы, сорванные у канавы.

Наденька с удивлением оборачивалась.

Куку, не желая отстать от Свистонова, рвал тоже цветы и, соединив их в букет, подносил Наденьке.

Паша забегал далеко в поле, приносил васильки пучками.

— Вы умеете свистать? — спросил Свистонов Ию. — Посвистите.

Ия стала виртуозно насвистывать.

— В ногу, — предложил Свистонов. — Давайте пойдете в ногу.

Куку, улыбаясь, переменял ногу.

Наденька спросила, как это делается.

Куку показал.

Так шли они до ближайшей деревни. Фокстрот насвистывала Ия.

Подошли они к деревне. Молочницы и дети с любопытством смотрели, куда это они идут в таком боевом порядке. И, чувствуя на себе любопытные взгляды, шестивие улыбалось.

— Держите шаг, — говорил Свистонов. — Громче, Ия. Еще громче.

— Не следует ли нам закусить? — внезапно спросил Куку.

— Я чувствую собачий голод, — повернув голову, сказала Ия.

— А вы, Наденька?

— Я с удовольствием.

— К сосне, там тень и прохлада и совершенно сухо.

— Дайте мой чемоданчик, — попросила Наденька.

Паша передал.

Ия скинула свой зеленый мешок, стала рыться.

Куку раскрыл чемодан и принялся доставать ножи, вилки, стаканчики.

— Подумать только, несколько лет тому назад, — сказал Куку, — под Питером были волки.

— Неужели? — спросила Наденька.

— Нам всем тогда казалось, что все кончено, а вот теперь мы пьем и едим и все осталось по-прежнему.

— Вы думаете? — спросил Свистонов и улыбнулся.

— Я вчера прочел новую биографию Наполеона и пожалел, что я не маленького роста.

Ия откупоривала. Тщетно Иван Иванович отнимал у нее пробочник. Наденька резала ростбиф, телятину. Единогласно она была избрана хозяйкой.

Наденька искренно веселилась.

Когда все насытились, Куку вынул переписку Тургенева с Достоевским и стал читать, но разморенные едой путники стали сидя засыпать.

Наденьке привиделась комната в два окна. Светло, светло — на улице солнце. У одного окна сидит девушка, над ней наклоняется мужчина, высокий, тощий, с отвратительным лицом, лысый, с длинными, прямыми волосами. Особенно отвратительны глаза на сером лице. Они какие-то сверлящие. Одет он в грязный коричневый костюм XVI века, как в одном из исторических фильмов. Она знает, что он хозяин ее судьбы и что он сделает с ней, с Наденькой, все, что захочет, и страшно боится его.

Начинает бежать по бесконечным комнатам. Огромный дом, вроде лабиринта. Живет в нем только этот человек. Бежит она по коридору, снова по светлым комнатам, по гостиным с лепными стенами, иногда в конце коридора видит его. Он злорадно смеется, и она снова бежит и знает, что все время он ее видит и находит. Наконец вбегает она в комнату вроде кухни, знает, что здесь дверь на улицу. Смотрит на стену и понимает сразу, почему этот человек знает, где она: на стене план этого дома, а весь путь ее, Наденьки, показывает в нем мед-

ная тоненькая проволока, которая сама ложится по ее следам, все время указывая, куда Наденька идет. От проволоки остался маленький свободный конец, и Наденька видит, как она ее отгибает и ставит торчком. Теперь она знает, что проволока ничего не укажет.

Выбегает на улицу. Все дома недостроены. Это еще только высокие, в шесть этажей и выше, футляры с огромными, вышиною в два этажа, отверстиями для окон. На улице груды грязи, известки и щебня.

Среди этих домов стоит один законченный, но он далек. Там виден свет, и она решает бежать туда.

Среди недостроенных домов, всё в подвалах, идет, спотыкаясь, дальше, дальше. Впереди совсем темно, как в шахте, и щетиной торчат острые железные прутья. Заблудилась! Дома давят, она боится, что они сейчас рухнут, и видит свет.

К ней идет совсем молодой юноша, и за ним все время виден свет дорóгой. У него очень хорошее лицо. Бежит к нему и рассказывает, как она бежала из лабиринта. Когда рассказывает, что загнула конец проволоки, у юноши делается торжествующее лицо. Он берет ее на руки и, очень легко ступая, несет к свету. Затем переносит к большому дому и говорит: «Мы будем жить здесь. Я знаю одну комнату, и хотя лабиринт рядом, но тот никогда не догадается искать так близко».

Кругом бежит и суетится народ, но на них никто не обращает внимания. И они идут по темным коридорам, где свет так слабо виден, как на картинах голландских мастеров...

Наденька вздрогнула, проснулась и осмотрелась. Под большой сосной сидел Куку, перелистывал книгу. Свистонов, прислонившись к дереву, стоял и смотрел на нее. Ей стало неприятно.

Паша лежал согнув колени, и ему казалось, что он летит в пропасть, что в пропасти у него распухает большой палец на ноге, что появляется нарыв, превращается в глаз. Это было противно, и он проснулся. Протерев кулаками глаза, дотронулся до ноги. Зевнул.

— Я видел глупый сон, — сказал Паша, — что на ноге у меня вырос глаз. Говорят, Иван Иванович, что вы знаток снов.

— А, вы умеете толковать сны? — оживилась Наденька.

«Вот и тема для разговора», — подумал Куку и солидно ответил:

— В древности снам приписывали огромное значение. Существовала даже целая наука, если можно это назвать наукой, онейрокритика. Античный мир никогда не сомневался, что сны вызываются в душе божественной силой. — Куку, довольный своими познаниями, посмотрел на всех, слушают ли все и как слушают. — Поэтому, с этой точки зрения, — продолжал он, — сон есть знамение; но если обратить внимание на час, когда вы видели сон, и на то, что мы перед тем плотно покушали, то сон ваш, Наденька, не совсем надежен.

И победоносно Куку обвел глазами слушающих, и, чтобы внушить еще больше уважения к себе Наденьки, он решил вспомнить Апулея.

— По мнению Апулея, последствием обильной еды бывают мрачные и гибельные сновидения, — произнес он с пафосом. — Кроме того, онейрокритики утверждают, что винные пары даже утром мешают видеть во сне истину. Но я отнюдь этого не думаю, Наденька, хотя и не знаю вашего сна, — развел он руками.

— Не расскажете ли вы нам, что вы видели во сне? Это очень интересно, я же вспомню сны великих людей, и в воспоминаниях мы проведем время до заката. Я расскажу вам сны великих людей... Теперь только я вижу, как здесь красиво, кругом холмы...

И забыв, что Наденька еще не рассказала своего сна, Куку, задумавшись, начал:

— Прежде всего следует вспомнить...

Ия и Паша подошли поближе и остановились. Но Наденьке было грустно, и она невнимательно слушала. Ей неинтересны были сны великих людей. Хотя ее сон кончился вполне благополучно, но все же ей казалось, что все стало темно вокруг, даже как-то прохладно. Да и действительно, небо за время послеобеденного отдыха сплошь затянулось тучами.

Вдали прогрехотало.

Бросились собирать вещи и переносить к стволу сосны. Свистонов, с помощью брата и сестры, расставил палатку. Сейчас все забралось в нее, перенесли вещи от сосны.

— Ну что ж, дождь не идет, — пошутил Иван Иванович.

— Подождите, Иван Иванович, — прервала Ия. — Яведу в «Красной газете» уголок природы. Я спец по погоде.

В палатке было темно. Свистонов закурил.

— Андрей Николаевич, не курите,— сказала неприязненно Наденька.— Здесь душно.

Свистонов бросил папироску.

— Паша, не смейте, отойдите,— приказала Наденька.

— Наденька,— произнес Куку.— Время самое подходящее. Темно, бушует буря. Мы все обещаем внимательно вас слушать.

Гроза отошла.

Один, держась за ствол сосны, курил Паша. Он размышлял о поцелуе Наденьки. Братский это был поцелуй или не братский? Пожалуй что только братский. Слишком легок, слишком воздушен. «Не любит она меня,— подумал он,— и не может полюбить. Чтобы любили, надо быть разговорчивым, и потом, у меня нет никакой будущности. Кончу институт, стану географию преподавать,— рассмеялся он.— Пусть будет так, а в газетах работать не буду. Пусть Ия зарабатывает. Но Наденька любит театр, сладкое, кинематограф...»

— Мечтаете? — спросила Наденька, подходя по тропинке сзади.— Это хорошо — мечтать. Я сяду, а вы положите свою голову мне на колени и продолжайте мечтать. Я буду думать, что я героиня фильма, хорошо жившая женщина, а вы несчастный молодой влюбленный. Я буду гладить вас по голове.

Паша покорно лег на траву и положил голову на край платья Наденьки.

— Я люблю,— сказал он тихо.— Я по-настоящему люблю вас.

— Великолепно,— прервала Наденька.— Побольше страдания. Так, так. О, мой дорогой! — Опустила она лицо и приложила руку к сердцу.— Я верю, что вы страдаете! Как грустно, что мы встретились так поздно, когда я люблю уже другого! Пусть ничтожного, пусть развращенного, но с сердцем,— глубоко вздохнула она,— ничего не поделаешь. Вы чистый, вы тонкий, вы только...

— Наденька! — простонал Паша.

— Целуйте руки и плачьте, встаньте и отойдите к обрыву. Я подойду,— стараясь не разжимать губ, сказала Наденька.

Паша покорно встает, целует руку, медленно подходит к обрыву.

Наденька сидит, смотрит, затем бежит и кричит, стараясь бежать красиво:

— Арнольд, Арнольд!

— Вы душечка, Паша, — говорит она, — дайте я вас поцелую.

Сосны шумели ветвями, на кустах шиповника адели ягоды. Бывший анархист Иванов поднимался. Он был среднего роста, лицом бледен, долгогрив. Он шел, опираясь на палочку. Опустился на скамейку у палисадника.

На даче, недалеко от озера, вышла на веранду Зоя Знобишина, зевнула, заложила руки за шею и, подняв лицо, направила локти вперед и опять зевнула. Села в кресло-качалку и принялась рассматривать свои руки. Затем повернула голову направо к саду, снова зевнула. С интересом стала смотреть на кошку, ползком подбирающуюся к голубю. Прошла по веранде, сошла в сад, подумала, что солнце печет, что пора одеваться.

В соседней даче на холме многозначительно беседовали мамы о своих играющих детях. Конечно, их дети будут инженерами, у них уже сейчас необыкновенные способности. Один уже и сейчас гудит, как паровоз. Другой мечтает о подводной лодке.

Зоя Знобишина опять вышла на веранду. Она натянула шаль и опять ее отпустила. Пожевала губами. Теперь все так неинтересно! Она шла, пожевывая губами, делая зигзаги по тропинке. Иванов встал, поклонился.

— Скучаете? — спросила Зоя и села рядом. — Тяжело вам живется, — сообщила Зоя.

— Н-да, не жизнь, а жестяночка, — соединив колени и приподымая их, посмотрела Зоя на Иванова. — Люблю я таких людей, как Свистонов. Веселый он человек.

— Опустошенный.

— Завидуете, — решила Зоя.

— Дался вам Свистонов.

— Вы подождите! Вот подождите, познакомлю я вас с ним, он вас и опишет. Поглядит, подглядит и опишет. Вы для него подходящий материал. Он любит мертвеньких.

— Я не мертвенький, Зоя Федоровна.

— Врете, мертвенький. Скучно, — пожевала она губами.

Наступил день рождения Зои Федоровны...

Она не скрывала своих лет. Розовая, румяная, с подкрашенными недавно волосами, она ждала гостей.

Должны были приехать Павлуша Уронов, драматический актер, Аллочка Базыкина — птичка, так ее звали в глаза и за глаза, Ваня Галченко — культурный молодой человек, Сеня Ипатов — несбывшийся певец, — всё это были очень интересные люди. По крайней мере такого мнения были они друг о друге.

С утра мороженщику Пете велено было подъехать с тележкой к пяти часам вечера, чтобы сразу же после обеда было мороженое. С утра Зоя Федоровна и прислуга чистили малину. Иванов им помогал. С утра приходили поставщики: кто приносил творог и сметану, кто грибы, кто рыбу.

Первый приехал Ваня Галченко — культурный молодой человек. Он принес купленную на барахолке фантазию XIX века. Фантазия изображала сосуд, по-видимому помпеянский.

— Ах, я не могу, не могу, — замахала руками Зоя Федоровна. — Видите, я малину чищу.

— Ничего, — ответил Ваня и, взяв, поцеловал обнаженный локоть. — Поздравляю. — И поставил на комод пакет.

— Вы посидите пока в саду, я скоро кончу.

Ваня сошел в сад и присел на скамейку. Лицо у него было незаметное, с небольшим лбом. У Вани был вид слегка помятого и невыспавшегося человека. У него были очень коротенькие реснички. Он был одет в выцветший синий костюм, и галстук торчал у него горбом из-под жилета. Ваня умел немного играть на рояле, слегка пел, мог потанцевать, любил, после чтения Курбатова, Петербург и его окрестности. От нечего делать посещал с 1918 по 1924 год музеи. Теперь где-то служил.

Ваня, посидев и поскучав, вышел за калитку, спустился на дорогу и, повернувшись лицом по направлению к готическому вокзалу, стал ждать гостей.

Задымилась пыль по дороге, и показалась голова лошади. Вскарабкалась лошадь на гору и вывезла таратайку с Павлушей Уроновым и птичкой.

Подбежал Ваня Галченко, помог вылезти Аллочке Базыкиной и поздоровался.

— Ну как? Что слышно новенького? — спросил он, не надеясь услышать новенького.

Беседуя о погоде и о поезде и о том, что в городе пыльно, проводил Ваня гостей до веранды. Опять вышел на дорогу и снова принялся ходить вдоль канавы, надев вместо шляпы платок, с завязанными в узелки концами.

Дневные гости были почти в сборе... Сидели на скамеечках и на принесенных из комнат буковых стульях, играли в фанты, когда совершенно неожиданно появился Психачев, собиратель гадостей, так он острил сам над собой.

— Вот видите, — приветствовал он рукой и словами вышедшую на веранду Зою Федоровну, — я не забыл, что сегодня день вашего рождения. Хотя и без приглашения, но приехал.

Это был довольно грузный, пожилой человек, желтолицый, с слегка вьющимися седыми волосами, одетый в высшей степени неряшливо. Брюки у него кончались фестонами, жилет был покрыт жирными пятнами.

Поздоровавшись, опять ушла Зоя Федоровна хлопотать по хозяйству.

Гости все время перебрасывали платок и произносили слова, время от времени вставляли на колени, стараясь не запачкать платья. Темно-синяя каскетка Вани Галченко, стоявшая на отдельном стуле, постепенно наполнялась. Карандашики, перочинные ножички, брошки, кольца, записная книжечка блестели в ней на солнце.

Прислуга, высунувшись из дверей веранды, радостно смотрела на приехавших повеселиться. Полная, румяная, босая, веселая, она любила гостей Зои Федоровны, всегда вежливых и предупредительных. Сейчас она смотрела, как Павлуше Уронову, солидному и противящемуся, завязывают глаза, как сажают его на табуретку, как лысый Сеня Ипатов держит каскетку, наполненную вещами, а птичка, став на цыпочки и вынув карандаш в серебряной оправе, тоненьким голосом, задыхаясь от смеха, спрашивает, что этому фанту делать. И Павлик Уронов, подумав, придавая своему голосу замогильный характер, произносит:

— Вращаться на одной ножке.

И видит растрепанная прислуга, что там, где стоит металлический розовый шар у клумбочки цветов, Ваня Галченко, подняв ногу и скрестив руки на груди, начинает вращаться.

— Еще, еще,— кричат все и аплодируют. И он вращается все быстрее и быстрее. Птичка вынимает записную книжечку из каскетки и опять спрашивает:

— А этому фанту что делать? — И задорно смеется.

Опять думает Павел Уронов и, подняв руку вверх, возможно выше, возглашает:

— Кормить голубей.

И, вытянув шею, Даша видит, как расставляются стулья в один ряд, как садятся гости и как быстро поворачиваются головы, и видит она, что Наденьку поцеловал Куку.

После обеда стала сходиться вечерняя публика, то есть дачники. Становилось свежо, и Зоя Федоровна раздала гостям свои теплые вещи. Дамы получили платок, жакетку, шарф. Уронову она накинула на плечи малиновую бархатную кофту, предназначенную к перешивке и потому захваченную.

Началось демонстрирование талантов.

Уронов декламировал:

Качает черт качели
Мохнатою рукой...

Он декламировал громко, блестяще, и его синий костюм приятно выделялся на фоне зелени.

Паша, запинаясь,— свои стихи.

Шансонетку про клоуна исполнила птичка.

Психачев, положив ногу на перекладину забора, беседовал со Свистоновым.

— Понимаете; я для вас интересный тип. Возьмите меня в герои. Я дал по морде австрийскому принцу, и за мной бегают женщины. Это все тля там собралась. Охота вам с ними возиться,— посмотрел он на гостей.— Я — другое дело. Что? слушаете? Хотите, я про них всех расскажу вонючие случаи? Ладно? А вы меня не забудьте! Обязательно вставьте. Выньте записную книжку и записывайте.

Свистонов, улыбаясь, вынул аккуратную книжечку.

— Я доктор философии. Не верите? Вы можете описать меня со всей моей слюной и со всеми моими вонючими случаями. Да, я честолобив. Скажите, вы талантливы? Вы гениальны? Вы хорошо меня опишите. Я хочу, чтобы все на меня показывали пальцем. Фамилию оставьте ту же — Психачев. Это звучит гордо.

— А женщины действительно за вами бегали? — спросил Свистонов, улыбаясь.

— Я вам расскажу. Знаете — озера, Швейцария и тому подобная ерунда. Я был студентом, я ее мучил на фоне гор, мучил и не взял.

— Не смогли? — спросил Свистонов.

— Мне нравится мучить женщин.

— Знаете, это старо, это не годится для романа.

Свистонов, опустив книжку, играл карандашиком, прикрепленным серебряной цепочкой к карману.

— Попробуем иначе подойти к вам, — сказал он. — Вы — тихий, незатейливый человек, любящий мелочи жизни. Вас не влекут мировые вопросы, потому что вы знаете, что с ними вам не справиться. В вас не творческое, а бабье любопытство. Вы слушали философию из любопытства и ботанику изучали из любопытства...

— Да знаете ли, я и в университет поступил, чтобы его охаять. Без всякой веры философию изучил и докторский диплом получил, чтобы над ней посмеяться.

— В вас есть нечто не от мира сего, — пошутил Свистонов.

— Жизнь моя пропадает, художественно построенная жизнь! — горестно воскликнул Психачев. — Сам я не могу написать о себе. Если б мог, к вам бы не обратился.

— Все это романтика, — сказал Свистонов, пряча карандаш. — Поинтереснее расскажите.

— Какого же тут черта романтика, — стал брызгаться слюной Психачев, приблизив свое лицо к лицу Свистонова. — Человек всю свою жизнь прожил с желанием все охаять и не может, ненавидит всех людей и опозорить их не может! Видит, что все его презирают, а их на чистую воду вывести не может. Если бы я имел ваш талант, да я бы их всех под ноготь, под ноготь! Поймите, это трагедия!

— Это происшествие, уважаемый Владимир Евгеньевич, а не трагедия.

Раздалось:

Не счесть алмазов в каменных пещерах...

Психачев молчал, молчал и Свистонов.

Темнело.

В окнах дома, ярко освещенного, видны были силуэты, державшие друг друга в объятиях, медленно идущие.

— Неужели я, по вашему мнению, не интереснее этих людей? — прервал молчание собеседник Свистонова.

— Это всё пустяки. Все люди для меня интересны по-своему.

— Я не об этом вас спрашиваю, не для вас, а вообще.

На крыльце, а затем в саду показалась Зоя Федоровна. Свистонов, заметив приближавшуюся белую фигуру, быстро проговорил:

— Дайте ваш адрес. — И в темноте записал.

— Что же вы здесь стоите? — появилась Зоя Федоровна перед умолкшими. — Вы ведь танцуете? — обратилась она к Психачеву.

Психачев поклонился.

— Танцую, танцую, Зоя Федоровна.

Входя в дом, они столкнулись в дверях с Наденькой и ритмически двигавшимся за ней под музыку Куку.

— Куда вы?

— Натанцевались. Идем в сад освежиться, — задыхаясь, ответила Наденька.

— Ладно, только смотрите, скорей возвращайтесь.

Наденька и Куку сели на скамейку.

— Луна, — сказал Куку, — это романтика. Но в наш трезвый век нам не нужна романтика... И однако, Наденька, уж такова подлость человеческой природы, луна на меня действует. Вспоминаешь, вспоминаешь, вспоминаешь.

Он отодвинул ветку и продолжал:

— Разные легенды, предания старины глубокой. Мне хочется сейчас говорить под музыку, Наденька, о гибельных двойниках, о злых рыцарях, о прекрасной горожанке! Хотел бы я жить в те времена отдаленные. Вижу я себя в готическом замке, в ночной классический час...

Поясняющим шепотом:

— Полночь. И своего двойника. Он высок, пепельно-бледен и манит меня за собой. Сам опускается мост, цепями гремя. Выходим мы в черное поле, и там мой двойник бросает мне перчатку и мы деремся, и мучаюсь я, ведь в замке высоком моем осталась жена молодая моя на одиноком покинутом ложе. Это вы, Наденька!

— Это чудесный фильм, — ответила Наденька. — Как жалко, что музыка смолкла!

— Ах, Наденька, Наденька, — произнес Куку, — будьте воском в моих руках. Какого я из вас создам человека!.. Мы будем жить тихо-тихо; хотя нет, мы будем путешествовать. Мы посетим достопримечательные страны, увидим памятники, пожалуй, и я прославлюсь, вот только ленив я ужасно...

— Я не брошу кинематографа, — покачала головой Наденька.

— Неужели и для меня не бросите? — стараясь говорить шутливо, спросил Куку.

— Смотрите, там Паша.

Действительно, Паша стоял на освещенном крыльце и искал глазами Наденьку в темноте сада.

Куку и Наденька замерли.

— Какой неприятный человек, — тихо сказал Куку.

Но Паша, постояв, нерешительно вернулся обратно.

Публика, покачиваясь, шумно расходилась.

Свистонов прошел за калитку с Ивановым.

— Мне говорили про вас, что вы — пренеприятный человек.

— Досужая сплетня, — ответил Свистонов, беря под руку Иванова.

— Писателем быть, — сказал Свистонов, — не особенно приятно. Надо не показать много, но и не показать мало.

— Прежде всего не следует причинять горя людям, — заметил Иванов.

— Конечно, — ответил Свистонов. — Какая сегодня тихая ночь! Какой прелестный человек Иван Иванович Куку! Прелестнейшие устремления! Необыкновенная тяга к великим людям! Вы давно с ним знакомы? — спросил он у Иванова.

— Да лет пять.

— Скажите, чем вы объясняете, что он...

Рано утром вернулись Свистонов и Иванов на дачу. Зоя Федоровна еще спала среди хаоса предметов, бумажек, гор окурков, подарков.

Она нежилась в своей постели и вздыхала.

— Ну как, — спросила она за обедом Иванова, — понравился вам Свистонов?

— Очаровательный человек.

— Ну, теперь подождите.

Куку с каждым днем убеждался, что Наденька — Наташа, и появлялись в нем сила воли и духовное упорство и то многообразие способностей, которые сопутствуют нарождающейся любви. Казалось, он помолодел. Его глаза приобрели блеск молодости, члены стали гибкими. Он чувствовал, как в нем играет жизнь. От него начало исходить настоящее очарование.

Кроме того, уже наступала осень с ее золотыми листьями, когда дачники разъезжаются и наступают тишина и дожди за окнами.

И звучала песнь в душе Ивана Ивановича, как у настоящего влюбленного.

Наденька смотрела на Ивана Ивановича и не могла оторваться. Ее тянуло к нему. Она краснела при встрече с ним, ее глаза смотрели доверчиво.

Наконец Наденька уехала.

Уехал и Куку.

Глава третья **КУКУ И КУКУРЕКУ**

Поезд черепашым шагом плелся по направлению к Ленинграду. Дачные вагончики дребезжали. Трина Рублис читала книгу; ее пальцы, от сажающегося солнца ставшие румяными, перелистывали порозовевшие страницы. Она увлекалась фабулой и пропускала описания. У нее будет опять мужчина. Она была спокойна.

Свистонов стоял у окна, нервничал.

Недалеко от памятника они наняли извозчика. Через час показалась гостиница «Англетер».

Свистонов помог снять пальто, притушил свет, сел к столу. Глухонемая начала перестилать постель. Она сняла одеяло, простыни, затем снова постелила. Взбила подушки. Ей было скучно. Это не было похоже на семейный уют.

Свистонов работал. Писал, читал и вел себя как дома. Переводил живых людей и, несколько жалея их, старался одурманить ритмами, музыкой гласных и интонацией.

Ему, откровенно говоря, не о чем было писать. Он просто брал человека и переводил его. Но так как он обладал талантом, и так как для него не было принципиального различия между живыми и мертвыми, и так как у него был свой мир идей, то получалось все в неви-

данном и странном освещении. Музыка в искусстве, вежливость в жизни — были щитами Свистонова. Поэтому Свистонов бледнел, когда он совершал бестактность.

Глухонемая, не дождавшись Свистонова, спала. Электрическая лампа, несмотря на рассвет, все еще горела. Листы покрывались мелким неуравновешенным почерком, записная книжка вынималась, и в ней справлялись нервно, торопливо. Руки работавшего дрожали, как у пьяницы. Он оборачивался, не проснулась ли, не помешает ли. Но глухонемая спала, и ее лицу вернулось девичье выражение. И это девичье выражение отвлекло Свистонова от возникавшего перед ним мира. Он отложил карандаш, на цыпочках подошел, снял вещи, сел у изголовья, нежно погладил глухонемую по голове, посмотрел на ее раскрытые уста, прислушался к ровному дыханию. Он чувствовал себя в безопасности. Она не подслушает его мыслей, никому не передаст подробностей его творчества. С ней он мог говорить о чем угодно. Это был идеальный слушатель. Пусть ходят сплетни, пусть говорят про него что угодно, но он, конечно, не станет жить с ней. Для этого она ему не нужна. Но он подумал о том, что не следует пренебрегать ею, что, может быть, для одной из его глав пригодится ее фигура, ее прошлое, настоящее и будущее, и он стал припоминать все то, что он о ней слышал, и, сев к столу задумавшись, стал переводить и ее в литературу. Это сопровождалось болезненными явлениями: сердцебиением, дрожанием рук, ознобом, утомляющим все тело, напряжением мозга. К утру Свистонов, как кукла, сидел перед окном. Ему хотелось кричать от тоски. Он чувствовал болезненную опустошенность своего мозга.

Днем они напились кофе и расстались.

Глухонемая криво улыбалась. А Свистонов, отправляясь в редакцию, купил газету, прочел и злобствовал. Он презирал газету, в которой его выругали. Он знал, что сегодня рецензент, встретившись с ним на лестнице в издательстве, отведет его в сторону и начнет извиняться.

— Это ведь так. Этого время требовало. Мне ваши книги очень нравятся. Но вы сами понимаете, Андрей Николаевич, моей обязанностью было вас выругать.

И действительно, когда Свистонов поднимался по лестнице, к нему подбежал рецензент.

— Да знаете ли вы, с кем вы имеете дело! — затрясся

Свистонов. — Да я вас так опозорю! Вы думаете, что вы для меня мелкая рыбешка...

Придя домой, весь вечер пытался отомстить Свистонову рецензенту, но не смог. Этот человек был для него литературно неинтересен. Решил сегодня же, не теряя времени, пойти на доклад в Географическое общество, чтобы встретиться с Пашей.

— Правда, славная девушка Наденька? — спросил Свистонов во время перерыва. — Куку как будто влюблен в нее.

— Он ее обманет, — сказал, краснея, Паша. — Человек, одаренный такими познаниями, страшен. Я был вчера на балу в Киноинституте, Куку весь вечер танцевал с ней. Он не подпускал меня близко, ходил вокруг нее, как петух.

— Знаете что, Паша, плюнемте на доклад, пойдемте пиво пить.

— Спасибо, Андрей Николаевич, мне очень хочется выпить.

— А вы не горюйте, Паша, она к вам вернется.

— Если бы были деньги, как бы я запьянствовал, Андрей Николаевич!

— Поберегите свой талант, — ответил Свистонов. — Поверьте, милый мой Паша, все это глупости. Храните себя для литературы. Написали ли вы рассказ о своей жизни, как я советовал вам? Это отвлекло бы вас от несчастной страсти, а тем временем и Наденька к вам вернулась бы.

Паша вынул тетрадь.

— Это моя исповедь. Только, Андрей Николаевич, обещайте никому не показывать.

— Потом я внимательно прочитаю, — сказал Свистонов, пряча рукопись в карман. — Не блестяще ли танцевал Куку? Да, да... и она сияла? А потом Куку... не пошел ли провожать ее? Не сели ли на извозчика, и Куку не щедро ли дал на чай швейцару? А вам безумно хотелось выпить...

— Наденька за весь вечер ни разу не позвала меня, Андрей Николаевич! А отчего вас не было там, Андрей Николаевич?

— Забыл туда пойти, — ответил Свистонов. — Знаете что, Паша, я сегодня получил деньги. Прокатимтесь на острова. Это вас развлечет.

— Я бы остренького съел, Андрей Николаевич.

— Да, — сказал Свистонов, — селедочку и мороже-

ное. Вообще, все остренькое и холодненькое помогает в скорби! — И Свистонов, жалея, что он не побывал в Киноинституте, решил прокатить Пашу, как прокатил Куку Наденьку из Киноинститута. — Хотите цветов, Паша? — спросил Свистонов.

Паша посмотрел на него с удивлением. Они шли мимо Большого Драматического театра, мимо Апраксина рынка, мимо Гостиного двора.

Свистонов купил Паше цветов.

По пустынным островам ехал извозчик. В нем сидели Свистонов и Паша.

— Хорошо? — спросил Свистонов.

— Очень хорошо.

— Что вам напоминает эта зелень, Паша?

Паша грустно:

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...

«Ответ скорее для Куку, а не для Наденьки», — подумал Свистонов.

— А какой оркестр играл в Киноинституте? — И всю дорогу воссоздавал Свистонов вечер в Киноинституте и разговаривал с Пашей так, как, по его мнению, говорил с Наденькой Куку. Затем, откинувшись, вынул записную книжку, стал писать:

Кукуреку и Верочка вышли из Большого Драматического театра.

— Верочка, — сказал Кукуреку, — поедemте на острова, где ездил Блок.

— В автомобиле поедem? — спросила Верочка.

— Если хотите, — ответил Кукуреку, — но я бы предпочел извозчика.

— Нет, нет, на автомобиле!

— Тогда поедemте к Гостиному двору. Любите вы цветы? — спросил Кукуреку и, перейдя с Верочкой улицу, купил три розы.

Они прошли мимо пустынных аркад Гостиного двора, мимо дремлющих за натянутыми веревками сторожей и вышли на проспект 25 Октября.

— Любите ли вы эту улицу, Верочка? — спросил Кукуреку. — Подумать только, сколько раз она подвергалась литературной обработке. Красота! — добавил он.

Верочка шла, широко раскрыв глаза и прижимая к груди цветы. Она думала, вот исполняется ее мечта, начинается красивая жизнь. Но ей слегка было жаль, что действие происходит не в Берлине, где так блестит асфальт, что автомобили и люди отражаются. Кукуреку нанял таксомотор, посадил Верочку, и они поехали на острова.

Кукуреку смотрел по сторонам...

Но Паша пошевелился.

— Что записываете, Андрей Николаевич?

— Одну минуту, Паша. — И Свистонов поспешил закончить набросок:

Кукуреку довел Верочку до ворот. Заря освещала верхние этажи домов. Он посмотрел на Александровский сад и вздохнул:

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...

Произнеся эти стихи, Кукуреку поцеловал ручку Верочки и удалился, наивистывая. Он был доволен, что он, как Блок, сдержал себя и доставил Верочку в целости домой.

Вернувшись домой, отдохнув, Свистонов стал читать. Он читал медленно, как бы шел пешком по прелестным окрестностям. Он любил над каждой фразой подумать, посидеть, покурить. Наиболее заинтересовывавшие его места он перечитывал в переводах старых и новых. Незаметно прошла ночь, он стал думать о сегодняшнем дне, что предпринять, куда пойти. Стал смотреть на бегущий трамвай, на спешащих людей, на желтые кучи песка и принялся писать письмо своему другу, прося предоставить в его распоряжение конфетные бумажки, записки, дневники его родственников и знакомых, обещающая все это вернуть в целости и сохранности.

Затем решил поспать. В то время как он ложился в постель, ему казалось, что он до тонкости знает не только слова и дела, но и сокровенные помыслы Ивана Ивановича, что теперь можно приступить к планомерному творчеству. Он думал о том, что никак нельзя уничтожить полноту Куку, что и баки Ивану Ивановичу необходимы, что и страсть его к Детскому Селу следует оставить, что лучше, чем в жизни, не придумаешь; что, может быть, когда уже все будет написано, можно будет кое-что изменить, что сейчас и фамилию следует взять по той же линии. Не Куку, а Кукуреку, фамилию, наскоро придуманную во время ночной прогулки.

Работа шла медленно, но верно.

На бумаге появился Иван Иванович. Самодовольная фигура то здесь, то там мелькала на страницах, то она наслаждалась, сидя на диване, принадлежавшем Достоевскому, то читала в Пушкинском Доме книги из библиотеки Пушкина, то прохаживалась по Ясной По-

ляне. И был взят дом, в котором жил Куку, правда дом Свистонов перенес в другую часть города, и было показано, как говорит Куку.

Свистонов и с собой поступал бесцеремонно. Возьмет какой-нибудь предмет, стоящий у него на столе, или факт из своей биографии и привяжет к кому-нибудь. И тогда заохают все вокруг: «Смотрите, как он честит себя», и понесутся слухи, один другого удивительнее. А Свистонов еще увеличивает сплетню.

Специально он нес наполовину готовую главу о Кукуреку, свернутую в трубочку; в общество довольно еще молодых сплетников и сплетниц.

Общество ждало его прихода, готовясь проникнуться восхищением, насладиться соотношением придуманного и реального, порастрастись, дать пищу уму своему и воображению.

— Ах, этот Свистонов,— говорили они.— Вот он интересно пишет. А кто Камадашева? Наверно, Анна Петровна Рамадашева!

Коллектив сплетников считал себя истинным ценителем литературы. Поймает какого-нибудь писателя и попросит доставить удовольствие.

Писатель, предполагая, что он читает людям по простоте душевной, и прочтет. И сияют глаза у сплетника, и весь он расцветает. И хлопает писателя игриво по плечу: «Я узнал: Камадашева — несомненно, Рамадашева, а конструкция вашего произведения похожа на конструкцию Павла Николаевича». И писатель, оглушенный, сидит и почесывает в затылке. «Опростоволочился,— думает он,— на кой черт я им читал».

В городе сплетники и сплетницы распались на круги. И сплетники и сплетницы каждого круга между собой были знакомы. Когда прошел слух, что Свистонов предполагает читать у Надежды Семеновны, стали ждать приглашения. Несколько сплетниц и сплетников даже зашли предварительно к Надежде Семеновне узнать, можно ли будет привести своих знакомых из другого круга.

Таким образом, когда Свистонов пришел, он застал сборище в разгаре. На диванах, на пуфах от диванов, на стульях, на ковре, на подоконниках сидели зрелые, молодые и пожилые. Ждали его и оживленно разговаривали.

Свистонов поцеловал каждой сплетнице ручку, пожал руку каждому сплетнику, устроился за столиком поудобнее. Надежда Семеновна как хозяйка дома села поближе, чтобы не пропустить ни одного слова, и все начали внимательно слушать.

Время от времени возникало хихикание, перешептывание. Узнавали своих знакомых, некоторых не узнавали. Тогда спрашивали друг у друга на ухо: «А это кто?» — и лица становились озабоченными. И наконец, как молния, блистала догадка, и они опять принимались перешептываться. Окружив толпой Свистонова, они выражали ему свое восхищение.

— Нет, нет, — говорил Свистонов так, что все чувствовали: «Да, да».

Все сели за стол и стали пить чай, самовар шумел, печенье хрустело, и тут-то Свистонов начал собирать новые сплетни.

— Ах, знаете, что произошло? Алексей Иванович омолодился. Женился на молоденькой. Вот бы взять вам его в герои!

— Какой материал, уж скажу я вам, сдохнуть можно. И как удивительно женился. Поехал специально в Детское Село, поближе к пушкинским пенатам, и там в Софийском соборе брак состоялся.

«Для Кукуреку, — подумал Свистонов, — как раз для Кукуреку».

— А вот Никандров, тот всю жизнь искал тургеневскую девушку. Уже дожил до сорока лет, наконец нашел. Женился. Теперь тоже блаженствует!

Ушел Свистонов, и понеслась по городу сплетня: Кукуреку не кто иной, как Куку!

Придя домой, под свежим впечатлением Свистонов стал дополнять одну из глав:

Постепенно Кукуреку убеждался, что Верочка — тургеневская девушка, что в ней есть нечто от Лизы. Все сильнее он чувствовал любовь. Душа его пылала. Мать отпускала Верочку с Кукуреку, и они вместе посещали и Пушкинский Дом, и Литературные мостки, и даже съездили в село Михайловское. Роман протекал тихо. Часто Кукуреку слушал, как играет на рояле Верочка. Сидя в кресле, иногда он чувствовал себя до некоторой степени Лаврецким. И все нежней и нежней играла Верочка Шопена, и все темней и темней становилось в комнате, и наконец вспыхивали электрические свечи.

Куку в действительности все более и более влюблялся в Наденьку. И за неимением времени все реже

встречался со Свистоновым и еще не знал, что Свистонов уже за него прожил его жизнь. Ездил Куку с Наденькой по пригородам. Тоже посетил село Михайловское, только он Наденьку сравнивал не с Лизой, а с Наташей, но верил, что она навсегда останется Наташей и не станет бабой.

Кругами шла сплетня. Подсматривали за Куку. Как он идет путями, уже написанными. Наконец дошла сплетня до Куку, и впал Куку в восхищение — наконец-то он попал в литературу.

И сообщил об этом Наденьке как о величайшем событии своей жизни.

— Наденька, — сказал важно, беря ее за руку, — я в таком восхищении. Наш друг Свистонов меня обессмертил! Он написал обо мне роман. По слухам — замечательный. Говорят, со времени символистов не появлялось подобного романа. А написан он стилем исключительным, и охватывает он целую эпоху.

— Но ведь вы собирались писать вместе?

— Я ленив, Наденька, ничего не вышло.

Наденька посмотрела на Ивана Ивановича. Она уважала его, считала его лицом умнейшим.

— Ну и хорошо, Иван Иванович, — сказала она ласково. — Я так, так рада, что вы довольны. Андрей Николаевич мне часто говорил, что он вас очень любит, что вы человек исключительно интересный.

— Я чувствую себя именинником в некотором роде. Идемте на Неву, Наденька, гулять. Идемте купимте торт и отпразднуем это событие. Милая Наденька, — продолжал Куку, — скоро, скоро мы отпразднуем нашу свадьбу. Будут только ваши подруги и мои друзья. Но пока не говорите никому. Мы разошлем карточки — такая-то и такой просят вас пожаловать на имеющее быть в Детском Селе в соборе святой Софии...

Письмо Леночки из Старой Руссы Свистонову.

«Дорогое мое солнышко! Как подвигается твой новый роман? Много ли тебе приходится над ним работать? Не переутомляйся. Спи по ночам и ешь как следует.

Как твой поляк, граф и грузин? Достал ли ты нужные материалы? Я читала в газетах, что твой роман скоро появится.

Ты просил меня написать, что я помню о Лизе из «Дворянского гнезда». Ну и ленив же ты, мое золотце. Это я шучу, Андрюшенька! Я понимаю, тебе нужно узнать, что запоминается от ее образа. Я после обеда завела разговор. Пишу тебе в лицах:

Пожилая дама, худенькая, 48 лет, длинноносенькая:

Лиза любила уединяться. Читать Священное писание. Любила очень природу, птичек. Мечтать любила. Подруг у нее не было. В детстве большое влияние имела на нее няня. Считала за грех, что она полюбила Лаврецкого, женатого, считала себя виновной.

Педагогичка, 26 лет:

Дочь помещика. Очень смутный образ. Сад. Она уходит в монастырь, потому что она полюбила Лаврецкого. Няня вместо сказок ей читала жития святых мучеников. Рано ее будила, водила по церквям.

Местный критик:

Абсолютно не помню ничего. Я так давно читал, что ничего не осталось.

Местный донжуан:

Я помню, как Лаврецкий стоит на лестнице. Солнце светит сквозь волосы Лизы. Помню, она гуляет со стариком. Помню открытки. Он сидит, она стоит с удочкой.

Вот все, что я могла собрать для тебя, Андрюшенька, сегодня. Вообрази, какая здесь скука. Говорят только о своих болезнях и сколько мужья зарабатывают. Целую тебя крепко».

Сидя на фоне давно не раскрываемых книг, начал писать следующую главу Свистонов. Работалось хорошо, дышалось свободно. Свистонов любил цветы, и фиалки стояли на столе в большом граненом стакане. Свистонову писалось сегодня так, как никогда еще не писалось. Весь город вставал перед ним, и в воображаемом городе двигались, пили, разговаривали, женились и выходили замуж его герои и героини. Свистонов чувствовал себя в пустоте или, скорее, в театре, в полутемной ложе, сидящим в роли молодого, элегантного, романтически настроенного зрителя. В этот момент он в высшей степени любил своих героев. Светлыми они казались ему. И ритм, который он в себе чувствовал, и неутолимое желание гармонического отражались и на выборе, и на порядке слов, ложившихся на бумагу.

Раздался стук, и очарование спало. «Кто бы это мог быть? — подумал раздраженно Свистонов. — Пожалуй, не стоит открывать. Вечно помешают». И он прислушался.

Стук повторился. «Черт знает что, — прошептал Свистонов. — Даже поработать не дадут. Все равно больше писать не смогу». И, закрыв папку, отпер дверь. На пороге стоял Куку.

— Простите, Андрей Николаевич, — произнес Куку, — что я так неожиданно к вам ворвался. Но знаете — дела. Предсвадебная горячка.

— Пожалуйста, пожалуйста, — ответил Свистонов и помог раздеться Куку.

— Ну, что у вас новенького? — спросил Куку. — Как пишется? Я слышал, у вас дивно роман получается.

Свистонов возился с рукописью.

— Еще далеко до конца, — ответил он.

— А нельзя ли было бы хоть отрывки? Говорят — я уже в нем.

— Что вы, помилуйте, Иван Иванович, — ответил Свистонов.

— А мне говорили, что я. — И Куку, важный и полный, заволновался от огорчения. — Да нет же, Андрей Николаевич, ведь не может быть этого, — помолчав, сказал он. — По старой дружбе, прочтите.

Свистонов счел малодушием отказаться. Он сел в пестрое кресло, взял рукопись, начал читать свой роман.

По мере чтения лицо Куку принимало все более восторженное и удивленное выражение.

— Какой стиль! — качал он головой, — какая глубина! Андрей Николаевич, мог ли я думать, что вы так развернетесь.

Свистонов продолжал читать. Вот уж появился Кукуреку, и побледнел Куку. В кресло опустился и, раскрыв рот, до конца выслушал.

— Андрей Николаевич, да ведь это...

Иван Иванович после чтения бледный вышел на улицу. Он думал о том, что теперь он совсем голый и беззащитный противостоит смеющемуся над ним миру. Страх был на лице Ивана Ивановича и блуждала рассеянная извиняющаяся улыбка. Палимый и удручаемый своим образом, он боялся встретиться со знакомыми. Ему казалось, что все уже ясно видят его ничтожество, что ему никто не поклонится, что отвернутся и пройдут, нарочно весело разговаривая со своим спутником, женой

или подругой. Появились слезы на глазах Ивана Ивановича. Снедаемый внутренним плачем по самому себе, он прислонился и видел, как Свистонов идет куда-то.

Не вышел из своего огромного дома вечером, как обычно, Куку и не зашел к Наденьке, чтобы вместе пойти погулять, провести вечерок, а заперся в своей комнате. Не знал, что ему делать. Убить ему хотелось Свистонова, который отнял у него жизнь, и, почти плача, он видел, как он бьет Свистонова сначала по одной щеке, потом по другой, как выбивает все зубы ему, как выкалывает глаза и по улицам тело волочит. Вспомнил Куку, что это невозможно, что он, Куку, человек культурный, заплакал и решил письмо написать. Но вспомнил, что и письмо за него уже написал Кукуреку, и вдруг мысль о Наденьке прорезала его сердце. Он представил ее читающей свистоновский роман, увидел, как она, увлеченная ритмом, начинает улыбаться над своим женихом, как она начинает смеяться и презирать его.

И в соседней комнате запел голос арию няни из «Евгения Онегина». Застучал кулаками в стену Куку, и все смолкло. Наступила страшная тишина, и раздались шаги и голос: «Не мешайте людям заниматься». Солидный и толстый, Куку сидел за столом и все думал о том, что другой человек за него прожил жизнь его, прожил жалко и презренно, и что теперь ему, Куку, нечего делать, что теперь и ему самому уже неинтересна Наденька, что он и сам больше не любит ее и не может на ней жениться, что это было бы повторением, уже невыносимым прохождением одной и той же жизни, что даже если Свистонов и разорвет свою рукопись, то все же он, Куку, свою жизнь знает, что безвозвратно погибло самоуважение в нем, что жизнь потеряла для него всю привлекательность.

И все же утром пошел к Свистонову Куку. Решил хоть от знакомых скрыть себя, слезно умолять Свистонова разорвать рукопись.

— Что ж, прикажете на колени перед вами стать? — кричал Куку. — Если вы честный человек, то вы должны порвать рукопись! Посмеяться так над человеком, всеми уважаемым. Да если б мы в другое время жили, то не избежать бы вам моих секундантов! Но теперь, черт знает что, — прошептал он, закрывая лицо руками, и Свистонов почувствовал, что не человек уже стоит перед ним, а нечто вроде трупа.

— Умоляю вас, Андрей Николаевич, дайте мне, я уничтожу вашу рукопись...

— Иван Иванович, — отвечал Свистонов, — ведь это не вас я вывел в литературу, не вашу душу. Ведь душу-то нельзя вывести. Правда, я взял некоторые детали...

Но Куку не дал договорить Свистонову. Куку бросился к столу и хотел схватить листы бумаги. Свистонов, боясь, что погибнет его мир, и желая отвлечь Куку, спросил:

— Как поживает Надежда Николаевна?

Обезумевшее лицо со сжатыми кулаками подошло к Свистонову.

— Вы — не человек, вы — получеловек. Вы — гадина! Вы больше меня знаете, что с Надеждой Николаевной.

Со сжатыми кулаками Куку прошелся по комнате.

Становилось душно. Свистонов распахнул окно и заметил, что во дворе уже возвращаются со службы, беседуют. «Опоздал, — подумал он, — придется завтра отнести к машинистке». Куку не уходил. Куку обдумывал, сидел в кресле.

Свистонов размышлял о том, что, пожалуй, некоторые эпизоды, так сильно взволновавшие Куку, можно было бы изменить, что и раньше приставали, но никогда... не было такой боли.

— Мне пора, — криво улыбнулся Свистонов и стоял, пока одевался Куку.

Они вместе вышли. Свистонов нес рукопись. Куку поглядывал на рукопись и молчал. Он боролся с желанием вырвать рукопись и убежать. Не сказав друг другу ни слова, на перекрестке они разошлись.

Куку не приходил, не писал. Наступили томительные дни для Наденьки. Она входила в дом-город, но не заставала Ивана Ивановича. Радостный и солидный, он не протягивал ей рук при встрече. Его бас не раздавался. Иногда со двора она видела свет в его окне, поднималась и тщето звонила.

Иван Иванович спустился в настоящий ад. Образ Кукуреку стоял перед ним во всей своей нелепости и глупости. Правда, он, Иван Иванович, больше не ездил по пригородам. Правда, он сбрил баки и переменял костюм и переехал в другую часть города, но там Иван Иванович почувствовал самое ужасное, что, собственно, он стал другим человеком, что все, что было в нем, у него

похищено. Что остались в нем и при нем только грязь, озлобленность, подозрение и недоверие к себе.

Теперь, лишенный себялюбия и горделивости, он не стал пустышкой, как он сперва думал.

Физически он изменился. Он похудел, губы у него поджались, лицо приняло озлобленное, брезгливое выражение.

Боясь встретиться с знакомыми, он решил скрыться в другой город.

Глава четвертая СОВЕТСКИЙ КАЛИОСТРО

Психачев жил на набережной Большой Невки в небольшом деревянном домике, откуда он ездил по всей России. Домик был тих и удивительно прозрачен. Тихий садик перед ним, тихая и безлюдная набережная.

В отдалении небольшой кооператив с пыльными окнами и чайная.

Никто не знал, что здесь живет советский Калиостро.

Цветы в желтеньких горшочках стояли на окнах. Самозванный доктор философии гулял по саду и обдумывал план новой авантюры — гипнотического сеанса в Волхове.

Все знают Волхов, где дома стоят как-бы на курьих ножках, где завклубом в день именин своей жены устраивает в клубе танцульки.

Куда приезжают фокусники раз в два года. Настоящих же актеров никогда не видел Волхов.

Добряк-циник гулял по саду и обдумывал. В комнате его дочери горела лампочка под розовым с букетцами абажуром. Отец подошел к окну и заглянул. «Милое дитя, — подумал он, — ложится спать. Она не знает, как ее отцу тяжело достается его хлеб».

Советскому Калиостро было грустно в этот вечер.

По набережной спешил одинокий прохожий.

Прохожий чиркнул спичку и осветил вынутую из кармана бумажку.

Психачев узнал Свистонова и вышел за калитку.

— Вы ко мне? — спросил он.

— Нет, не к вам, — ответил Свистонов. — Я к вам завтра зайду. Сегодня я спешу в другой дом.

— Обманете, — махнул рукой Психачев.

— Однако у вас воняет, — сказал Свистонов, — входя на следующий день и осматривая комнату. — Неужели вы никогда не раздеваетесь и сапог не снимаете? На этом диване вы спите? Ну и одеяльце же у вас! Ух, устал я за сегодняшний день, уважаемый Владимир Евгеньевич!

Свистонов взял со стола карточку.

— А это вы ребенком?

— Будьте как дома, осматривайте.

— А в переписку свою дадите заглянуть? Письма к вам, от вас письма — все это очень интересно. Можно открыть? — спросил Свистонов, подходя к шкафу.

— Так, фрак, изъеденный молью... и цилиндр, должно быть, у вас сохранился? А где семейный альбом? — спросил Свистонов.

Хозяин удалился и принес альбом с лаковой крышкой. Гость перелистывал, рассматривал фотографические карточки — мечтал. Психачев стоял у стола, подперев кулаками голову.

— Познакомьте меня с вашей семьей, — сказал Свистонов.

— Нет, этого никак нельзя... — зарумянился Владимир Евгеньевич.

— Папа, папа, тебя спрашивает графиня, — вбежала его четырнадцатилетняя дочь.

— Сейчас, Маша, — засуетился Психачев и нырнул в двери.

— Познакомимтесь, — подошел Свистонов к подростку.

Маша сделала книксен.

— Вы, должно быть, учитесь в трудовой школе? — спросил Свистонов, отпуская ее ручку.

— Нет, папа меня не пускает.

Свистонов смотрел на ее щупленькую и нарядную фигурку. Психачев вбежал.

— Уйди, уйди, Маша!

Дочь кокетливо посмотрела на Свистонова.

— Уйди, я тебе говорю.

Маша ушла. Но через минуту она опять вбежала.

— Папа, князь пришел.

— Ради бога, простите. — И, взяв Машу за руку, снова нырнул Психачев в двери. Портьеры сомкнулись. Свистонов курил и ждал. Он бросил взгляд на корешки пыльных, заплесневелых книг. И стал читать названия.

— Что это вас всё титулованные посещают?
— Это случайно, — сконфузившись, ответил Психачев.

— Ну ладно. Что же вы намерены мне рассказать?

— Вас интересует, кто с кем живет?

— Признаться, мало.

— Что же вас интересует?

— Ваши наблюдения за последние годы. Ваши чувства и мысли. Скажите, зачем вы стремились охаять науку?

— Я считал это оригинальным.

— Вы, конечно, в юности писали стихи?

— О триппере.

— Весело!

— Очень весело.

— Папа, папа, мама зовет, — раздался голос из-за двери.

— Сейчас, деточка.

Свистонов подошел к полке. Развернул Блока на закладке:

Уж не мечтать о доблестях, о славе,
Все миновалось, молодость прошла...

Свистонова душил хохот. Он подошел к окну.

Психачев внизу возвращался из кооператива с булкой.

У Психачева в комнате стояла библиотечка по оккультизму, масонству, волшебству. Но Свистонов понимал, что Психачев не верит ни в оккультизм, ни в масонство, ни в магию.

Все люди любят рассматривать. Девушкам и женщинам нравится погрезить над модными журналами, инженеру — умилиться над изображением заграничного двигателя, старичку — поплакать над фотографической карточкой умерших детей.

Психачев, покачивая головой, перелистывая изображения мандрагор, похожих на старцев, талисманов с солнцем, луной, Марсом, геомантических деревьев, таблицы сефиротов, изображения демонов, коренастого Азazelла, ведущего козла, мефистофелеподобного Габорима, летящего на змее, крылатого, с огромными глазами, слегка костлявого Астарота.

В юности Психачев хотел быть соблазнителем. В 1908—1912 годах носил он даже белое платье и на голове черную бархатную шапочку с красным пером. Родные считали это причудой богатого человека.

Приятные ночи в молодости провел Психачев за трактатами об истинном способе заключать пакты с духами. Мечтательные ночи.

Среди обывателей он слыл за мистика. В молодости Психачеву это очень нравилось. Да и теперь нравилось, когда на него смотрели боязливо. Про него ходили слухи, что он иерофант какого-то таинственного ордена, что он поднялся по всем ступеням и наверху остановился. Он говорил, что он по происхождению фессалийский грек, а, как известно, Фессалия славилась своими чарами.

Действительно, в одной из комнаток его дома висели портреты екатерининского и александровского времен, гречанок и греков в париках и кафтанах, стояло перламутровое распятие под стеклянным колпаком из-под часов и был семейный альбом 30-х годов с акварелями, стихами, виньетками и греческая библия с фамилиями Рали, Хари, Маразли.

Свистонов, осмотрев квартиру, полюбил советского Калиостро. «Как грустна его жизнь! — подумал он.— Что ему дает его слава советского Калиостро, когда он сам знает, что он самозванец, что он совсем не грек и не прорицатель, а просто Владимир Евгеньевич Психачев. Пусть даже римский папа присылает ему свое благословение ежегодно. Он-то ведь не верит в римского папу».

Сидя в спальне, под старинными портретами, хозяин и гость курили, пили водочку, заедали помидорами.

Психачев говорил о своем ордене. Свистонов, с наслаждением затягиваясь, курил и выпускал из ноздрей дым. Свистонов видел ночь Психачева, потому что в жизни каждого человека бывает великая ночь сомнения, за которой следуют победа или поражение. Ночь, которая может длиться месяцы и годы.

И вот эту-то ночь, под шум речей Психачева, пытался восстановить Свистонов. Тогда Психачев был молод, и листья по-другому шумели, и птицы иначе пели. Он верил, что ему удастся сорвать блестящий покров с мира, что он нечто вроде дьявола. Он ехал верхом на черном жеребце впереди кавалькады. Молодежь угощалась конфетами, подхлестывая лошадей, весело шутила.

Сердце Свистонова сжалось.

Психачев, заметив, как побледнел Свистонов, подумал, что произвел сильное впечатление на гостя.

— Психачев-Рали-Хари-Маразли! — насмешливо прервал молчание Свистонов, — расскажите, как вы заключили пакт с дьяволом? Вы очень интересный человек, я охотно возьму вас в свой роман, — продолжал Свистонов.

Хозяин тихой квартиры совершенно ободрился. Сладостная, торжественная, восхитительная музыка раздалась вокруг него и мало-помалу становилась все громче и громче, так что казалось, гармонические звуки ее наполняют всю комнату, и льются за окно в небольшой палисадник, и достигают стены соседнего дома. Подобную музыку слышат женихи и невесты, если они очень молоды и очень любят друг друга.

Психачев поднялся с кресла, выпрямился.

— Чтобы заключить пакт с одним из главных духов, я отправился, срезал новым ножом, еще не бывшим в употреблении, палочку дикого орешника, начертил в отдаленном месте треугольник, поставил две свечи, встал сам в треугольник и произнес великое обращение: «Император Люцифер, господин всех духов непокорных, будь благосклонен к моему призыву...»

Свистонов улыбнулся.

— Владимир Евгеньевич, я не о таком пакте вас спрашиваю, о внутреннем пакте.

— То есть как? — спросил Психачев.

— О мгновении, когда вы почувствовали, что потеряли волю, и поняли, что вы погибли, что вы — самозванец.

Музыка смолкла. Перед Психачевым сидел человек, пил водку и острил над ним. Психачеву стало все вдруг как-то противно, и он сам показался себе каким-то неинтересным. Но через минуту он заволновался.

— То есть как, что я — самозванец? — спросил он. — Значит, вы не верите, что я доктор философии? — У хозяина лицо стало злым и недоброжелательным.

— Ах нет, — ответил гость вежливо, — я совсем о другом. Вы называете себя мистиком. А может быть, вы совсем не мистик. Вы говорите: «Я — идеалист», а может быть, вы совсем не идеалист.

Владимир Евгеньевич поморщился.

— Или, может быть, твердя всем и каждому, хотя и с усмешечкой, что вы мистик, вы верите, что вы им

станете на самом деле? Это я для романа,— продолжал гость, улыбаясь.— Вы не сердитесь. Ведь мне вас надо испытать. Я ведь все шучу.

Лицо у Психачева просветлело, и глаза засияли.

Свистонов смотрел на этого человека, говорящего о гимнософистах, о жрецах Изиды, об элевсинских таинствах, о школе Пифагора и, по-видимому, мало обо всем этом знающего. Во всяком случае, меньше, чем можно было бы знать.

— Хорошо? — спросил хозяин.— Нравится вам у меня?

— Очень нравится,— ответил Свистонов.— У вас сидишь, точно у подвижника.— И голос Свистопова стал мечтательным.

А Психачев старался говорить так, чтобы Свистонову стало совершенно ясно, что говоривший принадлежит к сильному и тайному обществу.

Хозяин, в общем, был милый человек. Май он называл адармапагон, июнь — хардат, июль — терма, август — медерме, а свой дом — элевзисом. Свою же фамилию он иногда подписывал цифрами так:

15, 18, 4, 10, 5, 12, 19, 10, 5, 8, 7, 7.

И делал росчерк.

Правда, получалось несколько длинно, зато вместо «психа» выходила «Псиша», но в более тайных бумагах писал особыми иероглифами и называл себя Мефистофелем.

О чем говорили в этот вечер гость и хозяин, читателю знать не надо, но только на пороге они жарко расцеловались, и гость скрылся в ночной темноте, а хозяин долго восторженно смотрел ему вслед, а затем со свечой поднялся наверх.

И видно было, что всю ночь Психачев не спал, что по комнате ходила из угла в угол его тень, что он что-то обдумывал. Затем он сел к столу и покрыл бумагу цифрами.

А Свистонов шел в тумане и думал о том, что бы было, если б они оба верили в существование злых могуществ.

В назначенное время вечером, как можно позже, был впущен новициат Свистонов в слабо освещенную комнату. Из-за занавески доносился голос Психачева. На большом столе посредине комнаты лежал обнаженный меч, большая граненая лампада освещала всю картину тихим светом.

Голос Психачева из-за занавески спросил Свистонova:

— Упорствуете ли вы в желании своем — быть принятыми?

После утвердительного ответа Свистонova голос Психачева послал вновь принимаемого размышлять в комнату вовсе темную.

Снова будучи призван, Свистонов увидел Психачева у стола с мечом в руке. Вопросы следовали за вопросами. Наконец последовало:

— Желание ваше справедливо. Именем светлейшего ордена, от которого я заимствую власть свою и силу, и именем всех членов оного обещаю вам покровительство, правосудие и помощь.

Здесь Психачев поднял меч, Свистонов заметил, что меч не очень старый, и приставил острие к груди Свистонova. Продолжал с пафосом:

— Но если ты будешь изменником, если сделаешься клятвопреступником, то знай...

Потом, положив меч на стол, Психачев начал читать молитву, которую Свистонов повторил за ним. Затем Свистонов произнес клятву.

— Поздравляю, — сказал Психачев.

И они сошли вниз и отправились в чайную.

Психачев под руку плавно ввел Свистонova в свое общество. Это были всё уже не совсем молодые женщины. Ноздри Свистонova неприятно защекотал запах духов. На глаза его неприятно подействовали изломанные томные движения. Некоторые курили надушенные папиросы, другие рассуждали о вещах возвышенных, могут или не могут летать столы.

Введенный Психачевым неизвестный этим неизвестным женщинам Свистонов, сделав общий поклон, остановился. Хозяйка дома подошла к Свистонову и сказала:

— Вы — друг Психачева, значит, вы и наш друг. Свистонов любезно улыбнулся.

— Позвольте, я вас представлю. — И, беря инициа-

тиву в свои руки, Психачев, переходя от одной дамы к другой, представлял Свистонова.

Свистонову они напоминали животных. Одна — козочку, другая — лошадку, третья — собачку. Он чувствовал непобедимую антипатию, но лицо его выражало почтительную нежность.

— Вы — беллетрист, Андрей Николаевич? Мы невыразимо любим все искусства. Нам Владимир Евгеньевич недавно говорил о вас!

Свистонову оставалось только поклониться.

И чтобы не было молчания, чтобы дать гостю отдохнуть, хозяйка подошла к Психачеву и попросила его исполнить обещание и сыграть каждой ее лейтмотив.

Психачев согласился.

Свистонов посмотрел на хозяйку. Он прочел в ней эгоизм, искусный и любезный, которым характеризуются люди, находящиеся под влиянием Меркурия, как говорил Психачев, которые умеют свои пороки заставить служить своим интересам. Она была мужественна и хитра.

Психачев сыграл ей соответствующую пьесу.

«Несомненно, — подумал Свистонов, — Психачев обладает даром импровизации, прекрасной памятью, знает старых мастеров, может контрапунктировать неожиданно чудные темы и удивлять».

Поочередно Психачев сыграл всем дамам их лейтмотивы. Слушательницы пребывали неподвижны от наслаждения. Психачев победно посмотрел на Свистонова.

— Я для вас играл, — сказал он шепотом. — Специально для вас!

Свистонов сжал ему локоть...

— Мы сегодня вроде ипостасей Орфея. Вы — слово, я — музыка, — сиял Психачев.

— Да, — мнимо восторженно подтвердил Свистонов.

Психачев чувствовал в обществе дам себя роковым человеком.

— Наше молчание сказало вам больше, чем сказали бы наши аплодисменты, — подошла к стоящим у рояля мужчинам хозяйка.

Завязался общий разговор о музыке и о душах.

Разговор перешел на недавнее пребывание Психачева в Италии. Психачев вынул статуэтку триликой Гекаты, стал всем показывать.

— Носик-то какой, — говорил он. — Обратите вни-

мание — круглый и, бог знает, настоящий ли. Я купил ее в Неаполе, и теперь она всюду со мной. — Он снова спрятал ее в карман. — Поближе к сердцу, — сказал он — и мило посмотрел на Свистонова.

— Рассказать ли вам об Изиде? — спросил он.

Он сел поближе к сидевшим полукругом дамам.

— Очень интересно, просим!

— Изида — герметическое божество. Длинные волосы падают волнами на ее божественную шею. На ее голове диск, блестящий, как зеркало, или между двух извивающихся змей.

Психачев показал, как извиваются змеи.

— Она держит сistr в своей правой руке. На левой — висит золотой сосуд. У этой богини дыхание ароматнее, чем аравийские благоухания.

— Все это я испытал.

Психачев постарался придать своим глазам загадочность. Он остановил их. Он встал с кресла, руки его поднялись в ритуальном жесте.

— Она — природа, мать всех вещей, владычица стихий, начало веков, царица душ. — Психачев побледнел. — В таинственном молчании темной ночи ты движешь нами и бездушными предметами. Я понял, что судьба насытилась моими долгими и тяжелыми мучениями.

— Вот ты тихо подходишь ко мне, прозрачное виденье, в своем изменяющемся платье. Вот полную луну, и звезды, и цветы, и фрукты вижу я!

Психачев умолк.

И вдруг в углу комнаты раздался женский пискливый голос:

— Я тронулась твоими мольбами, Психачев. Я — праматерь всего в природе, владычица стихий...

Головы всех повернулись. Это говорил Свистонов... Но Психачев нашелся.

— Вы прогнали видение, — сказал он.

Ночь прошла незаметно. Психачев определял цвета дамских душ. У Марьи Дмитриевны оказалась душа голубая, у Надежды Ивановны — розовая, у Екатерины Борисовны — розовая, переходящая в лиловую, а у хозяйки дома — серебряная с черными точками.

— Вот так-то мы и проводим время, — сказал Психачев, прощаясь со Свистоновым на набережной в утренних лучах солнца. — Как по-вашему, ничего?

— Великолепно! — ответил Свистонов, — совершенно фантастически!

Между тем приказчик Яблочкин, которого Психачев назвал Катонем, по наущению Психачева составлял свой портрет.

Он писал, кто и кем были его бабушка и дедушка, отец и мать, кто ему враги, какие у него друзья, какие у него доходы, и копался в своей душе.

С воодушевлением новый Катон стал читать плутарховского Катона, врученного ему мнимым иерофантом. Всюду перед Яблочкиным вставали вопросы, и на полях книги он ставил вопросительные знаки.

Он жил на шестом этаже, и город лежал под его ногами. Вечерние и утренние зори освещали его комнату. Он вставал пораньше, ложился попозднее, читал и с каждой зарей чувствовал себя умнее и умнее.

Свистонов встретился с Катонем у Психачева. Иерофант, сидя под старинными портретами, объяснял своему ученику цифровой алфавит.

Свистонов с собранием историй, удивительных и достопамятных, сидел в другом кресле и выписывал на листок бумаги нужную ему страницу...

La nuit de ce jour venuë, le sorcier meine son compaignon par certaines montagnes & vallees, qu'il n'auoit oncques veuës, & luy sembla qu'en peu de temps ils auoyent fait beaucoup de chemin. Puis entrant en vn champ tout enuironné de montagnes, il vid grand nombre d'hommes & de femmes qui s'amassoient là, & vindrent tous à luy, ménans grand feste...¹

Свистонов стал раздумывать. Что будет со всеми этими женщинами и мужчинами, когда они прочтут его книгу? Сейчас они радостно и празднично выходят ему навстречу, а тогда, быть может, раздастся смутный шум голосов, оскорбленных самолюбий, обманутой дружбы, осмеянных мечтаний.

Яблочкин писал:

12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,

А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г.

¹ Когда наступила ночь, колдун повел своего спутника по каким-то горам и долинам, которых тот прежде не видывал, и ему показалось, что за небольшой отрезок времени они пределали довольно большой путь. Потом, когда они вышли на ровное место, окруженное со всех сторон горами, он увидел огромную праздничную толпу мужчин и женщин, идущих ему навстречу... (старофр.)

Свистонов, как тень, сидел у окна.

Психачев заботился о своем здоровье. Всюду расставлены были банки, стаканы, чашки с простоквашей, в которых чернели мухи, а на потрескавшемся подоконнике лежали и дозревали помидоры.

— Сердце твое должно быть чисто,— говорил Психачев Яблочкину,— и дух твой должен пылать божественным огнем. Шаг, который ты делаешь, важнейший шаг в твоей жизни. Произведя тебя в кавалеры, ожидаем от тебя благородных, великих, достойных этого титула подвигов.

И почувствовал Яблочкин, что он приобщился тайне, а когда он вышел, весь мир для него повернулся по-новому. Как-то иначе город загорелся. Предстали по-новому люди, почувствовал, что ему надо работать над самоусовершенствованием и над просвещением других людей.

Свистонов угадывал, что происходит с Яблочкиным, ему было жаль разбивать его мечту, погрузить его снова в бесцельное существование, доводить до его сознания фигуру Психачева. Он знал, что Яблочкин обязательно прочтет его книгу, книгу ближайшего друга Психачева. «Ну ладно, будь что будет. Психачев мне необходим для моего романа»,— решил Свистонов и, устроившись поудобнее в комнате Психачева, в психачевском кресле, стал переносить Психачева в книгу.

Хозяин перетирал реликвии. Говорил о Яблочкине, строил планы. Нева замерзала, скоро по ней на лыжах будут кататься красноармейцы. Скоро будет устроен каток, и под звуки вальса в отгороженном пространстве завальсирует молодежь.

Свистонов посмотрел на Психачева. «Бедняга,— подумал он,— сам напросился».

— Дружище,— сказал он,— не согреть ли чайку, что-то прохладно становится?

— Хотите, печку затоплю? — спросил хозяин.

— А это совсем хорошо бы было,— ответил гость.— Мы превосходно проведем время. Пусть снег за окном. Мы будем сидеть в тепле и холе.

Психачев сошел в сад и принес дров.

Свистонов записал все то, что ему надо было.

— Теперь бы в картишки перекинуться,— сказал он. Подошел к печке и, добродушно потирая руки у запывавшего огня, задумался, затем продолжал: —

Карты у вас, должно быть, есть? Расставимте ломберный столик, попросимте вашу жену и дочь и сыграемте в винт.

До полуночи играл в винт Свистонов и проигрывал. Ему нравилось делать небольшое одолжение. Он видел, как покраснелись щеки у госпожи Психачевой, читал ее мысли о том, что завтра к обеду можно будет купить бургонского, которое так любит ее муж; что обязательно надо будет пригласить к обеду и этого милого Андрея Николаевича, дружба которого так оживила ее мужа.

Психачев ловко орудовал мелком, покраснелся тоже.

По очереди тасовали карты, карты были трепаные, сальные, с золотым обрезаем. Сами собой они оказались крапленными.

Свистонов проигрывал. Он был доволен. Хоть чем-нибудь он мог отплатить хозяевам за гостеприимство.

Снег падал за окном превосходными хлопьями. Превосходные портреты висели над головами играющих. Маша и Свистонов сидели спиной к черному окну. Маша кокетничала со Свистоновым. Свистонов шутил, рассказывал ей цыганские сказки.

Маша сердилась, краснела и говорила, что она не ребенок.

«Бедный Психачев», — подумал Свистонов, выходя из дверей гостеприимного дома.

«Жалко, что уже поздно к Яблочкину, — он посмотрел на часы. — Погулять, что ли, по городу». Свистонов, подняв воротник, пошел.

У Яблочкина была подруга. Звали ее Антонина. Работала Антонина на конфетной фабрике и носила красный платочек.

Стал Яблочкин с подругой переписываться криптографически, писать ей, что он любит ее и готов на ней жениться. Стал писать он ей об этом цифрами. Не от кого было им скрывать любовь свою. Он и она были одиноки.

Истории стал рассказывать юноша ей по вечерам, гуляя по колеблющейся набережной или по пропахшему сладкими эссенциями фабричному саду. Решил познакомить ее с просвещенными и симпатичными людьми, живущими вон в том отдельном домике. Он думал, что Свистонов живет вместе с Психачевым.

— Какие они ученые, Ниночка,— говорил он.— Страх даже берет. Зайдешь к ним, а они над каким-нибудь чертежом сидят, над кругами и четырехугольниками. Старший младшему объясняет, а тот слушает и прилежно записывает.

Гитары стоны,
Там песни воли и полей...
И там забудем свое мы горе...
Эй, шарабан мой, да шарабанчик...

— Наши идут,— улыбается Антонина.— Ишь, как голосят.

В окне, над садом появляются одна над другой головы Психачева и Свистонова.

— Это что за представление? — спрашивает Свистонов.— У вас здесь весело, Владимир Евгеньевич.

— Да это у нас каждую субботу.

— А вы не сыграете ли Моцарта, что ли, или что хотите. Что-нибудь старинное.

Окно захлопнулось.

Яблочкин стоял с Антониной против освещенного окна.

Они видели угол комнаты со старинными портретами.

Ваня шептал:

— Уют там какой. Полочки какие, цветочки в горшках. Тишина!

Музыка смолкла.

Психачев и Свистонов с крылечка спустились в сад и пошли по дорожке.

— Так вот, дорогой Андрей Николаевич, вы как будто сомневаетесь в древности нашего ордена? Поверьте...

При новой луне состоялось академическое собрание в комнате в два окна, которую Психачев назвал капеллою. Сюда были перенесены старинные портреты и купленное в Александровском рынке масонское кресло. Кровати были вынесены.

Психачев сидел на президентском месте в сапогах со шпорами, с лентой через плечо, и читал, толковал места, избранные из Библии, Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия и Конфуция. По правую руку от него сидел Свистонов, по левую — бывший кавалерист-офицер и Яблочкин, напротив — князь-мороженщик. Психачев, кончив толковать, стал спрашивать по очереди своих

питомцев о книгах, читанных ими после последнего собрания, о наблюдениях или открытиях, ими учиненных, о трудах и усилиях, положенных ими для расширения ордена, какие где есть люди и в каком отношении пригодны они для ордена.

Яблочкин смотрел на Психачева напряженно, стараясь все постичь.

Кавалерист, видимо, готовился возражать. Он нетерпеливо ерзал на стуле.

Свистонову было скучно и не совсем удобно. Ему становилось смешно и неприятно, что он всех обманывает.

Чтобы отвлечься, он стал раскладывать спички на столе, строить башню, затем поджег ее. Все возмущенно посмотрели на него. «Да, они положительно верят Психачеву, полагают, что могущественный орден действительно существует. Чего доброго, Психачев пошлет бумагу папе и, чем черт не шутит, пожалуй, получит из Америки деньги. И расцветет орден, и все поверят, что он действительно всегда существовал».

— Братья, поговорим об усовершенствовании наших духовных способностей. Устремим наши усилия на это. Разовьем силу наших мыслей. Я убежден, что скоро мы сможем передвигать предметы на расстоянии. Я отправлюсь скоро на Восток испросить для вас, вновь поступивших братьев, благословения. Там будут молиться за нас, и спокойно и светло будет у нас на душе.

— Кто желает задать вопросы? Я постараюсь привезти вам ответы с Востока.

Собрание затянулось далеко за полночь.

Раз как-то вечером Свистонов сидел с Психачевым и беседовал о тамплиерах. Вошел человек с выходящими из орбит глазами, по-видимому страдавший базедовой болезнью.

— Барон Медем, — представил Психачев вошедшего, и, отведя барона в сторону, он дал ему свой последний рубль.

Барон откланялся и скрылся.

— А ведь тогда, в восемнадцатом веке, он в качестве графа принимал меня в своем замке, — сказал Психачев многозначительно. — Жаль, вас тогда не было.

Свистонов улыбнулся.

— Пойдите, — сказал Психачев, — вспоминаю, вы были там. На вас был лазоревый камзол из какой-то

изумительной материи. Помню, вы подарили мне кольцо с резным камнем.

— А вы мне это, — ответил Свистонов и вынул из кармана кольцо с сердцем, мечом и крестом.

— Совершенно верно, — воскликнул Психачев. — Как я вас не узнал.

— Позвольте мне вас называть графом. Вы ведь граф Феникс. Мы ведь теперь в Петербурге, — сказал Свистонов.

— Конечно, барон, — взял Психачев Свистонova под руку. — Выпить надо по этому поводу.

И они отвесили друг другу глубокий поклон.

Граф Феникс скрылся за портьерой. Буфет скрипнул, и появилась водочка.

— Оля, Оля! — закричал Психачев, — принеси скатерть. Андрей Николаевич оказался совсем не Андреем Николаевичем. Это он, мой друг. Помнишь, я о нем тебе рассказывал?

— А! — ответила жена.

Психачев суетился. Серебряная перечница восемнадцатого века куда-то пропала.

— Поди в кооператив, — сказал он жене, — сегодня будем ужинать при свечах.

Психачев и Свистонов читали одни и те же книги. Воспоминания обоих друзей совпадали. Свечи в старинных подсвечниках языками освещали стол со старинными приборами. Фрукты из кооператива ЛСПО горкой возвышались на серебряной тарелке. Пальчики винограда зеленели. Водочка была отставлена, и появилось красное вино. Граф Феникс вспоминал, как его принимала Екатерина II, и говорил, что он до сих пор сердится на свою жену. Хозяин шарлатанил, поэтому внезапно посмотрел на Свистонova — не шарлатанит ли и тот. Но Свистонов был действительно обрадован. Он любил импровизированные вечера. Ему повезло в этот вечер.

— Скажите, граф, — спросил он, кладя пальчики винограда в рот, — и почему вы воплотились в Психачева?

Утром Психачев, так как гастролей давно уже не было, катал из изобретенной им массы бусы, соединял в ожерелья, раздумывал над серьгами и брошками.

Жена тем же занималась, тем же занималась и дочь.

Масса помещалась в жестяных банках из-под монпансье и чая. Красные, синие, белые, оранжевые, чер-

ные, зеленые комки лежали на столе. Жена отрывала зеленый комочек, превращала его трением одной ладони о другую в длиненькую колбаску. Дочь разрезала на равные кусочки эту колбаску, Психачев превращал кусочки в бусы. Так и тихого домика коснулась фордизация. Вечером Психачев нанизывал эти бусы на нитку и покрывал копаловым лаком, а дня через два-три продавал их своим знакомым и в Гостиный двор как последнюю новинку Парижа. Дочь за бусами скучала. Ей хотелось, чтобы отец повез ее наконец на тайный бал, где все люди одеты в цветные костюмы. Она хотела увидеть, как отец ее выигрывает в карты в тайных игорных притонах, а затем раздает деньги нуждающимся. А между тем, вместо великолепных балов, отец редко-редко брал ее в кинематографы и летние сады, где она отгадывала, что у него в кармане, посредством системы вопросов, да на свои сеансы фокусов там же, сеансы, после которых он должен был разоблачать себя и с эстрады говорить, что это только ловкость рук, и показывать, как все это делается.

Свистонов решил отдохнуть от Психачева, собрать новый материал, заняться другими героями. Пусть пока Психачев, как тесто, подымается в нем.

Глава пятая

СОБИРАНИЕ ФАМИЛИЙ

Свистонов прошел мимо монастырской невысокой белой ограды, мимо трудовой школы II ступени, мимо родовспомогательного заведения, вошел в ворота, обогнул церковь, обогнул флигелек с затянутыми кисеей форточками, прошел в другие воротца.

Он склонялся над могильными плитами, поднимал глаза к ангелам с крестом, прикладывал нос к стеклам склепов и рассматривал. Впереди него шли родственники умерших, чтобы посидеть на могилах, на которых лежали накрошенные яйца и крошки хлеба. У памятника писателя Климова он заметил старичка карлика с букетом в руках. Старичок, отложив букет, благоговейно окапывал могилку и втыкал палочки в землю, подвязывал цветки. Тронутый, Свистонов остановился. Затем пошел дальше, заглядывая в склепы. В одном склепе он увидел двух прощелыг. Они, сидя на облупившихся

железных могильных стульях, играли в карты. Склеп был заперт снаружи.

На могилке японца сидел старичок. Увидев, что Свистонов пристально на него смотрит, старичок пояснил: «Вот к нему-то никто не приходит. Мне делать нечего, я и прихожу. Жаль мне его».

У небольшой могилки живописно лежали пьяные. Наименее пьяный пошел и привел священника. Наименее пьяный обошел всех, снял у всех шапки. Священник быстро стал служить, оглядываясь. Когда он кончил, полупьяный уплатил ему мзду, обошел всех, надел всем шапки и, обращаясь к могиле, удовлетворенно произнес:

— Ну, Иван Андреевич, помянули мы тебя хорошенько — и выпили, и панихидку отслужили. Теперь уж ты должен быть доволен!

Свистонов, записав, хотел идти дальше. Но он заметил недалеко от надгробного, в виде пропеллера, памятника знакомого фельетониста, беседующего со священником. Фельетонист изображал на своем лице веру, надежду и любовь, называл священника батюшкой и, улучив момент, подмигнул Свистонову. Свистонов улыбнулся.

Когда священник, растроганный, отошел, подумывая о том, что еще не все хорошие молодые люди перевелись на этом свете, к фельетонисту подошел Свистонов.

— Охотитесь? — спросил он. — Охота — великое дело.

— Да, я хочу посылно осветить современность.

— А нет ли у вас какого-нибудь материальчика относительно... — И Свистонов наклонился к уху фельетониста.

— Есть, есть! — просияло у того лицо. Радостно закурив, фельетонист отбросил далеко спичку. — Но только не воспользуйтесь им. Я его храню для одной авантюрной повести.

— Я его переделаю. Мне это нужно как деталь, для общего колорита.

— Слушайте! — И у фельетониста загорелись глаза. Он осмотрелся и, заметив старушку, стал шептать на ухо Свистонову.

— А не уступите ли вы мне батюшку и себя? — спросил Свистонов, окончательно прощаясь. — Я возьму и кладбище, и цветы, и вас обоих.

Фельетонист поморщился.

— Андрей Николаевич, — сказал он. — Этой пакости я от вас никак не ожидал. Я отнесся к вам со всем доверием. Вы обманули мое доверие.

Свистонов наслаждался пением птиц, полотном железной дороги, детьми за заборами, игравшими в городки.

Паша с карандашом в руке наконец нашел его. Они сели, и Паша стал предлагать Свистонову на выбор фамилии, найденные на кладбище.

— Ваш рассказец недурен, — вспомнил Свистонов о рукописи Паши. — А не слышно ли чего-либо о Куку?

— Ничего не слышно, — ответил Паша.

— Вот что, Паша, передайте эту записку Ие.

Глава шестая

ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ИЕЙ

Ия вошла в квартиру Свистопова нахально.

Она считала, что она все знает и обо всем имеет право говорить, и имеет право все решать и, отставив ногу, утверждать, что она права.

Ие говорили, что у Свистопова интересная обстановка, что он живет при свечах, что у него в дубовом специальном шкафчике хранятся великолепные геммы и камни, что на стенах его комнаты развешаны и расставлены чрезвычайно редкостные предметы.

Она вошла в парадную, прошла во двор и поднялась по черной лестнице.

Она потянула за ручку звонка, и раздалось дребезжание колокольчика.

Свистонов поджидал ее и быстро распахнул дверь.

Ия вошла в полутемную переднюю.

Огонь свечи отражался в зеркале, дешевые обои заставили Ию презрительно передернуть плечами.

Свистонов помог приглашенной раздеться, через абсолютно темную столовую провел в спальню.

Ия сейчас же зашагала по комнате и стала о каждом предмете высказывать свое мнение.

Посмотрев на всевозможные весьма интересные трактаты семнадцатого века, она сообщила ему, что это, должно быть, Расин и Корнель и что она не очень любит Корнеля и Расина.

Взглянув на итальянские книжки шестнадцатого века, она заметила, что не стоит в наше время заниматься Горациями и Катуллами.

Свистонов сидел в кресле и внимательно слушал.

Он спросил, какого она мнения о тарелочке, висящей вот на той стене.

Ия подошла, сняла голубую тарелочку с белыми мускулистыми человечками, с полубаранами-полутритонами и гордо заявила, что она понимает толк в этих вещах, что это, несомненно, датское свадебное блюдо.

Довольная собой, но недовольная обстановкой и вещами Свистонова, она села на венецианский стул, принимая его за скверную подделку под мавританский стиль.

— Хотите, я вам прочту главу из моего романа? — спросил Свистонов.

Ия кивнула головой.

— Вчера я думал об одной героине, — продолжал Свистонов. — Я взял Матюринова «Мельмота Скитальца», Бальзака «Шагреновую кожу», Гофмана «Золотой горшок» и состряпал главу. Послушайте.

— Это возмутительно! — воскликнула Ия. — Только в нашей некультурной стране можно писать таким образом. Это и я так сумею! Вообще, откровенно говоря, мне ваша проза не нравится, вы проглядели современность. Вы можете ответить, что я не понимаю ваших романов, но если я не понимаю, то кто же понимает, на какого же читателя вы рассчитываете?

Уходя от Свистонова, Ия чувствовала, что она себя нисколько не уронила, что она показала Свистонову, с кем он имеет дело.

Глава седьмая

РАЗБОРКА КНИГ

Свистонов в нетопленной квартире простудился. Нос у него воспалился и покраснел. Слёгка лихорадило. Свистонов решил вытопить печь, посидеть дома и привести в порядок свою заброшенную библиотеку. Но распределение книг по отделам, как известно, — тяжелый труд, так как всякое разделение условно. И Свистонов стал размышлять, на какие отделы разбить ему его книги, чтобы удобнее в нужный момент ими пользоваться.

Он разделил книги по степени питательности. Прежде всего он занялся мемуарами. Мемуарам он отвел три полки. Но ведь к мемуарам можно причислить и про-

изведения некоторых великих писателей: Данте, Петрарки, Гоголя, Достоевского — все ведь это в конечном счете мемуары, так сказать, мемуары духовного опыта. Но ведь сюда же идут произведения основателей религий, путешественников... и не является ли вся физика, география, история, философия в историческом разрезе одним огромным мемуаром человечества! Свистонову не хотелось разделять книги по мнимому признаку. Все для писателя одинаково питательно. Не единственный ли принцип — время. Но поместить издание 1573 года с изданиями 1778 и 1906... тогда вся его библиотека превратится в цепь одних и тех же авторов на различных языках. Цепь Гомеров, Вергилиев, Гете. Это оказало бы, безусловно, вредное влияние на его творчество. С героев его внимание перенеслось бы на периферию, на даты изданий, на комментарии, на качество бумаги, на переплеты. Такая расстановка, быть может, и понадобится ему когда-нибудь, но не сейчас, когда он работает над фигурами. Здесь нужны резкие линии. Тут надо идти не от комментариев, а от самих вещей. Комментарии же должны быть только аккомпанементом, и для того, чтобы образовать огромные масштабы, Свистонов освободил полку, взял «Мертвые души» Гоголя, «Божественную Комедию» Данте, творения Гомера и других авторов и расставил в ряд.

«Люди — те же книги, — отдыхая, думал Свистонов. — Приятно читать их. Даже, пожалуй, интереснее книг, богаче, людьми можно играть, ставить в различные положения». Свистонов чувствовал себя ничем не связанным.

Глава восьмая

ПОИСКИ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ФИГУР

Свистонов не долго высидел дома. Для его романа нужны были второстепенные фигуры, вид города, театры. На следующий день к вечеру он вышел.

Он с увлечением принялся за перенос деталей города.

У инвалидов толпились покупатели.

— Да, да, — ответила покупавшая дичь. — Я бывший профессор Николай Вильгельмович Кирхнер.

На профессоре были все та же засаленная ермолка,

все та же разлетайка, все те же галоши на босу ногу, привязанные веревками. Все те же очки в золотой оправе, все тот же вечный узел в руке. Ему казалось, что все еще надо куда-то спешить и стоять в бесконечных очередях.

Теперь профессор получал сто рублей пенсии, жил в гостинице «Бристоль», но все для него было кончено. Для него наступила вечность. Его лицо было хмуро и глаза по-сумасшедшему сверлящи, а губы слегка скептически сложены.

Десять лет он и Свистонов встречались на улицах и никогда не разговаривали. Но сегодня профессор чувствовал страшное волнение. Его грубо выгнали из канцелярии Государственной филармонии. Его взяли под руки и бросили на улицу, повернулись и захлопнули дверь. Но как же так! Ведь его сестра сломала ногу, выходя после концерта, на лестнице. Она поскользнулась и упала.

Распростившись с третьестепенной фигурой, Свистонов направился к второстепенным фигурам, к токовским старичкам. Старички обрадовались ему, так как они были одиноки и словоохотливы. А со Свистоновым можно было поговорить, как им казалось, о прежней жизни, ему можно доказать, как прежде ценили музыкантов, показать медаль и карточку высокопоставленного лица с собственноручной надписью и портреты высокопоставленных учеников, мальчиков в мундирах, которых он во время оно обучал игре на балалайке.

— Да вы уж, Татьяна Никандровна, не ухаживайте за мной. Я человек простой, — говорил Свистонов. — Понравились вы мне очень, я вот и зашел к вам, попросту провести вечерок. Уютно у вас очень, Татьяна Никандровна. Чувствую это. Знал, что и варенье у вас будет. Я, конечно, не такой музыкант, как Петр Петрович, но музыку я люблю. А иногда очень музыки хочется. Вот я и понадеялся, что Петр Петрович возьмет флейту да после чая и сыграет.

— А на чем вы играете? — спросил старичок.

— Да на рояле чуть-чуть, — ответил Свистонов. — Почти что одним пальцем. Ноты разбираю, аккомпанировать могу.

— Должно быть, забросили? — сочувственно спросил старик. — Да, в людях выдержки мало! Из моих учеников тоже никто музыкантом не стал. Помню, учил я детей одного статского советника. Славные были мальчики. Сейчас пишут, что издевались они над нами. Не

верьте, неправда это. Вот и Татьяна Никандровна может подтвердить. А воспитание какое было! Как учили их внимательности. Чуть что, сейчас без сладкого или в угол ставили, и мамаша извиняется, и папаша придет: «Я их обязательно накажу», — и никогда без обеда не отпускали. А какие были важные лица, а бывало, обязательно усадят рядом с собой, чтобы мне обидно не было...

— И рекомендации давали, — перебила Таня. — И уроки доставали, и на места устраивали.

— А уж о подарках нечего и говорить, — заметил старичок. — И на Рождество, и на Пасху. А если узнают, что женишься, обязательно — посаженный отец, а если ребенок — то крестный отец, если сын студент революционером окажется, к градоначальнику сам едет.

Свистонов пил чай, помогал старичку рассказывать. Задавал вопросы, то он вздохнет, то промолчит, то головой покачает, то помычит слегка, то откашляется.

— Вот я сейчас принесу, покажу вам подарки! — сказала старушка. — Петя, куда же ты ключ дел? — раздалось из соседней комнаты.

Петя встал, и Свистонов услышал скрип выдвигаемых ящиков.

— Что, — сказал Свистонов нежно, — часики ходят?

— Не только ходят, но и бьют, — обрадовался старичок. — Вот послушайте. — Он вынул из буфета стакан, опрокинул его и положил на донышко часы.

Часы отчетливо пробили одиннадцать.

— А пока вот списочек, — сказала Таня, — в каком году что подарено. — И она протянула порыжевшие листочки бумаги Свистонову.

Чего-чего тут не было: и корзинки цветов с визитной карточкой, и барометр, и портсигар, и запонки, и булавки для галстука.

Свистонов читал. Старички удалились на минуту и вынесли свои сокровища и сказали почти дуэтом:

— Все мы сохранили, ничего не продали! Голодали, а подаренных нам вещей не продали. — И они разложили на столе перед Свистоновым подарки.

Совсем понравились старички Свистонову. Решил, что не совсем они второстепенные. Решил заходить почаще.

Возвращаясь по одному и тому же пути, прикуривая и разговаривая, Свистонов свел дружбу с милиционером. И милиционер читал ему свои стихи:

У стрелки трамвая
Стоит моя Аглая,
Стрелку переводит,
С меня глаз не сводит,
И с моего милицейского поста
Видны ее сахарные уста.

Сначала милиционер чего-то боялся, но потом убедился, что Свистонов вообще человек добрый и разговорчивый.

Часто сидел Свистонов с милиционером, покуривал и беседовал с ним о стихах, затем вместе они принимались ходить по улице, заложив руки за спину.

Деревья синели, милиционер рассказывал о том, как хорошо у них в деревне, какие у него чудные там яблони и сколько пудов сушеных яблок заготавливают дома, какие существуют антоновки, как можно привить к березе, дубу, липе веточки от одной и той же яблони и как различаются яблоки по вкусу в зависимости от того, к какому дереву привиты веточки. Рассказывал, как добывают муравьиный спирт, как томят муравьев в мешочках и выжимают сок.

Свистонов спрашивал, какие у них в деревне порядки, как насчет суеверий, имеется ли изба-читальня и какова там половая жизнь молодежи. Просил вспомнить, говорил, что это необходимо для его книги.

Так сидели они подолгу на скамейке под воротами. Милиционер рассказывал все, что взбредет ему в голову, отвечал на расспросы Свистонова, а Свистонов при свете домового фонаря записывал.

И опять прошло много времени. Раз стояли у своего окошечка в третьем этаже супруги. Солнце светило, как на картинке, окно было растворено, старичок держал Травиату за все четыре лапки, старушка расчесывала ей животик и хвостик костяным белым гребнем.

— Ну что ты беспокоишься, Травиаточка? — говорила старушка. — Что ты лаешь и скулишь? Мы тебе добра желаем. Вот шейку почешем. Ведь тебе не достать зубками. Вот между бровками.

— Смотри, как ее сосут, — говорил старичок, раздвигая шерсть свободным большим пальцем. — Недаром она такая грустная.

— Хотела бы я увидеть душу Наденьки! — вдруг ни с того ни с сего вырвалось у старушки. — Наверно, у нее душа прекрасная.

— Да, тихая барышня. Почеши тут. Видно, из хоро-

шей семьи. А как ты думаешь, женится на ней Иван Иванович? Да не егози, Травиаточка!

— Смотри, смотри на улицу, Травиаточка, кто там идет. Видишь, собачища огромная. Ее на цепочке ведут. Смотри, смотри, Травиаточка.

— А жаль, если не женится... — сказала старушка.

— Смотри сколько. Пстой, пстой, на тебя скакнула!

— Ну где же ее теперь поймашь?

— Помнишь, как жакет на тебе сидел, а теперь ты не бритый. Помнишь мое серое атласное со стеклярусом платье? А вот ты чистенькая, Травиаточка. Опусти ее на пол.

— Смотри, как она отряхивается!

— А ну-ка потанцуй, Травиаточка. — И, взяв собачку за лапки, старушка принялась водить ее вокруг себя.

Песик, откинув спинку, переступал и, время от времени, подняв мордочку, лаял. Затем старушка взяла его на руки, старый песик положил ей мордочку на плечо, закрыл глаза и стал сопеть.

И старушка запела дребезжащим голосом:

Баю-баюшки баю,
Баю деточку мою.
Приди, котик, ночевать,
Травиаточку качать.

— Ах ты, старенькая моя! Бедненькая моя, лысенькая! — И седая деточка, поняв, что ее жалеют, смертельно заскулила.

Любила очень животных жена флейтиста. Всех кошек на лестнице она подкармливала, всех брошенных котят подбирала и возмущалась.

Был у нее во дворе дровяной сарай. По-настоящему жила она внутри этого сарая.

Каждая курочка, каждый петушок имели свой зов, то «моя девочка», то «мой мальчик», и умели булку из рук клевать. Были у старушки и козы.

В это мирное семейство ворвался Свистонов. Он заметил одинокость старушки, объяснил эту одинокость тихой тоской по материнству. Стал он приносить конфетки Травиаточке, стал он гладить и хвалить, и совсем вскрылось сердце старушки.

— Тебя любят, — говорила она Травиаточке, — тебя все очень любят, и всем ты очень нравишься! Вот подожди, к зиме я новую попонку тебе сошью, тогда ты совсем станешь красавицей.

— Давно ли у вас этот песик? — спрашивал Свистонов.

— Да лет шесть, — отвечала старушка.

— Он совсем еще не стар.

— Конечно, совсем еще молоденький, — подтверждала старушка, скрывая настоящие годы своей любимицы.

— Не останетесь ли вы у нас пообедать?

Свистонов остался.

Посадила Татьяна Никандровна Травиату за стол, повязала ей салфетку.

— Вы уж извините, — сказала старушка. — Травиаточка нам вместо дочери.

Сели все за стол и стали суп кушать.

Травиаточка кончила первая, посмотрела на всех и поскулила. Она любила покушать.

— Ты проголодалась, Травиаточка? — спросила Татьяна Никандровна.

Травиата прислушалась и опять заскулила.

Взяла старушка ее тарелку, пошла на кухню и налила холодного супу.

Опять стала лакать Травиаточка. Принесла Татьяна Никандровна жаркое и на отдельной тарелочке с цветами — Травиаточке отдельный кусочек с косточкой. Все пили чай, молоко Травиаточка лакала. Затем соскочила со стула и попросила погулять. После обеда Свистонов аккомпанировал. Старичок сидел рядом, играл на флейте.

Глава девятая

БОРЬБА С МЕЩАНСТВОМ

В том же доме жил Дерябкин.

Дерябкин больше всего на свете боялся вазочек. Дерябкин бледнел при слове «мещанство». Поэтому он не позволил своей новой жене внести в комнату, им занимаемую, девичью красоту: герань и фуксию. Также он не дал ей повесить на стенку фотографию ее матушки. Несмотря на сопротивление жены, вытянул обойный гвоздик из стены и запрятал молоток.

— Уж если ты хочешь жить со мной, потрудись подчиняться моей воле. Я тебе глупить не позволю!

И на следующее утро повезла Липочка в трамвае цветочки обратно своей матушке. Та в это время мыла

воротнички Дерябкина и всплеснула мыльными руками.

— Уж эти мужчины, они не любят цветов!

Пообедали. Стала мамаша доставать занавески для окон.

Залюбовались мамаша и дочка. Занавески были ручной работы. Еще сама бабушка вязала.

— Что я принесла, дорогой мой Пава!

— Я не Пава, я — Павел. Не называй меня, пожалуйста, собачьей кличкой.

— Посмотри, узоры-то какие...

— Занавески на окнах, — сухо заметил Павел, — это признак мещанства. Я не могу тебе этого позволить. В субботу мы пойдем в «Пассаж» и купим подходящее.

Между тем Свистонов, бродя по улицам, зашел в «Пассаж» позавтракать.

Дерябкин, несмотря на толпу, шел гордо. Держась за мужнин рукав, почти бежала Липочка.

— Взгляни-ка, вазочка! Не купить ли...

— Брось, пожалуйста; свои вазочки.

— А вон кошечка-копилочка.

— Не приставай, — раздраженно сказал Дерябкин, выдергивая рукав. — И что за мещанская манера цепляться. Иди спокойно.

— Купи картину, Павочка. Мы повесим ее над нашей кроваткой.

— Я тебе сказал, не приставай.

— Ну абажур купи.

— И абажура не куплю.

Свою борьбу Дерябкин возводил в перл творения. Ночей Дерябкин не досыпал, все думал, как бы уберечься от этого зла. Идет по улице и вдруг видит в окне магазина выставлено восковое мещанство. Одето мещанство в мишуру, губы у мещанства крашенные, волосы завиты по парижской моде. Ну парикмахерские, бог с ними, они всегда были такие, но вот магазины трестов и кооперативов!

Болело у Дерябкина сердце, что в магазины и тресты проникает мещанство.

— Это — безвкусица, — рассматривая легонькую как пух, муранского стекла вазочку, произнес Дерябкин.

— Конечно, — подтвердил остановившийся рядом Свистонов. — Приятно видеть человека, хорошо разбирающегося в этих делах.

— Какая это рыбка? — обернулась Липочка.

— Дельфин, — ответил Свистонов.

— Она все мечтает о золотых рыбках! — пояснил Дерябкин примелькавшемуся во дворе человеку.

Примелькавшийся человек сочувственно промычал. Дерябкин, чувствуя неожиданное подкрепление, обрадовался.

— Вот я тебе говорил, гражданин тоже утверждает.

— Да, всем приходится бороться с мещанством, — пряча улыбку в воротник, вздохнул Свистонов.

Говоривший был, по-видимому, человек знающий и просвещенный.

— Не посоветуете ли, — спросил Дерябкин незнакомца, — мы, кажется, с вами встречались во дворе, что купить? Я — Павел Дерябкин, инкассатор.

— А я — литератор Свистонов.

— Это хорошо, — сказал Дерябкин. — Вот видишь, Липочка, и литератор того же мнения.

Дерябкин, навьючив Липочку — он считал, что мужчине не полагается носить пакетов, — вцепился в Свистонова.

— Идемте к нам чай пить.

Свистонов, следом за Дерябкиным и Липочкой, спустился в подвал.

В подвале лежала суконная красная с черным дорожка, какие были прежде на парадных, обеденный стол, зеркало с парадной. Чистота царила в подвале необычайная. Окна выглядели почти хрустальными, подоконники были вымыты до блеска. Крашенный желтый пол сверкал.

— Гигиена, — сказал Дерябкин, — это первый признак культуры. Вот посмотрите, как лежат у нас зубные щеточки. — И Дерябкин повел Свистонова к полочке над краном. — Видите, и мыло тоже в футляре, чтобы бактерии не попадали. На этом фронте я уже победил. Теперь новый фронт открылся для меня, по вечерам теперь я вырабатываю почерк. Каллиграфия приучает человека к усидчивости и терпению.

Грамотный и культурный человек был для Дерябкина первый гость. Хозяин жаждал просвещения. Но по вечерам не только вырабатывал почерк Дерябкин. Кроме того, он слушал радио. Радио приводило в восхищение Дерябкина. Ему казалось, что благодаря радио он сможет узнать все на свете. Он может просвещаться насчет оперы, не надо терять времени на трамвай, да и

экономия какая. Об этом он часто говорил с женой. Беда, если жена шумела, когда он сидел с блестящими наушниками. И Липочка решила не ударить лицом в грязь.

— Я настолько малокровна, что мое единственное спасение во сне, я спать могу когда угодно и сколько угодно, — усевшись на пестреньком диванчике, сказала Липочка Свистонову.

— Как же вы научились спать когда угодно? — спросил Свистонов, облакачиваясь на спинку дивана.

— Всему научит ночная клубная служба, — вздохнула хозяйка.

— Вы такая изящная, — грустно пробормотал Свистонов. — Тяжело вам, должно быть, возиться с домашним хозяйством.

— Ужасно бегать приходится, — ответила хозяйка. — Если так будет долго продолжаться, то я умру. Сколько хлопот было с переплетами! Почти каждый день я бегала в переплетную.

— С какими переплетами? — полюбопытствовал Свистонов.

Хозяйка гордо подвела гостя к этажерке.

— Это любимые книги моего Павла.

Свистонов согнулся. «Старые годы», ежегодник общества архитекторов.

— Вы тонко понимаете искусство, — сказал Свистонов, выпрямляясь. — Эти матерчатые переплеты необыкновенно подходят к вашей обстановке.

И здесь решил Андрей Николаевич стать своим человеком.

«Андрей Николаевич сказал, Андрей Николаевич советовал, Андрей Николаевич сегодня достал для нас билеты на концерт, Андрей Николаевич поведет нас в музей», — стало раздаваться в этой квартире.

Старички наверху ревновали.

— Обиделся на нас, что ли, Андрей Николаевич.

Общество Дерябкина составляли:

Девица Плюшар, лет шестидесяти, отставная классная дама с косичкой, закрученной на затылке, и двумя зубами на верхней челюсти; девица, которой уже негде было танцевать мазурку.

А как лихо отплясывала она за мужчину в своих желтых на шнурках ботинках на прежних балах гимназии, в которой по утрам она плыла со сложенными

на груди руками и каменным лицом: «Время делу, а потехе час».

Парикмахер Жан, человек образованный, любящий порядок, которому теперь приходилось брить и стричь черт знает кого! Клиентов, с которыми нельзя даже и поговорить, которым нельзя порассказать и которые сообщить ничего не могут! А раньше было стричь и брить одно удовольствие... Узнаешь, что делается в Сенате, что — за границей, как прошел домашний спектакль в доме графини З.

Парикмахер Жан был вхож в лучшие дома города. Прежде он носил в престольные праздники цилиндр и жакет. А причащаться было в прежнее время одно удовольствие. Впереди мундиры, тканые золотом, белые брюки, треуголки под мышкой, шпаги, светлые платья, запах духов, одеколона, и всё знакомые, знакомые. Стоишь в дверях и только успеваешь раскланиваться.

Владимир Николаевич Голод, владелец фотографического ателье «Декаданс», где всем снимающимся вставляли глаза и придавали деревянный вид.

Бывший подрядчик Индюков, великий пьяница и враг народа.

Все это общество жило очень дружно и почти весело.

Индюков уважал девицу Плюшар как женщину начитанную и умную. Девице Плюшар нравился Индюков как человек положительный, хотя и пьяница. Мысли девицы и старого вдовца о воспитании не совсем совпадали. Но Индюкову казалось, что мысли их совсем совпадают, чему он был рад.

Жан, хотя и был ниже Плюшар по происхождению, но за свою жизнь обтесался, знал несколько слов по-французски, нужных парикмахеру его времени, знал всю подноготную театрального мира. Плюшар, хотя и поздно, узнавала закулисную жизнь.

Был, конечно, в этом обществе и бывший офицер, как бывает почти в каждом обществе, потому что кто же не служил еще в недавнее сравнительно время? Мобилизован он был еще безусым юнцом и с тех пор носил офицерское звание. Прославился же он своей мазуркой, еще будучи студентом первого курса Горного института. Мальвин был совершенно одинокий человек. Поэтому любил он очень Дерябкина. Всем знакомы одинокие люди. Все знают, что они застенчивы, а иногда нервически веселы, что они очень любят вспоминать то время, когда они блистали.

В воскресные и праздничные дни все общество собиралось у Дерябкина. Свистонов попал в это общество. Свистонов не пропускал ни одного воскресенья.

Плюшар уважала литературу, она считала, что литература должна прямолинейно учительствовать. Жан любил юмористические рассказы. Индюков говорил, что книги — не его ума дело. Мальвин предпочитал популярно-научные романы. Было о чем поговорить и поспорить.

Девицу Плюшар подпоили. Она сидела красная и оживленная в своей укороченной юбке и кофточке с воротом, наглухо застегнутым. Индюков опьянел и стал болтлив. Мальвин наливал Свистонову из бутылки и спрашивал мнение его о литературе. Дерябкин хотел показать Свистонову своих знакомых во всем блеске, чтобы он знал, с кем он, Дерябкин, знаком.

— Анна Николаевна станцует мазурку, — сказал он Свистонову. — Она вас до сих пор стеснялась, но сегодня, я думаю, ничего.

И произошло нечто живописное, с точки зрения Свистонова. Гости и хозяйка стали отодвигать стол. Дерябкин взял гитару и тронул струны. Все, за исключением Плюшар и Мальвина, сели по стенам. Мальвин подошел, пригласил Плюшар на танец. Он обхватил ее за талию, и на пяточке они понеслись. Мальвин выделял па, старался танцевать так, как танцевал еще студентом, становился на колени. Девица Плюшар неслась вокруг него. Он вскакивал, вращал ее еще раз, и они снова неслись.

Свистонов любовался растрепавшейся косичкой Плюшар и синими жилками на ее виске и слегка презрительным и чопорным выражением лица, лысиной и потом Мальвина, колоритной фигурой бородатого Индюкова, добродушно засыпавшего в углу, бамбуковыми летними стульями и диваном, состоявшим из матраца и длинного ящика из-под яиц, обитых ситцем. Для Свистонова люди не делились на добрых и злых, на приятных и неприятных. Они делились на необходимых для его романа и ненужных. Это общество было ему нужно, и он чувствовал себя в нем как рыба в воде. Он не сравнивал себя с Золя, который сохранял даже фамилии, ни с Бальзаком, который писал, писал, а потом выходил знакомиться, ни со знакомым N, который возвел на себя однажды смердяковскую гнусность, чтобы посмотреть, какое это впечатление произведет на его знакомого. Он предполагал, что все это вполне простительно худож-

нику и что за все это придется расплатиться. Но какая его ждет расплата, он не думал, он жил сегодняшним днем, а не завтрашним — самый процесс похищения людей и перенесения их в роман увлек его.

Он донельзя чувствовал пародийность мира по отношению к какой-то норме. «Вместо правильного метра, начертанного в наших душах, — сказал бы поэт, — мир движется в своеобразном ритме».

Но Свистонов был уже не в тех годах, когда стремятся решать мировые вопросы. Он хотел быть художником, и только. На взгляд поэта, Свистонов обладал некоторой долей мефистофелеподобности, но, сказать по правде, Свистонов не замечал в себе этого качества. Напротив, все для него было просто, ясно и понятно.

Поэт бы нашелся, поэт бы на это возразил, что это и есть мефистофелеподобные качества, мефистофелеподобная плоскость, то презрительное и брезгливое отношение к миру, которое ни в какой степени не присуще художнику. Но на то он и поэт, чтобы выразаться слогом высоким и туманным, чтобы искать каких-то соотношений между миром здешним и потусторонним. Свистонов был трезвый человек и, по-видимому, обладал достаточной силой воли.

Мир для Свистопова уже давно стал кунсткамерой, собранием интересных уродов и уродцев, а он чем-то вроде директора этой кунсткамеры.

Трудовой день Дерябкина заключался в хождении по квартирам. Собственно, не по квартирам, а по передним, где таковые имелись. Его обязанностью было записывать, сколько у кого сгорело электричества за месяц. Дерябкин был человек с открытым ртом и волосами, подстриженными ежиком.

Трудовой день девицы Плюшар заключался в утирании носов, и в разговорах по-французски, и хождении с детьми и собачками по скверам, если была ясная погода. Идет она по скверу, таща за собой ребенка, и говорит: «C'est qu'on ne connait le prix de la santé que lorsqu'on l'a perdue¹. Повтори, Надя».

И Надя семенит за ней и повторяет.

Девица Плюшар ненавидела детей и ни на что ей смотреть не хотелось.

Дерябкин любил спорить на антирелигиозные темы с Иваном Прокофьевичем.

¹ Цену здоровью узнаешь, когда его потеряешь (фр.).

— Ваша религия,— говорил он,— ложь и дурман. Вы не читали никогда книжек, Иван Прокофьевич.

Дерябкину хотелось переспорить Ивана Прокофьевича и возыметь над ним превосходство. Но седой Жан не сдавался. Он вспоминал действительного тайного советника, большую умницу. Сидит тайный советник у себя дома перед зеркалом и говорит ему, Жану, нежно бреющему: «Дело не в пороках духовенства, а в идее».

В будние дни по вечерам Дерябкин угощал гостей радио. Липочка разливала чай, гости кушали, пили, а в это время женский голос пел цыганские романсы, доносились томные вздохи гавайских гитар, декламировались стихи, исполнялась музыка датских или других композиторов. Иногда целиком прослушивалась опера.

Сам Дерябкин устроил из бумаги громкоговоритель и отлакировал его. Черная труба стояла на столе рядом с вареньем и кричала, и пела, и смеялась, и передавала нежнейшие звуки.

Глава десятая ПОДРОСТОК И ГЕНИЙ

Машенька быстро поставила лампу на зеркало, открыла дверь.

— Боже мой, Андрей Николаевич, как вы бледны! Да вы промокли насквозь!

— Вы любите молоко? — спросила она, сделав короткую паузу.— Сегодня у нас есть сливки!

Она стащила со Свистонова пальто и отнесла на кухню. Потащила Свистонова в столовую. Бросилась, улыбаясь, к буфету и мило поднесла к самому носу гостя хрустальный молочник. Свистонов залюбовался.

— А Владимира Евгеньевича нет дома? — спросил он.

— Нет, папа по делам ушел.— И принялась искать в буфете подаренную отцом ей на именины чашечку.

— Да пейте же! — воскликнула она, усаживая Свистонова и подавая свою любимую чашечку.

Свистонов отпил.

— Не уходите только, а то мне страшно одной.

— Видите ли, я только на одну минуточку,— ответил Свистонов.

Но увидев, как изменилось лицо у Машеньки, Свистонов прервал себя.

— Но если вам страшно, я охотно останусь.

Порывы ветра сотрясали домик с двумя освещенными окнами. К ночи буря должна была усилиться.

— Пожалуй, от нашего дуба ничего не останется, — сказала Машенька и тут только вспомнила, что волосы у нее в газетных бумажках.

Стала снимать с поспешностью бумажки и бросать их в камин.

— Посидите здесь одну минуточку, Андрей Николаевич.

Машенька вернулась и бросила охапку великолепно высушенных березовых дров, предназначенных для растопок. Принялась отдиирать кору.

Свистонов принялся отщеплять ножом лучинки.

— У вас носки промокли — хотите, принесу папины туфли?

Свистонов сидел в туфлях Психачева. Он, собственно, отвык от молодежи и не знал, как нужно с ней обращаться. Кроме того, его стесняло, что в домике, кроме него и Машеньки, никого нет.

Он с облегчением вздохнул, когда Машенька взяла инициативу разговора в свои руки, но заметил, что сам он отвечает подростку пусто и вяло, несмотря на все свое доброе желание. Ему даже стало несколько грустно, что у него нет ни слов, ни мыслей для Машеньки.

Машенька уже где-то читала, что писатель есть нечто светлое и умное, что писатель вообще гордая и идущая наперекор времени натура, проникающая в лежащий на виду у всех секрет. И вот в этот-то секрет очень хотелось проникнуть Машеньке.

Ей очень хотелось, чтобы Свистонов прочел ей свой новый роман. Она знала, что гость его как некую драгоценность носит всюду с собой.

Кроме того, Психачев как-то сказал ей, что Свистонов гений, а слово гений имеет теперь, да вряд ли когда утратит, особую притягательную силу. И вот Машеньке хотелось поговорить со Свистоновым начистоту, поговорить по душе с гением.

Свистонов чувствовал необходимость поддержать разговор.

«Какое счастье выйти за гения замуж, освободить гения от мелких жизненных забот!»

И Машенька решила накормить молчавшего гения ужином.

Вскочила она с кресла, отворила форточку и стала шарить между окнами.

Но беден был дом Психачева, и нашла она только кусок шпика и стеклянный бочонок с шинкованной капустой.

Радостная, побежала она за сковородкой.

Шипит шпик, с каждой минутой темнеет капуста, вкусный запах не весь уносится в каминную трубу. Нашла Машенька и водку.

Гений пьет и закусывает, а Машенька в восхищении сидит напротив.

Закусил гений, отложил салфетку и закурил.

Задумался Свистонов. Думает он о том, что кушанье дымом пахло, где и когда еще кушанье дымом пахло.

Смотрит Машенька и не налюбуется, просит гения почитать роман.

— Нет, — сказал Свистонов, — не надо, Машенька.

Но потом заинтересовало Свистонова, какое впечатление произведет его роман на подростка и смогут ли вообще подростки читать его роман.

Пошел Свистонов в переднюю и принес свернутую в трубочку рукопись. Подумал, подумал и стал читать.

С первых строк Машеньке показалось, что она вступает в незнакомый мир, пустой, уродливый и зловещий, пустое пространство и беседующие фигуры, и среди этих беседующих фигур вдруг она узнала своего папашу.

На нем была старая просаленная шляпа, у него был огромный нос полишинеля. Он держал в одной руке магическое зеркало...

Глава одиннадцатая

ТИШИНА

Кипы бумаг росли вокруг Свистонова. Массу испитых листов пришлось отбросить. Пришлось отбросить и многих героев как совпадавших друг с другом. Пришлось из нескольких героев составить один образ, собранные черты расположить по-новому. Пришлось начало перенести в конец, а конец превратить в начало. Пришлось двенадцатый год превратить в восьмой, а лето — в зиму. Пришлось многие фразы вырезать, другие вставить. Наконец он дошел до отделки старичка и старушки:

Весело смотреть на маленьких старушек, —

переиначивал Свистонов страницы из детской книжки «Звездочка» за 1842 год, —

когда они бегают в саду, не думая ни о чем, как только о цветочках и деревьях, о птичках и голубых небесах; весело смотреть на старушек, когда они, завязав, как должно, свои шляпки и пелеринки прыгают и наслаждаются свежим воздухом и зеленою травкою, как птички божи.

«Была на свете, — переиначивал Свистонов, — маленькая старушка, которую любил всякий, кто только знал ее. Собаки, увидев ее, начинали лаять от радости и лизать руки ее. Кошки мурлыкали, терлись около ног ее, а маленькие котята прыгали и заигрывали с ней. Но отчего все так любили эту старушку? Оттого, что она была добра и ласкова и была им вместо мамы. Она часто сиживала на ковре и кормила собачку пирожками, она сама любила пирожки, но всегда готова была отдавать их Травиате, и Травиаточка любила ее за это. Звали старушку Сашей.

Всякое воскресенье она ходила к обедне, и надо было любоваться, как смирно стояла она и как усердно молилась. Глазки ее беспрестанно смотрели на образа, бывшие перед нею, и никогда направо или налево или даже назад, как делают это иногда маленькие шалуны и шалуньи. Она просила сделать ее доброй и богобоязненной. Просила послать здоровья и счастья ее мужу, Травиаточке и всем людям на свете. В таких мыслях время проходило у нее так скоро, что она никогда не чувствовала усталости за обедней, как другие маленькие старички и старушки, которым часто обедня кажется очень длинной. Как приятно смотреть на старушку скромную, тихую. Она внимательна и услужлива к младшим, ласкова ко всем людям в доме. Если ей нужно попросить о чем-нибудь, о кастрюле, об уютге, она делает это так мило и с такой скромностью, что невозможно отказать в ее просьбе. Старушка краснела при самой маленькой похвале.

Маленькая старушка. Иногда по вечерам, если муж куда-нибудь отлучался, а это бывало очень редко, она открывала сундук, доставала всякие тряпочки, вышивки, пасхальные яички, огрызки карандашиков, старые афиши и программы оперных представлений, старые модные картинки, поздравительные открытки, конверты, визитные карточки, перечитывала листки календарей, читала стишки:

В небе солнышко сияет,
Воздух веет теплотой,
А народ честной гуляет
Вкруг Гостиного толпой,
Что за чудные приманки
Блещут в грудях по столам —
Сласти, вербы, куклы, стклянки...

и вспоминала она, что верба бывала вокруг Гостиного двора».

Закрыв Свистонов книжку, подумал, куда этот отрывок вставить, как связать со всем романом и нельзя ли составить сегодня предисловие. Он опять взял отложенную книжку, раскрыл ее на закладке и, заменив одно слово другим, выписал страничку:

ПРЕДИСЛОВИЕ

Приятно читать интересную книжку. За нею не видишь, как проходит и время. Не правда ли, милые читатели? И вы, я думаю, уже не раз чувствовали в жизни вашей, хотя и не успели еще прочитать много. А заметили ли вы, какие книги вам более нравятся? Конечно, такие, где все, о чем говорится, сказано просто, ясно и верно. Например, если говорится о каком-нибудь цветке, то этот цветок описан так хорошо и так согласно с тем, каков он на самом деле, что вы, увидев его, тотчас же узнаете по описанию, хотя бы никогда прежде не видали; если говорится о каком-нибудь лесочке, то вы как будто видите все деревца его, как будто чувствуете прохладу, которую он даст своей тенью земле, жарко разогретой летним солнышком; а если описываются в такой книге люди, то они как будто живые перед вами. Вы узнаете черты лица их, физиономию, привычки. Вам кажется, что вы тотчас узнали бы их, если бы они могли явиться перед вами.

И сколько бы десятков лет и даже столетий ни прошло от сочинения этой книги, все же описания ее останутся прекрасными, потому что они сделаны верно с природой.

Итак, начинаю рассказ мой, который потечет, как спокойный ручеек в берегах, усеянных серебристыми маргаритками и голубыми незабудками.

Утром, перечитывая главы и материалы, Свистонов убедился, что в романе нет садов. Никаких садов. Ни новых, ни старых. Ни рабочих, ни городских. Но роман не может существовать без зелени, как не может существовать и город.

Свистонов вышел на работу — тем более что и день был подходящий. Он прошел мимо памятника Петра Великого, но обернулся на пение: к памятнику, идя от Сенатской площади, приближался седобородый человек в длиннополом позеленевшем пальто, остановился перед памятником, погрозил Петру кулаком и сказал:

Мы вам хлеба,—
А вы нам париков.
От тебя все погромы.

Затем, опустив голову, побрел дальше.

Свистонов остановился и записал, затем вошел в Сад Трудящихся. Он купил папирос и шоколаду у инвалида, закурил и стал внимательно осматривать состояние и местоположение сада: «Что отвлечь от него? Бюсты ли в мундирах, взять ли сидящих на барьере фонтанного бассейна, показать ли Адмиралтейство с гигантскими фигурами?.. Народ ли, толпящийся, и вращающийся, и ухаживающий?..»

Свистонов прислонился к стволу дерева.

Три часа ночи. Бар. Свистонов сел у самого оркестра. Свистонов принялся работать над встречей Психачева с грузином. Свистонов воспользовался разрешением, данным Психачевым среди холмов, и не изменил и не заменил его фамилии.

Свистонов выводил:

Психачев познакомился с Чавчавадзе в баре. На эстраде играло трио: виолончель — старик в бархатной куртке, скрипка — русский в сером костюме и гетрах, пианино — еврей-заика. «Не искушай меня без нужды», — выли звуки.

Из-за столика поднялся старик. Повелительный жест рукой — «молчи», — обращенный к молодому собутыльнику в кожаных черных перчатках, в косоворотке. Шляпа собутыльника лежала на мраморной доске.

Затем, слушая тоскливый романс, прикрыл старик глаза рукой и заплакал.

Чавчавадзе ел цыпленка.

— В нем душа Дон Жуана, — обратился Психачев к угощавшему грузину, — несчастный старик.

— Предскажи судьбу моей матушки, — протянул Чавчавадзе пожелтевший листок Психачеву, — ты выпил и закусил.

Снова дома. Свеча догорала, фитиль лег набок, и пламя касалось розетки.

Свистонов вынул железнодорожную свечу и вставил ее в подсвечник. Закурил, подумал и склонился над вынутым листом бумаги.

Окончив гадание, Психачев подошел к столику старика.

— Ужасна ваша участь, — сказал он старику на ухо.

По вечерам Психачев подрабатывал в трактирах в качестве графолога. Но сейчас он подошел, движимый состраданием. Но по привычке речевой аппарат добавил: «Не дадите ли ваш почерк?»

— Володя, ты? — вскричал Экспар, настигая Психачева. — Что ты тут делаешь?

Психачев замялся.

— А мне говорили, что ты стал ленинградским Калиостро!

— А ты?.. Где ты пропадал?

— И, дорогой друг, где только я не был, создал даже...

— За пятнадцать лет ты изменился, дорогой друг.

— Да и ты не похорошел...

Милиционер весело отдал честь Психачеву, Психачев поздоровался с ним за руку.

— Это волшебный милиционер, — сказал Психачев, — если б ты знал, какие чудеса он мне рассказывал про яблони!

Так шли Экспар и Психачев в белую ночь.

«Пейзаж, пейзаж скорее!» — подумал Свистонов.

Дорога постепенно озарялась солнцем. Пустой Летний сад шелестел. В отдалении видна была Нева.

Навстречу Экеспару и Психачеву шел фининспектор.

В это время писатель Вистонов, одержимый мыслью, что литература — загробное существование, высматривал утренние пейзажи, чтобы перенести их в свой роман.

Уже были описаны отдельные части города, когда он встретился у мечети с Психачевым и Экеспаром.

— Э, дорогой друг, доброго утра, — протянул руку Вистонов, — живем?

— Живем!

«Этим надо закончить главу, — подумал Свистонов. — В следующей главе придется развернуть себя, передать токовские холмы, увод Куку, знакомство с Психачевым». Тесто вполне поднялось — площадь романа, пейзажи и линии были ясны.

Свистонов зевнул и отложил самопишущее перо. Слои пыли уже успели улечься на книгах после недавней перестановки, и рассыпчатые жучки и мокренькие букашки грызли, точили, просверливали книги. Вперевбой с часами тикали жучки. Под аккомпанемент жучков Свистонов выпрямился, творческий порыв его иссяк. «Чем бы заняться?» — подумал он — и решил пройтись. Он шел по улице, утомленный работой, с пустым мозгом, с выветрившейся душой.

Роман был окончен. Автору не хотелось больше призрагиваться к нему. Но произведение его преследовало. Свистонову начинало казаться, что он находится в своем романе. Вот он встречается с Кукуреку на какой-то странной улице, и Кукуреку ему кричит: «Куку, Свистонов, Куку! Вы сами Куку, Свистонов», и вдруг выскакивает из-за Куку Психачев и начинает в пустынном месте чародействовать. «Вот я сейчас, — говорит он, — покажу, как заключают пакты с дьяволом. Но ради бога, не говорите об этом Машеньке. Что? вы талантливы? Вы гениальны? Вы покажете меня всем во всем моем злом могуществе?» И начинает Психачев произносить слова: «Сарабанда, пуханда, расмеранда»... — и видит Свистонов, что он рассказывает Машеньке под зеленой березкой про ее папашу. «Так, так, — говорит он, — Машенька. Ваш папаша совсем не возвышенный человек, а некая презренная и презираемая личность. Он совсем не настоящий мистик, а черт знает что. И не видит он ничего дальше своего носа. А насчет очков, в которые можно видеть невидимый мир, то знаете, это того-с... таких

очков у него никогда не существовало. Так что и потерять он их не мог. Врет он, что ему подарил их один немецкий профессор. Врет он, что он видел в них, как его предки обедают». А Машеньке будто и не четырнадцать лет, а восемнадцать. А вот и Паша, и милиционер, и глухонемая идут к нему навстречу гуськом.

Свистонов вышел.

— Тим-там... Эх, шарабан мой, ти-та, та-ти-та, и разошлись, как в море корабли.

Домовые фонари освещали углы строений и ворота, звуки песен и гитар уходили в переулки и снова возвращались на набережную и таяли между звездами и их отражениями.

Днем сверху город производил впечатление игрушечного, деревья казались не выросшими, а расставленными, дома не построенными, а поставленными. Люди и трамваи — заводными.

Ночью курил Свистонов над опрокинувшимися освещенными домами на набережной Фонтанки. Длинная чугунная решетка перил качалась в воде, освещенные невидимой луной облака плыли.

Одиночество и скука изображались на лице Свистонова. Огни в воде, пленявшие его в детстве, сейчас не могли развлечь его.

Он чувствовал, как вокруг него с каждым днем все редееет. Им описанные места превращались для него в пустыри, люди, с которыми он был знаком, теряли для него всякий интерес.

Каждый его герой тянул за собой целые разряды людей, каждое описание становилось как бы идеей целого ряда местностей.

Чем больше он раздумывал над вышедшим из печати романом, тем большая разряженность, тем большая пустота образовывались вокруг него.

Наконец он почувствовал, что он окончательно заперт в своем романе.

Где бы Свистонов ни появлялся, всюду он видел своих героев. У них были другие фамилии, другие тела, другие волосы, другие манеры, но он сейчас же узнавал их.

Таким образом, Свистонов целиком перешел в свое произведение.

**НИКОЛАЙ
ЗАБОЮЩИЙ**

БИТВА СЛОНОВ

Воин слова, по ночам
петь пора твоим мечам!

На бессильные фигурки существительных
кидаются лошади прилагательных,
косматые всадники
преследуют конницу глаголов,
и снаряды междометий
рвутся над головами, как сигнальные ракеты.

Битва слов! Значений бой!
В башне Синтаксис — разбой.
Европа Сознания
в пожаре восстания.
Невзирая на пушки врагов,
стреляющие разбитыми буквами,
боевые Слоны Подсознания
вылезают и топчутся,
словно исполинские малютки.

Но вот, с рождения не евши,
они бросаются в таинственные бреши
и с человечьими фигурками в зубах
счастливо поднимаются на задние ноги.
Слоны Подсознания!
Боевые животные преисподней!
Они стоят, приветствуя веселым воем
все, все, что добыто разбоем.

Маленькие глазки Слонов
наполнены смехом и радостью.
Сколько игрушек! Сколько хлопушек!
Пушки замолкли, крови покушав.
Синтаксис домики строит не те,

мир в неуклюжей стоит красоте!
Деревьев отброшены старые правила,
на новую землю их битва направила.
Они разговаривают, пишут сочинения,
весь мир неуклюжего полон значения!
Волк вместо разбитой морды
приделал себе человечье лицо,
вытащил флейту, играет без слов
первую песню военных Слонов.

Поэзия, сраженьё проиграв,
стоит в растерзанной короне.
Рушились башен столетних Монбланы,
где цифры сияли, как будто полканы,
где меч силлогизма горел и сверкал,
проверенный чистым рассудком.
И что же? Сражение он проиграл
во славу иным прибауткам.

Поэзия в великой муке
ломает бешеные руки,
клянет весь мир, себя зарезать хочет,
то как безумная хохочет,
то в поле бросится, то вдруг
лежит в пыли, имея много мук.

На самом деле, как могло случиться,
что пала древняя столица?
Весь мир к поэзии привык,
все было так понятно,
в порядке конница стояла,
на пушках цифры малевала,
и на знаменах слово Ум
кивало всем, как добрый кум.

И вдруг какие-то Слоны,
и все перевернулось!
Поэзия начинает приглядываться,
изучать движение новых фигур,
она начинает понимать красоту неуклюжести,
красоту Слона, выброшенного преисподней.

Сраженъе кончено. В пыли
цветут растения земли,
и Слон, рассудком приручаем,
ёст пироги и запивает чаем!

1931

ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Поэма

ПРОЛОГ

Нехороший, но красивый —
это кто глядит на нас?
То мужик неторопливый
сквозь очки уставил глаз.
Белых житниц отделенья
поднимались в отдаленьи,
сквозь окошко хлеб глядел,
в загородке конь сидел.
Тут природа вся валялась
в страшно диком беспорядке:
кой-где дерево шаталось,
там — реки струилась прядка.
Тут стояли две-три хаты
над безумным ручейком.
Идет медведь продолговатый
как-то поздно вечерком.
А над ним, на небе тихом
безобразный и большой
журавель летает, с гиком
потрясая головой.
Из клюва развевался свиток,
где было сказано: «Убыток
дают трехпольные труды».
Мужик гладил конец бороды.

1. БЕСЕДА О ДУШЕ

Ночь на воздух вылетает,
в школе спят ученики,
вдоль по хижинам сверкают

маленькие ночники.
Крестьяне, храбростью дыша,
собираются в кружок.
Обсуждают — где душа?
Или только порошок
остается после смерти?
Или только газ вонючий?
Скворешниц розовые жерди
поднялись над ними тучей.
Крестьяне, мрачны и обуты
в большие валенки судьбы,
сидят. Усы у них раздуты
на верху большой губы.
Также шапки выделялись
в виде толстых колпаков.
Собаки пышные валялись
среди хозяйских сапогов.
Мужик суровый словно туча
держал кувшинчик молока,
сказал: «Природа меня мучит,
превращая в старика.
Когда, паша семейную десятину,
иду, подобен исполину,
гляжу-гляжу, а предо мной
все кто-то движется толпой».
«Да, это правда. Дух животный, —
сказал в ответ ему старик, —
живет меж нами, как бесплотный
жилец развалин дорогих.
Ныне, братцы, вся природа
как развалина какая!
Животных уж не та «порода
живет меж нами, но другая».
«Ты лжешь, старик, — в ответ ему
сказал стоявший тут солдат, —
таких речей я не пойму,
их только глупый слушать рад.
Поверь, что я во многих битвах
на скакуне носился лих,
но никогда не знал молитвы,
ни страшных ужасов твоих.
Уверяю вас, друзья,
природа ничего не понимает
и ей довериться нельзя!»

«Кто ее знает? —
сказал пастух, лукаво помолчав. —
С детства я — коров водитель,
но скажу вам, осерчав:
вся природа есть обитель.
Вы, мужики, живя в миру,
любите свою избу,
я ж природы конуру
вместо дома изберу.
Некоторые движения коровы
для меня ясней, чем ваши,
вы ж, с рожденья нездоровы,
не понимаете простого даже».
«Однако ты профан! —
прервал его другой крестьянин. —
Прости, что я тебя прервал,
но мы с тобой бороться станем.
Скажи по истине, по духу —
живет ли мертвецов душа?»

И все замолкли. Лишь старуха
сидела, спицами кружа.
Деревня, хлев напоминая,
вокруг беседы поднималась:
там — угол высился сарая,
тут — чье-то дерево валялось.
Сквозь бревна тучные избёнок
мерцали панцири заслонок,
светились печи, как кубы,
с квадратным выступом трубы.
Шесты таинственные зыбок
хрипели, как пустая кость,
младенцы спали без улыбок,
блохами съедены насквозь.
Иной мужик, согнувшись в печке,
свирепо мылся из ведерка,
другой коню чинил уздечки,
а третий кремнем в камень щелкал.
«Мужик, иди спать!» —
баба из окна кричала.
И вправду — ночь, как будто мать,
деревню ветерком качала.

«Так! — сказал пастух лениво, —
вон — средь кладбища могил

их душа плывет красиво,
описать же нету сил.
Петух, сидя на березе,
уж двенадцать раз пропел.
Свои ножки отморозя,
он вспорхнул и улетел.
А душа пресветлой ручкой
машет нам издалека,
ее тело словно тучка,
платье вроде как река.
Своими нежными глазами
все глядит она, глядит,
а тело, съедено червями,
в черном домике лежит.
„Люди! — плачет. — Что вы, люди!
Я такая же, как вы,
только меньше стали груди
да венки у головы.
Меня, милую, берите —
скучно мне лежать одной.
Хоть со мной поговорите,
поговорите хоть со мной!“»

«Это бесконечно печально! —
сказал старик, закуривая трубку. —
И я встречал ее случайно —
нашу милую голубку.
Она как столбик плыла
с могилки прямо на меня
и — верю! — на тот свет звала,
тонкой ручкою маня.
Только я вскакал во двор,
она на столбик налетела
и сгинула. Такое дело!»

«Ах, вот о чем разговор! —
воскликнул радостно солдат. —
Тут суевериям большой простор,
но ты, старик, возьми назад
свои слова. Послушайте, крестьяне,
мое простое объяснение.
Вы знаете, я был на поле брани,
носился лих под пули пенью.
Теперь же я скажу иначе,

предмета нашего касаясь:
частицы фосфора маячат,
из могилы испаряясь.
Влекомый воздуха течением,
столбик фосфора несется
повсюду, но, за исключением
того случая, когда о твердое разобьется.
Видите, как все это просто?»

Крестьяне сумрачно замолкли,
подбородки стали круче,
скворешниц розовых оглобли
поднялись над ними тучей.
Догорали ночники,
в школе спали ученики.
Одна учительница тихо
смотрела в глубь седых полей,
где ночь плясала, как шутиха,
где мерк неясный Водолей,
где смутные тела животных
сидели, наполняя хлев,
и разговор вели свободный,
душой природы овладев.

2. СТРАДАНИЯ ЖИВОТНЫХ

Смутные тела животных
сидели, наполняя хлев,
и разговор вели свободный,
душой природы овладев.
Ночь на крыше, как шутиха,
пугала взоры богомоллов,
и Водолей катился тихо,
лия струю прозрачных олов
на подоконник этот белый.
Животных тесная толпа,
расправив выпуклое тело,
сидела мрачна и тупа.

«Едва могу себя понять,—
сказал бык, смотря в окно,—
на мне сознания есть печать,
но сердцем я старик давно.
Как понять мое сомненье?»

Как унять мою тревогу?
Кажется, без потрясения
день прошел — и слава богу!
Однако тут не все так просто,
на мне печаль — как бы хомут.
На дно коровьего погоста,
как видно, скоро повезут.
О стон гробовый!
Вопль унылый!
Там даже не построены могилы;
корова мертвая выброшена
на кости рваные овечек,
подале, осердясь на коршуна,
собака чей-то труп калечит.
Кой-где копыто, дотлевая,
дает питание растенью,
и череп сорванный седлает
червяк, сопутствуя гниенью.
Частицы шкурки и состав орбиты
тут же все лежат-лежат,
лишь капельки росы налиты
на них сияют и дрожат!»

Ответил конь:

«Смерти бледная подкова
просвещенным не страшна,
жизни горькая основа
смертным более нужна.
В моем черепе продолговатом
мозг лежит, как длинный студень,
в своем домике покато
он совсем не жалкий трутень.
Люди! Вы напрасно думаете,
что я мыслить не умею,
если палкой меня дуете,
нацепив шлею на шею.
Мужик, меня ногами обхватив,
скачет, страшно дерясь кнутом,
и я скачу, хоть некрасив,
хватая воздух впалым ртом.
Кругом природа погибает,
мир качается, убог,
цветы, плача, умирают,
сметены ударом ног.
Иной, почувствовав ушиб,

закроет глазки и приляжет,
а на спине моей мужик,
как страшный бог,
руками и ногами машет!
Когда же, в стойло заключен,
стою устал и удручен,
сознания бледное окно
мне открывается давно.
И вот, от боли раскорячен,
я слышу — воют небеса:
то зверь трепещет, предназначен
вращать систему колеса!
Молю — откройте, откройте, друзья,
ужели все люди над нами князья?»

Конь стихнул. Все окаменело,
охвачено сознанием грубым.
Животных составное тело
имело сходство с бедным трупом.
Фонарь, наполнен керосином,
качал страдальческим огнем,
таким дрожащим и старинным,
что все сливал с небытием.
Как дети хмурые страданья,
толпой теснились воспоминанья
в мозгах настойчивых животных.
Казалось — прорван мир двойной
и за обломком тканей плотных
простор открылся голубой.

«Вижу я погост унылый, —
сказал бык, сияя взором, —
там на дне сырой могилы
кто-то спит за косогором.
Кто он жалкий, весь в коростах,
полусъеденный, забытый,
житель бедного погоста,
грязным венчиком покрытый?
Вкруг него томятся ночи,
руки бледные закинув,
вкруг него цветы бормочут
в погребальных паутинах.
Вкруг него, невидны людям,
но нетленны как дубы,

возвышаются умные свидетели его
жизни —

Доски Судьбы¹.

И все читают стройными глазами
домысли странного трупа,
и мир животный с небесами
тут примирен прекрасно-глупо.
И сотни, сотни лет пройдут,
и внуки наши будут хилы,
но и они покой найдут
на берегах такой могилы.
Так человек, отпав от века,
зарытый в новгородский ил,
прекрасный образ человека
в душе природы заронил!»

Не в силах верить, все молчали,
конь грезил, выпятив губу,
и ночь плясала, как вначале,
шутихой с крыши на трубу,
и вдруг упала. Грянул свет,
и шар поднялся величавый,
и птицы пели над дубравой —
ночных свидетели бесед.

3. ИЗГНАННИК

Птицы пели над дубравой —
ночных свидетели бесед, —
и Водолей сиял, на травы
ляя первоначальный свет,
и над высокою деревней,
еще превратна и темна,
окружена сияньем древним,
вставала русская луна...

Изба стояла словно крепость
внутри разрушенной природы,
открыв хозяину нелепость
труда, колхоза и свободы.

¹ «Доски Судьбы» — произведение В. Хлебникова. Могила поэта в Новгородской губернии. (Примеч. автора.)

В 60-х годах прах Хлебникова перенесен на Новодевичье кладбище в Москве. — Сост.

Кулак был слеп как феодал,
избу владеньем называл,
говорил: «Это моя изба»,
или: «Это моя новая амбарушка»,
а сам, пожалуй, ночь не спал,
но только псов ворчанье слушал.

Монеты с головами королей
храня в тяжелых сундуках,
он был изгнанник среди людей,
и рядом с ним гнезвился страх.
И рядом с ним гнездились боги
в своих задумчивых божницах;
лохматы, немощны, двуноги,
в коронах, латах, власяницах,
с большими необыкновенными

бородами —

они глядели из-за стекол,
а там кулак, крестясь руками,
поклоны медленные кокал.

Кулак моленью предается,
пес лает, Парка сторожит,
а время кое-как несется
и вниз по берегу бежит.
Природа жалкий сок пускает,
растенья полны тишиной,
лениво злак произрастает —
короткий, немощный, слепой.
Земля, нуждаясь в крепкой соли,
кричит ему: «Кулак, доколе?»
Но чем земля ни угрожай —
кулак загубит урожай.
Ему приятно истребленье
того, что будущего знаки.
Итак, предавшись утомленью,
едва стоят, скучая, злаки.

Кулак — владыка батраков —
сидел, богатством возвеличен,
и мир его, эгоцентричен,
был выше многих облаков!
А ночь, руками шевеля,
как ведьма, бегаёт по крыше,

то ветер пустит на поля,
то притаится и не дышит,
то, ставню выдернув из окон,
кричит: «Вставай, проклятый ворон,
идет над миром ураган,
держи его, хватай руками,
расставляй проволочные загражденья,
иначе вместе с сундуками
умрешь и будешь без движенья!

Сквозь битвы, громы и труды
я вижу ток большой воды —
Днепр виден мне, в бетон зашитый,
огнями залитый Кавказ,
железный конь привозит жито,
чугунный вол привозит квас.
Рычаг плугов и копыя борон
вздывают почву сотен лет,
и ты пред нею, старый ворон,
отныне призван на ответ!»

Кулак ревет, на лавке сидя,
скребет ногтями толстый бок,
и лает пес, беду предвидя,
перед толпою многих ног.
И слышен голос был солдата,
и скрип дверей, и через час
одна фигура, виновата,
уже отъехала от нас.
Изгнанник мира и скупец
сидел и слушал бубенец,
с избою мысленно прощался,
как пьяный на возу качался.
И ночь — строительница дня —
уже решительно и смело
как ведьма с крыши полетела,
телегу в пропасть наклоня.

4. БИТВА С ПРЕДКАМИ

Ночь гремела в бочки, в банки,
в дупла сосен, в дудки бури,
ночь под маской истуканки
выжгла ляписом лазури,

ночь гремела самодуркой,
все к чертям летело, к черту,
волк, ударен штукатуркой,
несся плача, пряча морду.
Вебрь, муха, все собранье
птиц повыдернуто с сосен,
«Ах, — кричало, — наказание,
этот ветер нам несносен!»
В это время, грустно воя,
шел медведь, слезой накапав,
он лицо свое больное
нес на вытянутых лапах.
«Ночь! — кричал. — Иди ты к шуту,
отвяжись, Веельзевулша!»
Ночь кричала: «Буду! Буду!»
Ну, и ветер тоже дул же —
так, скажу, проклятый ветер
дул, как будто, рвался порох!
Вот каков был русский север,
где деревья без подпорок.

С о л д а т

Слышу бури страшный шум,
слышу ветра дикий вой,
но привычный знает ум:
тут не черт, не домовой,
тут не демон, не русалка,
не бирюк, не лешачиха,
но простых деревьев свалка.
После бури будет тихо.

П р е д к и

Это вовсе неизвестно,
хотя мысль твоя понятна,
посмотри: под нами бездна,
облаков несутся пятна.
Только ты — дитя рассудка —
от рожденья нездоров,
полагаешь — это шутка
столкновения ветров.

С о л д а т

Предки страшные, отстаньте!
Вы — проклятые кроты —
землю трогать перестаньте,

открывая ваши рты.
Непонятым наказаньем
вы готовы мне грозить,
объяснитесь на прощанье —
что желаете просить?

Предки

Предки мы, и предки вам,
тем, которым столько дел,
мы столетье пополам
рассекаем и предел
представляем вашим бредням,
предпочтенье даем средним —
тем, которые рожают,
тем, которые поют,
никому не угрожают,
ничего не создают.

Солдат

Предки, как же? Ваша глупость
невозможна! Хуже смерти!
Ваша правда обернулась
в косных неучей усердьё!
Ночью, лежа на кровати,
вижу голую жену,
вот она сидит без платья,
поднимаясь в вышину.
Вся пропахла молоком...
Предки, разве правда в этом?
Нет, клянуся молотком,
я желаю быть одетым!

Предки

Ты — дурак, жена — не дура,
но природы лишь сосуд,
велика ее фигура,
два младенца грудь сосут.
Одного под зад ладонью
держит крепко, а другой,
наполняя воздух вонью,
на груди лежит дугой.

Солдат

Хорошо, но как понять —
чем приятна эта мать?

Предки

Объясняем: женщин брюхо,
очень сложное на взгляд,
состоит жилищем духа
девять месяцев подряд.
Там младенец в позе Будды
получает форму тела,
голова его раздута,
чтобы мысль в ней кипела,
чтобы пуповины провод,
крепко вставленный в пупок,
словно вытянутый хобот,
не мешал развитию ног.

Солдат

Предки, все это понятно,
но, однако, важно знать —
не пойдем ли мы обратно,
если будем лишь рожать?

Предки

Сволочь, дылда, старый мерин,
недоносок рыжей клячи,
твой рассудок непомерен,
верно, выдуман иначе!
Ветры, бейте в крепкий молот,
сосны, бейте прямо в печень,
чтобы, надвое расколот,
был бродяга изувечен!

Солдат

Прочь! Молчать! Довольно! Или
расстреляю всех на месте!
Мертвецам — лежать в могиле,
марш в могилу и не лезьте!
Пусть попы над вами стонут,
пусть над вами воют черти,
я же, предками не тронут,
буду жить до самой смерти!

В это время дуб, встревожен,
расколосся. В это время
волк пронесся, огорошен,

защищая лапой темя.
Вебрь, муха, целый храмик
муравьев, большая выдра —
все летело вверх ногами,
о деревья шкуру выдрав.
Лишь солдат, закрытый шлемом,
застегнув свою шинель,
возвышался словно демой
невоспитанных земель.
И полуночная птица —
обитательница трав —
принесла ему водицы,
ветку дерева сломав.

5. НАЧАЛО НАУКИ

Когда полуночная птица
летала важно между трав,
крестьян задумчивые лица
открылись, бурю испытав.
Над миром горечи и бед
звенел пастушеский кларнет,
и пел петух, и утро было,
и славословил хор коров,
и над дубравой восходило
светило, полное даров.

Слава миру, мир земле,
меч владыкам и богатым!
Утро вынесло в руке
возрожденья красный атом.
Красный атом возрожденья,
жизни огненный фонарь,
на земле его движенье
разливает киноварь.
Встали люди и коровы,
встали кони и волы,
вон — солдат идет, багровый
от сапог до головы.
Посреди большого стада
кто он — демон или бог?
И звезда его крылата
блещет, словно носорог.

С о л д а т

Коровы, мне приснился сон.
Я спал, овчиною закутан,
и вдруг открылся небосклон
с большим животным институтом.
Там жизнь была, всегда здорова,
и посреди большого зданья
стояла стройная корова
в венце неполного сознания.
Богиня Сыра, Молока,
главой касаясь потолка,
стыдливо кутала сорочку
и груди вкладывала в бочку.
И десять струй с тяжелым треском
стучали в кованый металл,
и, приготовленный к поездкам,
бидон как музыка играл,
и опьяненная корова,
сжимая руки на груди,
стояла так, на все готова,
дабы к сознанию идти.

К о р о в ы

Странно слышать эти речи,
зная мысли человечьи.
Что, однако, было дале?
Как иные поступали?

С о л д а т

Я дале видел красный светоч
в чертоге умного Вола,
коров задумчивое вече
решало там свои дела.
Осел, над ними гогоча,
бежал, безумное урча, —
рассудка слабое растенье
в его животной голове
сияло как произведение,
по виду близкое к траве.
Осел скитался по горам,
глодал чугунные картошки,
а под горой машинный храм
выделывал кислородные лепешки.
Там кони — химии друзья —

хлебали щи из ста молекул,
иные, в воздухе вися,
смотрели, кто с планет приехал.
Корова в формулах и лентах
пекла пирог из элементов,
и перед нею в банке рос
большой химический овес.

К о н ь

Прекрасна эта сторона —
одни науки да проказы!
Я, как бы выпивши вина,
солдата слушаю рассказы.
Впервые ум смутился мой —
держу пари — я полон пота.
Ужель не врешь, солдат молодой,
что с плугом кончится работа?
Ужели, кроме наших жил,
потребен разум и так дале?
Послушай, я ведь сторожил,
пристали мне одни медали.
Сто лет тружуся на сохе —
вдруг за химию! Хе-хе!

С о л д а т

Молчи, проклятая каурка,
не рви рассказа до конца,
не стоят грязного окурка
твои веселые словца.
Мой разум так же, как и твой,—
горшок с опилками, не боле,
но над картиною такой
сумей быть мудрым поневоле.
...Над Лошадиным институтом
вставала стройная луна,
научный отдых дан посудам,
и близок час веретена.
Осел, товарищем ведом,
приходит, голоден и хром,
его как мальчика питают,
ума растенье развивают.
Здесь учат бабочек труду,
ужу дают урок науки —
как делать пряжу и слюду,
как шить перчатки или брюки.

Здесь волк с железным микроскопом
звезду вечернюю поет,
здесь конь с редиской и укропом
беседы длинные ведет.
И хоры стройные людей,
покинув пастбища эфира,
спускаются на стогны мира
отведать пищи лебедей!

К о н ь

Ты кончил?

С о л д а т

Кончил.

К о н ь

Браво, браво!
Наплел голубчик на сто лет!
Но как сладка твоя отрава,
как жжет меня проклятый бред!
Солдат, мы наги здесь и босы,
нас давят плуги, жалят осы,
рассудки наши — ряд лачуг,
и весь в пыли хвоста бунчук.
В часы полуночного бденья,
в дыму осенних вечеров,
солдат, слышал ли ты хрипенье
твоих замученных волов?
Нам нет спасенья, нету права,
нас плуг зовет и ряд могил,
и смерть — единая держава
для тех, кто немощен и хил.

С о л д а т

Стыдись, каурка, что с тобою?
Наплел, чего не знаешь сам!
Смотри-ка, кто там за горою
ползет, гремя, на смену вам?
Большой, железный, двухэтажный,
с чугунной мордой, весь в огне,
ползет владыка рукопашной
борьбы с природою — ко мне.
Воспряньте, умные коровы,
воспряньте, кони и быки,
отныне, крепки и здоровы,

мы здесь для вас построим кровы
с большими чашками муки.
Разрушив царство сох и борон,
мы старый мир дотла снесем
и букву «А» огромным хором
впервые враз произнесем!

И загремела даль лесная
глухим раскатом буквы «А»,
и вылез трактор, громохая,
прорезав мордою века.
И толпы немощных животных,
упав во прахе и пыли,
смотрели взором первородных
на обновленный лик земли.

6. МЛАДЕНЕЦ-МИР

Когда собрание животных
победу славило земли,
крестьяне житниц плодородных
свое имущество несли.
Одни, огромны, бородаты,
приносят сохи и лопаты,
другие вынесли на свет
мотыги сотен тысяч лет.
Как будто гряда черепов,
растет гора орудий пыток,
и тракторист считал, суров,
труда столетнего убыток.

Т р а к т о р и с т

Странно, люди!
Ум не счислит этих зол.
Ударяя камнем в груди,
мчится древности козел.
О крестьянин, раб мотыг,
раб лопат продолговатых, —
был ты раб, но не привык
быть забавою богатых.
Ты разрушил дом неволи,
ныне строишь ты колхоз.
Медный трактор возит в поле
твой невиданный овес.

Длиннонога и суха,
сгинь, мотыга и соха!
Начинайся, новый век!
Здравствуй, конь и человек!

С о х а

Полно каркать издадалече,
неразумный человече!
Я — соха, царица жита —
кости трактору не дам,
мое туловище шито
крепким дубом по бокам.
У меня на белом брюхе
под веселый хохот блох
скачет, тыча в небо руки,
частной собственности бог.
Частной собственности мальчик
у меня на брюхе скачет,
шар земной как будто мячик
на его ладони зачат.
То — держава, скипетр — меч!
Гнитесь, люди, чтобы лечь!
Ибо в днище ваших душ
он играет славы туш!

Т р а к т о р и с т

О богиня!
Ты погибла с давних пор!
За тобою шел Добрыня
или даже Святогор.
Мы же новый мир устроим
с новым солнцем и травой.
Как с Полканом, как с героем,
мы прощаемся с тобой.
Хватайте соху за подмышки!

Бежали стаями мальчишки,
оторваны от алгебры задачки.
Рой баб, неся в ладонях пышки,
от страха падал на карачки.
Из печки дым, летя по трубам,
носился длинным черным клубом,
петух пел песнь навеселе,
свет дня был виден на селе.
Забитый бревнышком навозным,

шатался церкви длинный кокон,
свет сек пыль сна по ликам грозным,
струей летя внутри из окон.
На рейках книзу головой
висел мышей летучих рой,
как будто стадо мертвых ведем
спасалось в Риме этом третьем.
И вдруг, урча, забил набат.
Несома крепкими плечами,
соха плыла, как ветхий гад,
согнув оглобли калачами.
Соха плыла и говорила
свои последние слова,
полуоткрытая могила
ее наставницей была.
И новый мир, рожденный в муке,
перед задумчивой толпой
твердил вдали то Аз, то Буки,
качая детской головой.

7. ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Утро встало. Пар тумана
закатился за поля.
Как слепцы из каравана,
разбежались тополя.
Хоры сеялок, отвесив
килограммы тонких зерен,
едут в ряд, и пахарь весел,
от загара солнца черен.
Повсюду разные занятия:
люди кучками сидят,
эти — шьют большие платья,
те — из трубочки дымят.
Один старик, сидя в овраге,
объясняет философию собаке,
другой, также царь и бог
земледельческих орудий,
у коровы щупал груди
и худые кости ног.
Потом тихо составляет
идею точных молотилок
и коровам объясняет,
сердцем радостен и пылок.

Собрание деревянных сел
глядело с высоты холма,
в хлеву природу пел осел,
достигнув полного ума.
Там, сепаратор медленный кружа,
смеялось множество крестьянок;
другие чистили ерша,
забросив невод спозаранок.
В котлах семейных суп варился,
огонь с металлом говорил,
и человек, жуя, дивился
тому, что сам нагородил.

Также тут сидел солдат.
Посреди крестьянских сел,
размышленьями богат,
он такую речь повел:
«Славься, славься Земледелье,
равноденствие машин!
Бросьте, пахари, безделье,
будет ужин и ужин.
Науку точную сноповязалок,
сечение вымени коров
пойми! Иначе будешь жалок,
умом дородным нездоров.
Теория соединения труда
умудрила наши руки.
Славьтесь, добрые науки
и колхозы-города!»

Замолк. Повсюду пробежал
гул веселых одобрений,
и солдат, подняв фиал,
пиво пил для утоленья.
Председатель многополя
и природы коновал —
он военное дреколье
на серпы перековал.
И, тяжелые как дома,
закачались у межи,
медным трактором ведомы,
колесницы крепкой ржи.

А на холме у реки
от рождения впервые

ели черви гробовые
деревянный труп сохи.
Умерла царица пашен,
коробейница старух!
И растет над нею важен
сын забвения — лопух.
И растет лопух унылый,
и листом о камень бьет,
и над ветхою могилой
память вечную поет.

Крестьяне, сытно закусив,
газеты длинные читают,
тот — бреет бороду, красив,
а этот — буквы составляет.
Младенцы в глиняные дудки
дудят, размазывая грязь,
и вечер цвета незабудки
плывет по воздуху, смеясь.

1929—1930

БЕЗУМНЫЙ ВОЛК

Поэма

Hör! Es splintern die Säulen ewig
grüner Paläste.

*Goethe*¹

1. РАЗГОВОР С МЕДВЕДЕМ

М е д в е д ь

Еще не ломаются своды
вечнозеленого дома.
Мы сидим еще не в клетке,
чтобы есть людей объедки.
Мы живем под вольным дубом,
наслаждаясь знаньем грубым.
Мы простую воду пьем,
хвалим солнце и поем.
Волк, какое у тебя занятие?

В о л к

Я, задрав собаки бок,
наблюдаю звезд поток.
Если ты меня встретишь лежащим на спине
и поднимающим кверху лапы,
значит, луч моего зренья
направлен прямо в небеса.
Потом я песни сочиняю,
зачем у нас не вертикальна шея.
Намедни мне сказала ворожея,
что можно выправить ее.
Теперь скажи занятие твое.

М е д в е д ь

Помедлим. Я действительно встречал
в лесу лежащую фигурку.
Задрав две пары тонких ног,
она глядела на восток.
И шерсть ее стояла дыбом,
и вся наверх устремлена,

¹ Слушай! Раскальваются колонны
вечнозеленого дворца.

она плыла, подобно рыбам,
туда, где неба пламена.
Скажи мне, волк, откуда появилось
у зверя вверх желание глядеть?
Не лучше ль слушаться природы —
глядеть лишь под ноги да вбок,
в людские лазать огороды,
кружиться около дорог?
Подумай — в маленькой берлоге,
где нет ни окон, ни дверей,
мы будем царствовать как боги
среди животных и зверей.
Иногда можно заниматься пустяками,
ловить пичужек на лету.
Презрев револьверы, винтовки,
приятно у малиновок откусывать головки
и вниз детенышам бросать,
чтобы могли они сосать.
А ты не дело, волк, задумал,
что шею вывернуть придумал. .

В о л к

Медведь, ты правильно сказал.
Ценю приятный сердцу довод.
Я многих сам перекусал,
когда роскошен был и молод.
Все это шутки прежних лет.
Горизонтальный мой хребет
с тех пор железным стал и твердым,
и невозможно нашим мордам
глядеть, откуда льется свет..
Меж тем вверху звезда сияет —
Чигирь — волшебная звезда!
Она мне душу вынимает,
сжимает судорогой уста.
Желаю знать величину вселенной
и есть ли волки наверху,
а на земле я, точно пленный,
жую овечью требуху.

М е д в е д ь

Имею я желанье хохотать,
но воздержусь, чтоб волка не обидеть.
Согласен он всю шею изломать,
чтобы Чигирь-звезду увидеть!

В о л к

Я закажу себе станок
для вывертыванья шеи.
Сам свою голову туда вложу,
с трудом колеса поверну.
С этой шеей вертикальной,
знаю, буду я опальный,
знаю, буду я смешон
для друзей и верных жен.
Но, чтобы истину увидеть,
скажи, скажи, лихой медведь,
ужель нельзя друзей обидеть
и ласку женщины презреть?
Волчьей жизни реформатор —
я, хотя и некрасив,
буду жить как император,
часть науки откусив.
Чтобы завесить разные места,
сошью себе рубаху из холста,
в своей берлоге засвечу светильник,
кровать поставлю, принесу урыльник
и постараюсь через год
дать своей науки плод.

М е д в е д ь

Еще не ломаются своды
вечнозеленого дома!
Есть еще у нас такие представители,
как этот сумасшедший волк!
Прошла моя нежная юность,
наступает печальная старость.
Уже ничего не понимаю,
только листочки шумят над головой...
Но пусть я буду консерватор —
не надо мне твоих идей,
я не желаю бегать в ватер
и называться грамотей.
Медведь я! Конский я громила!
Коровий Ассурбанипал!
В мое задумчивое рыло
ничей не хлопал самопал!
Я жрать хочу! Кусать желаю!
С дороги прочь! Иду на вы!

И уж совсем не понимаю
твоей безумной головы.
Прощай. Я вижу — ты упорен.

В о л к

Итак, с медведем я поссорен.
Печально мне. Но видит бог —
медведь решиться мне помог.

2. МОНОЛОГ В ЛЕСУ

Над волчьей каменной избушкой
сияют солнце и луна.
Волк разговаривает с кукушкой,
дает деревьям имена.
Он в коленкоровой рубашке,
в больших, невиданных штанах,
сидит и пишет на бумаге,
как будто в келейке монах.
Вокруг него холмы из глины
подставляют солнцу одни половины,
другие половины лежат в тени,
и так идут за днями дни.

В о л к *(бросая перо)*

Надеюсь, этой песенкой
я порастряс частицы мироздания
и в будущее ловко заглянул.
Не знаю сам — откуда что берется,
но мне приятно песни составлять —
рукою в книжечке поставишь закорючку,
а закорючка ангелом поет!

Уж десять лет,
как я живу в избушке.
Читаю книги, песенки пою,
имею частые с природой разговоры.
Мой ум возвысился, и шея зажила.
А дни бегут. Уже седеет шкура,
спинной хребет трещит по временам.
Крепись, старик. Еще одно усилие,
и ты по воздуху как пташка полетишь.

Я открыл множество законов.
Если растение посадить в банку

и в трубочку железную подуть —
животным воздухом наполнится растение,
появятся на нем головка, ручки, ножки,
а листики отсохнут навсегда.
Благодаря своей душевной силе
я из растения воспитал собачку —
она теперь, как матушка, поет.
Из одной березы
задумал сделать я верблюда;
да воздуху в груди, как видно, не хватило —
головка выросла, а туловище нет.

Загадки страшные природы
повсюду в воздухе висят.
Бывало, их, того гляди, поймаешь,
весь напружинишься, глаза нальются кровью,
шерсть дыбом встанет, напрягутся жилы,
но миг пройдет — и снова как дурак.

Приятно жить счастливому растению —
оно на воздухе играет как дитя,
а мы ногой безумной оторвались,
бежим туда-сюда,
а счастья нет как нет.

Однажды ямочку я выкопал в земле,
засунул ногу в дырку по колено
и так двенадцать суток простоял.
Весь отощал, не пивши и не евши,
но корнем все-таки не сделалась нога
и я, увы, не сделался растением.

Однако
услышать многое еще способен ум.
Бывало, ухом прислонюсь к березе
и различаю тихий разговор.
Береза сообщает мне свои переживанья,
учит управлению веток,
как шевелить корнями после бури
и как расти из самого себя.

Итак, как будто бы я многое постиг,
имею право думать о почете.
Куда там! Звери вокруг меня
ругаются, препятствуют занятиям

и не дают в уединеньи жить.
Фигурки странные! Коров бы им душисть,
давить быков, рассудка не имея.
А на того, кто иначе живет,
клеветуют, злобствуют, приделывают рожки.

А я от моего душевного переживанья
не откажусь ни в коей мере!
В занятиях я как мышка поседел,
при опытах тонул четыре раза,
однажды шерсть нечаянно поджег —
весь зад сгорел, а я живой остался.

Теперь еще один остался подвиг,
а там... Не буду я скрывать —
готов я лечь в великую могилу,
закрывать глаза и сделаться землей.
Тому, кто видел, как сияют звезды,
тому, кто мог с растеньем говорить,
кто понял страшное соединенье мысли —
смерть не страшна, и не страшна земля.

Иди ко мне, моя большая сила!
Держи меня! Я вырос точно дуб,
я стал как бык, и кости как железо,
седой как лунь, я к подвигу готов.
Гляди в меня! Моя глава сияет,
все сухожилья рвутся из меня.
Сейчас залезу на большую гору,
скакну наверх, ногами оттолкнусь,
схвачусь за воздух страшными руками,
вздыму себя, потом опять скакну,
опять схвачусь — а тело выше, выше,
и я лечу, как пташечка лечу!
Я понимаю атмосферу!
Все брюхо воздухом надуется как шар.
Давленье рук пространству не уступит.
Усилие воли воздух победит.

Ничтожный зверь, червяк в паршивой шкуре,
лесной босяк в дурацком колпаке —
я — царь земли! Я — гладиатор духа!
Я — Гарпагон, подъятый в небеса!

Я ухожу. Березы, до свиданья.
Я жил как бог и не видал страданья.

3. СОБРАНИЕ ЗВЕРЕЙ

Председатель

Сегодня годовщина смерти Безумного.
Почтим его память.

Волки (поют)

Страшен, дети, этот год.
Дом зверей ломает свод.

Балки старые трещат.
Птицы круглые пищат.

Вырван бурей, стонет дуб.
Волк стоит, ударен в пуп.

Две реки, покинув лог,
затопили сто берлог.

Встаньте, звери, все зараз,
ударяйте, звери, в таз.

Вместе с бурей, словно кит,
тьень Безумного летит.

Вся в крови его глава.
На груди его трава.

Лапы вывернуты вбок.
Из очей идет дымок.

Гряньте, звери, на трубе:
— Кто ты, страшный? Что тебе?

— Я — Строитель. Я — Топор.
Победитель ваших нор.

Председатель

Я помню ночь, которую поэты
изобразили в этой песне.
Из дальней тундры вылетела буря,
рвала верхи дубов, вывертывала пни
и ставила деревья вверх ногами.
Лес обезумел. Затрещали своды,
летели балки на голову нам.

Шар молнии, огромный, как кастрюля,
скатился вниз, сквозь листья пролетел,
и дерево как свечка загорелось.
Оно кричало страшно, словно зверь,
махало ветками, о помощи молило.
А мы внизу стояли перед ним
и двинуть пальцами от страха не умели.

Я побежал. И вот передо мною
возвысился невиданный утес.
Его вершина, гладкая, как череп,
едва дымилась в чудной красоте.

Опять скатилась молния. Я замер.
Вверху, на самой высоте,
металась чуть заметная фигурка,
хватая воздух пальцами руки.

Я заревел. Фигурка подскочила,
ужасный вопль пронзил меня насквозь,
на воздухе мелькнули морда, руки, ноги.
И больше ничего не помню.

Наутро буря миновала,
лесных развалин догорал костер.
Очнулся я. Утес еще дымился,
и труп Безумного на камушках лежал.

В о л к - с т у д е н т

Мы все скорбим, почтенный председатель,
по поводу безвременной кончины
Безумного. Но я уполномочен
просить тебя ответить на вопрос,
предложенный коллегией студентов.

П р е д с е д а т е л ь

Говори.

В о л к - с т у д е н т

Благодарю. Вопрос мой будет краток.
Мы знаем все, что старый лес погиб,
и нет таких томительных загадок,
которым мы довериться могли б.

Мы строим новый лес. Такой, каких на свете
еще никто не видел. Ничего!
Мы строим все — мужчины, жены, дети,
и я клянусь — мы выстроим его.
Мы на глазах вселенную меняем.
Еще совсем убогие вчера —
перед тобой мы ныне заседаем
как инженеры, судьи, доктора.

Горит как смерч великая наука.
Волк ест пирог и пишет интеграл.
Волк гвозди бьет, и мир дрожит от стука,
и уж закончен техники квартал.

Итак, скажи, почтенный председатель,
в наш трезвый мир зачем бросаешь ты —
как ренегат, отступник и предатель —
Безумного нелепые мечты?

Подумай сам — возможно ли растение
в животное мечтою обратить,
возможно ль полететь земли произведению
и тем себе бессмертие купить?

Мечты Безумного безумны от начала.
Он отдал жизнь за них. Но что нам до него?
Нам песня нового столетия прозвучала,
мы строим мир, а ты — бежишь его!

В о л к и - и н ж е н е р ы

Мы, особенным образом складывая перекладины,
составляем мостик на другой берег звериного
счастья.

Мы делаем электрических мужиков,
которые будут печь пироги.
Лошади внутреннего сгорания
нас повезут через мостик страдания.
И ямщик в стеклянной шапке
тихо песенку сплет:

— Гайда, тройка,
энергию утрой-ка!

Таков полет строителей земли,
дабы потомки царствовать могли.

Волки - доктора

Мы — врачи и доктора —
толмачи зверей бедра.
В черепа волков мы вставляем стеклянные
трубочки,
мы наблюдаем занятия мозга,
нам не мешает больного прическа.

Волки - музыканты

Мы скрипим на скрипках тела,
как наука нам велела.
Мы смычком своих носов
пилим новых дней засов.

Председатель

Медленно, медленно, медленно
движется чудное время.

Точно клубки ниток мы катимся вдаль,
оставляя за собой нитку наших дел.

Чудесное полотно выткали наши руки,
миллионы миль прошагали ноги.

Лес, полный горя, голода и бед,
стоит вдали, как огненный сосед.

Глядите, звери, в этот лес —
медведь в лесу кобылу ест,
а мы едим большой пирог,
забыв дыру своих берлог.

Глядите, звери, в этот дол —
едомый зверем, плачет вол,
а мы, построив свой квартал,
волшебный пишем интеграл.

Глядите, звери, в этот мир —
там зверь ютится, наг и сир,
а мы, подняв науки меч,
идем от мира зло отсечь.

Медленно, медленно, медленно
движется чудное время...

Я закрываю глаза и вижу стеклянное здание леса.
Стройные волки, одетые в легкие платья,
преданы долгой научной беседе.
Вот отделился один,
поднимает прозрачные лапы,
плавно взлетает на воздух,
ложится на спину,
ветер его на восток как плывущего гонит.
Волки внизу говорят:
— Удалился философ,
чтоб Лопухам преподавать
геометрию неба.

Что это — странные виденья,
безумный вымысел души
или ума произведение —
студент ученый, разреши!

Мечты Безумного нелепы,
но видит каждый, кто не слеп, —
любой из нас, пекущий хлебы,
для мира старого нелеп.

Века идут, года уходят,
но все живущее — не сон:
оно живет и превосходит
вчерашней истины закон.

Спи, Безумный, в своей великой могиле!
Пусть отдыхает твоя обезумевшая от мыслей голова!
Ты сам не знаешь, кто вырвал тебя из берлоги,
кто гнал тебя на одиночество, на страдание.
Ничего не видя впереди, ни на что не надеясь,
ты прошел по земле как великий полководец мысли.
Ты — первый взрыв цепей!
Ты — река, породившая нас!

Мы — стоящие на границе веков,
рабочие молота нашей головы,

мы запечатали кладбище старого леса
твоим исковерканным трупом.

Лежи смирно в своей могиле,
Великий Летатель Книзу Головой.
Мы, волки, несем твоё вечное дело
туда — на звезды — вперед!

1931

ЛАНШУТ
ХАРМС

* * *

⟨I⟩

Одна муха ударила в лоб бегущего мимо господина, прошла сквозь его голову и вышла из затылка. Господин, по фамилии Дернятин, был весьма удивлен: ему показалось, что в его мозгах что-то просвистело, а на затылке лопнула кожа и стало щекотно. Дернятин остановился и подумал: «Что бы это такое значило? Ведь совершенно ясно я слышал в мозгах свист. Ничего такого мне в голову не приходит, чтобы я мог понять, в чем тут дело. Во всяком случае, ощущение редкостное, похожее на какую-то головную болезнь. Но больше об этом я думать не буду, а буду продолжать свой бег». С этими мыслями господин Дернятин побежал дальше, но как он ни бежал, того уже все-таки не получалось. На голубой дорожке Дернятин оступился ногой и едва не упал, пришлось даже помахать руками в воздухе. «Хорошо, что я не упал,— подумал Дернятин,— а то разбил бы свои очки и перестал бы видеть направление путей». Дальше Дернятин пошел шагом, опираясь на свою тросточку. Однако одна опасность следовала за другой. Дернятин запел какую-то песню, чтобы рассеять свои нехорошие мысли. Песнь была веселой и звучной, такая, что Дернятин увлекся ей и забыл даже, что он идет по голубой дорожке, по которой в эти часы дня ездили другой раз автомобили с головокружительной быстротой. Голубая дорожка была очень узенькая, и отскочить в сторону от автомобиля было довольно трудно. Потому она считалась опасным путем. Осторожные люди всегда ходили по голубой дорожке с опаской, чтобы не умереть. Тут смерть поджидала пешехода на каждом шагу то в виде автомобиля, то в виде ломовика, а то в виде телеги с каменным углем. Не успел Дернятин высморгаться, как на него катил огромный автомобиль. Дернятин крикнул: «Умираю!» — и прыгнул в сторону.

Трава расступилась перед ним, и он упал в сырую канавку. Автомобиль с грохотом проехал мимо, подняв над крышей флаг бедственных положений. Люди в автомобиле были уверены, что Дернятин погиб, а потому сняли свои головные уборы и дальше ехали уже простоволосые. «Вы не заметили, под какие колеса попал этот странник, под передние или под задние?» — спросил господин, одетый в муфту, то есть не в муфту, а в башлык. «У меня,— говаривал этот господин,— здорово застужены щеки и ушные мочки, а потому я хожу всегда в этом башлыке». Рядом с господином в автомобиле сидела дама, интересная своим ртом. «Я,— сказала дама,— волнуюсь, как бы нас не обвинили в убийстве этого путника». — «Что? Что?» — спросил господин, оттягивая с уха башлык. Дама повторила свое опасение. «Нет,— сказал господин в башлыке,— убийство карается только в тех случаях, когда убитый подобен тыкве. Мы же нет. Мы же нет. Мы не виновны в смерти путника. Он сам крикнул: умираю! Мы только свидетели его внезапной смерти». Мадам Анэт улыбнулась интересным ртом и сказала про себя: «Антон Антонович, вы ловко выходите из беды». А господин Дернятин лежал в сырой канаве, вытянув свои руки и ноги. А автомобиль уже уехал. Уже Дернятин понял, что он не умер. Смерть в виде автомобиля миновала его. Он встал, почистил рукавом свой костюм, поспешил пальцы и пошел по голубой дорожке нагонять время. Время на девять с половиной минут убежало вперед, и Дернятин шел, нагоняя минуты.

⟨II⟩

Семья Рундадаров жила в доме у тихой реки Свиречки. Отец Рундадаров, Платон Ильич, любил знания высоких полетов: Математика, Тройная Философия, География Эдема, книги Винтвивека, учение о смертных толчках и небесная иерархия Дионисия Ареопагита были наилюбимейшие науки Платона Ильича. Двери дома Рундадаров были открыты всем странникам, посетившим святыне точки нашей планеты. Рассказы о летающих холмах, приносимые оборванцами из Никитинской слободы, встречались в доме Рундадаров с оживлением и напряженным вниманием. Платоном Ильичом хранились длинные списки о деталях летания больших

и мелких холмов. Особенно отличался от всех других взлетов взлет Капустинского холма: Как известно, Капустинский холм взлетел ночью, часов в пять, выворотив с корнем кедр. От места взлета к небу холм поднимался не по серповидному пути, как все прочие холмы, а по прямой линии, сделав маленькие колебания лишь на высоте 15—16 километров. И ветер, дующий в холм, пролетал сквозь него, не сгоняя его с пути. Будто холм кремневых пород потерял свойство непроицаемости. Сквозь холм, например, пролетела галка. Пролетела, как сквозь облако. Об этом утверждают несколько свидетелей. Это противоречило законам летающих холмов, но факт оставался фактом, и Платон Ильич занес его в список деталей Капустинского холма. Ежедневно у Рундадаров собирались почетные гости и обсуждались признаки законов алогической цепи. Среди почетных гостей были: профессор железных путей Михаил Иванович Дундуков, игумен Миринос II и плехаризиаст Стефан Дернятин. Гости собирались в нижней гостиной, садились за продолговатый стол, на стол ставилось обыкновенное корыто с водой. Гости, разговаривая, поплевывали в корыто: таков был обычай в семье Рундадаров. Сам Платон Ильич сидел с кнутиком. Время от времени он мочил его в воде и хлестал им по пустому стулу. Это называлось «шуметь инструментом». В девять часов появлялась жена Платона Ильича, Анна Маляевна, и вела гостей к столу. Гости ели жидкие и твердые блюда, потом подползали на четвереньках к Анне Маляевне, целовали ей ручку и садились пить чай. За чаем игумен Миринос II рассказывал случай, происшедший четырнадцать лет тому назад. Будто он, игумен, сидел как-то на ступеньках своего крыльца и кормил уток. Вдруг из дома вылетела муха, покружилась и ударила игумена в лоб. Ударила в лоб и прошла насквозь головы, и вышла из затылка, и улетела опять в дом. Игумен остался сидеть на крыльце с восхищенной улыбкой, что наконец-то воочию увидел чудо. Остальные гости, выслушав Мириноса II, ударяли себя чайными ложками по губам и по кадыку в знак того, что вечер окончен. После разговор принимал фривольный характер. Анна Маляевна уходила из комнаты, а господин плехаризиаст Дернятин заговаривал на тему «Женщина и цветы». Бывало и так, что некоторые из гостей оставались ночевать. Тогда сдвигалось несколько шкапов, и на шкапы укладывали Мириноса II. Профессор

Дундуков спал в столовой на рояле, а господин Дерягин ложился в кровать к рундадарской прислуге Маше. В большинстве же случаев гости расходились по домам. Платон Ильич сам запирает за ними дверь и шел к Анне Маляевне. По реке Свиречке плыли с песнями никитинские рыбаки. И под рыбацкие песни засыпала семья Рундадаров.

⟨1929—1930⟩

ВЕЩЬ

Мама, папа и прислуга по названию Наташа сидели за столом и пили.

Папа был, несомненно, забулдыга. Даже мама смотрела на него свысока. Но это не мешало папе быть очень хорошим человеком. Он очень добродушно смеялся и качался на стуле. Горничная Наташа, в наколке и в передничке, все время невозможно стеснялась. Папа веселил всех своей бородой, но горничная Наташа конфузливо опускала глаза, изображая этим, что она стесняется.

Мама, высокая женщина с большой прической, говорила лошадиным голосом. Мамин голос трубил в столовой, отзываясь на дворе и в других комнатах.

Выпив по первой рюмочке, все на секунду замолчали и поели колбасу. Немного погодя все опять заговорили.

Вдруг, совершенно неожиданно, в дверь кто-то постучал. Ни папа, ни мама, ни горничная Наташа не могли догадаться, кто это стучит в двери.

— Как это странно, — сказал папа. — Кто бы там мог стучать в дверь?

Мама сделала соболезнующее лицо и не в очередь налила себе вторую рюмочку, выпила и сказала:

— Странно.

Папа ничего не сказал плохого, но налил себе тоже рюмочку, выпил и встал из-за стола.

Ростом был папа невысок. Не в пример маме. Мама была высокой, полной женщиной с лошадиным голосом, а папа был просто ее супруг. В добавление ко всему прочему папа был веснушчат.

Он одним шагом подошел к двери и спросил:

— Кто там?

— Я,— сказал голос за дверью.

Тут же открылась дверь, и вошла горничная Наташа, вся смущенная и розовая. Как цветок. Как цветок.

Папа сел.

Мама выпила еще.

Горничная Наташа и другая, как цветок, зарделись от стыда. Папа посмотрел на них и ничего плохого не сказал, а только выпил, так же как и мама.

Чтобы заглушить неприятное жжение во рту, папа вскрыл банку консервов с раковым паштетом. Все были очень рады, ели до утра. Но мама молчала, сидя на своем месте. Это было очень неприятно.

Когда папа собирался что-то спеть, стукнуло окно. Мама вскочила с испуга и закричала, что она ясно видела, как с улицы в окно кто-то заглянул. Другие уверяли маму, что это невозможно, так как их квартира в третьем этаже, и никто с улицы посмотреть в окно не может — для этого нужно быть великаном или Голиафом.

Но маме взбрела в голову крепкая мысль. Ничто на свете не могло ее убедить, что в окно никто не смотрел.

Чтобы успокоить маму, ей налили еще одну рюмочку. Мама выпила рюмочку. Папа тоже налил себе и выпил. Наташа и горничная, как цветок, сидели, потупив глаза от конфуза.

— Не могу быть в хорошем настроении, когда на нас смотрят с улицы через окно,— кричала мама.

Папа был в отчаянии, не зная, как успокоить маму. Он сбегал даже на двор, пытаясь заглянуть оттуда хотя бы в окно второго этажа. Конечно, он не смог дотянуться. Но маму это несколько не убедило. Мама даже не видела, как папа не мог дотянуться до окна всего лишь второго этажа.

Окончательно расстроенный всем этим, папа вихрем влетел в столовую и залпом выпил две рюмочки, налив рюмочку и маме. Мама выпила рюмочку, но сказала, что пьет только в знак того, что убеждена, что в окно кто-то посмотрел.

Папа даже руками развел.

— Вот,— сказал он маме и, подойдя к окну, растворил настежь обе рамы.

В окно попытался влезть какой-то человек в грязном воротничке и с ножом в руках. Увидя его, папа захлопнул рамы и сказал:

— Никого нет там.

Однако человек в грязном воротничке стоял за окном и смотрел в комнату и даже открыл окно и вошел.

Мама была страшно взволнована. Она грохнулась в истерику, но, выпив немного предложенного ей папой и закусив грибом, успокоилась.

Вскоре и папа пришел в себя. Все опять сели к столу и продолжали пить.

Папа достал газету и долго вертел ее в руках, ища, где верх и где низ. Но сколько он ни искал, так и не нашел, а потому отложил газету в сторону и выпил рюмочку.

— Хорошо, — сказал папа, — но не хватает огурцов.

Мама неприлично заржала, отчего горничные сильно сконфузились и принялись рассматривать узор на ска-терти.

Папа выпил еще и вдруг, схватив маму, посадил ее на буфет.

У мамы взбилась седая пышная прическа, на лице проступили красные пятна, и, в общем, рожа была возбужденная.

Папа подтянул свои штаны и начал тост.

Но тут открылся в полу люк и оттуда вылез монах.

Горничные так переконфузились, что одну начало рвать. Наташа держала свою подругу за лоб, стараясь скрыть безобразия.

Монах, который вылез из-под пола, прицелился кулаком в папино ухо да как треснет!

Папа так и шлепнулся на стул, не окончив тоста.

Тогда монах подошел к маме и ударил ее как-то снизу — не то рукой, не то ногой.

Мама принялась кричать и звать на помощь.

А монах схватил за шиворот обеих горничных и, помотав ими по воздуху, отпустил.

Потом, никем не замеченный, монах скрылся опять под пол и закрыл за собою люк.

Очень долго ни мама, ни папа, ни горничная Наташа не могли прийти в себя. Но потом, отдышавшись и приведя себя в порядок, они все выпили по рюмочке и сели за стол закусить шинкованной капусткой.

Выпив еще по рюмочке, все посидели, мирно бесе-дуя.

Вдруг папа побагровел и принялся кричать.

— Что! Что! — кричал папа. — Вы считаете меня за мелочного человека! Вы смотрите на меня как на не-

удачника! Я вам не приживальщик! Сами вы него-
дяи!

Мама и горничная Наташа выбежали из столовой и
заперлись на кухне.

— Пошел, забулдыга! Пошел, чертово копыто! —
шентала мама в ужасе окончательно сконфуженной
Наташе.

А папа сидел в столовой до утра и орал, пока не
взял папку с делами, одел белую фуражку и скромно
пошел на службу.

31 мая 1929

ИСТОРИЯ СДЫГР АППР

А н д р е й С е м е н о в и ч. Здравствуй, Петя.

П е т р П а в л о в и ч. Здравствуй, здравствуй. Guten
Morgen¹. Куда несет?

Андрей Семенович протянул руку Петру Павлови-
чу, а Петр Павлович схватили руку Андрея Семеновича
и так ее дернули, что Андрей Семенович остался без
руки и с испугу кинулся бежать. Петр Павлович бежали
за Андреем Семеновичем и кричали: «Я тебе, мерзав-
цу, руку оторвал, а вот обожди, догоню, так и голову
оторву!»

Андрей Семенович неожиданно сделал прыжок и пе-
рескочил канаву, а Петр Павлович не сумели перепрыг-
нуть канавы и остались по сию сторону.

А н д р е й С е м е н о в и ч. Что? Не догнал?

П е т р П а в л о в и ч. А это вот видел? (*И показали
руку Андрея Семеновича.*)

А н д р е й С е м е н о в и ч. Это моя рука!

П е т р П а в л о в и ч. Да-с, рука ваша! Чем махать
будете?

А н д р е й С е м е н о в и ч. Платочком.

П е т р П а в л о в и ч. Хорош, нечего сказать! Одну
руку в карман сунул, и головы почесать нечем.

А н д р е й С е м е н о в и ч. Петя! Давай так: я тебе
чего-нибудь дам, а ты мне мою руку отдай.

¹ Доброе утро (*нем.*).

Петр Павлович. Нет, я руки тебе не отдам. Лучше и не проси. А вот хочешь, пойдем к профессору Тартарелину — он тебя вылечит.

Андрей Семенович прыгнул от радости и пошел к профессору Тартарелину.

Андрей Семенович. Многоуважаемый профессор, выложите мою правую руку. Ее оторвал мой приятель Петр Павлович и обратно не отдает.

Петр Павлович стояли в прихожей профессора и демонически хохотали. Под мышкой у них была рука Андрея Семеновича, которую они держали презрительно, наподобие портфеля.

Осмотрев плечо Андрея Семеновича, профессор закурил трубку-папиросу и вымолвил:

— Это крупная шшадина.

Андрей Семенович. Простите, как вы сказали?

Профессор. Сшадина.

Андрей Семенович. Ссадина?

Профессор. Да, да, да. Шатина. Шá-тйн-на!

Андрей Семенович. Хороша ссадина, когда и руки-то нет!

Из прихожей послышался смех.

Профессор. Ой! Кто там шмиется?

Андрей Семенович. Это так просто. Вы не обращайтесь внимания.

Профессор. Хо! Ш удовольствием. Хотите, чтонибудь почитаем?

Андрей Семенович. А вы меня полечите.

Профессор. Да, да, да. Почитаем, а потом я вас полечу. Садитесь.

Оба садятся.

Профессор. Хотите, я вам прочту свою науку?

Андрей Семенович. Пожалуйста! Очень интересно.

Профессор. Только я изложил ее в стихах.

Андрей Семенович. Это страшно интересно!

Профессор. Вот, хе-хе, я вам прочту отсюда досюда. Тут вот о внутренних органах, а тут уже о суставах.

Петр Павлович (входя в комнату)

Здыгр аппр устр устр
я несу чужую руку
здыгр аппр устр устр
где профессор Тартарелин?
здыгр аппр устр устр
где приемные часы?
если эти побрякушки
с двумя гирями до полу
эти часики старушки
пролетели парабóлу
здыгр аппр устр устр
ход часов нарушен мною
им в замену карабистр
на подставке здыгр аппр
с бесконечною рукою
приспособленной как стрелы
от минуты за другою
в путь несется погорелый
а под белым циферблатом
блин мотаает устр устр
и закутанный халатом
восседает карабистр
он приемные секунды
смотрит в двигатель размерен
чтобы время не гуляло
где профессор Тартарелин,
где Андрей Семеныч здыгр
однорукий здыгр аппр
лечит здыгр аппр устр
приспосабливает руку
приколачивает пальцы
здыгр аппр прибивает
здыгр аппр устр бьет.

Профессор Тартарелин. Это вы искалечили
гражданина, Петр Павлович?

Петр Павлович. Руку вырвал из манжеты.

Андрей Семенович. Бегал следом.

Профессор. Отвечайте!

Петр Павлович смеются.

Карабистр. Гвиндалея!

Петр Павлович. Карабистр!

К ара б и с т р. Гвиндалан.

Про ф е с с о р. Расскажите, как было дело.

А н д р е й С е м е н о в и ч

Шел я по полю намедни
и внезапно вижу: Петя
мне навстречу идет спокойно
и, меня как будто не замечая,
хочет мимо проскочить.
Я кричу ему: ах, Петя!
Здравствуй, Петя, мой приятель,
ты, как видно, не заметил,
что иду навстречу я.

П е т р П а в л о в и ч

Но господство обстоятельств
и скрещение событий
испокон веков донныне
нами правит как детьми,
морит голодом в пустыне,
хлещет в комнате плетьюми.

Про ф е с с о р. Так-так, это понятно. Стечение об-
стоятельств. Это верно. Закон.

Тут вдруг Петр Павлович наклонились к профессору
и откусили ему ухо. Андрей Семенович побежал за
милиционером, а Петр Павлович бросили на пол руку
Андрея Семеновича, положили на стол откушенное ухо
профессора Тартарелина и незаметно ушли по черной
лестнице.

Профессор лежал на полу и стонал.

— Ой-ой-ой, как больно! — стонал профессор.—
Моя рана горит и исходит соком. Где найдется такой
сострадательный человек, который промоет мою рану
и зальет ее коллодием?!

Был чудный вечер. Высокие звезды, расположен-
ные на небе установленными фигурами, светили вниз.
Андрей Семенович, дыша полной грудью, тащил двух
милиционеров к дому профессора Тартарелина. Пома-
хивая своей единственной рукой, Андрей Семенович
рассказывал о случившемся.

Милиционер спросил Андрея Семеновича:

— Как зовут этого проходимца?

Андрей Семенович не выдал своего товарища и даже не сказал его имени.

Тогда оба милиционера спросили Андрея Семеновича:

— Скажите нам, вы его давно знаете?

— С маленьких лет, когда я был еще вот таким,— сказал Андрей Семенович.

— А как он выглядит? — спросили милиционеры.

— Его характерной чертой является длинная черная борода,— сказал Андрей Семенович.

Милиционеры остановились, подтянули потуже свои кушаки и, открыв рты, запели протяжными ночными голосами:

Ах, как это интересно,
был приятель молодой,
а подрос когда приятель,
стал ходить он с бородой.

— Вы обладаете очень недурными голосами, разрешите поблагодарить вас,— сказал Андрей Семенович и протянул милиционерам пустой рукав, потому что руки не было.

— Мы можем и на научные темы поговорить,— сказали милиционеры хором.

Андрей Семенович махнул пустышкой.

— Земля имеет семь океянов,— начали милиционеры.— Научные физики изучали солнечные пятна и привели к заключению, что на планетах нет водорода и там неуместно какое-либо сожительство.

В нашей атмосфере имеется такая точка, которая всякий центр зашибет.

Английский крематорий Альберт Эйнштейн изобрел такую махинацию, через которую всякая штука относительна.

— О любезные милиционеры! — взмолился Андрей Семенович.— Бежимте скорее, а не то мой приятель окончательно убьет профессора Тартарелина.

Одного милиционера звали Володя, а другого Сережа. Володя схватил Сережу под руку, а Сережа схватил Андрея Семеновича за рукав, и они все втроем побежали.

— Глядите, три институтки бегут! — кричали им вслед извозчики. Один даже хватил Сережу кнутом по заднице.

— Постой! На обратном пути ты мне штраф заплатишь! — крикнул Сережа, не выпуская из рук Андрея Семеновича.

Добежав до дома профессора, все трое сказали:

— Тпррр! — и остановились.

— По лестнице, в третий этаж! — скомандовал Андрей Семенович.

— Носч! ¹ — крикнули милиционеры и кинулись по лестнице.

Моментально высадив плечом дверь, они ворвались в кабинет профессора Тартарелина.

Профессор Тартарелин сидел на полу, а жена профессора стояла перед ним на коленях и пришивала профессору ухо розовой шелковой ниточкой. Профессор держал в руках ножницы и вырезал платье на животе своей жены. Когда показался голый женин живот, профессор потер его ладонью и посмотрел в него, как в зеркало.

— Куда шьешь? Разве не видишь, что одно ухо выше другого получилось? — сказал сердито профессор.

Жена отпоролла ухо и стала пришивать его заново.

Голый женский живот, как видно, развеселил профессора. Усы его ощетинились, а глазки заулыбались.

— Катенька, — сказал профессор, — брось пришивать ухо где-то сбоку, пришей мне его лучше к щеке.

Катенька, жена профессора Тартарелина, терпеливо отпоролла ухо во второй раз и принялась пришивать его к щеке профессора.

— Ой, как щекотно! Ха-ха-ха! Как щекотно! — смеялся профессор, но вдруг, увидя стоящих на пороге милиционеров, замолчал и сделался серьезным.

Милиционер Сережа. Где здесь пострадавший?

Милиционер Володя. Кому здесь откусили ухо?

Профессор (*поднимаясь на ноги*). Господа! Я — человек, изучающий науку вот уже, слава богу, пятьдесят шесть лет, ни в какие другие дела не вмешиваюсь. Если вы думаете, что мне откусили ухо, то вы жестоко ошибаетесь. Как видите, у меня оба уха целы. Одно, правда, на щеке, но такова моя воля.

¹ Игра слов: Носч — «высоко» и также здравица типа «ура» (*нем.*).

Милиционер Сережа. Действительно, верно,
оба уха налицо.

Милиционер Володя. У моего двоюродного
брата так брови росли под носом.

Милиционер Сережа. Не брови, а просто усы.
Караби стр. Фасфалакат!

Профессор. Приемные часы окончены.

Жена профессора. Пора спать.

Андрей Семенович (*входя*). Половина двенадцатого.

Милиционеры хором. Покойной ночи.

Эхо. Спите сладко.

Профессор ложится на пол, остальные тоже ложатся
и засыпают.

СОН

тихо плещет океян
скалы грозные ду ду
тихо светит океян
человек поет в дуду
тихо по морю бегут
страха белые слоны
рыбы скользкие поют
звезды падают с луны
домик слабенький стоит
двери настежь распахнул
печи теплые сулит
в доме дремлет караул
а на крыше спит старуха
на носу ее кривом
тихим ветром плещет ухо
дует волосы кругом
а на дереве кукушка
сквозь очки глядит на север
не гляди моя кукушка
не гляди всю ночь на север
там лишь ветер караби стр
время в цифрах бережет
там лишь ястреб сдыгр устр
себе добычу стережет

Петр Павлович

Кто-то тут впотьмах уснул,
шарю, чую: стол и стул,

натыкаюсь на комод,
вижу древо бергамот,
я спешу, срываю груши,
что за дьявол! это уши!
Я боюсь, бегу направо,
предо мной стоит дубрава,
я обратно так и сяк,
натыкаюсь на косяк,
ноги гнутся, тянут лечь,
думал: двери — это печь,
прыгнул влево — там кровать,
помогите!..

Профессор (*просыпаясь*). Ать?..
Андрей Семенович (*вскакивая*). Ффу! Ну и сон же видел, будто нам всем уши пообрывали. (*Зажигает свет.*)

Оказывается, что, пока все спали, приходили Петр Павлович и обрезали всем уши.

Замечание милиционера Сережи:
— Сон в руку!

(Апрель? 1929 года)

ЛАПА

У храпа есть концы голос
подобны хрипы запятым
подушку спутанных волос
перекрести ключом святым
из головы цветок вырастает
сон ли это или смерть
зверь тетрадь мою листает
червь глотает ночь и зберть
там пух петухов
на Глинкин плац
осел шатром из пушки бац
сон уперся на бедро
ветер западный. — Ведро.
О статуя всех статуй
дням дыханье растатуй

леса лужи протечи
где грибы во мху дики
молви людям: пустяки
мне в колодец окунаться
мрамор духа холодить
я невеста земляка
не в силах по земле ходить.
Во мне живет младенца тяжесть.
Жесть неба сгинь!
Отныне я жесть
и медь и кобальт и пружина
в чугун проникли головой
оттуда сталь кричит: ножи на!
И тигра хвост маховой!
И все же бреду я беременная
Батюшка! Это ремень но не я!
Батюшка! Это ремень но не мать!
Будут тебя мой голубчик
будут тебя мой голубчик
будут тебя мой голубчик
сосны тогда обнимать.

Сказала и упала.
А эхо крикнуло: Магога!
И наступила ночь Купала
когда трава глядит на Бога.
Два Невских пересекли чащи
пустя по воздуху канатик
и паровоз дышал шипяще
в глаза небесных математик.
Ответил Бог: на камне плоском
стоял земляк. Он трубку курил.
Его глаза залеплены воском.
«Мне плохо видно», — он говорил.
«Куда ушла моя статуя
мое светило из светил.
Один на свете холостуя
взоры к небу привинтил.
По ударам сердца счет
время ласкою течет
по часам и по столу
по корням и по стволу.
И отмечу я в тетради
встречи статуя с тобой
тебя ради

жизнь сделаю рабой.
Тебя ради встану рано
лягу в воду по лопатки
легй пеги деги веги
боги воги нуки вуки»

Из Полтавы дунул дух
полон хлеба полон мух
кто подышит не упи
мама воздуха купи.
Я гора, а ты песок
ты квадрат, а я высок
я часы, а ты снаряд
скоро звезды запарят.
Мама воздуха не даст
атмосферы тонок пласт
блещут звезды как ножи
мама Бога покажи!
Ты челнок, а я ладья
ты щенок, а я судья
ты штаны, а я подол
ты овраг, я низкий дол
ты земля, а я престол.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

Земляк. Что это жужжит?
Власть. Это ты спишь.
Земляк. Я вижу цветок над своей головой. Можно
его сорвать?
Власть. Опусти агам к ногам.
Земляк. Что такое агам?
Власть. Разве ты не знаешь?
Жил старик. Его сын работал на заводе и приходил
домой грязный. Старик кипятил воду, чтобы сын мыл
руки. В воде плавали тараканы и мелкие бациллы. Сын
смотрел сквозь голубую воду и видел дно. В воде пла-
вало отражение сына. Старик выплескивал воду из таза
вместе с отражением сына. Но отражение застревало
в трубе, и машина не спускалась. Старик шел к управ-
дому и просил починить уборную. Управдом писал
отношение и ложился спать.
На другой день сын шел на завод выделывать дробь.
Земляк. А что делал старик?

Власть. Разве ты не знаешь?

Старик читал книгу. Потом закладывал книгу спичкой и растапливал печь. Дрова он носил на согнутой левой руке и, нося дрова, думал: от дров быстро портится рукав пиджака.

Земляк. А что такое агам?

Власть. Разве ты не знаешь?

На небе есть четыре звезды Лебеда. Это — северный крест. Недавно среди звезд появилась новая звезда — Лебедь Агам. Кто сорвет эту звезду, тот может не видеть снов.

Земляк. Мне рукой не достать до неба.

Власть. Ты встань на крышу.

Земляк встает на крышу.

Власть. Ну как?

Земляк. Авла диндури пре пре кру кру.

Статуя на крыше хватается земляка и делает его легким.

Земляк.

Я ле!

Птицы не больше перочинных ножигов.

Ле!

Откройте озеро, чтобы вода стала ле!

Откройте гору, чтобы из нее вышли пары!

Остановите часы, потому что время ушло в землю!

Смотрите, какой я ле!

Утюгов (*смотря из окна наверх*)

Эй, послушайте там! Гражданин,

вы мешаєте читать мне газету.

И потом, что за дьявол! На чем вы держитесь?

Земляк (*хохоча*)

Я от х́аха и от хиха,

я от хоха и от хеха

еду в небо, как орлиха,

отлетаю, как прореха.

Утюгов (*размахивая газетой*)

Я меняю свою жилплощадь на б́ольшую!

Бап боп батурай!

На б́ольшую!

Запомните кокон, фоко́н, зокен, мокен.

Земляк. Где я? Что это за место?
Ангел Капуста. Нил.

Воск тает с глаз Земляка. Земляк смотрит окрестности.

ОПИСАНИЕ НИЛА

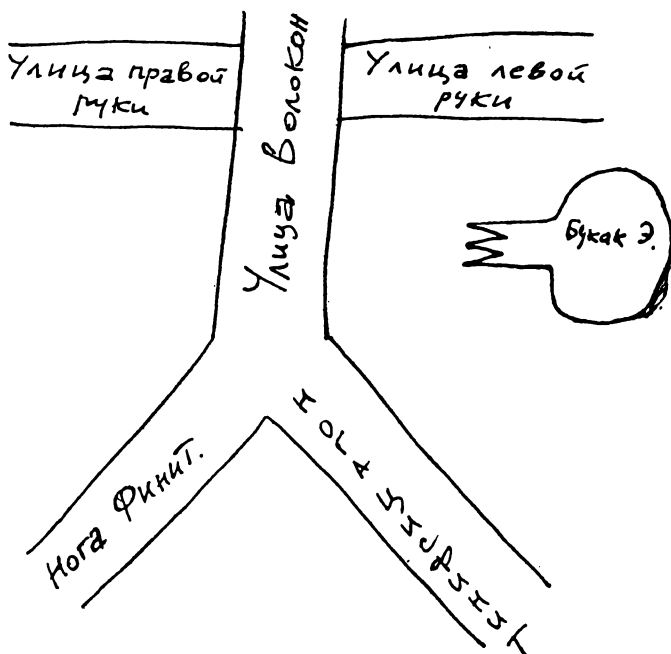
Картина представляет собой гроб. Только вместо глазури идет парходик и летит птица. В гробу лежит человек, от смерти зеленый. Чтобы показаться живым, он все время говорит.

«Чтобы сварить суп, надо затопить плиту и поставить на нее пострюлю с водой. Когда вода вскипит, надо в воду бросить морковь и... нет, стрелу и фо... нет, надо в воду положить карету. Хотя это уже не то».

Судя по тому, что говорил человек, он был явно покойник. Но несмотря на это он держал в руках подсвечник. Собственно говоря, это и был Нил.

В Ниле плавал Аменхотеп. Он был в трусиках и в кепке.

Вот план Аменхотепа:



Николай же Иванович держал в руках ибиса и смотрел, что у него под хвостом.

Земляк. Ну как, Николай Иванович?

Николай Иванович. Да вот, знаете ли, еще не разобрал, в чем дело. Тут, видите ли, пух мешает.

Земляк. Да. Тяжело.

Николай Иванович. Там лучше было. Там, знаете ли, возьмешь гречневую кашу с маслом или, еще лучше, если она холодная, и с молоком и съешь.

Земляк. Или ватрушку. Особенно если ее есть прямо так, по-простецки, взяв в руку.

Николай Иванович (*вздыхнув*). Или суп. Знаете ли, чтобы сделать суп, надо положить в воду мясо и рыбу.

К ним подсаживается покойник.

Покойник. Ылы ф зуб фоложить мроковь. Ылы спржу. Ылы букварь. Ылы дрыдноут.

Из-за горизонта доносится крик:

«...меньшую на большую! Бап боп батурай!»

Аменхотеп вылезает из воды и идет по острым камушкам. Идти больно, и Аменхотеп машет руками и то и дело приседает. Добравшись до песка, он бежит уже свободно и наконец валится в песок и валяется.

«Покурить бы», — говорит Аменхотеп; вокруг молчат. Николай Иванович сердито смотрит Ибису под хвост.

Аменхотеп снимает трусики, выжимает их и вешает на солнце сушиться. А сам смотрит по сторонам: не идет ли где женщина? Но женщин не видать, только на берегу подсвечника стоит женская мраморная статуя.

Земляк. Ну, ребятки, передохнул с вами, да пора и дальше.

— Куда? — спрашивает его Николай Иванович.

— Да я, знаете, к Лебедям, — говорит Земляк.

И Земляк поднимается выше.

Тут стоят два дерева и любят друг друга.

Одно дерево — волк, другое — волчица.

Когда Земляк выглянул из-за угла, то волк кинулся к решетке.

Земляк спрятался.

Волк поцеловал волчиху.

Земляк опять вышел из-за прикрытия.

— Где здесь Лебеди? — спросил он волков.

И вот вышел сторож в белом халате. Он держал в руках длинный скребок.

— Лебеди, — сказал сторож, нюхая кусок хлеба, чтобы не заплакать, — они там. Вон в том доме.

Земляк пошел вдоль пруда. В пруду лежал снег.

ПТИЧНИК

В птичнике очень воняло. В углу сидела маленькая девочка и ела земляные лепешки. Девочка была очень грязная и нечистоплотная.

На асфальтовом полу были пробоины, в пробоинах стояли лужи. Старичок в длинном черном пальто ходил по лужам и боком смотрел на птиц.

Комнату разделяла перегородка вышиной в аршин. За перегородкой расхаживали большие птицы. Пеликаны сидели вокруг бассейна и в грязной воде полоскали свои клювы.

Девочка отложила в сторону земляную лепешку и запела. Рот у девочки был похож на круглую дырочку.

Девочка пела:

Пли пли
кля кля
смах смач ганганух
векибаки сабаче
дубти кепче алдалаб
смерх пурх соловьи
сели или ели а
соо суо сыа се
соловеи вие во
вие вао вуа ви
вуа выа вао вю
пю пю пю пю
закурак.

Один пеликан, самый старей, начал танцевать. На голове его изгибался седой хохол, а красные глазки свирепо смотрели в морскую раковину. Сначала он долго топал ногами на одном месте. Потом начал перебегать на

несколько шагов то вперед, то назад, причем его голова оставалась неподвижной в одной и той же воздушной точке. Изгибалась только шея. Вдруг пеликан пустил одно крыло по полу и начал разворачиваться на одной ноге, притоптывая другой. Сначала развернулся в одну сторону, потом в другую, а потом вдруг поплыл, как боярышня, волоча за собой по полу оба крыла.

Остальные птицы притихли, расступились и стояли, уткнувшись носом в стену, не глядя на танец пеликана.

— Молчать! — крикнул вдруг старичок в длинном черном пальто.

Никто не обратил на это внимание. Девочка продолжала петь, а пеликан танцевать.

— И это небо! — сказал сокрушенно старичок. — Фу-фу-фу! Какая здесь гадость!

— Почему вы думаете, что это небо? — спросил старичка другой такой же старичок, неизвестно откуда появившийся.

— Ах, бросьте, — сказал прежний старичок. — Я всю жизнь старался не петь глупых песен. А тут ведь поют нечто безобразное.

— А вы тоже попробуйте, — сказал такой же старичок. Но старичок покачал только головой, отчего пенсне с его носа свалилось в лужу.

— Ну вот, видите? Вот, видите? — сказал обиженно старичок.

Дверь отворилась, и в птичник вошел Земляк.

— Лебедь у вас? — громко спросил он.

— Да, я тут! — крикнул Лебедь.

— Ура! Это небо? — спросил Земляк.

— Да, это небо! — крикнуло небо.

Но тут пролетел Ангел Капуста, и Земляк снова вошел в птичник.

— Лебедь у вас? — громко спросил он.

— Да, я тут! — крикнул Лебедь.

— Ура! Значит, это небо! — крикнул Земляк.

— Да, это небо, — сказал Ангел Капуста. —

Это небо

ибо Лебедь здесь владыка

ну-ка дева

принеси-ка мне воды-ка.

Маленькая девочка сбегала за водой. Ангел Капуста выпил воды, утер усы и сказал:

— Холодная, сволочь, а вкусная. Сейчас господствует эпидемия брюшного тифа, да не беда. Надо только ут-

ром и вечером потирать ладошкой живот и приговаривать: «Бурчи, да не болей».

Вдруг Земляк огромным прыжком перескочил через перегородку, схватил Лебеда под мышку и провалился под землю.

На этом месте выросла сосна с руками и в шляпе, и звали ее Марией Ивановной.

РАЗГОВОР АНГЕЛА КАПУСТЫ С МАРИЕЙ ИВАНОВНОЙ

А н г е л К а п у с т а. Вот это да! А только интересно знать: билет у Вас есть?

М а р и я И в а н о в н а. Ха-ха-ха, какие глупости! Ведь я индюшка!

А н г е л К а п у с т а. Вы не можете так разговаривать со мной. Ведь я ангел.

М а р и я И в а н о в н а. Почему?

А н г е л К а п у с т а. Потому что у меня крылья.

М а р и я И в а н о в н а. Ха-ха-хоау! Но ведь у гусей и у куропаток тоже есть крылья!

А н г е л К а п у с т а. Вы рассуждаете как проф. Пермяков. Он и сторож Фадей на этом основании посадили меня в этот курятник.

Мария Ивановна зевает и засыпает. Ангел Капуста будит ее.

А н г е л П а н т о с т а. Мария Ивановна, проснитесь, — я вам доскажу свою мысль об осях.

М а р и я И в а н о в н а (*со сна*). Голубчик, голубочек, голубок! Не касайся таких вопросов. Я спать хочу.

А н г е л Х а р т р а с т а. Но все-таки, Мария Ивановна, я большой любитель пшена. Знаете, оно попадает даже в навозе. Даже в навозе, — честное слово!

М а р и я И в а н о в н а (*со сна*). Ну уж это нет! Фи донк! Назвос и пшенная каша!

А н г е л Х о л б а с т а. Ничего-с, Мария Ивановна. Хотя, конечно, смотря чей навоз. Лучше всего лошадиный. В нем, знаете, этого самого немного, а все больше вроде как бы соломы. Коровий помет, это тоже ничего. Хотя он, знаете, очень вязкий. Вот собачий — тьфу! Сам знаю, что дрянь! И пшена тоже совсем нет. Но ем. Все-таки еще ем. Но вот что касается...

М а р и я И в а н о в н а (*затыкая уши*). Нечего сказать, ангел! Чего только не жрет! Скажите, вы, может быть, и блевотину едите?

— Как вам сказать, — начал было Ангел Хлампушта, но Мария Ивановна принялась так кричать и ругаться, что Ангел Хлемписта поскорей зажал свой рот рукой, но от быстроты движения не удержался на ногах и сел на пол.

Андрей же соломея дрынваку и сплюнув гасмаквел похурею вольностей и кульпа фафанаф штое палман-деуб.

ГЛАВНАБОР

Мах
мамах
мамамах

леапие
леапие гае
леапие гаеу

В.
Х.

Коршун глодал кость.
Земляк падал на землю.

мои
вои
кои
веди
дуи
буи
вее
ае
хие
сео
пуе
пляе
клёе
поко
плие
плёе
флюе
мое
фое
тое
нюня
тюпя
кеё
пеё
фюю
юю
пляю
кляю

кляе
кляпафео
пельсипао
гульдигрея
пянь
фокен, покен, зокен, мокен.

Таким образом Земляк вернулся на землю.

У т ю г о в (*махая примусом*)

Бап боп батурай!
Обед прошел благополучно.
Я съел одну тарелку супа
с укропом, с луком, со стрелой.
Да винегрет, картофель с хреном —
милой Тани мастерство.
Ел по горло. Вышел с креном
в дверь, скрывая естество.
Когда еда ключом вскипает
в могиле бомбы-живота,
кровь по жилам протекает,
в тканях тела зашита,
румянцем на щеке горит.
В пульсе пяо пуо по
пеньди пюньди говорит,
бубнит в ухе по по по.
Я же слушаю жужжанье
из небес в мое окно,
это ветров дребезжанье
миром создано давно.
Тесно жить. Покинем клеть.
Будем в небо улететь.
(*машет примусом*)
Небо, нябо, небобí,
буби, небо, не скоби.
Кто с тебя летит сюда?
Небанбанба небобей!
Ну-ка, небо, разбебо!

Х л е б н и к о в (*проезжая на коне*)

Пульпе пельпе пепопей!

У т ю г о в

Всадник, что ты говоришь?
Что ты едешь?

Что ты видишь?
Что ты? Что ты,
всадник милый, говоришь?
Мне холмов давно не видно,
сосен, пастбищ и травы —
может, всадник, ты посмотришь
на природу своим глазом?
Я, как житель современный,
не способен знать камня,
травы, требы, труги, мхи,
знаю только хи-хи-хи.

Х л е б н и к о в (*проезжая на быке*)

А ты знаешь небо, Утюгов?

У т ю г о в

Знаю небо: небо — жесь,
в жести части — счетом шесть.

Х л е б н и к о в (*проезжая на корове*)

Это не небо,
это ладонь,
крыша пуруша и светлый огонь.

У т ю г о в

О! мне небо надоело,
оно висит над головой.
Протекает, если дождик
сверху по небу стучит,
если кто по небу ходит,
небо громом преисполнено,
и кирпичные трясутся стены,
и часы бьют невпопад,
и льется прадед пены —
вод небесных водопад.
Однажды ветер шаловливый
унес, как пруттик, наше небо,
люди бедные кричали,
горько плакали быки.
Когда один пастух глядел на небо,
ища созвездие Барана,
ему казалось, будто рыбы
глotalи воздух.
Глубь и голубь — одно в другое
превращалось.

Созвездье Лебеда несло
руль мозга, памяти весло.
Цветы гремучие всходили,
деревья темные качались.
Пастух задумался.
«Конечно, — думал он, — я прав,
случилось что-то.
Почему земля кругом похолодела?
И я дыхание теряю,
и все мне стало безразлично?» —
сказал и лег в траву.
«Теперь я понял, — прибавил он, —
пропало небо.
О небо, небо, то в полоску,
то голубое, как цветочек,
то длинное, как камыши,
то быстрое, как лыжа.
Ну, человечество! Дыши!
Задохнемся, но все же мы же
найдем тебя, беглянку,
не скроешься от нашей погощи!»
Сказал. И лег в землянку,
сложив молитвенно ладони.

Хлебников (*проезжая на бумажке*)

И что же, небо возвратилось?

Утюгов

Да. Это сделал я.
Я влез на башню,
взял веревку,
достал свечу,
поджег деревню,
открыл ворота,
выпил море,
завел часы,
сломал скамейку —
и небо, пятясь по эфиру,
тотчас же в стойло возвратилось.

Хлебников (*скача в акведуке*)

А ты помнишь, день-то хлябал,
а ты знаешь, ветром я был.

У т ю г о в (размахивая примусом)

Бап боп батурай!
Держите этого скакуна!
Держите, он сорвет небо!
Кокен, фокен, зокен, мокен!

Из открытых пространств слетал тихо Земляк, держа под мышкой Лебеда.

Земляк подлетает к крышам. На одной из крыш стоит женская статуя.

Она хватает Земляка и делает его тяжелым.

Земляк смотрит в небеса, где он только что был.

Земляк. Вот ведь откуда прилетел!

У т ю г о в (высовываясь из окна). Вам не попался скакун?

Земляк. А каков он из себя?

У т ю г о в. Да так, знаете, вот такой, с таким вот лицом.

Земляк. Он скакал на карандаше?

У т ю г о в. Ну да-да-да, это он и есть! Ах, зачем вы его не задержали! Ему прямая дорога в ГПУ. Он... Я лучше умолчу. Хотя нет, я должен сказать. Понимаете? я должен это выговорить. Он, этот скакун, может сорвать небо.

Земляк. Небо? Ха-ха-ха! и! е! м. м. м. Фо-фо-фо! Гы-гы-гы. Небо сорвать! А? Сорвать небо! Фо-фо-фо! Это невозможно. Небо, гы-гы-гы, не сорвать. У неба сторож, который день и ночь глядит на небо. Вот он! Громоотвод. Кто посмеет сорвать небо, того сторож проткнет. Понимаете?

У т ю г о в. А что это вы держите под мышкой?

Земляк. Это птичка. Я словил ее в заоблачных высотах.

У т ю г о в. Пойдите, да ведь это кусок неба! Караул! Бап боп батурай! Ребята, держи его!

На зов Утюгова бежали уже Николай Иванович и Аменхотеп. Ибис в руках Николая Ивановича почувствовал облегчение, что никто не рассматривает его устройство под хвостом, и наслаждался ощущением передвижения в пространстве, так как Николай Иванович бежал довольно быстро. Ибис сощурил глаза и жадно глотал встречный воздух.

— Что случилось? Где! Почему?! — кричал Николай Иванович.

— Да вот, — кричал Утюгов, — этот гражданин спер кусок неба и уверяет, что несет птицу.

— Где птица? Что птица? — суетился Николай Иванович. — Вот птица! — кричал он, тыча ибиса в лицо Утюгова.

Земляк же стоял у стены, крепко схватив руками Лебеда и ища глазами, куда бы скрыться.

— Разрешите, — сказал Аменхотеп. — Я все сейчас сделаю. Где вор? Вот ведь время-то. А? Только и слышишь, что там скандал, тут продуктов не додали, там папирос нет... Я, знаете ли, на Лахту ездил, так там дачники сидят в лесу, и прямо сказать стыдно, что там делается. Сплошной разврат.

— Кокен, фокен, зокен, мокен! — не унимался Утюгов. — Что нам делать с вором? Давайте его приклеим к стене. Клей есть?

— А что с ним долго церемониться, — сказал проходящий мимо столяр-сезонник, похлебывая на ходу одеколонец. — Таких бить надо.

— Бей! Бей! Бап боп батурай! — крикнул Утюгов.

Аменхотеп и Николай Иванович двинулись на Земляка.

В л а с т ь

Клох прох манхалуа.

Опустить агам к ногам!

Покой. Останавливается свет. Все, кто спал, просыпаются. Между прочим, просыпается советский чиновник Подхелуков.

Подхелуков смотрит в окно. На улице дудит в рожок продавец керосина.

Подхелуков. Невозможно спать. В этом году нашествие клопов. Погляди, как бока накусили.

Жена Подхелукова (*быстро сосчитав, сколько у нее во рту зубов, говорит со свистом*). Мне уики — сии — ли — ао.

Подхелуков. Почему же тебе весело?

Жена Подхелукова (*обнимая Аменхотепа*). Вот мой любовник!

Подхелуков. Фу, какая мерзость! Он в одних только трусиках... (*Подумав.*) И весь потный.

Аменхотеп испуганно глядит на Подхелукова и прикрывает ладошками грудь.

В л а с т ь

Фы а фара. Фо.

(Берет Земляка за руку и уходит с ним на ледник.)

На леднике, на леднике
морел сидит в переднике.

Каха ваха.

Власть говорит: мсан клих дидубей.

Земляк поет: я вижу сон.

Власть говорит: ганглау чех.

Земляк поет: но сон цветок.

Власть говорит: сворми твокуц.

Земляк поет: теперь я сплю.

Власть говорит: опусти агам к ногам.

Земляк лепечет: лили бай.

Рабинович, тот, который лежал под кроватями, который не мыл ног, который насиловал чужих жец,— открывает корзинку и кладет туда ребенка. Ребенок тотчас же засыпает и из его головы растет цветок

Кухи вика.

Опять глаза покрыл фисок и глина
мы снова спим и видим сны большого млина

17 августа 1930

* * *

1. Однажды Андрей Васильевич шел по улице и потерял часы. Вскоре после этого он умер. Его отец, горбатый, пожилой человек, целую ночь сидел в цилиндре и сжимал левой рукой тросточку с крючковатой ручкой. Разные мысли посещали его голову, в том числе и такая: жизнь — это Кузница.

2. Отец Андрея Васильевича по имени Григорий Антонович, или, вернее, Василий Антонович, обнял Марию Михайловну и назвал ее своей владычицей. Она же молча и с надеждой глядела вперед и вверх. И тут же паршивый горбун Василий Антонович решил уничтожить свой горб.

3. Для этой цели Василий Антонович сел в седло и приехал к профессору Мамаеву. Профессор Мамаев сидел в саду и читал книгу. На все просьбы Василия Антоновича профессор Мамаев отвечал одним словом: «Успеется». Тогда Василий Антонович пошел и лег в хирургическое отделение.

4. Началась операция. Но кончилась она неудачно, потому что одна сестра милосердия закрыла свое лицо клетчатой тряпочкой и ничего не видела и не могла подавать нужных инструментов. А фельдшер завязал себе рот и нос, и ему нечем было дышать, и к концу операции он задохнулся и запертво упал на пол. Но самое неприятное — это то, что профессор Мамаев второпях забыл снять с пациента простыню и отрезал ему вместо горба что-то другое — кажется, затылок. А горб только потыкал хирургическим инструментом.

5. Придя домой, Василий Антонович до тех пор не мог успокоиться, пока в дом не ворвались испанцы и не отрубили затылок кухарке Андрюшке.

6. Успокоившись, Василий Антонович пошел к другому доктору, и тот быстро обрезал ему горб.

7. Потом все пошло очень просто. Мария Михайловна развелась с Василием Антоновичем и вышла замуж за Бубнова.

8. Бубнов не любил своей новой жены. Как только она уходила из дома, Бубнов покупал себе новую шляпу и все время здоровался со своей соседкой Анной Моисеевной. Но вдруг у Анны Моисеевны сломался один зуб, и она от боли широко открыла рот. Бубнов задумался о своей биографии.

9. Отец Бубнова, по имени Фы, полюбил мать Бубнова, по имени Хню. Однажды Хню сидела на плите и собирала грибы, которые росли около нее. Но он неожиданно сказал так:

— Хню, я хочу, чтобы у нас родился Бубнов.

Хню спросила:

— Бубнов? Да, да?

— Точно так, ваше сиятельство, — ответил Фы.

10. Хню и Фы сели рядом и стали думать о разных смешных вещах и очень долго смеялись.

11. Наконец у Хню родился Бубнов.

⟨1931⟩

* * *

Едет трамвай. В трамвае едут 8 пассажиров. Трое сидят: двое справа и один слева. А пятеро стоят и держатся за кожаные вешалки: двое стоят справа, а трое слева. Сидящие группы смотрят друг на друга, а стоящие стоят друг к другу спиной. Сбоку на скамейке стоит кондукторша. Она маленького роста, и если бы она стояла на полу, ей бы не достать сигнальной веревки. Трамвай едет, и все качаются.

В окнах проплывают Биржевой мост, Нева и сундук. Трамвай останавливается, все падают вперед и хором произносят: «Сукин сын!»

Кондукторша кричит: «Марсово поле!»

В трамвай входит новый пассажир и громко говорит: «Продвиньтесь, пожалуйста!» Все стоят молча и неподвижно. «Продвиньтесь, пожалуйста!» — кричит новый пассажир. «Пройдите вперед: впереди свободно!» — кричит кондукторша. Впереди стоящий пассажир басом говорит, не поворачивая головы и продолжая глядеть в окно: «А куда тут продвинешься — что ли на тот свет?»

Новый пассажир: «Разрешите пройти».

Стоящие пассажиры лезут на колени сидящим, и новый пассажир проходит по свободному трамваю до середины, где и останавливается. Остальные пассажиры опять занимают прежнее положение. Новый пассажир лезет в карман, достает кошелек, вынимает деньги и просит пассажиров передать деньги кондукторше. Кондукторша берет деньги и возвращает обратно билет.

⟨1930⟩

О ЯВЛЕНИЯХ И СУЩЕСТВОВАНИЯХ

№ 1

Художник Микель Анжело садится на груды кирпичей и, подперев голову руками, начинает думать. Вот проходит мимо петух и смотрит на художника Микеля Анжело своими круглыми, золотистыми глазами. Смотрит и не мигает. Тут художник Микель Анжело поднимает голову и видит петуха. Петух не отводит глаз, не мигает и не двигает хвостом. Художник Микель Анжело опускает глаза и замечает, что глаза что-то щиплет. Художник Микель Анжело трет глаза руками. А петух не стоит уж больше, не стоит, а уходит, уходит за сарай, за сарай на птичий двор, на птичий двор к своим курам.

И художник Микель Анжело поднимается с груды кирпичей, отряхает со штанов красную кирпичную пыль, бросает в сторону ремешок и идет к своей жене.

А жена у художника Микеля Анжело длинная-длинная, длиной в две комнаты.

По дороге художник Микель Анжело встречает Комарова, хватает его за руку и кричит: «Смотри!»

Комаров смотрит и видит шар.

«Что это?» — шепчет Комаров.

А с неба грохочет: «Это шар».

«Какой такой шар?» — шепчет Комаров.

А с неба грохот: «Шар гладкоповерхностный!»

Комаров и художник Микель Анжело садятся в траву, и сидят они в траве, как грибы. Они держат друг друга за руки и смотрят на небо. А на небе вырисовывается огромная ложка. Что же это такое? Никто этого не знает. Люди бегут и застревают в своих домах. И двери запирают, и окна. Но разве это поможет? Куда там! Не поможет это.

Я помню, как в 1884 году показалась на небе обыкновенная комета величиной с пароход. Очень было страшно. А тут — ложка! Куда комете до такого явления.

Запирать окна и двери!

Разве это может помочь? Против небесного явления доской не загородишься.

У нас в доме живет Николай Иванович Ступин, у него теория, что все — дым. А по-моему, не все дым. Может, и дыма-то никакого нет. Ничего, может быть, нет. Есть одно только разделение. А может быть, и разделения-то никакого нет. Трудно сказать.

Говорят, один знаменитый художник рассматривал петуха. Рассматривал, рассматривал и пришел к убеждению, что петуха не существует.

Художник сказал об этом своему приятелю, а приятель давай смеяться. Как же, говорит, не существует, когда, говорит, он вот тут вот стоит и я, говорит, его отчетливо наблюдаю.

А великий художник опустил тогда голову и как стоял, так и сел на груды кирпичей.

всё

18 сентября 1934

О ЯВЛЕНИЯХ И СУЩЕСТВОВАНИЯХ

№ 2

Вот бутылка с водкой, так называемый спиртуоз. А рядом вы видите Николая Ивановича Серпухова.

Вот из бутылки поднимаются спиртуозные пары. Поглядите, как дышит носом Николай Иванович Серпухов. Поглядите, как он облизывается и как он щурится. Видно, ему это очень приятно, и главным образом потому, что спиртуоз.

Но обратите внимание на то, что за спиной Николая Ивановича нет ничего. Не то чтобы там не стоял шкаф, или комод, или вообще что-нибудь такое, — а совсем ничего нет, даже воздуха нет. Хотите верьте, хотите не верьте, но за спиной Николая Ивановича нет даже безвоздушного пространства, или, как говорится, мирового эфира. Откровенно говоря, ничего нет.

Этого, конечно, и вообразить себе невозможно.

Но на это нам плевать, нас интересует только спиртуоз и Николай Иванович Серпухов.

Вот Николай Иванович берет рукой бутылку со спиртуозом и подносит ее к своему носу. Николай Иванович нюхает и двигает ртом, как кролик.

Теперь пришло время сказать, что не только за спиной Николая Ивановича, но впереди — так сказать, перед грудью — и вообще кругом нет ничего. Полное отсутствие всякого существования, или, как острили когда-то, отсутствие всякого присутствия.

Однако давайте интересоваться только спиртуозом и Николаем Ивановичем.

Представьте себе, Николай Иванович заглядывает вовнутрь бутылки со спиртуозом, потом подносит ее к губам, запрокидывает бутылку доньшком вверх и выпивает, представьте себе, весь спиртуоз.

Вот ловко! Николай Иванович выпил спиртуоз и хлопал глазами. Вот ловко! Как это он!

А мы теперь должны сказать вот что: собственно говоря, не только за спиной Николая Ивановича или спереди и вокруг только, а также и внутри Николая Ивановича ничего не было, ничего не существовало.

Оно, конечно, могло быть так, как мы только что сказали, а сам Николай Иванович мог при этом восхитительно существовать. Это, конечно, верно. Но, откровенно говоря, вся штука в том, что Николай Иванович не существовал и не существует. Вот в чем штука-то.

Вы спросите: а как же бутылка со спиртуозом? Особенно куда вот делся спиртуоз, если его выпил несуществующий Николай Иванович? Бутылка, скажем, осталась. А где же спиртуоз? Только что был, а вдруг его и нет. Ведь Николай Иванович не существует, говорите вы. Вот как же это так?

Тут мы и сами теряемся в догадках.

А впрочем, что же это мы говорим? Ведь мы сказали, что как внутри, так и снаружи Николая Ивановича ничего не существует. А раз ни внутри, ни снаружи ничего не существует, то, значит, и бутылки не существует. Так ведь?

Но, с другой стороны, обратите внимание на следующее: если мы говорим, что ничего не существует ни изнутри, ни снаружи, то является вопрос: изнутри и снаружи чего? Что-то, видно, все же существует? А может, и не существует. Тогда для чего же мы говорим «изнутри» и «снаружи»?

Нет, тут явно тупик. И мы сами не знаем, что сказать. До свидания.

Теперь я расскажу, как я родился, как я рос и как обнаружили во мне первые признаки гения. Я родился дважды. Произошло это вот как.

Мой папа женился на моей маме в 1902 году, но меня мои родители произвели на свет только в конце 1905-го, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился обязательно на Новый год. Папа рассчитал, что зачатие должно произойти 1 апреля, и только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка.

Первый раз папа подъехал к моей маме 1 апреля 1903 года. Мама давно ждала этого момента и страшно обрадовалась. Но папа, как видно, был в очень шутовском настроении и не удержался и сказал маме: «С первым апреля!»

Мама страшно обиделась и в этот день не подпустила папу к себе. Пришлось ждать до следующего года.

В 1904 году 1 апреля папа начал опять подъезжать к маме с тем же предложением. Но мама, помня прошлогодний случай, сказала, что теперь она уже больше не желает оставаться в глупом положении, и опять не подпустила к себе папу. Сколько папа ни бушевал, ничего не помогало.

И только год спустя удалось моему папе уломать мою маму и зачать меня.

Итак, мое зачатие произошло 1 апреля 1905 года.

Однако все папины расчеты рухнули, потому что я оказался недоноском и родился на четыре месяца раньше срока.

Папа так разбушевался, что акушерка, принимавшая меня, растерялась и начала запихивать меня обратно, откуда я только что вылез.

Присутствовавший при этом один наш знакомый студент Военно-медицинской академии заявил, что запихать меня обратно не удастся. Однако, несмотря на слова студента, меня все же запихать-то запихали, да второпях не туда.

Тут началась страшная суматоха.

Родительница кричит: «Подавайте мне моего ребенка!» А ей отвечают: «Ваш, — говорят, — ребенок находится внутри вас». — «Как! — кричит родительница. — Как ребенок внутри меня, когда я его только что родила!» — «Но, — говорят родительнице, — может быть, вы ошибаетесь?» — «Как, — кричит родительница»

ца, — ошибаюсь! Разве я могу ошибаться! Я сама видела, что ребенок только что вот тут лежал на простыне!» — «Это верно, — говорят родительнице, — но, может быть, он куда-нибудь заполз». Одним словом, и сами не знают, что сказать родительнице.

А родительница шумит и требует своего ребенка.

Пришлось звать опытного доктора. Опытный доктор осмотрел родительницу и руками развел, однако все же сообразил и дал родительнице хорошую порцию английской соли. Родительницу пронесло, и таким образом я вторично вышел на свет.

Тут опять папа разбушевался, дескать, это, мол, еще нельзя назвать рождением, что это, мол, еще не человек, а скорее наполовину зародыш и что его следует либо обратно запихать, либо посадить в инкубатор.

И вот посадили меня в инкубатор.

25 сентября 1935

ИНКУБАТОРНЫЙ ПЕРИОД

В инкубаторе я просидел четыре месяца. Помню только, что инкубатор был стеклянный, прозрачный и с градусником. Я сидел внутри инкубатора на вате. Больше я ничего не помню.

Через четыре месяца меня вынули из инкубатора. Это сделали как раз 1 января 1906 года.

Таким образом, я как бы родился в третий раз.

Днем моего рождения стали считать именно 1 января.

1935

〈Я РЕШИЛ РАСТРЕПАТЬ ОДНУ КОМПАНИЮ...〉

1

Однажды я пришел в Госиздат и встретил в Госиздате Евгения Львовича Шварца, который, как всегда, был одет плохо, но с претензией на что-то.

Увидя меня, Шварц начал острить, тоже, как всегда, неудачно.

Я острил значительно удачнее и скоро в умственном отношении положил Шварца на обе лопатки.

Все вокруг завидовали моему остроумию, но никаких мер не предпринимали, так как буквально дошли от смеха. В особенности же дошли от смеха Нина Владимировна Гернет и Давид Ефимыч Рахмилович, для благозвучия называющий себя Южиным.

Видя, что со мной шутки плохи, Шварц начал сбавлять свой тон и наконец, обложив меня просто матом, заявил, что в Тифлисе Заболоцкого знают все, а меня почти никто.

Тут я обозлился и сказал, что я более историчен, чем Шварц и Заболоцкий, что от меня останется в истории светлое пятно, а они быстро забудутся.

Почувствовав мое величие и крупное мировое значение, Шварц постепенно затрепетал и пригласил меня к себе на обед.

2

Я решил растрепать одну компанию, что и делаю.

Начну с Валентины Ефимовны. Эта нехозяйственная особа приглашает нас к себе и вместо еды подает к столу какую-то кислятину. Я люблю поесть и знаю толк в еде. Меня кислятиной не проведешь! Я даже в ресторан другой раз захожу и смотрю, какая там еда. И терпеть не могу, когда с этой особенностью моего характера не считаются.

Теперь перехожу к Леониду Савельевичу Липавскому. Он не постеснялся сказать мне в лицо, что ежемесячно сочиняет десять мыслей.

Во-первых, врет. Сочиняет не десять, а меньше.

А во-вторых, я больше сочиняю. Я не считал, сколько я сочиняю в месяц, но, должно быть, больше, чем он...

Я вот, например, не тычу всем в глаза, что я обладаю, мол, колоссальным умом. У меня есть все данные считать себя великим человеком. Да, впрочем, я себя таким и считаю.

Потому-то мне и обидно, и больно находиться среди людей, ниже меня поставленных по уму, и прозорливости, и таланту, и не чувствовать к себе вполне должного уважения.

Почему, почему я лучше всех?

Теперь я все понял: Леонид Савельевич — немец. У него даже есть немецкие привычки. Посмотрите, как он ест. Ну чистый немец, да и только! Даже по ногам видно, что он немец.

Не хвастаясь, могу сказать, что я очень наблюдательный и остроумный.

Вот, например, если взять Леонида Савельева, Юрия Берзина и Вольфа Эрлиха и поставить их вместе на панели, то можно сказать: мал мала меньше.

По-моему, это остроумно, потому что в меру смешно.

И все-таки Леонид Савельевич — немец! Обязательно при встрече скажу ему это.

Я не считаю себя особенно умным человеком, и все-таки должен сказать, что я умнее всех. Может быть, на Марсе есть и умнее меня, но на земле не знаю.

Вот, говорят, Олейников очень умный. А по-моему, он умный, да не очень. Он открыл, например, что если написать «6» и перевернуть, то получится «9». А по-моему, это неумно.

Леонид Савельевич совершенно прав, когда говорит, что ум человека — это его достоинство. А если ума нет, значит, и достоинства нет.

Яков Семенович возражает Леониду Савельевичу и говорит, что ум человека — это его слабость. А по-моему, это уже парадокс. Почему же ум это слабость? Вовсе нет! Скорее крепость. Я так думаю.

Мы часто собираемся у Леонида Савельевича и говорим об этом. Если поднимается спор, то победителем спора всегда остаюсь я. Сам не знаю почему.

На меня почему-то все глядят с удивлением. Что бы я ни сделал, все находят, что это удивительно.

А ведь я даже и не стараюсь. Все само собою получается.

Заболоцкий как-то сказал, что мне присуще управлять сферами. Должно быть, пошутил. У меня и в мыслях ничего подобного не было.

В Союзе писателей меня считают почему-то ангелом.

Послушайте, друзья! Нельзя же в самом деле передо мной так преклоняться. Я такой же, как и вы все, только лучше.

Я слышал такое выражение: «Лови момент!»

Легко сказать, но трудно сделать. По-моему, это выражение бессмысленное. И действительно, нельзя призывать к невозможному.

Говорю я это с полной уверенностью, потому что сам на себе все испытал. Я ловил момент, но не поймал и только сломал часы. Теперь я знаю, что это невозможно.

Так же невозможно «ловить эпоху», потому что это такой же момент, только побольше.

Другое дело, если сказать: «Запечатлейте то, что происходит в этот момент». Это совсем другое дело.

Вот например: раз, два, три! Ничего не произошло! Вот я запечатлел момент, в который ничего не произошло.

Я сказал об этом Заболоцкому. Тому это очень понравилось, и он целый день сидел и считал: раз, два, три! И отмечал, что ничего не произошло.

За таким занятием застал Заболоцкого Шварц. И Шварц тоже заинтересовался этим оригинальным способом запечатлеть то, что происходит в нашу эпоху, потому что ведь из моментов складывается эпоха.

Но прошу обратить внимание, что родоначальником этого метода опять являюсь я. Опять я! Всюду я! Просто удивительно!

То, что другим дается с трудом, мне дается с легкостью!

Я даже летать умею. Но об этом рассказывать не буду, потому что все равно никто не поверит.

Когда два человека играют в шахматы, мне всегда кажется, что один другого околпачивает. Особенно если они играют на деньги.

Вообще, мне противна всякая игра на деньги. Я запрещаю играть в своем присутствии.

А картежников я бы казнил. Это самый правильный метод борьбы с азартными играми.

Вместо того чтобы играть в карты, лучше бы собрались да почитали бы друг другу морали.

А впрочем, морали — скучно. Интереснее ухаживать за женщинами.

Женщины меня интересовали всегда. Меня всегда волновали женские ножки, в особенности выше колен.

Многие считают женщин порочными существами. А я нисколько! Наоборот, даже считаю их чем-то очень приятными.

Полненькая, молоденькая женщина! Чем же она порочна? Совсе не порочна!

Вот другое дело дети. О них говорят, что они невинны. А я считаю, что они, может быть, и невинны, да только уж больно омерзительны, в особенности когда пляшут. Я всегда ухожу отсюда, где есть дети.

И Леонид Савельевич не любит детей. Это я внушил ему такие мысли.

Вообще все, что говорит Леонид Савельевич, уже когда-нибудь раньше говорил я.

Да и не только Леонид Савельевич.

Всякий рад подхватить хотя бы обрывки моих мыслей. Мне это даже смешно.

Например, вчера прибежал ко мне Олейников и говорит, что совершенно запутался в вопросах жизни. Я дал ему кое-какие советы и отпустил. Он ушел ошарашенный мною и в наилучшем своем настроении.

Люди видят во мне поддержку, повторяют мои слова, удивляются моим поступкам, а денег мне не платят.

Глупые люди! Несите мне побольше денег, и вы увидите, как я буду этим доволен.

6

Теперь я скажу несколько слов об Александре Ивановиче.

Это болтун и азартный игрок. Но за что я его ценю, так это за то, что он мне покорен.

Днями и ночами дежурит он передо мной и только и ждет с моей стороны намек на какое-нибудь приказание. Стоит мне подать этот намек, и Александр Иванович летит как ветер исполнять мою волю.

За это я купил ему туфли и сказал: «На, носи!» Вот он их и носит.

Когда Александр Иванович приходит в Госиздат, то все смеются и говорят между собой, что Александр Иванович пришел за деньгами.

Константин Игнатьевич Дровацкий прячется под стол. Это я говорю в аллегорическом смысле.

Больше всего Александр Иванович любит макароны. Ест он их всегда с толчеными сухарями, съедает почти что целое кило, а может быть, и гораздо больше.

Съев макароны, Александр Иванович говорит, что его тошнит, и ложится на диван. Иногда макароны выходят обратно.

Мясо Александр Иванович не ест и женщин не любит. Хотя иногда любит. Кажется, даже очень часто.

Но женщины, которых любит Александр Иванович, на мой вкус все некрасивые, а потому будем считать, что это даже и не женщины.

Если я что-нибудь говорю, значит, это правильно.

Спорить со мной никому не советую, все равно он останется в дураках, потому что я всякого переспорю.

Да и не вам тягаться со мною. Еще и не такие пробовали. Всех уложил! Даром, что с виду и говорить-то не умею, а как заведу, так и не остановишь.

Как-то раз завел у Липавских и пошел! Всех до смерти заговорил!

Потом пошел к Заболоцким и там всех заговорил. Потом пошел к Шварцам и там всех заговорил. Потом домой пришел и дома еще полночи говорил!

<1930-е гг.>

* * *

Иван Яковлевич Бобов проснулся в самом приятном настроении духа. Он выглянул из-под одеяла и сразу же увидел потолок. Потолок был украшен большим серым пятном с зеленоватыми краями. Если смотреть на пятно пристально, одним глазом, то пятно становилось похоже на носорога, запряженного в тачку, хотя другие находили, что оно больше походит на трамвай, на котором верхом сидит великан, — а впрочем, в этом пятне можно было усмотреть очертания даже какого-то города. Иван Яковлевич посмотрел на потолок, но не в то место, где было пятно, а так, неизвестно куда; при этом он улыбнулся и сощурил глаза. Потом он вытаращил глаза и так высоко поднял брови, что лоб сложился, как гармошка, и чуть совсем не исчез, если бы Иван Яковлевич не сощурил глаза опять, и вдруг, будто устыдившись чего-

то, натянул одеяло себе на голову. Он сделал это так быстро, что из-под другого конца одеяла выставились голые ноги Ивана Яковлевича, и сейчас же на большой палец левой ноги села муха. Иван Яковлевич подвигал этим пальцем, и муха перелетела и села на пятку. Тогда Иван Яковлевич схватил одеяло обеими ногами, одной ногой он подцепил одеяло снизу, а другую ногу он вывернул и прижал ею одеяло сверху, и таким образом стянул одеяло со своей головы. «Шиш», — сказал Иван Яковлевич и надул щеки. Обыкновенно, когда Ивану Яковлевичу что-нибудь удавалось или, наоборот, совсем не выходило, Иван Яковлевич всегда говорил «шиш» — разумеется, не громко и вовсе не для того, чтобы кто-нибудь это слышал, а так, про себя, самому себе. И вот, сказав «шиш», Иван Яковлевич сел на кровать и протянул руку к стулу, на котором лежали его брюки, рубашка и прочее белье. Брюки Иван Яковлевич любил носить полосатые. Но раз действительно нигде нельзя было достать полосатых брюк. Иван Яковлевич и в «Ленинградодежде» был, и в Универмаге, и в Пассаже, и в Гостином дворе, и на Петроградской стороне обошел все магазины. Даже куда-то на Охту съездил, но нигде полосатых брюк не нашел. А старые брюки Ивана Яковлевича износились уже настолько, что одеть их стало невозможно. Иван Яковлевич зашивал их несколько раз, но наконец и это перестало помогать. Иван Яковлевич опять обошел все магазины и, опять не найдя нигде полосатых брюк, решил наконец купить клетчатые. Но и клетчатых брюк нигде не оказалось. Тогда Иван Яковлевич решил купить себе серые брюки, но и серых нигде не нашел. Не нашлись нигде и черные брюки, годные на рост Ивана Яковлевича. Тогда Иван Яковлевич пошел покупать синие брюки, но, пока он искал черные, пропали всюду и синие и коричневые. И вот наконец Ивану Яковлевичу пришлось купить зеленые брюки с желтыми крапинками. В магазине Ивану Яковлевичу показалось, что брюки не очень уж яркого цвета и желтая крапинка вовсе не режет глаз. Но, придя домой, Иван Яковлевич обнаружил, что одна штанина и точно будто благородного оттенка, но зато другая просто бирюзовая и желтая крапинка так и горит на ней. Иван Яковлевич попробовал вывернуть брюки на другую сторону, но там обе половины имели тягостные перейти в желтый цвет с зелеными горошинами и имели такой веселый вид, что, кажись, вынеси такие

штаны на эстраду после сеанса кинематографа, и ничего больше не надо: публика полчаса будет смеяться. Два дня Иван Яковлевич не решался надеть новые брюки, но когда старые разодрались так, что издали можно было видеть, что и кальсоны Ивана Яковлевича требуют починки, пришлось надеть новые брюки. Первый раз в новых брюках Иван Яковлевич вышел очень осторожно. Выйдя из подъезда, он посмотрел раньше в обе стороны и, убедившись, что никого поблизости нет, вышел на улицу и быстро зашагал по направлению к своей службе. Первым повстречался яблочный торговец с большой корзиной на голове. Он ничего не сказал, увидя Ивана Яковлевича, и только когда Иван Яковлевич прошел мимо, остановился, и так как корзина не позволила повернуть голову, то яблочный торговец повернулся весь сам и посмотрел вслед Ивану Яковлевичу — может быть, покачал бы головой, если бы опять-таки не все та же корзина. Иван Яковлевич бодро шел вперед, считая свою встречу с торговцем хорошим предзнаменованием. Он не видал маневра торговца и утешал себя, что брюки не так уж бросаются в глаза. Теперь навстречу Ивану Яковлевичу шел такой же служащий, как и он, с портфелем под мышкой. Служащий шел быстро, зря по сторонам не смотрел, а больше смотрел себе под ноги. Поравнявшись с Иваном Яковлевичем, служащий скользнул взглядом по брюкам Ивана Яковлевича и остановился. Иван Яковлевич остановился тоже. Служащий смотрел на Ивана Яковлевича, а Иван Яковлевич на служащего.

— Простите, — сказал служащий, — вы не можете сказать мне, как пройти в сторону этого... государственного... биржи?

— Это вам надо идти по мостовой... по мосту... нет, вам надо идти так, а потом так, — сказал Иван Яковлевич.

Служащий сказал спасибо и быстро ушел, а Иван Яковлевич сделал несколько шагов вперед, но, увидев, что теперь навстречу ему идет не служащий, а служащая, опустил голову и перебежал на другую сторону улицы. На службу Иван Яковлевич пришел с опозданием и очень злой. Сослуживцы Ивана Яковлевича, конечно, обратили внимание на зеленые брюки со штанинами разного оттенка, но, видно, догадались, что это — причина злости Ивана Яковлевича, и расспросами его не беспокоили. Две недели мучился Иван Яковлевич,

ходя в зеленых брюках, пока один из его сослуживцев, Аполлон Максимович Шилов, не предложил Ивану Яковлевичу купить полосатые брюки самого Аполлона Максимовича, будто бы не нужные Аполлону Максимовичу.

⟨1934—1937⟩

РЫЦАРЬ

Алексей Алексеевич Алексеев был настоящим рыцарем. Так, например, однажды, увидя из трамвая, как одна дама запнулась о тумбу и выронила из кошелки стеклянный колпак для настольной лампы, который тут же и разбился, Алексей Алексеевич, желая помочь этой даме, решил пожертвовать собой и, выскочив из трамвая на полном ходу, упал и раскроил себе о камень всю рожу. В другой раз, видя, как одна дама, перелезая через забор, зацепилась юбкой за гвоздь и застряла так, что, сидя верхом на заборе, не могла двинуться ни взад ни вперед, Алексей Алексеевич начал так волноваться, что от волнения выдавил себе языком два передних зуба. Одним словом, Алексей Алексеевич был самым настоящим рыцарем, да и не только по отношению к дамам. С небывалой легкостью Алексей Алексеевич мог пожертвовать своей жизнью за Веру, Царя и Отечество, что и доказал в 14-м году, в начале германской войны, с криком «За Родину!» выбросившись на улицу из окна третьего этажа. Каким-то чудом Алексей Алексеевич остался жив, отделавшись только несерьезными ушибами, и вскоре, как столь редкостно ревностный патриот, был отослан на фронт.

На фронте Алексей Алексеевич отличался небывало возвышенными чувствами и всякий раз, когда произносил слова «стяг», «фанфара» или даже просто «эполеты», по лицу его бежала слеза умиления.

В 16-м году Алексей Алексеевич был ранен в чресла и удален с фронта.

Как инвалид I категории Алексей Алексеевич не служил и, пользуясь свободным временем, излагал на бумаге свои патриотические чувства.

Однажды, беседуя с Константином Лебедевым, Алексей Алексеевич сказал свою любимую фразу: «Я постра-

дал за Родину и разбил свои чресла, но существую силой убеждения своего заднего подсознания».

— И дурак! — сказал ему Константин Лебедев. — Наивысшую услугу родине окажет только ЛИБЕРАЛ.

Почему-то эти слова глубоко запали в душу Алексея Алексеевича, и вот в 17-м году он уже называет себя *либералом, чреслами своими пострадавшим за отчизну*.

Революцию Алексей Алексеевич воспринял с восторгом, несмотря даже на то, что был лишен пенсии. Некоторое время Константин Лебедев снабжал его тростниковым сахаром, шоколадом, консервированным салом и пшенной крупой. Но когда Константин Лебедев вдруг неизвестно куда пропал, Алексею Алексеевичу пришлось выйти на улицу и просить подаяния. Сначала Алексей Алексеевич протягивал руку и говорил: «Подайте, Христа ради, чреслами своими пострадавшему за родину». Но это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич заменил слово «родину» словом «революцию». Но и это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич сочинил революционную песню и, завидя на улице человека, способного, по мнению Алексея Алексеевича, подать милостыню, делал шаг вперед и, гордо, с достоинством, откинув назад голову, начинал петь:

На баррикады
мы все пойдем!
За свободу
мы все покалечимся и умрем!

И лихо, по-польски притопнув каблуком, Алексей Алексеевич протягивал шляпу и говорил: «Подайте милостыню, Христа ради». Это помогало, и Алексей Алексеевич редко оставался без пищи.

Все шло хорошо, но вот в 22-м году Алексей Алексеевич познакомился с неким Иваном Ивановичем Пузыревым, торговавшим на Сенном рынке подсолнечным маслом. Пузырев пригласил Алексея Алексеевича в кафе, угостил его настоящим кофеем и сам, чавкая пирожными, изложил ему какое-то сложное предприятие, из которого Алексей Алексеевич понял только, что и ему надо что-то делать, за что и будет получать от Пузырева ценнейшие продукты питания. Алексей Алексеевич согласился, и Пузырев тут же, в виде поощрения, передал ему под столом два цибика чая и пачку папирос «Раджа».

С этого дня Алексей Алексеевич каждое утро приходил на рынок к Пузыреву и, получив от него какие-то бумаги с кривыми подписями и бесчисленными печатями, брал саночки, если это происходило зимой, или, если это происходило летом, — тачку и отправлялся по указанию Пузырева по разным учреждениям, где, предъявив бумаги, получал какие-то ящики, которые грузил на свои саночки или тележку и вечером отвозил их Пузыреву на квартиру. Но однажды, когда Алексей Алексеевич подкатил свои саночки к пузыревской квартире, к нему подошли два человека, из которых один был в военной шинели, и спросили его: «Ваша фамилия — Алексеев?» Потом Алексея Алексеевича посадили в автомобиль и увезли в тюрьму.

На допросах Алексей Алексеевич ничего не понимал и все только говорил, что он пострадал за революционную родину. Но, несмотря на это, был приговорен к десяти годам ссылки в северные части своего отечества. Вернувшись в 28-м году обратно в Ленинград, Алексей Алексеевич занялся своим прежним ремеслом и, встав на углу пр. Володарского, закинул с достоинством голову, притопнул каблуком и запел:

На баррикады
мы все пойдем!
За свободу
мы все покалечимся и умрем!

Но не успел он пропеть это и два раза, как был увезен в крытой машине куда-то по направлению к Адмиралтейству. Только его и видели.

Вот краткая повесть жизни доблестного рыцаря и патриота Алексея Алексеевича Алексева.

⟨1934—1936⟩

ПРАЗДНИК

На крыше одного дома сидели два чертежника и ели гречневую кашу.

Вдруг один из чертежников радостно вскрикнул и достал из кармана длинный носовой платок. Ему пришла в голову блестящая идея — завязать в кончик

платка двадцатикопеечную монетку и швырнуть это все с крыши вниз на улицу и посмотреть, что из этого получится.

Второй чертежник, быстро уловив идею первого, доел гречневую кашу, высморкался и, облизав себе пальцы, принялся наблюдать за первым чертежником.

Однако внимание обоих чертежников было отвлечено от опыта с платком и двадцатикопеечной монеткой. На крыше, где сидели оба чертежника, произошло событие, не могущее быть незамеченным.

Дворник Ибрагим приколачивал к трубе длинную палку с выцветшим флагом.

Чертежники спросили Ибрагима, что это значит, на что Ибрагим отвечал: «Это значит, что в городе праздник». — «А какой же праздник, Ибрагим?» — спросили чертежники.

«А праздник такой, что наш любимый поэт сочинил новую поэму», — сказал Ибрагим.

И чертежники, устыженные своим незнанием, растворились в воздухе.

9 января 1935

СУДЬБА ЖЕНЫ ПРОФЕССОРА

Однажды один профессор съел чего-то, да не то, и его начало рвать.

Пришла его жена и говорит: «Ты чего?» А профессор говорит: «Ничего». Жена обратно ушла.

Профессор лег на диван, полежал, отдохнул и на службу пошел.

А на службе ему сюрприз: жалованье скостили — вместо 650 руб. всего только 500 оставили. Профессор туда-сюда — ничего не помогает. Профессор к директору, а директор его в шею. Профессор к бухгалтеру, а бухгалтер говорит: «Обратитесь к директору». Профессор сел на поезд и поехал в Москву.

По дороге профессор схватил грипп. Приехал в Москву, а на платформу вылезти не может.

Положили профессора на носилки и отнесли в больницу.

Пролежал профессор в больнице не более четырех дней и умер.

Тело профессора сожгли в крематории, пепел положили в баночку и послали его жене.

Вот жена профессора сидит и кофе пьет. Вдруг звонок. Что такое? «Вам посылка».

Жена обрадовалась, улыбается во весь рот, почтальону полтинник в руку сует и скорее посылку распечатывает.

Смотрит, а в посылке баночка с пеплом и записка: «Вот все, что осталось от Вашего супруга».

Жена ничего понять не может, трясет баночку, на свет ее смотрит, записку шесть раз прочитала — наконец сообразила, в чем дело, и страшно расстроилась.

Жена профессора очень расстроилась, поплакала часа три и пошла баночку с пеплом хоронить. Завернула она баночку в газету и отнесла в сад имени 1-й Пятилетки, бывший Таврический.

Выбрала жена профессора аллею поглуше и только хотела баночку в землю зарыть — вдруг идет сторож.

— Эй! — кричит сторож. — Ты чего тут делаешь?

Жена профессора испугалась и говорит:

— Да вот, хотела лягушек в баночку наловить.

— Ну, — говорит сторож, — это ничего, только смотри, по траве ходить воспрещается.

Когда сторож ушел, жена профессора зарыла баночку в землю, ногой вокруг притоптала и пошла по саду погулять.

А в саду к ней какой-то матрос пристал. Пойдем да пойдем, говорит, спать. Она говорит: «Зачем же днем спать?» А он опять свое: спать да спать.

И действительно, захотелось профессорше спать.

Идет она по улицам, а ей спать хочется. Вокруг люди бегают, какие-то синие да зеленые, — а ей все спать хочется.

Идет она и спит. И видит сон, будто идет к ней навстречу Лев Толстой и в руках ночной горшок держит. Она его спрашивает: «Что же это такое?» А он показывает ей пальцем на горшок и говорит: «Вот, — говорит, — тут я кое-что наделал и теперь несу всему свету показывать. Пусть, — говорит, — все смотрят».

Стала профессорша тоже смотреть и видит, будто это уже не Толстой, а сарай, а в сарае сидит курица. Стала профессорша курицу ловить, а курица забила под диван и оттуда уже кроликом выглядывает.

Ползла профессорша за кроликом под диван и проснулась.

Проснулась, смотрит: действительно, лежит она под диваном.

Вылезла профессорша из-под дивана, видит — комната ее собственная. А вот и стол стоит с недопитым кофе. На столе записка лежит: «Вот все, что осталось от Вашего супруга».

Всплакнула профессорша еще раз и села холодный кофе допивать.

Вдруг звонок. Что такое? Входят какие-то люди и говорят: «Поедемте».

— Куда? — спрашивает профессорша.

— В сумасшедший дом, — отвечают люди.

Профессорша начала кричать и упираться, но люди схватили ее и отвезли в сумасшедший дом.

И вот сидит совершенно нормальная профессорша на койке в сумасшедшем доме, держит в руках удочку и ловит на полу каких-то невидимых рыбок.

Эта профессорша только жалкий пример того, как много в жизни несчастных, которые занимают в жизни не то место, которое им занимать следовало.

21 августа 1936

КАССИРША

Нашла Маша гриб, сорвала его и понесла на рынок. На рынке Машу ударили по голове да еще обещали ударить и по ногам. Испугалась Маша и побежала прочь.

Прибежала Маша в кооператив и хотела там за кассу спрятаться. А заведующий увидел Машу и говорит: «Что это у тебя в руках?» А Маша говорит: «Гриб». Заведующий говорит: «Ишь какая бойкая! Хочешь, я тебя на место устрою?» Маша говорит: «А не устроишь». Заведующий говорит: «А вот устрою!» И устроил Машу кассу вертеть.

Маша вертела, вертела кассу и вдруг умерла. Пришла милиция, составила протокол и велела заведующему заплатить штраф — 15 рублей.

Заведующий говорит: «За что же штраф?» А милиция говорит: «За убийство». Заведующий испугался, заплатил поскорее штраф и говорит: «Унесите только поскорее эту мертвую кассиршу». А продавец из фрук-

того отдела говорит: «Нет, это неправда, она была не кассирша. Она только ручку в кассе вертела. А кассирша вон сидит». Милиция говорит: «Нам все равно. Сказано унести кассиршу, мы ее и унесем».

Стала милиция к кассирше подходить. Кассирша легла на пол за кассу и говорит: «Не пойду». Милиция говорит: «Почему же ты, дура, не пойдешь?» Кассирша говорит: «Вы меня живой похороните».

Милиция стала кассиршу с пола поднимать, но никак поднять не может, потому что кассирша очень полная.

— Да вы ее за ноги,— говорит продавец из фруктового отдела.

— Нет,— говорит заведующий,— эта кассирша мне вместо жены служит. А потому прошу вас, не оголяйте ее снизу.

Кассирша говорит: «Вы слышите? Не смейте меня снизу оголять».

Милиция взяла кассиршу под мышки и волоком выперла ее из кооператива.

Заведующий велел продавцам прибрать магазин и начать торговлю.

— А что мы будем делать с этой покойницей? — говорит продавец из фруктового отдела, показывая на Машу.

— Батюшки,— говорит заведующий,— да ведь мы все перепутали! Ну действительно, что с покойницей делать?

— А кто за кассой сидеть будет? — спрашивает продавец. Заведующий за голову руками схватился. Раскидал коленом яблоки по прилавку и говорит:

— Безобразия получилось.

— Безобразия,— говорят хором продавцы.

Вдруг заведующий почесал усы и говорит:

— Хе-хе! Не так-то легко меня в тупик поставить! Посадим покойницу за кассу, может, публика и не разберет, кто за кассой сидит.

Посадили покойницу за кассу, в зубы ей папироску вставили, чтобы она на живую больше походила, а в руки для правдоподобности дали ей гриб держать.

Сидит покойница за кассой, как живая, только цвет лица очень зеленый, и один глаз открыт, а другой совершенно закрыт.

— Ничего,— говорит заведующий,— сойдет.

А публика уже в двери стучит, волнуется: почему кооператив не открывают? Особенно одна хозяйка в шел-

ковом манто раскричалась: трясет кошелкой и каблуком уже в дверную ручку нацелилась. А за хозяйкой какая-то старушка с наволочкой на голове кричит, ругается и заведующего кооперативом называет сквалыжником.

Заведующий открыл двери и впустил публику. Публика побежала сразу в мясной отдел, а потом туда, где продается сахар и перец. А старушка прямо в рыбный отдел пошла, но по дороге взглянула на кассиршу и остановилась.

— Господи,— говорит,— с нами крестная сила!

А хозяйка в шелковом манто уже во всех отделах побывала и несется прямо к кассе. Но только на кассиршу взглянула, сразу остановилась, стоит молча и смотрит. А продавцы тоже молчат и смотрят на заведующего. А заведующий из-за прилавка выглядывает и ждет, что дальше будет.

Хозяйка в шелковом манто повернулась к продавцам и говорит:

— Это кто у вас за кассой сидит?

А продавцы молчат, потому что не знают, что ответить.

Заведующий тоже молчит.

А тут народ со всех сторон сбегается. Уже на улице толпа. Появились дворники. Раздались свистки. Одним словом, настоящий скандал.

Толпа готова была хоть до самого вечера стоять около кооператива. Но кто-то сказал, что в Озерном переулке из окна старухи вываливаются. Тогда толпа возле кооператива поредела, потому что многие перешли в Озерный переулок.

31 августа 1936

ГРЯЗНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Сенька стукнул Федьку по морде и спрятался под комод.

Федька достал кочергой Сеньку из-под комода и оторвал ему правое ухо.

Сенька вывернулся из рук Федьки и с оторванным ухом в руках побежал к соседям.

Но Федька догнал Сеньку и двинул его сахарницей по голове.

Сенька упал и, кажется, умер.

Тогда Федька уложил вещи в чемодан и уехал во Владивосток.

Во Владивостоке Федька стал портным: собственно говоря, он стал не совсем портным, потому что шил только дамское белье, преимущественно панталоны и бюстгальтеры. Дамы не стеснялись Федьки, прямо при нем поднимали свои юбки, и Федька снимал с них мерку.

Федька, что называется, насмотрелся видов.

Федька — грязная личность.

Федька — убийца Сеньки.

Федька — сладострастник.

Федька — обжора, потому что он каждый вечер съедал по двенадцать котлет. У Федьки вырос такой живот; что он сделал себе корсет и стал его носить.

Федька — бессовестный человек: он отнимал на улице у встречных детей деньги, он подставлял старичкам подножку и пугал старух, занося над ними руку, а когда испуганная старуха шарахалась в сторону, Федька делал вид, что поднял руку только для того, чтобы почесать себе голову.

Кончилось тем, что к Федьке подошел Николай, стукнул его по морде и спрятался под шкаф.

Федька достал Николая из-под шкапа кочергой и разорвал ему рот.

Николай с разорванным ртом побежал к соседям, но Федька догнал его и ударил его пивной кружкой. Николай упал и умер.

А Федька собрал свои вещи и уехал из Владивостока.

21 ноября 1937

ШАПКА

Отвечает один другому: «Не видал я их». — «Как же ты их не видал, — говорит другой, — когда сам же на них шапки надевал?» — «А вот, — говорит один, — шапки на

них надевал, а их не видел». — «Да возможно ли это?» — говорит другой, с длинными усами. «Да, — говорит первый, — возможно», — и улыбается синим ртом. Тогда другой, который с длинными усами, пристаёт к синеротому, чтобы тот объяснил ему, как это так возможно — шапки на людей надеть, а самих людей не заметить. А синеротый отказывается объяснять усатому, и качает своей головой, и усмехается своим синим ртом.

— Ах ты дьявол ты этакий, — говорит ему усатый. — Морочишь ты меня, старика! Отвечай мне и не не заворачивай мне мозги: видел ты их или не видел?

Усмехнулся еще раз другой, который синеротый, и вдруг исчез, только одна шапка осталась в воздухе висеть.

— Ах, так вот кто ты такой! — сказал усатый старик и протянул руку за шапкой, а шапка в сторону. Старик за шапкой, а шапка от него, не дается в руки старику. Летит шапка по Некрасовской улице, мимо булочной, мимо бань. Из пивной народ выбегает, на шапку с удивлением смотрит и обратно в пивную уходит. А старик бежит за шапкой, руки вперед вытянул, рот открыл; глаза у старика остекленели, усы болтаются, а волосы перьями торчат во все стороны.

Добежал старик до Литейной, а там ему наперерез уж милиционер бежит и еще какой-то гражданин в сером костюмчике. Схватили они безумного старика и повели его куда-то.

А шапка повернула направо и полетела на направлении к Неве.

Один человек ее видел на углу Пантелеймоновской, а уж на углу Фурштатской ее никто не видел.

21 июля 1938

КАРЬЕРА ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА АНТОНОВА

Это случилось еще до революции.

Одна купчиха зевнула, а к ней в рот залетела кукушка.

Купец прибежал на зов своей супруги и, моментально сообразив, в чем дело, поступил самым остроумным способом.

С тех пор он стал известен всему населению города, и его выбрали в сенат.

Но прослужив года четыре в сенате, несчастный купец однажды вечером зевнул, и ему в рот залетела кукушка.

На зов своего мужа прибежала купчиха и поступила самым остроумным способом.

Слава об ее находчивости распространилась по всей губернии, и купчиху повезли в столицу показать митрополиту.

Выслушивая длинный рассказ купчихи, митрополит зевнул, и ему в рот залетела кукушка.

На громкий зов митрополита прибежал Иван Яковлевич Григорьев и поступил самым остроумным способом.

За это Ивана Яковлевича Григорьева переименовали в Ивана Яковлевича Антонова и представили царю.

И вот теперь становится ясным, каким образом Иван Яковлевич Антонов сделал себе карьеру.

8 января 1935

ПАССАКАЛИЯ № 1

Тихая вода покачивалась у моих ног.

Я смотрел в темную воду и видел небо.

Тут, на этом самом месте, Лигудин скажет мне формулу построения несуществующих предметов.

Я буду ждать до пяти часов, и, если Лигудин за это время не покажется среди тех деревьев, я уйду. Мое ожидание становится обидным. Вот уже два с половиной часа стою я тут, и тихая вода покачивается у моих ног.

Я сунул в воду палку, и вдруг под водой кто-то схватил мою палку и дернул. Я выпустил палку из рук, и деревянная палка ушла под воду с такой быстротой, что даже свистнула.

Растерянный и испуганный, стоял я около воды.

Лигудин пришел ровно в пять. Это было ровно в пять, потому что на том берегу промчался поезд: ежедневно, ровно в пять, он пролетает мимо того домика.

Лигудин спросил меня, почему я так бледен. Я сказал. Прошло четыре минуты, в течение которых Лигудин

смотрел в темную воду. Потом он сказал: «Это не имеет формулы. Такими вещами можно пугать детей, но для нас это не интересно. Мы не собиратели фантастических сюжетов. Нашему сердцу милы только бессмысленные поступки. Народное творчество и Гофман противны нам. Частокол стоит между нами и подобными загадочными случаями».

Лигудин повертел головой во все стороны и, пяясь, вышел из поля моего зрения.

10 ноября 1937

ТЕТРАДЬ

Мне дали пощечину.

Я сидел у окна. Вдруг на улице что-то свистнуло. Я высунул на улицу из окна и получил пощечину. Я спрятался обратно в дом. И вот теперь на моей щеке горит, как раньше говорили, несмываемый позор. Такую боль обиды я испытал раньше один только раз. Это было так. Одна прекрасная дама, незаконная дочь короля, подарила мне роскошную тетрадь. Это был для меня настоящий праздник, так хороша была тетрадь! Я сразу сел и начал писать туда стихи. Но когда эта дама, незаконная дочь короля, увидела, что я пишу в эту тетрадь черновики, она сказала: «Если бы знала я, что вы сюда будете писать свои бездарные черновики, никогда бы не подарила я вам этой тетради. Я ведь думала, что эта тетрадь вам послужит для списывания туда умных и полезных фраз, вычитанных вами из различных книг».

Я вырвал из тетради записанные мной листки и вернул тетрадь даме.

И вот теперь, когда мне дали пощечину через окно, я ощутил знакомое мне чувство. Это было то же чувство, какое я испытал, когда вернул прекрасной даме ее роскошную тетрадь.

12 октября 1938

НОВАЯ АНАТОМИЯ

У одной маленькой девочки на носу выросли две голубые ленты. Случай особенно редкий, ибо на одной ленте было написано «Марс», а на другой — «Юпитер».

1935

НОВЫЕ АЛЬПИНИСТЫ

Бибиков залез на гору, задумался и свалился под гору. Чеченцы подняли Бибикова и опять поставили его на гору. Бибиков поблагодарил чеченцев и опять свалился под откос. Только его и видели.

Теперь на гору залез Аугенапфель, посмотрел в бинокль и увидел всадника.

— Эй! — закричал Аугенапфель, — где тут поблизости духан?

Всадник скрылся за горой, потом показался возле кустов, потом скрылся за кустами, потом показался в долине, потом скрылся под горой, потом показался на склоне горы и подъехал к Аугенапфелю.

— Где тут поблизости духан? — спросил Аугенапфель.

Всадник показал себе на уши и на рот.

— Ты что, глухонемой? — спросил Аугенапфель.

Всадник почесал затылок и показал себе на живот.

— Что такое? — спросил Аугенапфель.

Всадник вынул из кармана деревянное яблоко и раскусил его пополам.

Тут Аугенапфелю стало не по себе, и он начал пятиться.

А всадник снял с ноги сапог да как крикнет:

— Халгаллай!

Аугенапфель скакнул куда-то вбок и свалился под откос.

В это время Бибиков, вторично свалившийся под откос еще раньше Аугенапфеля, пришел в себя и начал подниматься на четвереньки. Вдруг чувствует, на него сверху кто-то падает. Бибиков отполз в сторону, посмотрел оттуда и видит: лежит какой-то гражданин в клетчатых брюках. Бибиков сел на камушек и стал ждать.

А гражданин в клетчатых брюках полежал, не дви-

гаясь, часа четыре, а потом поднял голову и спрашивает неизвестно кого:

— Это чей духан?

— Какой там духан! Это не духан, — отвечает Бибигов.

— А вы кто такой? — спрашивает человек в клетчатых брюках.

— Я альпинист Бибигов. А вы кто?

— А я альпинист Аугенапфель.

Таким образом Бибигов и Аугенапфель познакомились друг с другом.

1—2 сентября 1936

НОВЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ПИСАТЕЛЬ

Андрей Андреевич придумал такой рассказ.

В одном старинном замке жил принц, страшный пьяница. А жена этого принца, наоборот, не пила даже чаю, только воду и молоко пила. А муж ее пил водку и вино, а молока не пил. Да и жена его, собственно говоря, тоже водку пила, но скрывала это. А муж был бесстыдник и не скрывал. «Не пью молока, а водку пью!» — говорил он всегда. А жена тихонько, из-под фартука, вынимала баночку и хлоп, значит, выпивала. Муж ее, принц, говорит: «Ты бы и мне дала». А жена, принцесса, говорит: «Нет, самой мало. Хю!» — «Ах ты, — говорит принц, — ледя!» И с этими словами хватъ жену об пол! Жена себе всю харю расшибла, лежит на полу и плачет. А принц в мантию завернулся и ушел к себе на башню, там у него клетки стояли. Он, видите ли, там кур разводил. Вот пришел принц на башню, а там куры кричат, пищи требуют. Одна курица даже ржать начала. «Ну ты, — говорит ей принц, — шантоклер! Молчи, пока по зубам не попало!» Курица слов не понимает и продолжает ржать. Выходит, значит, что курица на башне шумит, принц, значит, матерно ругается, жена внизу на полу лежит — одним словом, настоящий содом.

Вот какой рассказ выдумал Андрей Андреевич. Уже по этому рассказу можно судить, что Андрей Андреевич крупный талант. Андрей Андреевич очень умный человек. Очень умный и очень хороший!

12 и 30 октября 1938

ОТЕЦ И ДОЧЬ

Было у Наташи две конфеты. Потом она одну конфету съела, и осталась одна конфета. Наташа положила конфету перед собой на стол и заплакала.

Вдруг смотрит — лежат перед ней на столе опять две конфеты.

Наташа съела одну конфету и опять заплакала.

Наташа плачет, а сама одним глазом на стол смотрит, не появилась ли вторая конфета. Но вторая конфета не появилась.

Наташа перестала плакать и начала петь. Пела, пела и вдруг умерла.

Пришел Наташин папа, взял Наташу и отнес ее к управдому.

— Вот, — говорит Наташин папа, — засвидетельствуйте смерть.

Управдом подул на печать и приложил ее к Наташину лбу.

— Спасибо, — сказал Наташин папа и понес Наташу на кладбище.

А на кладбище был сторож Матвей, он всегда сидел у ворот и никого на кладбище не пускал, так что покойников приходилось хоронить прямо на улице.

Похоронил папа Наташу на улице, снял шапку, положил ее на то место, где зарыл Наташу, и пошел домой.

Пришел домой, а Наташа уже дома сидит. Как так? Да очень просто: вылезла из-под земли и домой прибежала.

Вот так штука! Папа так растерялся, что упал и умер.

Позвала Наташа управдома и говорит:

— Засвидетельствуйте смерть.

Управдом подул на печать и приложил ее к листику бумаги, а потом на этом же листике бумаги написал: «Сим удостоверяется, что такой-то действительно умер».

Взяла Наташа бумажку и понесла ее на кладбище хоронить. А сторож Матвей говорит Наташе:

— Ни за что не пуцу.

Наташа говорит:

— Мне бы только эту бумажку похоронить.

А сторож говорит:

— Лучше и не проси.

Зарыла Наташа бумажку на улице, положила на то место, где зарыла бумажку, свои носочки и пошла домой.

Приходит домой, а папа уже дома сидит и сам с собой на маленьком бильярдике с металлическими шариками играет.

Наташа удивилась, но ничего не сказала и пошла к себе в комнату расти.

Росла, росла и через четыре года стала взрослой барышней. А Наташин папа состарился и согнулся. Но оба как вспомнят, как они друг друга за покойников приняли, так повалятся на диван и смеются. Другой раз минут двадцать смеются.

А соседи как услышат смех, так сразу одеваются и в кинематограф уходят. А один раз ушли так и больше уже не вернулись. Кажется, под автомобиль попали.

1 сентября 1936

* * *

Одному французу подарили диван, четыре стула и кресло.

Сел француз на стул у окна, а самому хочется на диване полежать.

Лег француз на диван, а ему уже на кресле посидеть хочется.

Встал француз с дивана и сел на кресло, как король, а у самого мысли в голове уже такие, что на кресле-то больно пышно. Лучше попроще, на стуле.

Пересел француз на стул у окна, да только не сидится француз на этом стуле, потому что в окно как-то дует.

Француз пересел на стул возле печки и почувствовал, что он устал.

Тогда француз решил лечь на диван и отдохнуть, но, не дойдя до дивана, свернул в сторону и сел на кресло.

— Вот где хорошо! — сказал француз, но сейчас же прибавил: — А на диване-то, пожалуй, лучше.

СЛУЧАИ

*Посвящаю
Марине Владимировне Малич*

〈1〉 ГОЛУБАЯ ТЕТРАДЬ № 10

Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно.

Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было.

У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было! Так что непонятно, о ком идет речь.

Уж лучше мы о нем не будем больше говорить.

〈1937〉

〈2〉 СЛУЧАИ

Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причесываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом в руках и сошел с ума. А Перехрестов получил телеграфом четыреста рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы.

Хорошие люди — и не умеют поставить себя на твердую ногу.

〈1933〉

⟨3⟩ ВЫВАЛИВАЮЩИЕСЯ СТАРУХИ

Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась.

Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась.

Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая.

Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.

⟨4⟩ СОНЕТ

Удивительный случай случился со мной: я вдруг позабыл, что идет раньше, 7 или 8.

Я отправился к соседям и спросил их, что они думают по этому поводу.

Каково же было их и мое удивление, когда они вдруг обнаружили, что тоже не могут вспомнить порядок счета. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 помнят, а дальше забыли.

Мы все пошли в коммерческий магазин «Гастроном», что на углу Знаменской и Бассейной улицы, и спросили кассиршу о нашем недоумении. Кассирша грустно улыбнулась, вынула изо рта маленький молоточек и, слегка подвигав носом, сказала: «По-моему, семь идет после восьми в том случае, когда восемь идет после семи».

Мы поблагодарили кассиршу и с радостью выбежали из магазина. Но тут, вдумываясь в слова кассирши, мы опять приуныли, так как ее слова показались нам лишними всякого смысла.

Что нам было делать? Мы пошли в Летний сад и стали там считать деревья. Но, дойдя в счете до 6-ти, мы остановились и начали спорить: по мнению одних, дальше следовало 7, а по мнению других — 8.

Мы спорили бы очень долго, но, по счастью, тут со скамейки свалился какой-то ребенок и сломал себе обе челюсти. Это отвлекло нас от нашего спора.

А потом мы разошлись по домам.

⟨1935⟩

〈5〉 ПЕТРОВ И КАМАРОВ

Петров
Эй, Камаров!
Давай ловить комаров!
Камаров
Нет, я к этому еще не готов;
Давай лучше ловить котов!

〈6〉 ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН

Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.

Семен Семенович, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не сидит.

Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.

Семен Семенович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит.

Семен Семенович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.

Семен Семенович не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом.

〈1934〉

〈7〉 ПУШКИН И ГОГОЛЬ

Гоголь падает из-за кулис на сцену и смиренно лежит.

Пушкин (*выходит, спотыкается об Гоголя и падает*). Вот черт! Никак об Гоголя!

Гоголь (*поднимаясь*). Мерзопакость какая! Отдохнуть не дадут. (*Идет, спотыкается об Пушкина и падает*.) Никак об Пушкина спотыкнулся!

Пушкин (*поднимаясь*). Ни минуты покоя! (*Идет, спотыкается об Гоголя и падает*.) Вот черт! Никак опять об Гоголя!

Гоголь (*поднимаясь*). Вечно во всем помеха! (*Идет, спотыкается об Пушкина и падает.*) Вот мерзопакость! Опять об Пушкина!

Пушкин (*поднимаясь*). Хулиганство! Сплошное хулиганство! (*Идет, спотыкается об Гоголя и падает.*) Вот черт! Опять об Гоголя!

Гоголь (*поднимаясь*). Это издевательство сплошное! (*Идет, спотыкается об Пушкина и падает.*) Опять об Пушкина!

Пушкин (*поднимаясь*). Вот черт! Истинно, что черт! (*Идет, спотыкается об Гоголя и падает.*) Об Гоголя!

Гоголь (*поднимаясь*). Мерзопакость! (*Идет, спотыкается об Пушкина и падает.*) Об Пушкина!

Пушкин (*поднимаясь*). Вот черт! (*Идет, спотыкается об Гоголя и падает за кулисы.*) Об Гоголя!

Гоголь (*поднимаясь*). Мерзопакость! (*Уходит за кулисы.*)

За сценой слышен голос Гоголя: «Об Пушкина!»

З а н а в е с

⟨1934⟩

⟨8⟩ СТОЛЯР КУШАКОВ

Жил-был столяр. Звали его Кушаков.

Однажды вышел он из дома и пошел в лавочку купить столярного клея.

Была оттепель, и на улице было очень скользко.

Столяр прошел несколько шагов, поскользнулся, упал и расшиб себе лоб.

— Эх! — сказал столяр, встал, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил себе лоб.

Но когда он вышел на улицу и сделал несколько шагов, он опять поскользнулся, упал и расшиб себе нос.

— Фу! — сказал столяр, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил пластырем себе нос.

Потом он опять вышел на улицу, опять поскользнулся, упал и расшиб себе щеку.

Пришлось опять пойти в аптеку и заклеить пластырем щеку.

— Вот что, — сказал столяру аптекарь, — вы так часто падаете и расшибаетесь, что я советую вам купить пластырей несколько штук.

— Нет,— сказал столяр,— больше не упаду!

Но когда он вышел на улицу, то опять поскользнулся, упал и расшиб себе подбородок.

— Паршивая гололедица! — закричал столяр и опять побежал в аптеку.

— Ну вот видите,— сказал аптекарь.— Вот вы опять упали.

— Нет! — закричал столяр.— Ничего слышать не хочу! Давайте скорее пластырь!

Аптекарь дал пластырь; столяр заклеил себе подбородок и побежал домой.

А дома его не узнали и не пустили в квартиру.

— Я столяр Кушаков! — кричал столяр.

— Рассказывай! — отвечали из квартиры и заперли дверь на крюк и на цепочку.

Столяр Кушаков постоял на лестнице, плюнул и пошел на улицу.

⟨9⟩ СУНДУК

Человек с тонкой шеей забрался в сундук, закрыл за собой крышку и начал задыхаться.

— Вот,— говорил, задыхаясь, человек с тонкой шеей,— я задыхаюсь в сундуке, потому что у меня тонкая шея. Крышка сундука закрыта и не пускает ко мне воздуха. Я буду задыхаться, но крышку сундука все равно не открою. Постепенно я буду умирать. Я увижу борьбу жизни и смерти. Бой произойдет неестественный, при равных шансах, потому что естественно побеждает смерть, а жизнь, обреченная на смерть, только тщетно борется с врагом, до последней минуты не теряя напрасной надежды. В этой же борьбе, которая произойдет сейчас, жизнь будет знать способ своей победы: для этого жизни надо заставить мои руки открыть крышку сундука. Посмотрим: кто кого? Только вот ужасно пахнет нафталином. Если победит жизнь, я буду вещи в сундуке пересыпать махоркой... Вот началось: я больше не могу дышать. Я погиб, это ясно! Мне уже нет спасения! И ничего возвышенного нет в моей голове. Я задыхаюсь!..

Ой! что же это такое? Сейчас что-то произошло, но я не могу понять, что именно. Я что-то видел или что-то слышал!..

Ой! опять что-то произошло! Боже мой! Мне нечем дышать. Я, кажется, умираю...

А это еще что такое? Почему я пою? Кажется, у меня болит шея... Но где же сундук? Почему я вижу все, что находится у меня в комнате? Да никак я лежу на полу! А где же сундук?

Человек с тонкой шеей поднялся с пола и посмотрел кругом. Сундука нигде не было. На стульях и на кровати лежали вещи, вынутые из сундука, а сундука нигде не было.

Человек с тонкой шеей сказал:

— Значит, жизнь победила смерть неизвестным для меня способом.

<10> СЛУЧАЙ С ПЕТРАКОВЫМ

Вот однажды Петраков хотел спать лечь, да лег мимо кровати. Так он об пол ударился, что лежит на полу и встать не может.

Вот Петраков собрал последние силы и встал на четвереньки. А силы его покинули, и он опять упал на живот и лежит.

Лежал Петраков на полу часов пять. Сначала просто так лежал, а потом заснул.

Сон подкрепил силы Петракова. Он проснулся совершенно здоровым, встал, прошелся по комнате и лег осторожно на кровать. «Ну,— думает,— теперь посплю». А спать-то уже и не хочется. Ворочаются Петраков с боку на бок и никак заснуть не может.

Вот, собственно, и все.

<11> ИСТОРИЯ ДЕРУЩИХСЯ

Алексей Алексеевич подмял под себя Андрея Карловича и, набив ему морду, отпустил его.

Андрей Карлович, бледный от бешенства, кинулся на Алексея Алексеевича и ударил его по зубам.

Алексей Алексеевич, не ожидая такого быстрого нападения, повалился на пол, а Андрей Карлович сел

на него верхом, вынул у себя изо рта вставную челюсть и так обработал ею Алексея Алексеевича, что Алексей Алексеевич поднялся с полу с совершенно искалеченным лицом и рваной ноздрей. Держась руками за лицо, Алексей Алексеевич убежал.

А Андрей Карлович протер свою вставную челюсть, вставил ее себе в рот, пощелкал зубами и, убедившись, что челюсть приплась на место, осмотрелся вокруг и, не видя Алексея Алексеевича, пошел его разыскивать.

⟨1936⟩

⟨12⟩ СОН

Калугин заснул и увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер.

Калугин проснулся, почесал рот и опять заснул, и опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах притаился и сидит милиционер.

Калугин проснулся, положил под голову газету, чтобы не мочить слюнями подушку, и опять заснул, и опять увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер.

Калугин проснулся, переменял газету, лег и заснул опять. Заснул и опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах сидит милиционер.

Тут Калугин проснулся и решил больше не спать, но моментально заснул и увидел сон, будто он сидит за милиционером, а мимо проходят кусты.

Калугин закричал и заметался в кровати, но проснуться уже не мог.

Калугин спал четыре дня и четыре ночи подряд и на пятый день проснулся таким тощим, что сапоги пришлось подвязывать к ногам веревочкой, чтобы они не сваливались. В булочной, где Калугин всегда покупал пшеничный хлеб, его не узнали и подсунули ему полуржаной.

А санитарная комиссия, ходя по квартирам и увидя Калугина, нашла его антисанитарным и никуда не годным и приказала жакту выкинуть Калугина вместе с сором.

Калугина сложили пополам и выкинули его как сор.

〈13〉 МАТЕМАТИК И АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ

М а т е м а т и к *(вынимая из головы шар)*

Я вынул из головы шар.
Я вынул из головы шар.
Я вынул из головы шар.
Я вынул из головы шар.

А н д р е й С е м е н о в и ч

Положь его обратно.
Положь его обратно.
Положь его обратно.
Положь его обратно.

М а т е м а т и к

Нет, не положу!
Нет, не положу!
Нет, не положу!
Нет, не положу!

А н д р е й С е м е н о в и ч

Ну и не клади.
Ну и не клади.
Ну и не клади.

М а т е м а т и к

Вот и не положу!
Вот и не положу!
Вот и не положу!

А н д р е й С е м е н о в и ч

Ну и ладно.
Ну и ладно.
Ну и ладно.

М а т е м а т и к

Вот я и победил!
Вот я и победил!
Вот я и победил!

А н д р е й С е м е н о в и ч. Ну победил и успокойся!

М а т е м а т и к

Нет, не успокоюсь!
Нет, не успокоюсь!
Нет, не успокоюсь!

А н д р е й С е м е н о в и ч. Хоть ты и математик, а, честное слово, ты не умен.

М а т е м а т и к

Нет, умен и знаю очень много!
Нет, умен и знаю очень много!
Нет, умен и знаю очень много!

А н д р е й С е м е н о в и ч. Много, да только все ерунду.

М а т е м а т и к

Нет, не ерунду!
Нет, не ерунду!
Нет, не ерунду!

А н д р е й С е м е н о в и ч. Надоело мне с тобой препираться!

М а т е м а т и к

Нет, не надоело!
Нет, не надоело!
Нет, не надоело!

Андрей Семенович досадливо машет рукой и уходит. **Математик**, постояв минуту, уходит вслед за Андреем Семеновичем.

З а н а в е с

<1933>

<14> МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, УДИВИВШИЙ СТОРОЖА

— Ишь ты! — сказал сторож, рассматривая муху. — Ведь если помазать ее столярным клеем, то ей, пожалуй, и конец придет. Вот ведь история! От простого клея!

— Эй ты, леший! — окрикнул сторожа молодой человек в желтых перчатках.

Сторож сразу же понял, что это обращаются к нему, но продолжал смотреть на муху.

— Не тебе, что ли, говорят? — крикнул опять молодой человек. — Скотина!

Сторож раздавил муху пальцем и, не поворачивая головы к молодому человеку, сказал:

— А ты чего, срамник, орешь-то? Я и так слышу. Нечего орать-то!

Молодой человек почистил перчатками свои брюки и деликатным голосом спросил:

— Скажите, дедушка, как тут пройти на небо?

Сторож посмотрел на молодого человека, прищурил один глаз, потом прищурил другой, потом почесал себе бородку, еще раз посмотрел на молодого человека и сказал:

— Ну, нечего тут задерживаться, проходите мимо.

— Извините, — сказал молодой человек, — ведь я по срочному делу. Там для меня уже и комната приготовлена.

— Ладно, — сказал сторож, — покажи билет.

— Билет не у меня; они говорили, что меня и так пропустят, — сказал молодой человек, заглядывая в лицо сторожу.

— Ишь ты! — сказал сторож.

— Так как же? — спросил молодой человек. — Пропустите?

— Ладно, ладно, — сказал сторож. — Идите.

— А как пройти-то? Куда? — спросил молодой человек. — Ведь я и дороги-то не знаю.

— Вам куда нужно? — спросил сторож, делая строгое лицо.

Молодой человек прикрыл рот ладонью и очень тихо сказал:

— На небо!

Сторож наклонился вперед, подвинул правую ногу, чтобы встать потверже, пристально посмотрел на молодого человека и сурово спросил:

— Ты чего? Ваньку валяешь?

Молодой человек улыбнулся, поднял руку в желтой перчатке, помахал ею над головой и вдруг исчез.

Сторож понюхал воздух. В воздухе пахло жжеными перьями.

— Ишь ты! — сказал сторож, распахнул куртку, почесал себе живот, плюнул в то место, где стоял молодой человек, и медленно пошел в свою сторожку.

⟨1936⟩

〈15〉 ЧЕТЫРЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ТОГО, КАК НОВАЯ ИДЕЯ ОГОРАШИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА, К НЕЙ НЕ ПОДГОТОВЛЕННОГО

I

П и с а т е л ь. Я писатель.

Ч и т а т е л ь. А по-моему, ты г...о!

Писатель стоит несколько минут потрясенный этой новой идеей
и падает замертво. Его выносят.

II

Х у д о ж н и к. Я художник.

Р а б о ч и й. А по-моему, ты г...о!

Художник тут же побледнел как полотно,
И как тростинка закачался,
И неожиданно скончался.
Его выносят.

III

К о м п о з и т о р. Я композитор.

В а н я Р у б л е в. А по-моему, ты!

Композитор, тяжело дыша, так и осел. Его неожиданно выносят.

IV

Х и м и к. Я химик.

Ф и з и к. А по-моему, ты!

Химик не сказал больше ни слова и тяжело рухнул на пол.

〈16〉 ПОТЕРИ

Андрей Андреевич Мясов купил на рынке фитиль
и понес его домой.

По дороге Андрей Андреевич потерял фитиль и за-
шел в магазин купить полтораста грамм полтавской

колбасы. Потом Андрей Андреевич зашел в молокосоюз и купил бутылку кефира, потом выпил в ларьке маленькую кружечку хлебного кваса и встал в очередь за газетой. Очередь была довольно длинная, и Андрей Андреевич простоял в очереди не менее двадцати минут, но когда он подходил к газетчику, то газеты перед самым его носом кончились.

Андрей Андреевич потоптался на месте и пошел домой, но по дороге потерял кефир и завернул в булочную, купил французскую булку, но потерял полтавскую колбасу.

Тогда Андрей Андреевич пошел прямо домой, но по дороге упал, потерял французскую булку и сломал свое пенсне.

Домой Андрей Андреевич пришел очень злой и сразу лег спать, но долго не мог заснуть, а когда заснул, то увидел сон: будто он потерял зубную щетку и чистит зубы каким-то подсвечником.

<17> МАКАРОВ И ПЕТЕРСЕН № 3

Макаров. Тут, в этой книге, написано о наших желаниях и об исполнении их. Прочти эту книгу, и ты поймешь, как суетны наши желания. Ты также поймешь, как легко исполнить желание другого и как трудно исполнить желание свое.

Петерсен. Ты что-то заговорил больно торжественно. Так говорят вожди индейцев.

Макаров. Эта книга такова, что говорить о ней надо возвышенно. Даже думая о ней, я снимаю шапку.

Петерсен. А руки моешь, прежде чем коснуться этой книги?

Макаров. Да, и руки надо мыть.

Петерсен. Ты и ноги, на всякий случай, вымыл бы!

Макаров. Это неостроумно и грубо.

Петерсен. Да что же это за книга?

Макаров. Название этой книги таинственно...

Петерсен. Хи-хи-хи!

Макаров. Называется эта книга МАЛГИЛ.

Петерсен исчезает.

Макаров. Господи! Что же это такое? Петерсен!

Голос Петерсена. Что случилось? Макаров! Где я?

Макаров. Где ты? Я тебя не вижу!

Голос Петерсена. А ты где? Я тоже тебя не вижу!.. Что это за шары?

Макаров. Что же делать? Петерсен, ты слышишь меня?

Голос Петерсена. Слышу! Но что такое случилось? И что это за шары?

Макаров. Ты можешь двигаться?

Голос Петерсена. Макаров! Ты видишь эти шары?

Макаров. Какие шары?

Голос Петерсена. Пустите!.. Пустите меня!.. Макаров!..

Тихо. Макаров стоит в ужасе, потом хватает книгу и раскрывает ее.

Макаров (*читает*). «...Постепенно человек теряет свою форму и становится шаром. И, став шаром, человек утрачивает все свои желания».

Занавес

⟨1934⟩

⟨18⟩ СУД ЛИНЧА

Петров садится на коня и говорит, обращаясь к толпе, речь о том, что будет, если на месте, где находится общественный сад, будет построен американский небоскреб. Толпа слушает и, видимо, соглашается. Петров записывает что-то у себя в записной книжечке. Из толпы выделяется человек среднего роста и спрашивает Петрова, что он записал у себя в записной книжечке. Петров отвечает, что это касается только его самого. Человек среднего роста насаждает. Слово за слово, и начинается распря. Толпа принимает сторону человека среднего роста, и Петров, спасая свою жизнь, погоняет коня и скрывается за поворотом. Толпа волнуется и, за неимением другой жертвы, хватается человека сред-

него роста и отрывает ему голову. Оторванная голова катится по мостовой и застревает в люке для водостока. Толпа, удовлетворив свои страсти,— расходится.

〈19〉 ВСТРЕЧА

Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к себе восвояси.

Вот, собственно, и все.

〈20〉 НЕУДАЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

На сцену выходит П е т р а к о в - Г о р б у н о в, хочет что-то сказать, но икает. Его начинает рвать. Он уходит.

Выходит П р и т ы к и н.

П р и т ы к и н. Уважаемый, Петраков-Горбунов должен сооб... *(Его рвет, и он убегает.)*

Выходит М а к а р о в.

М а к а р о в. Егор... *(Макарова рвет. Он убегает.)*

Выходит С е р п у х о в.

С е р п у х о в. Чтобы не быть... *(Его рвет, он убегает.)*

Выходит К у р о в а.

К у р о в а. Я была бы... *(Ее рвет, она убегает.)*

Выходит маленькая девочка.

Маленькая девочка. Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит!

З а н а в е с.

⟨21⟩ ТЮК!

Лето. Письменный стол. Направо дверь. На стене картина. На картине нарисована лошадь, а в зубах у лошади цыган. Ольга Петровна колет дрова. При каждом ударе с носа Ольги Петровны соскакивает пенсне. Евдоким Осипович сидит в креслах и курит.

Ольга Петровна *(ударяет колуном по полену, которое, однако, нисколько не раскалывается)*.

Евдоким Осипович. Тюк!

Ольга Петровна *(надевая пенсне, бьет по полену)*.

Евдоким Осипович. Тюк!

Ольга Петровна *(надевая пенсне, бьет по полену)*.

Евдоким Осипович. Тюк!

Ольга Петровна *(надевая пенсне, бьет по полену)*.

Евдоким Осипович. Тюк!

Ольга Петровна *(надевая пенсне)*. Евдоким Осипович! Я вас прошу: не говорите этого слова «тюк».

Евдоким Осипович. Хорошо, хорошо.

Ольга Петровна *(ударяет колуном по полену)*.

Евдоким Осипович. Тюк!

Ольга Петровна *(надевая пенсне)*. Евдоким Осипович! Вы обещали мне не говорить этого слова «тюк»!

Евдоким Осипович. Хорошо, хорошо, Ольга Петровна! Больше не буду.

Ольга Петровна *(ударяет колуном по полену)*.

Евдоким Осипович. Тюк!

Ольга Петровна *(надевая пенсне)*. Это безобразие! Взрослый, пожилой человек — и не понимает простой человеческой просьбы!

Евдоким Осипович. Ольга Петровна! Вы можете спокойно продолжать вашу работу. Я больше мешать не буду.

Ольга Петровна. Ну, я прошу вас, я очень прошу вас: дайте мне расколоть хотя бы это полено!

Евдоким Осипович. Колите, конечно, колите!

Ольга Петровна (ударяет колуном по полену).
Евдоким Осипович. Тюк!

Ольга Петровна роняет колун, открывает рот, но ничего не может сказать. Евдоким Осипович встает с кресел, оглядывает Ольгу Петровну с головы до ног и медленно уходит. Ольга Петровна стоит неподвижно с открытым ртом и смотрит на удаляющегося Евдокима Осиповича.

Занавес медленно опускается.

⟨22⟩ ЧТО ТЕПЕРЬ ПРОДАЮТ В МАГАЗИНАХ

Коратыгин пришел к Тикакееву и не застал его дома.

А Тикакеев в это время был в магазине и покупал там сахар, мясо и огурцы.

Коратыгин потолкался возле дверей Тикакеева и собрался уже писать записку, вдруг смотрит, идет сам Тикакеев и несет в руках клеенчатую кошелку.

Коратыгин увидел Тикакеева и кричит ему:

— А я вас уже целый час жду!

— Неправда, — говорит Тикакеев, — я всего двадцать пять минут как из дома.

— Ну, уж этого я не знаю, — сказал Коратыгин, — а только я тут уже целый час.

— Не врите! — сказал Тикакеев. — Стыдно врать.

— Милостивейший государь! — сказал Коратыгин. — Потрудитесь выбирать выражения.

— Я считаю... — начал было Тикакеев, но его перебил Коратыгин.

— Если вы считаете... — сказал он, но тут Коратыгина перебил Тикакеев и сказал:

— Сам-то ты хорош!

Эти слова так взбесили Коратыгина, что он зажал пальцем одну ноздрю, а другой ноздрей сморкнулся в Тикакеева.

Тогда Тикакеев выхватил из кошелки самый большой огурец и ударил им Коратыгина по голове.

Коратыгин схватился руками за голову, упал и умер.

Вот какие большие огурцы продают теперь в магазинах!

⟨23⟩ МАШКИН УБИЛ КОШКИНА

Товарищ Кошкин танцевал вокруг товарища Машкина.

Товарищ Машкин следил глазами за товарищем Кошкиным.

Товарищ Кошкин оскорбительно махал руками и противно выворачивал ноги.

Товарищ Машкин нахмурился.

Товарищ Кошкин пошевелил животом и притопнул правой ногой.

Товарищ Машкин вскрикнул и кинулся на товарища Кошкина.

Товарищ Кошкин попробовал убежать, но спотыкнулся и был настигнут товарищем Машкиным.

Товарищ Машкин ударил кулаком по голове товарища Кошкина.

Товарищ Кошкин вскрикнул и упал на четвереньки.

Товарищ Машкин двинул товарища Кошкина ногой под живот и еще раз ударил его кулаком по затылку.

Товарищ Кошкин растянулся на полу и умер.

Машкин убил Кошкина.

⟨24⟩ СОН ДРАЗНИТ ЧЕЛОВЕКА

Марков снял сапоги и, вздохнув, лег на диван.

Ему хотелось спать, но, как только он закрывал глаза, желание спать моментально проходило. Марков открывал глаза и тянулся рукой за книгой. Но сон опять налетал на него, и, не дотянувшись до книги, Марков ложился и снова закрывал глаза. Но лишь только глаза закрывались, сон улетал опять, и сознание становилось таким ясным, что Марков мог в уме решать алгебраические задачи на уравнения с двумя неизвестными.

Долго мучился Марков, не зная, что ему делать: спать или бодрствовать? Наконец, измучившись и возненавидев самого себя и свою комнату, Марков надел пальто и шляпу, взял в руку трость и вышел на улицу. Свежий ветерок успокоил Маркова, ему стало радостнее на душе и захотелось вернуться обратно к себе в комнату.

Войдя в свою комнату, он почувствовал в теле приятную усталость и захотел спать. Но только он лег на диван и закрыл глаза — сон моментально испарился.

С бешенством вскочил Марков с дивана и, без шапки и без пальто, помчался по направлению к Таврическому саду.

〈25〉 ОХОТНИКИ

На охоту поехало шесть человек, а вернулось-то только четыре.

Двое-то не вернулись.

Окнов, Козлов, Стрючков и Мотыльков благополучно вернулись домой, а Широков и Каблуков погибли на охоте.

Окнов целый день ходил потом расстроенный и даже не хотел ни с кем разговаривать. Козлов неотступно ходил следом за Окновым и приставал к нему с различными вопросами, чем и довел Окнова до высшей точки раздражения.

К о з л о в. Хочешь закурить?

О к н о в. Нет.

К о з л о в. Хочешь, я тебе принесу вон ту вон штуку?

О к н о в. Нет.

К о з л о в. Может быть, хочешь, я тебе расскажу что-нибудь смешное?

О к н о в. Нет.

К о з л о в. Ну, хочешь пить? У меня вот тут вот есть чай с коньяком.

О к н о в. Мало того, что я тебя сейчас этим камнем по затылку ударил, я тебе еще оторву ногу.

С т р ю ч к о в и М о т ы л ь к о в. Что вы делаете? Что вы делаете?

К о з л о в. Приподнимите меня с земли.

М о т ы л ь к о в. Ты не волнуйся, рана заживет.

К о з л о в. А где Окнов?

О к н о в (*отрывая Козлову ногу*). Я тут, недалеко!

К о з л о в. Ох, матушки! Спа-па-си!

С т р ю ч к о в и М о т ы л ь к о в. Никак он ему и ногу оторвал!

О к н о в. Оторвал и бросил ее вон туда!

Стрючков. Это злодейство!
 Окнов. Что-о?
 Стрючков. ...ейство...
 Окнов. Ка-а-ак?
 Стрючков. Нь...нь...нь...никак.
 Козлов. Как же я дойду до дома?
 Мотыльков. Не беспокойся, мы тебе приделаем
 деревяшку.
 Стрючков. Ты на одной ноге стоять можешь?
 Козлов. Могу, но не очень-то.
 Стрючков. Ну мы тебя поддержим.
 Окнов. Пустите меня к нему!
 Стрючков. Ой нет, лучше уходи!
 Окнов. Нет, пустите!.. Пустите!.. Пусти... Вот что я
 хотел сделать!
 Стрючков и Мотыльков. Какой ужас!
 Окнов. Ха-ха-ха!
 Мотыльков. А где же Козлов?
 Стрючков. Он уполз в кусты!
 Мотыльков. Козлов, ты тут?
 Козлов. Шаша!
 Мотыльков. Вот ведь до чего дошел!
 Стрючков. Что же с ним делать?
 Мотыльков. А тут уж ничего с ним не поделаешь.
 По-моему, его надо просто удавить. Козлов! А, Козлов?
 Ты меня слышишь?
 Козлов. Ох, слышу, да плохо.
 Мотыльков. Ты, брат, не горюй. Мы сейчас тебя
 удавим. Постой!.. Вот... вот... вот...
 Стрючков. Вот сюда вот еще! Так, так, так! Ну-ка
 еще... Ну, теперь готово!
 Мотыльков. Теперь готово!
 Окнов. Господи благослови!

⟨26⟩ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭПИЗОД

В. Н. Петрову

Иван Иванович Сусанин (то самое историческое лицо, которое положило свою жизнь за царя и впоследствии было воспето оперой Глинки) зашел однажды в русскую харчевню и, сев за стол, потребовал себе антрекот. Пока хозяин харчевни жарил антрекот, Иван

Иванович закусил свою бороду зубами и задумался; такая у него была привычка.

Прошло тридцать пять колов времени, и хозяин принес Ивану Ивановичу антрекот на круглой деревянной дощечке. Иван Иванович был голоден и, по обычаю того времени, схватил антрекот руками и начал его есть. Но, торопясь утолить свой голод, Иван Иванович так жадно набросился на антрекот, что забыл вынуть изо рта свою бороду и съел антрекот с куском своей бороды.

Вот тут-то и произошла неприятность, так как не прошло и пятнадцати колов времени, как в животе у Ивана Ивановича начались сильные рези. Иван Иванович вскочил из-за стола и ринулся на двор. Хозяин крикнул было Ивану Ивановичу: «Зри, како твоя борода клочна». Но Иван Иванович, не обращая ни на что внимания, выбежал во двор.

Тогда боярин Ковшегуб, сидящий в углу харчевни и пьющий сусло, ударил кулаком по столу и вскричал: «Кто есть сей?» А хозяин, низко кланяясь, ответил боярину: «Сие есть наш патриот Иван Иванович Сусанин». — «Во как!» — сказал боярин, допивая свое сусло.

«Не угодно ли рыбки?» — спросил хозяин. «Пошел ты к бую!» — крикнул боярин и пустил в хозяина ковшом. Ковш просвистел возле хозяйской головы, вылетел через окно на двор и хватил по зубам сидящего орлом Ивана Ивановича. Иван Иванович схватился рукой за щеку и повалился на бок.

Тут справа из сарая выбежал Карп и, перепрыгнув через корыто, в котором среди помоев лежала свинья, с криком побежал к воротам. Из харчевни выглянул хозяин. «Чего ты орешь?» — спросил он Карпа. Но Карп, ничего не отвечая, убежал.

Хозяин вышел на двор и увидел Сусанина, лежащего неподвижно на земле. Хозяин подошел поближе и взглянул ему в лицо. Сусанин пристально глядел на хозяина. «Так ты жив?» — спросил хозяин. «Жив, да тилько страшусь, что меня еще чем-нибудь ударят», — сказал Сусанин. «Нет, — сказал хозяин, — не страшись. Это тебя боярин Ковшегуб чуть не убил, а теперь он ушедши». — «Ну слава тебе, Боже! — сказал Иван Сусанин, поднимаясь с земли. — Я человек храбрый, да тилько зря живот покладать не люблю. Вот я приник к земле и ждал: чего дальше будет? Чуть что, я бы на животе до самой Елдыриной слободы бы уполз... Евона как щеку разнесло. Батюшки! Полбороды отхватило!»

— «Это у тебя еще и раньше так было», — сказал хозяин. «Как это так раньше? — вскричал патриот Сусанин. — Что же, по-твоему, я так с клочной бородой ходил?» — «Ходил», — сказал хозяин. «Ах ты, мяфа», — проговорил Иван Сусанин. Хозяин зажмурил глаза и, размахнувшись, со всего маху звезданул Сусанина по уху. Патриот Сусанин рухнул на землю и замер. «Вот тебе! сам ты мяфа!» — сказал хозяин и удалился в харчевню.

Несколько колов времени Сусанин лежал на земле и прислушивался, но, не слыша ничего подозрительного, осторожно приподнял голову и осмотрелся. На дворе никого не было, если не считать свиньи, которая, вывалившись из корыта, валялась теперь в грязной луже. Иван Сусанин, озираясь, подобрался к воротам. Ворота, по счастью, были открыты, и патриот Иван Сусанин, извиваясь по земле как червь, пополз по направлению к Елдыриной слободе.

Вот эпизод из жизни знаменитого исторического лица, которое положило свою жизнь за царя и было впоследствии воспето в опере Глинки.

1939

⟨27⟩ ФЕДЯ ДАВИДОВИЧ

Федя долго подкрадывался к масленке и наконец, уловив момент, когда жена нагнулась, чтобы состричь на ноге ноготь, быстро, одним движением вынул пальцем из масленки все масло и сунул его себе в рот. Закрывая масленку, Федя нечаянно звякнул крышкой. Жена сейчас же выпрямилась и, увидя пустую масленку, указала на нее ножницами и строго сказала:

— Масла в масленке нет. Где оно?

Федя сделал удивленные глаза и, вытянув шею, заглянул в масленку.

— Это масло у тебя во рту, — сказала жена, показывая ножницами на Федю.

Федя отрицательно замотал головой.

— Ага, — сказала жена. — Ты молчишь и мотаешь головой; потому что у тебя рот набит маслом.

Федя вытаращил глаза и замахал на жену руками, как бы говоря: «Что ты, что ты, ничего подобного!» Но жена сказала:

- Ты врешь, открой рот.
- Мм,— сказал Федя.
- Открой рот,— повторила жена.

Федя растопырил пальцы и замычал, как бы говоря: «Ах да, совсем было забыл; сейчас приду»,— и встал, собираясь выйти из комнаты.

- Стой,— крикнула жена.

Но Федя прибавил шагу и скрылся за дверью. Жена кинулась за ним, но около двери остановилась, так как была голой и в таком виде не могла выйти в коридор, где ходили другие жильцы этой квартиры.

— Ушел,— сказала жена, садясь на диван.— Вот черт!

А Федя, дойдя по коридору до двери, на которой висела надпись: «Вход категорически воспрещен», открыл эту дверь и вошел в комнату.

Комната, в которую вошел Федя, была узкой и длинной, с окном, занавешенным газетной бумагой. В комнате справа у стены стояла грязная ломаная кушетка, а у окна стол, который был сделан из доски, положенной одним концом на ночной столик, а другим на спинку стула. На стене слева висела двойная полка, на которой лежало неопределенно что. Больше в комнате ничего не было, если не считать лежащего на кушетке человека с бледно-зеленым лицом, одетого в длинный и рваный коричневый куртку и в черные нанковые штаны, из которых торчали чисто вымытые босые ноги. Человек этот не спал и пристально смотрел на вошедшего.

Федя наклонился, шаркнул ножкой и, вынув пальцем изо рта масло, показал его лежащему человеку.

— Полтора,— сказал хозяин комнаты, не меняя позы.

- Маловато,— сказал Федя.
- Хватит,— сказал хозяин комнаты.

— Ну ладно,— сказал Федя и, сняв масло с пальца, положил его на полку.

— За деньгами придешь завтра утром,— сказал хозяин.

— Ой, что вы! — вскричал Федя. — Мне ведь их сейчас нужно. И ведь полтора рубля всего...

— Пошел вон,— сухо сказал хозяин, и Федя на цыпочках выбежал из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь.

⟨28⟩ АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПУШКИНА

1

Пушкин был поэтом и все что-то писал. Однажды Жуковский застал его за писанием и громко воскликнул:

— Да никакo ты писака!

С тех пор Пушкин очень полюбил Жуковского и стал называть его по-приятельски просто Жуковым.

2

Как известно, у Пушкина никогда не росла борода. Пушкин очень этим мучился и всегда завидовал Захарьину, у которого, наоборот, борода росла вполне прилично. «У него растет, а у меня не растет», — частенько говаривал Пушкин, показывая ногтями на Захарьина. И всегда был прав.

3

Однажды Петрушевский сломал свои часы и послал за Пушкиным. Пушкин пришел, осмотрел часы Петрушевского и положил их обратно на стул. «Что скажешь, брат Пушкин?» — спросил Петрушевский. «Стоп машина», — сказал Пушкин.

4

Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал передвигаться на колесах. Друзья любили дразнить Пушкина и хватали его за эти колеса. Пушкин злился и писал про друзей ругательные стихи. Эти стихи он называл «эрипгармами».

5

Лето 1829 года Пушкин провел в деревне. Он вставал рано утром, выпивал жбан парного молока и бежал к реке купаться. Выкупавшись в реке, Пушкин ложился на траву и спал до обеда. После обеда Пушкин спал

в гамаке. При встрече с вонючими мужиками Пушкин кивал им головой и зажимал пальцами свой нос. А вонючие мужики ломали свои шапки и говорили: «Это ничаво».

6

Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается, просто ужас!

7

У Пушкина было четыре сына, и все идиоты. Один не умел даже сидеть на стуле и все время падал. Пушкин-то и сам довольно плохо сидел на стуле. Бывало, сплошная умора: сидят они за столом; на одном конце Пушкин все время со стула падает, а на другом конце — его сын. Просто хоть святых вон выноси!

〈29〉 НАЧАЛО ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО ЛЕТНЕГО ДНЯ

Симфония

Чуть только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на крышу и напугал всех, кто проходил в это время по улице. Крестьянин Харитон остановился, поднял камень и пустил им в Тимофея. Тимофей куда-то исчез: «Вот ловкач!» — закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался и со всего маху двинулся головой об стену. «Эх!» — вскрикнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе тепель-тапель, и баба с воем убежала в подворотню. Мимо шел Фетелюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Эй ты, сало!» — и ударил Фетелюшина по животу. Фетелюшин прислонился к стене и начал икать. Ромашкин плевался сверху из окна, стараясь попасть в Фетелюшина. Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка. А молодая, толстененькая мать терла хорошенькую девочку

лицом о кирпичную стену. Маленькая собачка, сломав свою тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел из плевательницы какую-то гадость. У бакалейного магазина стояла длинная очередь за сахаром. Бабы громко ругались и толкали друг друга кошелками. Крестьянин Харитон, напившись денатурату, стоял перед бабами с расстегнутыми штанами и произносил нехорошие слова.

Таким образом начинался хороший летний день.

〈30〉 ПАКИН И РАКУКИН

— Ну ты, не очень-то фрякай! — сказал Пакин Ракукину.

Ракукин сморщил нос и недоброжелательно посмотрел на Пакина.

— Что глядишь? Не узнал? — спросил Пакин.

Ракукин пожевал губами и, с возмущением повернувшись на своем вертящемся кресле, стал смотреть в другую сторону. Пакин побарабанил пальцами по своему колену и сказал:

— Вот дурак! Хорошо бы его по затылку палкой хлопнуть.

Ракукин встал и пошел из комнаты, но Пакин быстро вскочил, догнал Ракукина и сказал:

— Постой! Куда помчался? Лучше сядь, и я тебе покажу кое-что.

Ракукин остановился и недоверчиво посмотрел на Пакина.

— Что, не веришь? — спросил Пакин.

— Верю, — сказал Ракукин.

— Тогда садись вот сюда, в это кресло, — сказал Пакин.

И Ракукин сел обратно в свое вертящееся кресло.

— Ну вот, — сказал Пакин, — чего сидишь в кресле, как дурак?

Ракукин подвигал ногами и быстро замигал глазами.

— Не мигай, — сказал Пакин.

Ракукин перестал мигать глазами и, сгорбившись, втянул голову в плечи.

— Сиди прямо, — сказал Пакин.

Ракукин, продолжая сидеть сгорбившись, выпятил живот и вытянул шею.

— Эх,— сказал Пакин,— так бы и шлепнул тебя по подрывнику!

Ракукин икнул, надул щеки и потом осторожно выпустил воздух через ноздри.

— Ну ты, не фрякай! — сказал Пакин Ракукину.

Ракукин еще больше вытянул шею и опять быстро-быстро замигал глазами.

Пакин сказал:

— Если ты, Ракукин, сейчас не перестанешь мигать, я тебя ударю ногой по грудям.

Ракукин, чтобы не мигать, скривил челюсти и еще больше вытянул шею и закинул назад голову.

— Фу, какой мерзостный у тебя вид,— сказал Пакин.— Морда как у курицы, шея синяя, просто гадость!

В это время голова Ракукина закидывалась назад все дальше и дальше и наконец, потеряв напряжение, свалилась на спину.

— Что за черт! — воскликнул Пакин.— Это что еще за фокус?

Если посмотреть от Пакина на Ракукина, то можно было подумать, что Ракукин сидит вовсе без головы. Кадык Ракукина торчал вверх. Невольно хотелось думать, что это нос.

— Эй, Ракукин! — сказал Пакин.

Ракукин молчал.

— Ракукин! — повторил Пакин.

Ракукин не отвечал и продолжал сидеть без движения.

— Так,— сказал Пакин.— Подох Ракукин.

Пакин перекрестился и на цыпочках вышел из комнаты.

Минут четырнадцать спустя из тела Ракукина вылезла маленькая душа и злобно посмотрела на то место, где недавно сидел Пакин. Но тут из-за шкапа вышла высокая фигура ангела смерти и, взяв за руку ракукинскую душу, повела ее куда-то, прямо сквозь дома и стены. Ракукинская душа бежала за ангелом смерти, поминутно злобно оглядываясь. Но вот ангел смерти поддал ходу, и ракукинская душа, подпрыгивая и спотыкаясь, исчезла вдали за поворотом.

* * *

— Есть ли что-нибудь на земле, что имело бы значение и могло бы даже изменить ход событий не только на земле, но и в других мирах? — спросил я своего учителя.

— Есть, — ответил мне мой учитель.

— Что же это? — спросил я.

— Это... — начал мой учитель и вдруг замолчал.

Я стоял и напряженно ждал его ответа. А он молчал.

И я стоял и молчал.

И он молчал.

И я стоял и молчал.

И он молчал.

Мы оба стоим и молчим.

Хо-ля-ля!

Мы оба стоим и молчим!

Хо-лэ-лэ!

Да, да, мы оба стоим и молчим!

16—17 июля 1937

ВОСПОМИНАНИЯ ОДНОГО МУДРОГО СТАРИКА

Я был очень мудрым стариком.

Теперь я уже не то, считайте даже, что меня нет. Но было время, когда любой из вас пришел бы ко мне, и, какая бы тяжесть ни томила его душу, какие бы грехи ни терзали его мысли, я бы обнял его и сказал: «Сын мой, утешься, ибо никакая тяжесть души твоей не томит, и никаких грехов не вижу я в теле твоём», — и он убежал бы от меня, счастливый и радостный.

Я был велик и силен. Люди, встречая меня на улице, шарахались в сторону, и я проходил сквозь толпу, как утюг.

Мне часто целовали ноги, но я не протестовал: я знал, что достоин этого. Зачем лишать людей радости почтить меня? Я даже сам, будучи чрезвычайно гибким в теле, попробовал поцеловать себе свою собственную ногу. Я сел на скамейке, взял в руки свою правую ногу и подтянул ее к лицу. Мне удалось поцеловать большой палец на ноге. Я был счастлив. Я понял счастье других людей.

Все преклонялись передо мной! И не только люди, даже звери, даже разные букашки ползали передо мной и виляли своими хвостами. А кошки! Те просто души во мне не чаяли и, каким-то образом сцепившись лапами друг с другом, бежали передо мной, когда я шел по лестнице.

В то время я был действительно очень мудр и все понимал. Не было такой вещи, перед которой я встал бы в тупик. Одна минута напряжения моего чудовищного ума, и самый сложный вопрос разрешался наимпростейшим образом. Меня даже водили в Институт Мозга и показывали ученым профессорам. Те электричеством измеряли мой ум и просто опупели. «Мы никогда ничего подобного не видали», — сказали они.

Я был женат, но редко видел свою жену. Она боялась меня: колоссальность моего ума подавляла ее. Она не жила, а трепетала, и, если я смотрел на нее, она начинала икать. Мы долго жили с ней вместе, но потом она, кажется, куда-то исчезла, точно не помню.

Память — это вообще явление странное. Как трудно бывает что-нибудь запомнить и как легко забыть! А то и так бывает: запомнишь одно, а вспомнишь совсем другое. Или: запомнишь что-нибудь с трудом, но очень крепко, а потом ничего вспомнить не сможешь. Так тоже бывает. Я бы всем советовал поработать над своей памятью.

Я был всегда справедлив и зря никого не бил, потому что когда кого-нибудь бьешь, то всегда шалеешь, и тут можно переборщить. Детей, например, никогда не надо бить ножом или вообще чем-нибудь железным, а женщин, наоборот, не следует бить ногами. Животные — те, говорят, выносливы. Но я производил в этом направлении опыты и знаю, что это не всегда так.

Благодаря своей гибкости я мог делать то, чего никто не мог сделать. Так, например, мне удалось достать рукой из очень извилистой фановой трубы заскочившую туда случайно серьгу моего брата. Я мог, например, спрятаться в сравнительно небольшую корзинку и закрыть за собой крышку.

Да, конечно, я был феноменален!

Мой брат был полная моя противоположность: во-первых, он был выше ростом, а во-вторых, глупее. Мы с ним никогда не дружили. Хотя, впрочем, дружили, и даже очень. Я тут чего-то напутал: мы именно с ним не дружили, а всегда были в ссоре. А поссорились мы с ним так. Я стоял около магазина: там выдавали сахар, и я стоял в очереди и старался не слушать, чего говорят кругом. У меня немножечко болел зуб, и настроение было неважное. На улице было очень холодно, потому что все стояли в ватных шубах и все-таки мерзли. Я тоже стоял в ватной шубе, но сам не очень мерз, а мерзли мои руки, потому что то и дело приходилось вынимать их из карманов и поправлять чемодан, который я держал, зажав ногами, чтобы он не пропал. Вдруг меня ударил кто-то по спине. Я пришел в неопишное негодование и с быстротой молнии стал обдумывать, как наказать обидчика. В это время меня ударили по спине вторично. Я весь насторожился, но решил голову назад не поворачивать и сделать вид, будто я ничего не заметил. Я только на всякий случай взял чемодан в руку. Прошло минут семь, и меня в третий раз ударили по спине. Тут я повернулся и увидел перед собой высокого пожилого человека в довольно поношенной, но все еще хорошей ватной шубе.

— Что вам от меня нужно? — спросил я его строгим и даже слегка металлическим голосом.

— А ты чего не оборачиваешься, когда тебя окликают? — сказал он.

Я задумался над содержанием его слов, когда он опять открыл рот и сказал:

— Да ты что? Не узнаешь, что ли, меня? Ведь я твой брат.

Я опять задумался над его словами, а он снова открыл рот и сказал:

— Послушай-ка, брат. У меня не хватает на сахар четырех рублей, а из очереди уходить обидно. Одолжи-ка мне пятерку, а мы с тобой потом рассчитаемся.

Я стал раздумывать о том, почему брату не хватает четырех рублей, но он схватил меня за рукав и сказал:

— Ну так как же, одолжишь ты своему брату немного денег? — И с этими словами он сам расстегнул мне мою ватную шубу, залез ко мне во внутренний карман и достал мой кошелек.

— Вот, — сказал он, — я, брат, возьму у тебя взаймы некоторую сумму, а кошелек, вот смотри, я кладу тебе обратно в пальто. — И он сунул кошелек в наружный карман моей шубы.

Я был, конечно, удивлен, так неожиданно встретив своего брата. Некоторое время я помолчал, а потом спросил его:

— А где же ты был до сих пор?

— Там, — ответил мне брат и махнул куда-то рукой.

Я задумался: где это «там», но брат подтолкнул меня в бок и сказал:

— Смотри: в магазин начали пускать.

До дверей магазина мы шли вместе, но в магазине я оказался один, без брата. Я на минутку выскочил из очереди и выглянул через дверь на улицу. Но брата нигде не было.

Когда я хотел опять занять в очереди свое место, меня туда не пустили и даже постепенно вытолкали на улицу. Я, сдерживая гнев на плохие порядки, отправился домой. Дома я обнаружил, что брат взял из моего кошелька все деньги. Тут я страшно рассердился на брата, и с тех пор мы с ним никогда больше не мирились.

Я жил один и пускал к себе только тех, кто приходил ко мне за советом. Но таких было много, и выходило так, что я ни днем ни ночью не знал покоя. Иногда я уставал до такой степени, что ложился на пол и отдыхал. Я лежал на полу до тех пор, пока мне не делалось холодно, тогда я вскакивал и начинал бегать по комнате, чтобы согреться. Потом я опять садился на скамейку и давал советы всем нуждающимся.

Они входили ко мне друг за другом, иногда даже не открывая дверей. Мне было весело смотреть на их мучительные лица. Я говорил с ними, а сам едва сдерживал смех.

Один раз я не выдержал и рассмеялся. Они с ужасом кинулись бежать — кто в дверь, кто в окно, а кто и прямо сквозь стену.

Оставшись один, я встал во весь свой могучий рост, открыл рот и сказал:

— Прин тим прам.

Но тут во мне что-то хрустнуло, и с тех пор можете считать, что меня больше нет.

(1936—1938)

ЛЕКЦИЯ

Пушков сказал:

— Женщина — это станок любви.

И тут же получил по морде.

— За что? — спросил Пушков.

Но, не получив ответа на свой вопрос, продолжал:

— Я думаю так: к женщине надо подкатываться снизу. Женщины это любят и только делают вид, что они этого не любят.

Тут Пушкова опять стукнули по морде.

— Да что же это такое, товарищи! Я тогда и говорить не буду, — сказал Пушков.

Но, подождав с четверть минуты, продолжал:

— Женщина устроена так, что она вся мягкая и влажная.

Тут Пушкова опять стукнули по морде. Пушков попробовал сделать вид, что он этого не заметил, и продолжал:

— Если женщину понюхать...

Но тут Пушкова так сильно трахнули по морде, что он схватился за щеку и сказал:

— Товарищи, в таких условиях совершенно невозможно провести лекцию. Если это будет еще повторяться, я замолчу.

Пушков подождал четверть минуты и продолжал:

— На чем мы остановились? Ах да! Так вот. Женщина любит смотреть на себя. Она садится перед зеркалом совершенно голая...

На этом слове Пушков опять получил по морде.

— Голая, — повторил Пушков.

Трах! — отвесили ему по морде.

— Голая! — крикнул Пушков.

Трах! — получил он по морде.

— Голая! Женщина голая! Голая баба! — кричал Пушков.

Трах! Трах! Трах! — получил Пушков по морде.

— Голая баба с ковшом в руках! — кричал Пушков.

Трах! Трах! — сыпались на Пушкова удары.

— Бабий хвост! — кричал Пушков, увертываясь от ударов, — Голая монашка!

Но тут Пушкова ударили с такой силой, что он потерял сознание и как подкошенный рухнул на пол.

12 августа 1940

УПАДАНИЕ

Два человека упало с крыши. Они оба упали с крыши пятиэтажного дома, новостройки. Кажется, школы. Они съехали по крыше в сидячем положении до самой кромки и тут начали падать.

Их падение раньше всех заметила Ида Марковна. Она стояла у окна в противоположном доме и сморкалась в стакан. И вдруг она увидела, что кто-то с крыши противоположного дома начинает падать. Вглядевшись, Ида Марковна увидела, что это начинают падать сразу целых двое. Совершенно растерявшись, Ида Марковна содрала с себя рубашку и начала этой рубашкой скорее протирать запотевшее оконное стекло, чтобы лучше разглядеть, кто там падает с крыши. Однако сообразив, что, пожалуй, падающие могут, со своей стороны, увидеть ее голой и невесть чего про нее подумать, Ида Марковна отскочила от окна и спряталась за плетеный треножник, на котором когда-то стоял горшок с цветком.

В это время падающих с крыши увидела другая особа, живущая в том же доме, что и Ида Марковна, но только двумя этажами ниже. Особу эту тоже звали Ида Марковна. Она, как раз в это время, сидела с ногами на подоконнике и пришивала к своей туфле пуговку. Взглянув в окно, она увидела падающих с крыши. Ида Марковна взвизгнула и, вскочив с подоконника, начала спешно открывать окно, чтобы лучше увидеть, как падающие с крыши ударятся об землю. Но окно не открывалось. Ида Марковна вспомнила, что она забила окно снизу гвоздем, и кинулась к печке, в которой

она хранила инструменты: четыре молотка, долото и клещи.

Схватив клещи, Ида Марковна опять подбежала к окну и выдернула гвоздь. Теперь окно легко распахнулось. Ида Марковна высунулась из окна и увидела, как падающие с крыши со свистом подлетали к земле.

На улице уже собралась небольшая толпа. Уже раздавались свистки, и к месту ожидаемого происшествия не спеша подходил маленького роста милиционер. Носатый дворник суетился, расталкивая людей и поясняя, что падающие с крыши могут вдарить собравшихся по головам.

К этому времени уже обе Иды Марковны, одна в платье, а другая голая, высунувшись в окно, визжали и били ногами.

И вот наконец, расставив руки и выпучив глаза, падающие с крыши ударились об землю.

Так и мы иногда, упадая с высот достигнутых, ударяемся об унылую клеть нашей будущности.

7 сентября 1940

ВЛАСТЬ

Фаол сказал: «Мы грешим и творим добро вслепую. Один стряпчий ехал на велосипеде и вдруг, доехав до Казанского собора, исчез. Знает ли он, что дано было сотворить ему: добро или зло? Или такой случай: один артист купил себе шубу и якобы сотворил добро той старушке, которая, нуждаясь, продала эту шубу, но зато другой старушке, а именно своей матери, которая жила у артиста и обыкновенно спала в прихожей, где артист вешал свою новую шубу, он сотворил, по всей видимости, зло, ибо от новой шубы столь невыносимо пахло каким-то формалином и нафталином, что старушка, мать того артиста, однажды не смогла проснуться и умерла. Или еще так: один графолог надрызгался водкой и натворил такое, что тут, пожалуй, и сам полковник Дибич не разобрал бы, что хорошо, а что плохо. Грех от добра отличить очень трудно».

Мышин, задумавшись над словами Фаола, упал со стула.

— Хо-хо,— сказал он, лежа на полу,— че-че.

Фаол продолжал: «Возьмем любовь. Будто хорошо, а будто и плохо. С одной стороны, сказано: возлюби, а с другой стороны, сказано: не балуй. Может, лучше вовсе не возлюбить? А сказано: возлюби. А возлюбишь — набалуешь. Что делать? Может, возлюбить, да не так? Тогда зачем же у всех народов одним и тем же словом изображается возлюбить — и так, и не так? Вот один артист любил свою мать и одну молоденькую полненькую девицу. И любил он их разными способами. Он отдавал девице большую часть своего заработка. Мать частенько голодала, а девица пила и ела за троих. Мать артиста жила в прихожей на полу, а девица имела в своем распоряжении две хорошие комнаты. У девицы было четыре пальто, а у матери одно. И вот артист взял у своей матери это одно пальто и перешил из него девице юбку. Наконец, с девицей артист баловался, а со своей матерью не баловался и любил ее чистой любовью. Но смерти матери артист побаивался, а смерти девицы артист не побаивался. И когда умерла мать, артист плакал, а когда девица вывалилась из окна и тоже умерла, артист не плакал и завел себе другую девицу. Выходит, что мать ценится, как уника, вроде редкой марки, которую нельзя заменить другой».

— Шо-шо,— сказал Мышин, лежа на полу,— хо-хо.

Фаол продолжал: «И это называется чистая любовь! Добро ли такая любовь? А если нет, то как же возлюбить? Одна мать любила своего ребенка. Этому ребенку было два с половиной года. Мать носила его в сад и сажала на песочек. Туда же приносили своих детей и другие матери. Иногда на песочке накапливалось до сорока маленьких детей. И вот однажды в этот сад ворвалась бешеная собака, кинулась прямо к детям и начала их кусать. Матери с воплями кинулись к своим детям, в том числе и наша мать. Она, жертвуя собой, подскочила к собаке и вырвала у нее из пасти, как ей казалось, своего ребенка. Но, вырвав ребенка, она увидела, что это не ее ребенок, и мать кинула его обратно собаке, чтобы схватить и спасти от смерти лежащего тут же рядом своего ребенка. Кто ответит мне: согрешила ли она или сотворила добро?»

— Сю-сю,— сказал Мышин, ворочаясь на полу.

Фаол продолжал: «Грешит ли камень? Грешит ли дерево? Грешит ли зверь? Или грешит только один человек?»

— Млям-млям, — сказал Мышин, прислушиваясь к словам Фаола, — шуп-шуп.

Фаол продолжал: «Если грешит только один человек, то, значит, все грехи мира находятся в самом человеке. Грех не входит в человека, а только выходит из него. Подобно пище: человек съедает хорошее, а выбрасывает из себя нехорошее. В мире нет ничего нехорошего, только то, что прошло сквозь человека, может стать нехорошим».

— Умняф, — сказал Мышин, стараясь приподняться с пола.

Фаол продолжал: «Вот я говорил о любви, я говорил о тех состояниях наших, которые называются одним словом «любовь». Ошибка ли это языка или все эти состояния едины? Любовь матери к ребенку, любовь сына к матери и любовь мужчины к женщине — быть может, все это одна любовь?»

— Определенно, — сказал Мышин, кивая головой.

Фаол сказал: «Да, я думаю, что сущность любви не меняется от того, кто кого любит. Каждому человеку отпущена известная величина любви. И каждый человек ищет, куда бы ее приложить, не скидывая своих фузеляжек. Раскрытие тайн перестановок и мелких свойств нашей души, подобной мешку опилок...»

— Хветь! — крикнул Мышин, вскакивая с пола. — Сгинь!

И Фаол рассыпался, как плохой сахар.

29 сентября 1940

ПОБЕДА МЫШИНА

Мышину сказали:

— Эй, Мышин, вставай!

Мышин сказал:

— Не встану. — И продолжал лежать на полу.

Тогда к Мышину подошел Калугин и сказал:

— Если ты, Мышин, не встанешь, я тебя заставлю встать.

— Нет, — сказал Мышин, продолжая лежать на полу.

К Мышину подошла Селизнева и сказала:

— Вы, Мышин, вечно валяетесь на полу в коридоре и мешаете нам ходить взад и вперед.

— Мешал и буду мешать,— сказал Мышин.

— Ну, знаете,— сказал Коршунов, но его перебил Калугин и сказал:

— Да чего тут долго разговаривать! Звоните в милицию.

Позвонили в милицию и вызвали милиционера.

Через полчаса пришел милиционер с дворником.

— Чего у вас тут? — спросил милиционер.

— Полюбуйтесь,— сказал Коршунов, но его перебил Калугин и сказал:

— Вот. Этот гражданин все время лежит тут на полу и мешает нам ходить по коридору. Мы его и так и этак...

Но тут Калугина перебила Селизнева и сказала:

— Мы его просили уйти, а он не уходит.

— Да,— сказал Коршунов.

Милиционер подошел к Мышину.

— Вы, гражданин, зачем тут лежите? — спросил милиционер.

— Отдыхаю,— сказал Мышин.

— Здесь, гражданин, отдыхать не годится,— сказал милиционер.— Вы где, гражданин, живете?

— Тут,— сказал Мышин.

— Где ваша комната? — спросил милиционер.

— Он прописан в нашей квартире, а комнаты не имеет,— сказал Калугин.

— Обождите, гражданин,— сказал милиционер,— я сейчас с ним поговорю. Гражданин, где вы спите?

— Тут,— сказал Мышин.

— Позвольте,— сказал Коршунов, но его перебил Калугин и сказал:

— Он даже кровати не имеет и валяется прямо на голом полу.

— Они давно на него жалуются,— сказал дворник.

— Совершенно невозможно ходить по коридору,— сказала Селизнева,— я не могу вечно шагать через мужчину. А он нарочно ноги вытянет, да еще руки вытянет, да еще на спину ляжет и глядит. Я с работы усталая прихожу, мне отдых нужен.

— Присовокупляю,— сказал Коршунов, но его перебил Калугин и сказал:

— Он и ночью тут лежит. Об него в темноте все спотыкаются. Я через него одеяло свое разорвал.

Селизнева сказала:

— У него вечно из кармана какие-то гвозди вываливаются. Невозможно по коридору босой ходить, того и гляди ногу напорешь.

— Они давеча хотели его керосином поджечь, — сказал дворник.

— Мы его керосином облили, — сказал Коршунов, но его перебил Калугин и сказал:

— Мы его только для страха керосином облили, а поджечь и не собирались.

— Да я бы и не позволила в своем присутствии живого человека сжечь, — сказала Селизнева.

— А почему этот гражданин в коридоре лежит? — спросил вдруг милиционер.

— Здравствуйте пожалуйста! — сказал Коршунов, но Калугин его перебил и сказал:

— А потому, что у него нет другой жилплощади: вот в этой комнате я живу, в этой вон она, в этой вот он, а уж Мышин тут, в коридоре, живет.

— Это не годится, — сказал милиционер. — Надо, чтобы все на своей жилплощади лежали.

— А у него нет другой жилплощади, как в коридоре, — сказал Калугин.

— Вот именно, — сказал Коршунов.

— Вот он вечно тут и лежит, — сказала Селизнева.

— Это не годится, — сказал милиционер и ушел вместе с дворником.

Коршунов подскочил к Мышину.

— Что? — закричал он. — Как вам это по вкусу пришлось?

— Подождите, — сказал Калугин. И, подойдя к Мышину, сказал: — Слышал, чего говорил милиционер? Вставай с полу!

— Не встану, — сказал Мышин, продолжая лежать на полу.

— Он теперь нарочно и дальше будет вечно тут лежать, — сказала Селизнева.

— Определенно, — сказал с раздражением Калугин.

И Коршунов сказал:

— Я в этом не сомневаюсь. Parfaitement! ¹

8 ноября 1940

¹ Превосходно! (фр.)

ПОМЕХА

Пронин сказал:

— У вас очень красивые чулки.

Ирина Мазер сказала:

— Вам нравятся мои чулки?

Пронин сказал:

— О да. Очень. — И схватился за них рукой.

Ирина сказала:

— А почему вам нравятся мои чулки?

Пронин сказал:

— Они очень гладкие.

Ирина подняла свою юбку и сказала:

— А видите, какие они высокие?

Пронин сказал:

— Ой, да, да.

Ирина сказала:

— Но вот тут они уже кончаются. Тут уже идет голая нога.

— Ой, какая нога! — сказал Пронин.

— У меня очень толстые ноги, — сказала Ирина. —

А в бедрах я очень широкая.

— Покажите, — сказал Пронин.

— Нельзя, — сказала Ирина, — я без панталон.

Пронин опустился перед ней на колени.

Ирина сказала:

— Зачем вы встали на колени?

Пронин поцеловал ее ногу чуть повыше чулка и сказал:

— Вот зачем.

Ирина сказала:

— Зачем вы поднимаете мою юбку еще выше? Я же вам сказала, что я без панталон.

Но Пронин все-таки поднял ее юбку и сказал:

— Ничего, ничего.

— То есть как это так, ничего? — сказала Ирина.

Но тут в двери кто-то постучал. Ирина быстро одернула свою юбку, а Пронин встал с пола и подошел к окну.

— Кто там? — спросила Ирина через двери.

— Откройте дверь, — сказал резкий голос.

Ирина открыла дверь, и в комнату вошел человек в черном пальто и в высоких сапогах. За ним вошли двое военных, низших чинов, с винтовками в руках, и за ними вошел дворник. Низшие чины встали около двери, а

человек в черном пальто подошел к Ирине Мазер и сказал:

— Ваша фамилия?

— Мазер,— сказала Ирина.

— Ваша фамилия? — спросил человек в черном пальто, обращаясь к Пронину.

Пронин сказал:

— Моя фамилия Пронин.

— У вас оружие есть? — спросил человек в черном пальто.

— Нет,— сказал Пронин.

— Сядьте сюда,— сказал человек в черном пальто, указывая Пронину на стул.

Пронин сел.

— А вы,— сказал человек в черном пальто, обращаясь к Ирине,— наденьте ваше пальто. Вам придется с нами проехать.

— Зачем? — спросила Ирина.

Человек в черном пальто не ответил.

— Мне нужно переодеться,— сказала Ирина.

— Нет,— сказал человек в черном пальто.

— Но мне нужно еще кое-что на себя надеть,— сказала Ирина.

— Нет,— сказал человек в черном пальто.

Ирина молча надела свою шубку.

— Прощайте,— сказала она Пронину.

— Разговоры запрещены,— сказал человек в черном пальто.

— А мне тоже ехать с вами? — спросил Пронин.

— Да,— сказал человек в черном пальто.— Одевайтесь.

Пронин встал, снял с вешалки свое пальто и шляпу, оделся и сказал:

— Ну, я готов.

— Идемте,— сказал человек в черном пальто.

Низшие чины и дворник застучали подметками.

Все вышли в коридор.

Человек в черном пальто запер дверь Ириной комнаты и запечатал ее двумя бурыми печатями.

— Даешь на улицу,— сказал он.

И все вышли из квартиры, громко хлопнув наружной дверью.

СИМФОНИЯ № 2

Антон Михайлович плюнул, сказал «эх», опять плюнул, опять сказал «эх», опять плюнул, опять сказал «эх» и ушел. И бог с ним. Расскажу лучше про Илью Павловича.

Илья Павлович родился в 1893 году, в Константинополе. Еще маленьким мальчиком его перевезли в Петербург, и тут он окончил немецкую школу на Кирочной улице. Потом он служил в каком-то магазине, потом еще чего-то делал, а в начале революции эмигрировал за границу. Ну и бог с ним. Я лучше расскажу про Анну Игнатьевну.

Но про Анну Игнатьевну рассказать не так-то просто. Во-первых, я о ней ничего не знаю, а во-вторых, я сейчас упал со стула и забыл, о чем собирался рассказывать. Я лучше расскажу о себе.

Я высокого роста, неглупый, одеваюсь изящно и со вкусом, не пью, на скачки не хожу, но к дамам тянусь. И дамы не избегают меня. Даже любят, когда я с ними гуляю. Серафима Измайловна неоднократно приглашала меня к себе, и Зинаида Яковлевна тоже говорила, что она всегда рада меня видеть. Но вот с Мариной Петровной у меня вышел забавный случай, о котором я и хочу рассказать. Случай вполне обыкновенный, но все же забавный, ибо Марина Петровна благодаря мне совершенно облысела, как ладонь. Случилось это так: пришел я однажды к Марине Петровне, а она трах! — и облысела. Вот и всё.

9—10 июня 1941

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Не хвастаясь, могу сказать, что, когда Володя ударил меня по уху и плюнул мне в лоб, я так его хватил, что он этого не забудет. Уже потом я бил его примусом, а утюгом я бил его вечером. Так что умер он совсем не сразу. Это не доказательство, что ногу я отрезал ему еще днем. Тогда он был еще жив. А Андрюшу я убил просто по инерции, и в этом я себя не могу обвинить. Зачем Андрюша с Елизаветой Антоновной попались мне

под руку? Им было не к чему выскакать из-за двери. Меня обвиняют в кровожадности, говорят, я пил кровь, но это неверно: я подлизывал кровяные лужи и пятна — это естественная потребность человека уничтожить следы своего, хотя бы и пустяшного, преступления. А также я не насиловал Елизавету Антонову. Во-первых, она уже не была девушкой, а во-вторых, я имел дело с трупом, и ей жаловаться не приходится. Что из того, что она вот-вот должна была родить? Я и вытащил ребенка. А то, что он вообще не жилец был на этом свете, в этом уж не моя вина. Но я оторвал ему голову, причиной тому была его тонкая шея. Он был создан не для жизни сей. Это верно, что я сапогом размазал по полу их собачку. Но это уж цинизм — обвинять меня в убийстве собаки, когда тут рядом, можно сказать, уничтожены три человеческие жизни. Ребенка я не считаю. Ну хорошо: во всем этом (я могу согласиться) можно усмотреть некоторую жестокость с моей стороны. Но считать преступлением то, что я сел и испражнился на свои жертвы, — это уже, извините, абсурд. Испражняться — потребность естественная, а следовательно, и отнюдь не преступная. Таким образом, я понимаю опасения моего защитника, но все же надеюсь на полное оправдание.

СТАРУХА

Повесть

...И между ними происходит следующий разговор.

Гажун

На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я прохожу мимо старухи, останавливаюсь и спрашиваю ее: «Который час?»

— Посмотрите, — говорит мне старуха.

Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок.

— Тут нет стрелок, — говорю я.

Старуха смотрит на циферблат и говорит мне:

— Сейчас без четверти три.

— Ах так. Большое спасибо, — говорю я и ухожу.

Старуха кричит мне что-то вслед, но я иду не оглядываясь. Я выхожу на улицу и иду по солнечной стороне. Весеннее солнце очень приятно. Я иду пешком, щурю глаза и курю трубку. На углу Садовой мне попадает навстречу Сакердон Михайлович. Мы здороваемся, останавливаемся и долго разговариваем. Мне надоедает стоять на улице, и я приглашаю Сакердона Михайловича в подвальчик. Мы пьем водку, закусываем крутым яйцом с килькой, потом прощаемся, и я иду дальше один.

Тут я вдруг вспоминаю, что забыл дома выключить электрическую печку. Мне очень досадно. Я поворачиваюсь и иду домой. Так хорошо начался день, и вот уже первая неудача. Мне не следовало выходить на улицу.

Я прихожу домой, снимаю куртку, вынимаю из жилетного кармана часы и вешаю их на гвоздик; потом запираю дверь на ключ и ложусь на кушетку. Буду лежать и постараюсь заснуть.

С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казни. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали

двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что еще целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я напускаю на них второй столбняк, и они все околевают.

Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не могу заснуть. Мне вспоминается старуха с часами, которую я видел сегодня на дворе, и мне делается приятно, что на ее часах не было стрелок. А вот на днях я видел в комиссионном магазине отвратительные кухонные часы, и стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки.

Боже мой! ведь я еще не выключил электрической печки! Я вскакиваю и выключаю ее, потом опять ложусь на кушетку и стараюсь заснуть. Я закрываю глаза. Мне не хочется спать. В окно светит весеннее солнце, прямо на меня. Мне становится жарко. Я встаю и сажусь в кресло у окна.

Теперь мне хочется спать, но я спать не буду. Я возьму бумагу и перо и буду писать. Я чувствую в себе страшную силу. Я все обдумал еще вчера. Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему только махнуть пальцем, и квартира останется за ним, но он не делает этого, он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого, он продолжает жить в сарае и в конце юнцов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда.

Я сижу и от радости потираю руки. Сакердон Михайлович лопнет от зависти. Он думает, что я уже не способен написать гениальную вещь. Скорее, скорее за работу! Долой всякий сон и лень! Я буду писать восемнадцать часов подряд!

От нетерпения я весь дрожу. Я не могу сообразить, что мне делать: мне нужно было взять перо и бумагу, а я хватал разные предметы, совсем не те, которые мне были нужны. Я бегал по комнате: от окна к столу, от стола к печке, от печки опять к столу, потом к дивану и опять к окну. Я задышался от пламени, которое

пылало в моей груди. Сейчас только пять часов. Впереди весь день, и вечер, и вся ночь.

Я стою посередине комнаты. О чем же я думаю? Ведь уже двадцать минут шестого. Надо писать. Я придвигаю к окну столик и сажусь за него. Передо мной клетчатая бумага, в руке перо.

Мое сердце еще слишком бьется, и рука дрожит. Я жду, чтобы немножко успокоиться. Я кладу перо и набиваю трубку. Солнце светит мне прямо в глаза, я жмурюсь и трубку закуриваю.

Вот мимо окна пролетает ворона. Я смотрю из окна на улицу и вижу, как по панели идет человек на механической ноге. Он громко стучит своей ногой и палкой.

— Тюк,— говорю я сам себе, продолжая смотреть в окно.

Солнце прячется за трубу противостоящего дома. Тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Надо воспользоваться этой тенью и написать несколько слов о чудотворце. Я хватаю перо и пишу:

«Чудотворец был высокого роста».

Больше я ничего написать не могу. Я сижу до тех пор, пока не начинаю чувствовать голод. Тогда я встаю и иду к шкапику, где хранится у меня провизия. Я шарю там, но ничего не нахожу. Кусок сахара, и больше ничего.

В дверь кто-то стучит.

— Кто там?

Мне никто не отвечает. Я открываю дверь и вижу перед собой старуху, которая утром стояла на дворе с часами. Я очень удивлен и ничего не могу сказать.

— Вот я и пришла,— говорит старуха и входит в мою комнату.

Я стою у двери и не знаю, что мне делать: выгнать старуху или, наоборот, предложить ей сесть? Но старуха сама идет к моему креслу возле окна и садится в него.

— Закрой дверь и запири ее на ключ,— говорит мне старуха.

Я закрываю и запираю дверь.

— Встань на колени,— говорит старуха.

И я становлюсь на колени.

Но тут я начинаю понимать всю нелепость своего положения. Зачем я стою на коленях перед какой-то

старухой? Да и почему эта старуха находится в моей комнате и сидит в моем любимом кресле? Почему я не выгнал эту старуху?

— Послушайте-ка, — говорю я, — какое право имеете вы распоряжаться в моей комнате, да еще командовать мною? Я вовсе не хочу стоять на коленях.

— И не надо, — говорит старуха, — теперь ты должен лечь на живот и уткнуться лицом в пол.

Я тотчас исполнил приказание.

Я вижу перед собой правильно начерченные квадраты. Боль в плече и правом бедре заставляет меня изменить положение. Я лежал ничком, теперь я с большим трудом поднимаюсь на колени. Все члены мои затекли и плохо сгибаются. Я оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях посередине пола. Сознание и память медленно возвращаются ко мне. Я еще раз оглядываю комнату и вижу, что на кресле у окна будто сидит кто-то. В комнате не очень светло, потому что сейчас, должно быть, белая ночь. Я пристально вглядываюсь. Господи! Неужели это старуха все еще сидит в моем кресле? Я вытягиваю щею и смотрю. Да, конечно, это сидит старуха, и голову опустила на грудь. Должно быть, она уснула.

Я поднимаюсь и, прихрамывая, подхожу к ней. Голова старухи опущена на грудь, руки висят по бокам кресла. Мне хочется схватить эту старуху и вытолкать ее за дверь.

— Послушайте, — говорю я, — вы находитесь в моей комнате. Мне надо работать. Я прошу вас уйти.

Старуха не движется. Я нагибаюсь и заглядываю старухе в лицо. Рот у нее приоткрыт и изо рта торчит соскочившая вставная челюсть. И вдруг мне делается все ясно: старуха умерла.

Меня охватывает страшное чувство досады. Зачем она умерла в моей комнате? Я терпеть не могу покойников. А теперь возись с этой падалью, иди разговаривать с дворником и управдомом, объясняй им, почему эта старуха оказалась у меня. Я с ненавистью посмотрел на старуху. А может быть, она и не умерла? Я щупаю ее лоб. Лоб холодный. Рука тоже. Ну что мне делать?

Я закуриваю трубку и сажусь на кушетку. Безумная злость поднимается во мне.

— Вот сволочь! — говорю я вслух.

Мертвая старуха как мешок сидит в моем кресле. Зубы торчат у нее изо рта. Она похожа на мертвую лошадь.

— Противная картина, — говорю я, но закрыть старуху газетой не могу, потому что мало ли что может случиться под газетой.

За стеной слышно движение: это встает мой сосед, паровозный машинист. Еще того не хватало, чтобы он пронюхал, что у меня в комнате сидит мертвая старуха! Я прислушиваюсь к шагам соседа. Чего он медлит? Уже половина шестого! Ему давно пора уходить. Боже мой! Он собирается пить чай! Я слышу, как за стенкой шумит примус. Ах, поскорее ушел бы этот проклятый машинист!

Я забираюсь на кушетку с ногами и лежу. Проходит восемь минут, но чай у соседа еще не готов и примус шумит. Я закрываю глаза и дремлю.

Мне снится, что сосед ушел и я, вместе с ним, выхожу на лестницу и захлопываю за собой дверь с французским замком. Ключа у меня нет, и я не могу попасть обратно в квартиру. Надо звонить и будить остальных жильцов, а это уж совсем плохо. Я стою на площадке лестницы и думаю, что мне делать, и вдруг вижу, что у меня нет рук. Я наклоняю голову, чтобы лучше рассмотреть, есть ли у меня руки, и вижу, что с одной стороны у меня вместо руки торчит столовый ножик, а с другой стороны — вилка.

— Вот, — говорю я Сакердону Михайловичу, который сидит почему-то тут же на складном стуле. — Вот видите, — говорю я ему, — какие у меня руки?

А Сакердон Михайлович сидит молча, и я вижу, что это не настоящий Сакердон Михайлович, а глиняный.

Тут я просыпаюсь и сразу же понимаю, что лежу у себя в комнате на кушетке, а у окна, в кресле, сидит мертвая старуха.

Я быстро поворачиваю к ней голову. Старухи в кресле нет. Я смотрю на пустое кресло, и дикая радость наполняет меня. Значит, это все был сон. Но только где же он начался? Входила ли старуха вчера в мою комнату? Может быть, это тоже был сон? Я вернулся вчера домой, потому что забыл выключить электрическую печку. Но, может быть, и это был сон? Во всяком случае, как хорошо, что у меня в комнате нет мертвой

старухи и, значит, не надо идти к управдому и возиться с покойником!

Однако сколько же времени я спал? Я посмотрел на часы: половина десятого, должно быть утра.

Господи! Чего только не приснится во сне!

Я спустил ноги с кушетки, собираясь встать, и вдруг увидел мертвую старуху, лежащую на полу за столом, возле кресла. Она лежала лицом вверх, и вставная челюсть, выскочив изо рта, впилась одним зубом старухе в ноздрю. Руки подвернулись под туловище, и их не было видно, а из-под задравшейся юбки торчали костлявые ноги в белых, грязных шерстяных чулках.

— Сволочь! — крикнул я и, подбежав к старухе, ударил ее сапогом по подбородку.

Вставная челюсть отлетела в угол. Я хотел ударить старуху еще раз, но побоялся, чтобы на теле не остались знаки, а то еще потом решат, что это я убил ее.

Я отошел от старухи, сел на кушетку и закурил трубку. Так прошло минут двадцать. Теперь мне стало ясно, что все равно дело передадут в уголовный розыск и следственная бестолочь обвинит меня в убийстве. Положение выходит серьезное, а тут еще этот удар сапогом.

Я подошел опять к старухе, наклонился и стал рассматривать ее лицо. На подбородке было маленькое темное пятнышко. Нет, придраться нельзя. Мало ли что? Может быть, старуха еще при жизни стукнулась обо что-нибудь? Я немного успокаиваюсь и начинаю ходить по комнате, куря трубку и обдумывая свое положение.

Я хожу по комнате и начинаю чувствовать голод все сильнее и сильнее. От голода я начинаю даже дрожать. Я еще раз шарю в шкапике, где хранится у меня провизия, но ничего не нахожу, кроме куска сахара.

Я вынимаю свой бумажник и считаю деньги. Одинадцать рублей. Значит, я могу купить себе ветчинной колбасы и хлеб и еще останется на табак.

Я поправляю сбившийся за ночь галстук, беру часы, надеваю куртку, выхожу в коридор, тщательно запираю дверь своей комнаты, кладу ключ себе в карман и выхожу на улицу. Надо раньше всего поесть, тогда мысли будут яснее и тогда я предприму что-нибудь с этой падалью.

По дороге в магазин мне приходит в голову: не зайти ли мне к Сакердону Михайловичу и не рассказать ли ему все, может быть вместе мы скорее при-

думаем, что делать. Но я тут же отклоняю эту мысль, потому что некоторые вещи надо делать одному, без свидетелей.

В магазине не было ветчинной колбасы, и я купил себе полкило сарделек. Табака тоже не было. Из магазина я пошел в булочную.

В булочной было много народу, и в кассе стояла длинная очередь. Я сразу нахмурился, но все-таки в очередь стал. Очередь подвигалась очень медленно, а потом и вовсе остановилась, потому что у кассы произошел какой-то скандал.

Я делал вид, что ничего не замечаю, и смотрел в спину молоденькой дамочки, которая стояла в очереди передо мной. Дамочка была, видно, очень любопытной: она вытягивала шейку то вправо, то влево и поминутно становилась на цыпочки, чтобы лучше разглядеть, что происходит у кассы. Наконец она повернулась ко мне и спросила:

— Вы не знаете, что там происходит?

— Простите, не знаю, — сказал я как можно суше.

Дамочка повертелась в разные стороны и наконец опять обратилась ко мне:

— Вы не могли бы пойти и выяснить, что там происходит?

— Простите, меня это несколько не интересует, — сказал я еще суше.

— Как не интересует? — воскликнула дамочка. — Ведь вы же сами задерживаетесь из-за этого в очереди!

Я ничего не ответил и только слегка поклонился. Дамочка внимательно посмотрела на меня.

— Это, конечно, не мужское дело стоять в очередях за хлебом, — сказала она. — Мне жалко вас, вам приходится тут стоять. Вы, должно быть, холостой?

— Да, холостой! — ответил я, несколько сбитый с толку, но по инерции продолжая отвечать довольно сухо и при этом слегка кланяясь.

Дамочка еще раз осмотрела меня с головы до ног и вдруг, притронувшись пальцем к моему рукаву, сказала:

— Давайте я куплю, что вам нужно, а вы подождите меня на улице.

Я совершенно растерялся.

— Благодарю вас, — сказал я. — Это очень мило с вашей стороны, но, право, я мог бы и сам.

— Нет, нет, — сказала дамочка, — ступайте на улицу. Что вы собирались купить?

— Видите ли, — сказал я, — я собирался купить полкило черного хлеба, но только формового, того, который дешевле. Я его больше люблю.

— Ну, вот и хорошо, — сказала дамочка. — А теперь идите. Я куплю, а потом рассчитаемся.

И она даже слегка подтолкнула меня под локоть.

Я вышел из булочной и встал у самой двери. Бесеннее солнце светит мне прямо в лицо. Я закуриваю трубку. Какая милая дамочка! Это теперь так редко. Я стою, жмурюсь от солнца, курю трубку и думаю о милой дамочке. Ведь у нее светлые карие глазки. Просто прелесть какая она хорошенькая!

— Вы курите трубку? — слышу я голос рядом с собой. Милая дамочка протягивает мне хлеб.

— О, бесконечно вам благодарен, — говорю я, беря хлеб.

— А вы курите трубку! Это мне страшно нравится, — говорит милая дамочка.

И между нами происходит следующий разговор:

Она: Вы, значит, сами ходите за хлебом?

Я: Не только за хлебом; я себе все сам покупаю.

Она: А где же вы обедаете?

Я: Обыкновенно я сам варю себе обед. А иногда ем в пивной.

Она: Вы любите пиво?

Я: Нет, я больше люблю водку.

Она: Я тоже люблю водку.

Я: Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с вами вместе выпить.

Она: И я тоже хотела бы выпить с вами водки.

Я: Простите, можно вас спросить об одной вещи?

Она (*сильно покраснев*): Конечно, спрашивайте.

Я: Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога?

Она (*удивленно*): В Бога? Да, конечно.

Я: А что вы скажете, если нам сейчас купить водку и пойти ко мне. Я живу тут рядом.

Она (*задорно*): Ну что ж, я согласна.

Я: Тогда идемте.

Мы заходим в магазин, и я покупаю пол-литра водки. Больше у меня денег нет, какая-то только мелочь. Мы все время говорим о разных вещах, и вдруг я вспоми-

наю, что у меня в комнате, на полу, лежит мертвая старуха.

Я оглядываюсь на мою новую знакомую: она стоит у прилавка и рассматривает банки с вареньем. Я осторожно пробираюсь к двери и выхожу из магазина. Как раз против магазина останавливается трамвай. Я вскакиваю в трамвай, даже не посмотрев на его номер. На Михайловской улице я вылезая и иду к Сакердону Михайловичу. У меня в руках бутылка с водкой, сардельки и хлеб.

Сакердон Михайлович сам открыл мне двери. Он был в халате, накинутом на голое тело, в русских сапогах с отрезанными голенищами и в меховой с наушниками шапке, но наушники были подняты и завязаны на макушке бантом.

— Очень рад, — сказал Сакердон Михайлович, увидя меня.

— Я не оторвал вас от работы? — спросил я.

— Нет, нет, — сказал Сакердон Михайлович. — Я ничего не делал, а просто сидел на полу.

— Видите ли, — сказал я Сакердону Михайловичу, — я к вам пришел с водкой и закуской. Если вы ничего не имеете против, давайте выпьем.

— Очень хорошо, — сказал Сакердон Михайлович. — Вы входите.

Мы прошли в его комнату. Я откупорил бутылку с водкой, а Сакердон Михайлович поставил на стол две рюмки и тарелку с вареным мясом.

— Тут у меня сардельки, — сказал я. — Так как мы будем их есть: сырыми или будем варить?

— Мы их поставим варить, — сказал Сакердон Михайлович, — а пока они варятся, мы будем пить водку под вареное мясо. Оно из супа, превосходное вареное мясо!

Сакердон Михайлович поставил на керосинку кастрюльку, и мы сели пить водку.

— Водку пить полезно, — говорил Сакердон Михайлович, наполняя рюмки. — Мечников писал, что водка полезнее хлеба, а хлеб — это только солома, которая гниет в наших желудках.

— Ваше здоровье! — сказал я, чокаясь с Сакердоном Михайловичем.

Мы выпили и закусили холодным мясом.

— Вкусно, — сказал Сакердон Михайлович. Но в это мгновение в комнате что-то резко щелкнуло.

— Что это? — спросил я.

Мы сидели молча и прислушивались. Вдруг щелкнуло еще раз. Сакердон Михайлович вскочил со стула и, подбежав к окну, сорвал занавеску.

— Что вы делаете? — крикнул я.

Но Сакердон Михайлович, не отвечая мне, кинулся к керосинке, схватил занавеской кастрюльку и поставил ее на пол.

— Черт побери! — сказал Сакердон Михайлович. — Я забыл в кастрюльку налить воды, а кастрюлька эмалированная, и теперь эмаль отскочила.

— Все понятно, — сказал я, кивая головой.

Мы опять сели за стол.

— Черт с ними, — сказал Сакердон Михайлович, — мы будем есть сардельки сырыми.

— Я страшно есть хочу, — сказал я.

— Кушайте, — сказал Сакердон Михайлович, пододвигая мне сардельки.

— Ведь я последний раз ел вчера, с вами в подвальчике, и с тех пор ничего еще не ел, — сказал я.

— Да, да, да, — сказал Сакердон Михайлович.

— Я все время писал, — сказал я.

— Черт побери! — утрированно вскричал Сакердон Михайлович. — Приятно видеть перед собой гения.

— Еще бы! — сказал я.

— Много, поди, наваляли? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да, — сказал я, — исписал пропасть бумаги.

— За гения наших дней, — сказал Сакердон Михайлович, поднимая рюмку.

Мы выпили, Сакердон Михайлович ел вареное мясо, а я — сардельки. Съев четыре сардельки, я закурил трубку и сказал:

— Вы знаете, я ведь к вам пришел, спасаясь от преследования.

— Кто же вас преследовал? — спросил Сакердон Михайлович.

— Дама, — сказал я. Но так как Сакердон Михайлович ничего меня не спросил, а только молча налил в рюмку водку, то я продолжал:

— Я с ней познакомился в булочной и сразу влюбился.

— Хороша? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да, — сказал я, — в моем вкусе.

Мы выпили, и я продолжал:

— Она согласилась идти ко мне пить водку. Мы зашли в магазин, но из магазина мне пришлось потихоньку удрать.

— Не хватило денег? — спросил Сакердон Михайлович.

— Нет, денег хватило в обрез, — сказал я, — но я вспомнил, что не могу пустить ее в свою комнату.

— Что же, у вас в комнате была другая дама? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да, если хотите, у меня в комнате находится другая дама, — сказал я, улыбаясь. — Теперь я никого к себе в комнату не могу пустить.

— Женитесь. Будете приглашать меня к обеду, — сказал Сакердон Михайлович.

— Нет, — сказал я, фыркая от смеха. — На этой даме я не женюсь.

— Ну, тогда женитесь на той, которая из булочной, — сказал Сакердон Михайлович.

— Да что вы все хотите меня женить? — сказал я.

— А что же? — сказал Сакердон Михайлович, наполняя рюмки. — За ваши успехи!

Мы выпили. Видно, водка начала оказывать на нас свое действие. Сакердон Михайлович снял свою меховую с наушниками шапку и швырнул ее на кровать. Я встал и прошелся по комнате, ощущая уже некоторое головокружение.

— Как вы относитесь к покойникам? — спросил я Сакердона Михайловича.

— Совершенно отрицательно, — сказал Сакердон Михайлович. — Я их боюсь.

— Да, я тоже терпеть не могу покойников, — сказал я. — Подвернись мне покойник, и не будь он мне родственником, я бы, должно быть, пнул бы его ногой.

— Не надо лягать мертвецов, — сказал Сакердон Михайлович.

— А я бы пнул его сапогом прямо в морду, — сказал я. — Терпеть не могу покойников и детей.

— Да, дети — гадость, — согласился Сакердон Михайлович.

— А что, по-вашему, хуже: покойники или дети? — спросил я.

— Дети, пожалуй, хуже, они чаще мешают нам. А покойники все-таки не врываются в нашу жизнь, — сказал Сакердон Михайлович.

— Врываюся! — крикнул я и сейчас же замолчал. Сакердон Михайлович внимательно посмотрел на меня.

— Хотите еще водки? — спросил он.

— Нет, — сказал я, но, спохватившись, прибавил: — Нет, спасибо, я больше не хочу.

Я подошел и сел опять за стол. Некоторое время мы молчим.

— Я хочу спросить вас, — говорю я наконец. — Вы веруете в Бога?

У Сакердона Михайловича появляется на лбу поперечная морщина, и он говорит:

— Есть неприличные поступки. Неприлично спросить у человека пятьдесят рублей в долг, если вы видели, как он только что положил себе в карман двести. Его дело: дать вам деньги или отказать; и самый удобный и приятный способ отказа — это соврать, что денег нет. Вы же видели, что у того человека деньги есть, и тем самым лишили его возможности вам просто и приятно отказать. Вы лишили его права выбора, а это свинство. Это неприличный и бестактный поступок. И спросить человека: «Веруете ли вы в Бога?» — тоже поступок бестактный и неприличный.

— Ну, — сказал я, — тут уж нет ничего общего.

— А я и не сравниваю, — сказал Сакердон Михайлович.

— Ну хорошо, — сказал я, — оставим это. Извините только меня, что я задал вам такой неприличный и бестактный вопрос.

— Пожалуйста, — сказал Сакердон Михайлович. — Ведь я просто отказался отвечать вам.

— Я бы тоже не ответил, — сказал я, — да только по другой причине.

— По какой же? — вяло спросил Сакердон Михайлович.

— Видите ли, — сказал я, — по-моему, нет верующих или неверующих людей. Есть только желающие верить и желающие не верить.

— Значит, те, что желают не верить, уже во что-то верят? — сказал Сакердон Михайлович. — А те, что желают верить, уже заранее не верят ни во что?

— Может быть, и так, — сказал я. — Не знаю.

— А верят или не верят во что? в Бога? — спросил Сакердон Михайлович.

— Нет, — сказал я, — в бессмертие.

— Тогда почему же вы спросили меня, верую ли я в Бога?

— Да просто потому, что спросить: «Верите ли вы в бессмертие?» — звучит как-то глупо, — сказал я Сакердону Михайловичу и встал.

— Вы что, уходите? — спросил меня Сакердон Михайлович.

— Да, — сказал я, — мне пора.

— А что же водка? — сказал Сакердон Михайлович. — Ведь и осталось-то всего по рюмке.

— Ну, давайте допьем, — сказал я.

Мы допили водку и закусили остатками вареного мяса.

— А теперь я должен идти, — сказал я.

— До свидания, — сказал Сакердон Михайлович, провожая меня через кухню на лестницу. — Спасибо за угощение.

— Спасибо вам, — сказал я, — до свидания.

И я ушел.

Оставшись один, Сакердон Михайлович убрал со стола, закинул на шкаф пустую водочную бутылку, надел опять на голову свою меховую с наушниками шапку и сел под окном на пол. Руки Сакердон Михайлович заложил за спину, и их не было видно. А из-под задравшегося халата торчали голые костлявые ноги, обутые в русские сапоги с отрезанными голенищами.

Я шел по Невскому, погруженный в свои мысли. Мне надо сейчас же пройти к управдому и рассказать ему все. А разделившись со старухой, я буду целые дни стоять около булочной, пока не встречу ту милую дамочку. Ведь я остался ей должен за хлеб 48 коп. У меня есть прекрасный предлог ее разыскивать. Выпитая водка продолжала еще действовать, и казалось, что все складывается очень хорошо и просто.

На Фонтанке я подошел к ларьку и на оставшуюся мелочь выпил большую кружку хлебного кваса. Квас был плохой и кислый, и я пошел дальше с мерзким вкусом во рту.

На углу Литейной какой-то пьяный, пошатнувшись, толкнул меня. Хорошо, что у меня нет револьвера: я убил бы его тут же на месте.

До самого дома я шел, должно быть, с искаженным от злости лицом. Во всяком случае, почти все встречные оборачивались на меня.

Я вошел в домовую контору. На столе сидела низкорослая, грязная, курносая, кривая и белобрысая девка и, глядясь в ручное зеркальце, мазала себе помадой губы.

— А где же управдом? — спросил я.

Девка молчала, продолжая мазать губы.

— Где управдом? — повторил я резким голосом.

— Завтра будет, не сегодня, — отвечала грязная, курносая, кривая и белобрысая девка.

Я вышел на улицу. По противоположной стороне шел инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Шесть мальчишек бежало за инвалидом, передразнивая его походку.

Я завернул в свою парадную и стал подниматься по лестнице. На втором этаже я остановился; противная мысль пришла мне в голову: ведь старуха должна начать разлагаться. Я не закрыл окна, а говорят, что при открытом окне покойники разлагаются быстрее. Вот ведь глупость какая! И этот чертов управдом будет только завтра! Я постоял в нерешительности несколько минут и стал подниматься дальше.

Около двери в свою квартиру я опять остановился. Может быть, пойти к булочной и ждать там ту милую дамочку? Я бы стал умолять ее пустить меня к себе на две или три ночи. Но тут я вспоминаю, что сегодня она уже купила хлеб и, значит, в булочную не придет. Да и вообще из этого ничего бы не вышло.

Я отпер дверь и вошел в коридор. В конце коридора горел свет, и Марья Васильевна, держа в руках какую-то тряпку, терла по ней другой тряпкой. Увидя меня, Марья Васильевна крикнула:

— Ваш спрашивал какой-то штарик!

— Какой старик? — сказал я.

— Не жнаю, — отвечала Марья Васильевна.

— Когда это было? — спросил я.

— Тоже не жнаю, — сказала Марья Васильевна.

— Вы разговаривали со стариком? — спросил я Марью Васильевну.

— Я, — отвечала Марья Васильевна.

— Так как же вы не знаете, когда это было? — сказал я.

— Чиша два тому назад,— сказала Марья Васильевна.

— А как этот старик выглядел? — спросил я.

— Тоже не жнаю,— сказала Марья Васильевна и ушла на кухню.

Я пошел к своей комнате.

«Вдруг,— подумал я,— старуха исчезла. Я войду в комнату, а старухи-то и нет. Боже мой! Неужели чудес не бывает?!»

Я отпер дверь и начал ее медленно открывать. Может быть, это только показалось, но мне в лицо пахнул приторный запах начавшегося разложения. Я заглянул в приотворенную дверь и на мгновение застыл на месте. Старуха на четвереньках медленно ползла ко мне навстречу.

Я с криком захлопнул дверь, повернул ключ и отскокил к противоположной стенке.

В коридоре появилась Марья Васильевна.

— Вы меня жвали? — спросила она.

Меня так трясло, что я ничего не мог ответить и только отрицательно замотал головой. Марья Васильевна подошла поближе.

— Вы ш кем-то ражговаривали,— сказала она.

Я опять отрицательно замотал головой.

— Шумашедший,— сказала Марья Васильевна и опять ушла на кухню, несколько раз, по дороге, оглянувшись на меня.

«Так стоять нельзя. Так стоять нельзя», — повторил я мысленно. Эта фраза сама собой сложилась где-то внутри меня. Я твердил ее до тех пор, пока она не дошла до моего сознания.

— Да, так стоять нельзя,— сказал я себе, но продолжал стоять как парализованный. Случилось что-то ужасное, но предстояло сделать что-то, может быть, еще более ужасное, чем то, что уже произошло. Вихрь кружил мои мысли, и я только видел злобные глаза мертвой старухи, медленно ползущей ко мне на четвереньках.

Ворваться в комнату и раздробить этой старухе череп. Вот что надо сделать! Я даже поискал глазами и остался доволен, увидя крокетный молоток, неизвестно для чего уже в продолжение многих лет стоящий в углу коридора. Схватить молоток, ворваться в комнату и трах!..

Озноб еще не прошел. Я стоял с поднятыми плечами от внутреннего холода. Мысли мои скакали, путались,

возвращались к исходному пункту и вновь скакали, захватывая новые области, а я стоял и прислушивался к своим мыслям, и был как бы в стороне от них, и был как бы не их командир.

— Покойники, — объясняли мне мои собственные мысли, — народ неважный. Их зря называют *покойники*, они скорее *беспокойники*. За ними надо следить и следить. Спросите любого сторожа из мертвецкой. Вы думаете, он для чего поставлен там? Только для одного: следить, чтобы покойники не расползались. Бывают, в этом смысле, забавные случаи. Один покойник, пока сторож по приказанию начальства мылся в бане, выполз из мертвецкой, заполз в дезинфекционную камеру и съел там кучу белья. Дезинфекторы здорово отлупцевали этого покойника, но за испорченное белье им пришлось расчитываться из своих собственных карманов. А другой покойник заполз в палату рожениц и так перепугал их, что одна роженица тут же произвела преждевременный выкидыш, а покойник набросился на выкинутый плод и начал его, чавкая, пожирать. А когда одна храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, то он укусил эту сиделку за ногу, и она вскоре умерла от заражения гнилым ядом. Да, покойники — народ неважный, и с ними надо быть начеку.

— Стоп! — сказал я своим собственным мыслям. — Вы говорите чушь. Покойники неподвижны.

— Хорошо, — сказали мне мои собственные мысли, — войди тогда в свою комнату, где находится, как ты говоришь, неподвижный покойник.

Неожиданное упрямство заговорило во мне.

— И войду! — сказал я решительно своим собственным мыслям.

— Попробуй! — насмешливо сказали мне мои собственные мысли.

Эта насмешливость окончательно взбесила меня. Я схватил крокетный молоток и кинулся к двери.

— Подожди! — закричали мне мои собственные мысли. Но я уже повернул ключ и распахнул дверь.

Старуха лежала у порога, уткнувшись лицом в пол.

С поднятым крокетным молотком я стоял наготове. Старуха не шевелилась.

Озноб прошел, и мысли мои текли ясно и четко. Я был командиром их.

— Раньше всего — закрыть дверь! — скомандовал я сам себе.

Я вынул ключ с наружной стороны двери и вставил его с внутренней. Я сделал это левой рукой, а в правой я держал крокетный молоток и все время не спускал со старухи глаз. Я запер дверь на ключ и, осторожно переступив через старуху, вышел на середину комнаты.

— Теперь мы с тобой рассчитаемся,— сказал я. У меня возник план, к которому обыкновенно прибегают убийцы из уголовных романов и газетных происшествий; я просто хотел запрятать старуху в чемодан, отвезти ее за город и спустить в болото. Я знал одно такое место.

Чемодан стоял у меня под кушеткой. Я вытащил его и открыл. В нем находились кое-какие вещи: несколько книг, старая фетровая шляпа и рваное белье. Я выложил все это на кушетку.

В это время громко хлопнула наружная дверь, и мне показалось, что старуха вздрогнула.

Я моментально вскочил и схватил крокетный молоток.

Старуха лежит спокойно. Я стою и прислушиваюсь. Это вернулся машинист, я слышу, как он ходит у себя по комнате. Вот он идет по коридору на кухню. Если Марья Васильевна расскажет ему о моем сумасшествии, это будет нехорошо. Чертовщина какая! Надо и мне пройти на кухню и своим видом успокоить их.

Я опять перешагнул через старуху, поставил молоток возле самой двери, чтобы, вернувшись обратно, я бы мог, не входя еще в комнату, иметь молоток в руках, и вышел в коридор. Из кухни неслись голоса, но слов не было слышно. Я прикрыл за собой дверь в свою комнату и осторожно пошел на кухню: мне хотелось узнать, о чем говорит Марья Васильевна с машинистом. Коридор я прошел быстро, а окло кухни замедлил шаги. Говорил машинист, по-видимому, он рассказывал что-то случившееся с ним на работе.

Я вошел. Машинист стоял с полотенцем в руках и говорил, а Марья Васильевна сидела на табурете и слушала. Увидя меня, машинист махнул мне рукой.

— Здравствуйте, здравствуйте, Матвей Филиппович,— сказал я ему и прошел в ванную комнату. Пока все было спокойно. Марья Васильевна привыкла к моим странностям и этот последний случай могла уже и забыть.

Вдруг меня осенило: я не запер дверь. А что, если старуха выползет из комнаты?

Я кинулся обратно, но вовремя спохватился и, чтобы не испугать жильцов, прошел через кухню спокойными шагами.

Марья Васильевна стучала пальцем по кухонному столу и говорила машинисту:

— Ждóрово! Вот это ждóрово! Я бы тоже швиштела!

С замирающим сердцем я вышел в коридор и тут уже чуть не бегом пустился к своей комнате.

Снаружи все было спокойно. Я подошел к двери и, приотворив ее, заглянул в комнату. Старуха по-прежнему спокойно лежала, уткнувшись лицом в пол. Крокетный молоток стоял у двери на прежнем месте. Я взял его, вошел в комнату и запер за собой дверь на ключ. Да, в комнате определенно пахло трупом. Я перешагнул через старуху, подошел к окну и сел в кресло. Только бы мне не стало дурно от этого, пока еще хоть и слабого, но все-таки уже нестерпимого запаха. Я закурил трубку. Меня подташнивало, и немного болел живот.

Ну что же я так сижу? Надо действовать скорее, пока эта старуха окончательно не протухла. Но, во всяком случае, в чемодан ее надо запихивать осторожно, потому что как раз тут-то она и может тяпнуть меня за палец. А потом умирать от трупного заражения — благодарю покорно!

— Эге! — воскликнул я вдруг. — А интересуюсь я: чем вы меня укусите? Зубья-то ваши вон где!

Я перегнулся в кресле и посмотрел в угол по ту сторону окна, где, по моим расчетам, должна была находиться вставная челюсть старухи. Но челюсти там не было.

Я задумался: может быть, мертвая старуха ползала у меня по комнате, ища свои зубы? Может быть, даже нашла их и вставила себе обратно в рот?

Я взял крокетный молоток и пошарил им в углу. Нет, челюсть пропала. Тогда я вынул из комода толстую байковую простыню и подошел к старухе. Крокетный молоток я держал наготове в правой руке, а в левой я держал байковую простыню.

Брезгливый страх к себе вызывала эта мертвая старуха. Я приподнял молотком ее голову: рот был открыт, глаза закатились кверху, а по всему подбородку, куда я ударил ее сапогом, расплзлось большое темное пятно. Я заглянул старухе в рот, нет, она не нашла свою челюсть. Я отпустил голову. Голова упала и стукнулась об пол.

Тогда я расстелил по полу байковую простыню и подтянул ее к самой старухе. Потом ногой и крокетным молотком я перевернул старуху через левый бок на спину. Теперь она лежала на простыне. Ноги старухи были согнуты в коленях, а кулаки прижаты к плечам. Казалось, что старуха, лежа на спине, как кошка, собирается защищаться от нападающего на нее орла. Скорее прочь эту падаль!

Я закатал старуху в толстую простыню и поднял ее на руки. Она оказалась легче, чем я думал. Я опустил ее в чемодан и попробовал закрыть крышкой. Тут я ожидал всяких трудностей, но крышка сравнительно легко закрылась. Я щелкнул чемоданными замками и выпрямился.

Чемодан стоит передо мной, с виду вполне благопристойный, как будто в нем лежит белье и книги. Я взял его за ручку и попробовал поднять. Да, он был, конечно, тяжел, но не чрезмерно, я мог вполне донести его до трамвая.

Я посмотрел на часы: двадцать минут шестого. Это хорошо. Я сел в кресло, чтобы немного передохнуть и выкурить трубку.

Видно, сардельки, которые я ел сегодня, были не очень хороши, потому что живот мой болел все сильнее. А может быть, это потому, что я ел их сырыми? А может быть, боль в животе была и чисто нервной.

Я сижу и курю. И минуты бегут за минутами.

Весеннее солнце светит в окно, и я жмурюсь от его лучей. Вот оно прячется за трубу противостоящего дома, и тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Я вспоминаю, как вчера в это же время я сидел и писал повесть. Вот она: клетчатая бумага, и на ней надпись, сделанная мелким почерком: «Чудотворец был высокого роста».

Я посмотрел в окно. По улице шел инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Двое рабочих и с ними старуха, держась за бока, хохотали над смешной походкой инвалида.

Я встал. Пора! Пора в путь! Пора отвозить старуху на болото! Мне нужно еще занять деньги у машиниста.

Я вышел в коридор и подошел к его двери.

— Матвей Филиппович, вы дома? — спросил я.

— Дома, — ответил машинист.

— Тогда, извините, Матвей Филиппович, вы не богаты деньгами? Я послезавтра получу. Не могли бы вы мне одолжить тридцать рублей?

— Мог бы, — сказал машинист. И я слышал, как он звякал ключами, отпирая какой-то ящик. Потом он открыл дверь и протянул мне новую красную тридцатирублевку.

— Большое спасибо, Матвей Филиппович, — сказал я.

— Не стоит, не стоит, — сказал машинист.

Я сунул деньги в карман и вернулся в свою комнату. Чемодан спокойно стоял на прежнем месте.

— Ну, теперь в путь, без промедления, — сказал я сам себе.

Я взял чемодан и вышел из комнаты.

Марья Васильевна увидела меня с чемоданом и крикнула:

— Куда вы?

— К тетке, — сказал я.

— Шкоро приедете? — спросила Марья Васильевна.

— Да, — сказал я. — Мне нужно только отвезти к тетке кое-какое белье. А приеду, может быть, и сегодня.

Я вышел на улицу. До трамвая я дошел благополучно, неся чемодан то в правой, то в левой руке.

В трамвай я влез с передней площадки прицепного вагона и стал махать кондукторше, чтобы она пришла получить за багаж и билет. Я не хотел передавать единственную тридцатирублевку через весь вагон и не решился оставить чемодан и сам пройти к кондукторше. Кондукторша пришла ко мне на площадку и заявила, что у нее нет сдачи. На первой же остановке мне пришлось слезть.

Я стоял злой и ждал следующего трамвая. У меня болел живот и слегка дрожали ноги.

И вдруг я увидел мою милую дамочку: она переходила улицу и не смотрела в мою сторону.

Я схватил чемодан и кинулся за ней. Я не знал, как ее зовут, и не мог ее окликнуть. Чемодан страшно мешал мне: я держал его перед собой двумя руками и подталкивал его коленями и животом. Милая дамочка шла довольно быстро, и я чувствовал, что мне ее не догнать. Я был весь мокрый от пота и выбивался из сил. Милая дамочка повернула в переулок. Когда я добрался до угла — ее нигде не было.

— Проклятая старуха! — прошипел я, бросая чемодан на землю.

Рукава моей куртки насквозь промокли от пота и липли к рукам. Я сел на чемодан и, вынув носовой платок, вытер им шею и лицо. Двое мальчишек остановились передо мной и стали меня рассматривать. Я сделал спокойное лицо и пристально смотрел на ближайшую подворотню, как бы поджидая кого-то. Мальчишки шептались и показывали на меня пальцами. Дикая злоба душила меня. Ах, напустить бы на них столбняк!

И вот из-за этих паршивых мальчишек я встаю, поднимаю чемодан, подхожу к подворотне и заглядываю туда. Я делаю удивленное лицо, достаю часы ижимаю плечами. Мальчишки издали наблюдают за мной. Я еще разжимаю плечами и заглядываю в подворотню.

— Странно,— говорю я вслух, беру чемодан и тащу его к трамвайной остановке.

На вокзал я приехал без пяти минут семь. Я беру обратный билет до Лисьего Носа и сажусь в поезд.

В вагоне кроме меня еще двое. Один, как видно, рабочий, он устал и, надвинув кепку на глаза, спит. Другой, еще молодой парень, одет деревенским франтом: под пиджаком у него розовая косоворотка, а из-под кепки торчит курчавый кок. Он курит папироску, всунутую в ярко-зеленый мундштук из пластмассы.

Я ставлю чемодан между скамейками и сажусь. В животе у меня такие рези, что я сжимаю кулаки, чтобы не застонать от боли.

По платформе два милиционера ведут какого-то гражданина в пикет. Он идет, заложив руки за спину и опустив голову.

Поезд трогается. Я смотрю на часы: десять минут восьмого.

О, с каким удовольствием спущу я эту старуху в болото! Жаль только, что я не захватил с собой палку, должно быть, старуху придется подталкивать.

Франт в розовой косоворотке нахально разглядывает меня. Я поворачиваюсь к нему спиной и смотрю в окно.

В моем животе происходят ужасные схватки; тогда я стискиваю зубы, сжимаю кулаки и напрягаю ноги.

Мы проезжаем Ланскую и Новую Деревню. Вон мелькает золотая верхушка Буддийской пагоды, а вон показалось море.

Но тут я вскакиваю и, забыв все вокруг, мелкими шажками бегу в уборную. Безумная волна качает и вертит мое сознание...

Поезд замедляет ход. Мы подъезжаем к Лахте. Я сижу, боясь пошевелиться, чтобы меня не выгнали на остановке из уборной.

— Скорей бы он трогался! Скорей бы он трогался!

Поезд трогается, и я закрываю глаза от наслаждения. О, эти минуты бывают столь же сладки, как мгновения любви! Все силы мои напряжены, но я знаю, что за этим последует страшный упадок.

Поезд опять останавливается. Это Ольгино. Значит, опять эта пытка!

Но теперь это ложные позывы. Холодный пот выступает у меня на лбу, и легкий холодок порхает вокруг моего сердца. Я поднимаюсь и некоторое время стою, прижавшись головой к стене. Поезд идет, и покачивание вагона мне очень приятно.

Я собираю все свои силы и, пошатываясь, выхожу из уборной.

В вагоне нет никого. Рабочий и франт в розовой косоворотке, видно, слезли на Лахте или в Ольгино. Я медленно иду к своему окошку.

И вдруг я останавливаюсь и тупо гляжу перед собой. Чемодана, там, где я его оставил, нет. Должно быть, я ошибся окном. Я прыгаю к следующему окошку. Чемодана нет. Я прыгаю назад, вперед, я пробегаю вагон в обе стороны, заглядываю под скамейки, но чемодана нигде нет.

Да разве можно тут сомневаться? Конечно, пока я был в уборной, чемодан украли. Это можно было предвидеть!

Я сижу на скамейке с вытаращенными глазами, и мне почему-то вспоминается, как у Сакердона Михайловича с треском отскакивала эмаль от раскаленной кастрюльки.

— Что же случилось? — спрашиваю я сам себя. — Ну кто теперь поверит, что я не убивал старухи? Меня сегодня же схватят, тут или в городе на вокзале, как того гражданина, который шел, опустив голову.

Я выхожу на площадку вагона. Поезд подходит к Лисьему Носу. Мелькают белые столбики, ограждающие дорогу. Поезд останавливается. Ступеньки моего вагона не доходят до земли. Я соскакиваю и иду к стан-

ционному павильону. До поезда, идущего в город, еще пол часа.

Я иду в лесок. Вот кустики можжевельника, за ними меня никто не увидит. Я направляюсь туда.

По земле ползет большая зеленая гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю ее пальцами. Она сильно и жилисто складывается несколько раз в одну и в другую сторону.

Я оглядываюсь. Никто меня не видит. Легкий трепет бежит по моей спине.

Я низко склоняю голову и негромко говорю:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь .

На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянута.

*Конец мая и первая половина
июня 1939*

**НИКОЛАЙ
ОЛЕЙНИКОВ**

НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА

Ты устал от любовных утех,
Надоели утехи тебе!
Вызывают они только смех
На твоей на холеной губе.

Ты приходишь печальный в отдел,
И отдел замечает, что ты
Побледнел, подурнел, похудел,
Как бледнеть могут только цветы!

Ты — цветок! Тебе нужно полнеть,
Осыпаться пылью и для женщин цвести...
Дай им, дай им возможность иметь
Из тебя и венки, и гирлянды плести.

Ты как птица, вернее, как птичка
Должен пикать, вспорхнувши в ночи.
Это пиканье станет красивой привычкой...
Ты ж молчишь... Не молчи... не молчи...

1926

КАРАСЬ

Н. С. Болдыревой

Жареная рыба,
Дорогой карась,
Где ж ваша улыбка,
Что была вчерась?

Жареная рыба,
Бедный мой карась,

Вы ведь жить могли бы,
Если бы не страсть.

Что же вас сгубило,
Бросило сюда,
Где не так уж мило,
Где сковорода?

Помню вас ребенком,
Хохотали вы,
Хохотали звонко
Под водой Невы.

Карасихи-дамочки
Обожали вас —
Чешую да ямочки
Да ваш рыбий глаз.

Бюстики у рыбок —
Просто красота!
Трудно без улыбок
В те смотреть места.

Но однажды утром
Встретилась вам
В блеске перламутра
Дивная мадам.

Дама та сманила
Вас к себе в домок,
Но у той у дамы
Слабый был умок.

С кем имеет дело,
Ах, не поняла,
Соблазнивши, смело
С дому прогнала.

И решил несчастный
Тотчас умереть.
Ринулся он, страстный,
Ринулся он в сеть.

Злые люди взяли
Рыбку из сетей,

На плиту послали
Просто, без затей.

Ножиком вспороли,
Вырвали кишки,
Посолили солью,
Всыпали муки.

А ведь жизнь прекрасной
Рисовалась вам,
Вы считались страстным
Попромежду дам...

Белая смородина,
Черная беда!
Не гулять карасику
С милой никогда.

Не ходить карасику
Теплою водой,
Не смотреть на часики,
Торопясь к другой.

Плавниками-перышками
Он не шевельнет.
Свою любу «корюшкой»
Он не назовет.

Так шуми же, мутная
Невская вода!
Не поплыть карасику
Больше никуда!

1927

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ниточка, иголочка,
Булавочка, утюг...
Ты моя двуколочка,
А я твой битюг.

Ты моя колясочка,
Розовый букет,
У тебя есть крылышки,
У меня их нет.

Женщинам в отличие
Крылышки даны!
В это неприличие
Все мы влюблены.

Полюби, красавица,
Полюби меня,
Если тебе нравится
Песенка моя.

〈1928〉

КОРОТКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Тянется ужин.
Блещет бокал.
Пищей нагружен,
Я задремал.

Вижу: напротив
Дама сидит.
Прямо не дама,
А динамит!

Гладкая кожа.
Ест не спеша...
Боже мой, Боже,
Как хороша!

Я поднимаюсь
И говорю:
— Я извиняюсь,
Но я горю!

〈1928〉

* * *

К. И. Чуковскому от автора

I

Муха жила в лесу,
Муха пила росу,
Нюхала муха цветы

ТАРАКАН

Таракан попался в стакан.

Достоевский

Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосет.
Он попался. Он в капкане.
И теперь он казни ждет.

Он печальными глазами
На диван бросает взгляд,
Где с ножами, с топорами
Вивисекторы сидят.

У стола лекпом хлопочет,
Инструменты протирая,
И под нос себе бормочет
Песню «Тройка удалая».

Трудно думать обезьяне,
Мыслей нет — она поет.
Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосет.

Таракан к стеклу прижался
И глядит, едва дыша...
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.

Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печенки, кости, сало —
Вот что душу образует.

Есть всего лишь сочлененья,
А потом соединенья.

Против выводов науки
Невозможно устоять.
Таракан, сжимая руки,
Приготовился страдать.

Вот палач к нему подходит,
И, ощутив ему грудь,
Он под ребрами находит
То, что следует проткнуть.

И, проткнувши, набок валит
Таракана, как свинью.
Громко ржет и зубы скалит,
Уподобленный коню.

И тогда к нему толпою
Вивисекторы спешат.
Кто щипцами, кто рукою
Таракана потрошат.

Сто четыре инструмента
Рвут на части пациента.
От увечий и от ран
Помирает таракан.

Он внезапно холодеет,
Его веки не дрожат...
Тут опомнились злодеи
И попятились назад.

Все в прошедшем — боль, невзгоды.
Нету больше ничего.
И подпочвенные воды
Вытекают из него.

Там, в щели большого шкапа,
Всеми кинутый, один,
Сын лепечет: «Папа, Папа!»
Бедный сын.

Но отец его не слышит,
Потому что он не дышит.

И стоит над ним лохматый
Вивисектор удалой,
Безобразный, волосатый,
Со щипцами и пилой.

Ты, подлец, носящий брюки,
Знай, что мертвый таракан —
Это мученик науки,
А не просто таракан.

Сторож грубою рукою
Из окна его швырнет,

И во двор вниз головою
Наш голубчик упадет.

На затоптанной дорожке
Возле самого крыльца
Будет он, задравши ножки,
Ждать печального конца.

Его косточки сухие
Будет дождик поливать,
Его глазки голубые
Будет курица клевать.

⟨1934⟩

ОЗАРЕНИЕ

Все пуговицы, все блохи, все предметы что-то значат.
И неспроста одни ползут, другие скачут.
Я различаю в очертаниях неслышимый разговор:
О чем-то сообщает хвост, на что-то намекает
бритвенный прибор.
Тебе селедку подали. Ты рад. Но не спеши ее
отправить в рот.
Гляди, гляди! Она тебе сигналы подает.

1932

НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ГЕНРИХА

Прочь воздержание. Да здравствует отныне
Яйцо куриное с желтком посередине!
И курица да здравствует, и горькая ее печенка,
И огурцы, изъятые из самого крепчайшего бочонка!

И слово чудное «бутылка»
Опять встает передо мной.
Салфетка, перечница, вилка —
Слова, прекрасные собой.

Меня ошеломляет звон стакана
И рюмок водочных безумная игра.
За Генриха, за умницу, за бонвивана
Я пить готов до самого утра.

Упьемся, други! В день его выздоровленья
Не может быть иного времяпровожденья.

Горчицы с уксусом живительным составом
Душа его пусть будет до краев напоена.
Пускай его ногам, и мышцам, и суставам
Их сила будет прежняя и крепость их возвращена.

Последний тост за Генриха, за неугасший пыл,
За все за то, что он любил:
За грудь округлую, за плавные движенья,
За плечи пышные, за ног расположенья.

Но он не должен сочетать куриных ног с бесстыдной
женской ножкой,
Не должен страсть объединять с питательной крупой.
Не может справиться с подобною окрошкой
Красавец наш, наш Генрих дорогой.

Всему есть время, и всему есть мера:
Для папирос — табак, для спичек — сера,
Для возжелания — девица,
Для насыщенья — чечевица!

1932

ГЕНРИХУ ЛЕВИНУ

*(По поводу влюбления
его в Шурочку Любарскую)*

Неприятно в океане
Почему-либо тонуть.
Рыбки плавают в кармане,
Впереди — неясен путь.

Так зачем же ты, несчастный,
В океан страстей попал,
Из-за Шурочки прекрасной
Быть собою перестал?!

Все равно надежды нету
На ответную струю,

Лучше сразу к пистолету
Устремить мечту свою.

Есть печальные примеры —
Ты про них не забывай! —
Как любовные химеры
Привели в загробный край.

Если ты согласишься в сад,
Там почти на каждой ветке
Невеселые сидят,
Будто запертые в клетки,
Наши старые знакомые
Небольшие насекомые:
То есть пчелы, то есть мухи,
То есть те, кто в нашем ухе
Букву «Ж» изготавливали,
Кто летали и кусали
И тебя, и твою Шуру
За роскошную фигуру.

И бледна, и нездорова
Там одна блоха сидит,
По фамилии Петрова,
Некрасивая на вид.

Она бешено влюбилась
В кавалера одного!
Помню, как она резвилась
В предвкушении его.

И глаза ее блестели,
И рука ее звала,
И близка к заветной цели
Эта дамочка была.

Она юбки надевала
Из тончайшего пике,
И стихи она писала
На блошином языке:
И про ножки, и про ручки,
И про всякие там штучки
Насчет похоти и брака...

Оказалось, однако,

Что прославленный милашка
Не котенок, а хам!
В его органах кондрашка,
А в головке тарарам.

Он ее сменял на деву —
Обольстительную мразь —
И в ответ на все напевы
Затоптал ногами в грязь.

И теперь ей все постыло —
И наряды, и белье,
И под лозунгом «могила»
Догорает жизнь ее.

...Страшно жить на этом свете,
В нем отсутствует уют:
Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика грызут,
Улетает птица с дуба,
Ищет мяса для детей,
Провидение же грубо
Преподносит ей червей.

Плачет маленький теленок
Под кинжалом мясника,
Рыба бедная спросонок
Лезет в сети рыбака.

Лев рычит во мраке ночи,
Кошка стонет на трубе,
Жук-буржуй и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе.

Все погибнет, все исчезнет
От бациллы до слона —
И любовь твоя, и песни,
И планеты, и луна.

И блоха, мадам Петрова,
Что сидит к тебе анфас, —
Умереть она готова,
И умрет она сейчас.

Дико прыгает букашка
С беспредельной высоты,
Разбивает лоб бедняжка...
Разобьешь его и ты!

1932

БЫЛЬ, СЛУЧИВШАЯСЯ С АВТОРОМ В Ц. Ч. ОБЛАСТИ

Стихотворение, бичующее разврат

Пришел я в гости, водку пил,
Хозяйкин сдерживая пыл.

Но водка выпита была.
Меня хозяйка увлекла.

Она меня прельщала так:
«Раскинем с вами бивуак,

Поверьте, насмешу я вас:
Я хороша, как тарантас».

От страсти тяжело дыша,
Я раздеваюсь, шурша.

Вступив в опасную игру,
Подумал я: «А вдруг помру?»

Действительно, минуты не прошло,
Как что-то из меня ушло.

Душою было это что-то.
Я умер. Прекратилась органов работа.

И вот, отбросив жизни груз,
Лежу прохладный, как арбуз.

Арбуз разрезан. Он катился,
Он жил — и вдруг остановился.

В нем тихо вянет косточка-блоха,
И капает с него уха.

А ведь не капала когда-то!

Вот каковы они, последствия разврата.

1932

ФРУКТОВОЕ ПИТАНИЕ

Много лет тому назад жила на свете
Дама, подчинившая себя диете.
В интересных закоулках ее тела
Много неподдельного желания кипело.
От желания к желанию переходя,
Родилось у ней красивое дитя.
Год проходит, два проходит, тыща лет.
Красота ее все та же. Изменений нет.
Несмотря, что был ребенок и что он вместо пеленок
Уж давно лежит в гробу,
Да и ей пришлось несладко: и ее снесли, рабу,
И она лежит в могиле, как и все ее друзья —
Представители феодализма — генералы и князья,
Но она лежит, не тлеет,
С каждым часом хорошеет,
Между тем как от князей
Не осталось частей.

«Почему же, — возопит читатель изумленный, —
Сохранила вид она холеный?!
Нам, читателям, неясно,
Почему она прекрасна,
Почему ее сосуды
Крепче каменной посуды?»

Потому что пресловутая покойница
Безубойного питания была поклонница.
В ней микробов не было и нету
С переходом на фруктовую диету.

...Если ты желаешь быть счастливой,
Значит, ты должна питаться сливой,
Или яблоком, или смородиной, или клубникой,
Или земляникой, или ежевикой.
Будь подобна бабочке, которая,
Соками питаясь, не бывает хвора,
Постарайся выключить из своего меню

Рябчика и курицу, куропатку и свинью.
Ты в себя спиртные жидкости не лей,
Молока проклятого по утрам не пей.
Свой желудок апельсином озаряя,
Привлечешь к себе ты кавалеров стаю.
И когда взмахнешь ты благосклонности флажком,
То захочется бежать мне за тобою петушком.

8 сентября 1932

ПОСЛАНИЕ, БИЧУЮЩЕЕ НОШЕНИЕ ОДЕЖДЫ

Меня изумляет, меня восхищает
Природы красивый наряд:
И ветер, как муха, летает,
И звезды, как рыбки, блестят.

Но мух интересней,
Но рыбок прелестней
Прелестная Лиза моя —
Она хороша, как змея!

Возьми поскорей мою руку,
Склонись головою ко мне,
Доверься, змея, политруку —
Я твой изнутри и извне!

Мешают нам наши покровы,
Сорвем их на страх подлецам!
Чего нам бояться? Мы внешне здоровы,
А стройностью торсов близки мы к орлам.

Тому, кто живет как мудрец-наблюдатель,
Намеки природы понятны без слов:
Проходит в штанах обыватель,
Летит соловей без штанов.

Хочу соловьем быть, хочу быть букашкой,
Хочу над тобою летать,
Отбросивши брюки, штаны и рубашку —
Все то, что мешает пылать.

Коровы костюмов не носят.
Верблюды без юбок живут.
Ужель мы глупее в любовном вопросе,
Чем тот же несчастный верблюд?

Поверь, облаченье не скроет
Того, что скрывается в нас;
Особенно если под модным покроем
Горит вождёленья алмаз.

...Ты слышишь, как кровь закипает?
Моя полноценная кровь!
Из наших объятий цветок вырастает
Подмени Наша Любовь.

1932

ЛИДЕ

Человек и части человеческого тела
Выполняют мелкое и незначительное дело:
Для сравнения запахов устроены красивые носы,
И для возбуждения симпатии — усы.
Только Вы одна и Ваши сочлененья
Не имеют пошлого предназначенья.
Ваши ногти не для поднимания иголок,
Пальчики — не для ощупыванья блох,
Чашечки коленные — не для коленок,
А коленки вовсе не для ног.
Недоступное для грохота, шипения и стуков,
Ваше ухо создано для усвоенья высших звуков.
Вы тычинок лишены, и тем не менее
Все же Вы великолепное растение.
И когда я в ручке Вашей вижу ножик или вилку,
У меня мурашки пробегают по затылку.
И боюсь я, что от их неосторожного прикосновения
Страшное произойдет сосудов пораненье.
Если же в гостиной Вашей, разливая чай,
Лида, Вы мне улыбнетесь невзначай —
Я тогда в порыве страсти и смущения
Покрываю поцелуями печенье,
И, дрожа от радости, я кричу Вам, сам не свой:
— Ура, виват, Лидочка, ваше превосходительство мой!

(1932)

ЧРЕВОУГОДИЕ

Баллада

Однажды, однажды
Я вас увидел.
Увидевши дважды,
Я вас обнимал.

А в сотую встречу
Утратил я пыл.
Тогда откровенно
Я вам заявил:

«Без хлеба и масла
Любить я не мог,
Чтоб страсть не погасла,
Пеките пирог!

Смотрите, как вяну
Я день ото дня.
Татьяна, Татьяна,
Кормите меня!

Поите, кормите
Отборной едой,
Пельмени варите,
Горох с ветчиной.

От мяса и кваса
Исполнен огня —
Любить буду нежно,
Красиво, прилежно...
Кормите меня!»

Татьяна выходит,
На кухню идет,
Котлету находит
И мне подает.

...Исполнилось тело
Желаний и сил —
И черное дело
Я вновь совершил.

И снова котлета.
И снова любил,
И так до рассвета
Себя я губил.

Заря занималась,
Когда я заснул,
Под окнами пьяный
Кричал: «Караул!»

Лежал я в постели
Три ночи, три дня,
И кости хрустели
Во сне у меня.

Но вот я проснулся,
Слегка застонал.
И вдруг ужаснулся,
И вдруг задрожал.

Я ногу хватаю —
Нога не бежит,
Я сердце сжимаю —
Оно не стучит.

...Тут я помираю.

Зарытый, забытый,
В земле я лежу,
Попоной покрытый,
От страха дрожу.

Дрожу оттого я,
Что начал я гнить,
Но хочется вдвое
Мне кушать и пить.

Я пищи желаю,
Желаю котлет,
Красивого чаю,
Красивых конфет.

Любви мне не надо,
Не надо страстей,
Хочу лимонаду,
Хочу овощей.

Но нет мне ответа..
Скрипит лишь доска,
Лишь в сердце поэта
Вползает тоска.

Но сердце застынет,
Увы, навсегда,
И, желтая, хлынет
Оттуда вода.

И мир повернется
Другой стороной,
И в тело вопьется
Червяк гробовой.

Октябрь 1932

ПОСЛАНИЕ

*Написано по случаю заболевания автора
раком желудка*

Вчера представлял я собою роскошный сосуд,
А нынче сосут мое сердце, пиявки сосут.

В сосуде моем вместо сельтерской — яд,
Разрушен желудок, суставы скрипят...

Тот скрип нам известен под именем Страсть!
К хорошеньким мышцам твоим разреши мне
припасть.

Быть может, желудок поэта опять расцветет,
Быть может, в сосуде появится мед.

Но мышцы свои мне красotka, увы, не дает,
И снова в сосуде отсутствует мед.

И снова я весь погружаюсь во мрак...
Один лишь мерцает желудок-пошляк.

1932

ПОСЛАНИЕ, ОДОБРЯЮЩЕЕ СТРИЖКУ ВОЛОС

Если птичке хвост отрезать —
Она только запоет.
Если сердце перерезать —
Обязательно умрет!

Ты не птичка, но твой локон —
Это тот же птичий хвост:
Он составлен из волокон,
Из пружинок и волос.

Наподобие петрушки
Разукрашен твой овал,
Покрывает всю макушку
Волокнистый матерьял.

А на самом на затылке
Светлый высыпал пушок.
Он хорошенькие жилки
Покрывает на вершок.

О, зови, зови скорее
Парикмахера Матвея!
Пусть означенный Матвей
На тебя прольет елей¹.

Пусть ножи его стальные
И машинки застучат,
И с твоей роскошной выи
Пух нежнейший удалят.

Где же птичка, где же локон,
Где же чудный птичий хвост,
Где волос мохнатый кокон,
Где пшеница, где овес?

Где растительные злаки,
Обрамлявшие твой лоб,
Где волокна-забияки,
Где петрушка, где укроп?

¹ Под елеем подразумевается одеколон. (Примеч. автора.)

Эти пышные придатки,
Что сверкали час назад,
В живописном беспорядке
На полу теперь лежат.

И дрожит Матвей прекрасный,
Укротитель шевелюры,
Обнажив твой лоб атласный
И ушей архитектуру.

1932

ПОСЛАНИЕ

Ольге Михайловне

Блестит вода холодная в бутылке,
Во мне поползновения блестят.
И если я — судак, то ты подобна вилке,
При помощи которой судака едят.

Я страстию опутан, как катушка,
Я быстро чахну, сам не свой,
При появлении твоём дрожу, как стружка...
Ты ж отрицательно качаешь головой.

Смешна тебе любви и страсти позолота —
Тебя влечет научная работа.

Я вижу, как глаза твои над книгами нависли.
Я слышу шум. То знания твои шумят!
В хорошенькой головке шевелятся мысли,
Под волосами пышными они кишмя кишат.

Так в роще куст стоит, наполненный движеньем.
В нём чижик воду пьёт, забывши стыд.
В нём бабочка, закрыв глаза, поёт в самозабвенье,
И все стремится и летит.

И я хотел бы стать таким навек,
Но я не куст, а человек.

На голове моей орлы гнезда не вили,
Кукушка не предсказывала лет...

Люби меня, как все любили,
За то, что гений я, а не клевет!

Я верю: к шалостям твой организм вернется.
Бери меня, красавица, — я твой!
В груди твоей пусть сердце повернется
Ко мне своею лучшей стороной.

1932

ШУРЕ ЛЮБАРСКОЙ

Верный раб твоих велений,
Я влюблен в твои колени
И в другие части ног
От бедра и до сапог.

Хороши твои лодыжки,
И ступни, и шенкеля,
Твои ноги-шалунишки,
Твои пятки-штемпеля!

Если их намазать сажей
И потом к ним приложить
Небольшой листок бумажный —
Можно оттиск получить!

Буду эту я бумажку
Регулярно целовать
И, как белую ромашку,
Буду к сердцу прижимать.

Я пойду туда, где роза
Среди дудочек растет,
Где из пестиков глюкоза
В виде нектара течет.

Эта роза — ваше ухо,
Так же свернуто оно,
Тот же контур, так же сухо
По краям обведено.

Это ухо я срываю
И шепчу в него, дрожа,

Как люблю я и страдаю
Из-за вас, моя душа.

И различные создания
Всех размеров и мастей
С очевидным состраданием
Внемлют повести моей.

Вот платком слезу стирает
Лицемерная пчела,
Тихо птица вылетает
Из секретного дупла.

И летит она, и плачет,
И качает головой —
Значит, жалко ей, и, значит,
Не такой уж я плохой.

Видишь, как природа внемлет
Вождениям моим,
Лишь твое сознание дремлет,
Оставаясь глухим.

Птица с красными глазами
Совершает свой полет,
Плачет горькими слезами
Человечества оплот.

Кто оплот? Конечно, я.
Значит, плачу тоже я!

Почему я плачу, Шура?
Очень просто: из-за вас.
Ваша чуткая натура
Привела меня в экстаз.

От экстаза я болею,
Сновидения имею,
Ничего не пью, не ем
И хUDEЮ вместе с тем.

Вижу смерти приближенье,
Вижу мрак со всех сторон
И предсмертное круженье
Насекомых и ворон.

Хлещет вверх моя глюкоза!
В час последний, роковой
В виде уха, в виде розы
Появись передо мной.

21 июня 1932

**ПОСЛАНИЕ,
БИЧУЮЩЕЕ НОШЕНИЕ
ДЛИННЫХ ПЛАТЬЕВ И ЮБОК**

Наташе Шварц

Веществ во мне немало:
Во мне текут жиры,
Я сделан из крахмала,
Я соткан из икры.

Но есть икра другая —
Другая, не моя,
Другая, дорогая...
Одним словом — твоя.

Икра твоя роскошна,
Но есть ее нельзя,
Ее лишь трогать можно,
Безнравственно скользя.

Икра твоя гнездится
В хорошеньких ногах,
Под платьицем из ситца
Скрываясь, как монах.

Монахов нам не надо,
Религию долой!
Для пламенного взгляда
Икру свою открой.

Чтоб солнце освещало
Вместилище страстей,
Чтоб ножка не увяла
И ты совместно с ней.

Вы, техники, создавшие сачок — для бабочек капкан, —
Изобретатели застежек, пуговиц, петличек
И ты, создатель соуса „пикант“!
Бирюльки чудные — идеи ваши — мне всего дороже!
Они томят мой ум, прельщают взор...
Хвала тому, кто сделал пуделя на льва похожим
И кто придумал должность — контролер!

⟨1932⟩

СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ

Я описал кузнечика, я описал пчелу,
Я птиц изобразил в разрезах полагающихся,
Но где мне силы взять, чтоб описать смолу
Твоих волос, на голове располагающихся.
Увы, не та во мне уж сила,
Которая девиц, как смерть, косила.

И я не тот. Я перестал безумствовать и пламенеть.
И прежняя в меня не лезет снесь.
Давно уж не ночуют утки
В моем разрушенном желудке,
И мне не дороги теперь любовные страданья —
Меня влекут к себе основы мирозданья.

Я стал задумываться над пшеном,
Зубные порошки меня волнуют,
Я увеличиваю бабочку увеличительным стеклом —
Строенье бабочки меня интересует.

Везде преследуют меня — и в учреждении, и на
бульваре —

Заветные мечты о скипидаре.
Мечты о спичках, мысли о клопах,
О разных маленьких предметах,
Какие механизмы спрятаны в жуках,
Какие силы действуют в конфетах.
Я понял, что такое рожки,
Зачем грибы в рассол погружены,
Какой имеют смысл телеги, беговые дрожки
И почему в глазах коровы отражаются окошки,
Когда они ей вовсе не нужны.

Любовь пройдет. Обманет страсть. Но лишена обмана
Волшебная структура таракана.

О тараканьи растопыренные ножки, которых шесть!
Они о чем-то говорят, они по воздуху каракулями

пишут,
Их очертания полны значенья тайного... Да, в таракане
что-то есть,

Когда он лапкой двигает и усиком колышет!

...А где же дамочки, вы спросите, где милые подружки,
Делившие со мною мой ночной досуг,

Телосложением напоминавшие графинчики, кадушки —
Куда они девались вдруг?

Иных уж нет, а те далече —

Сгорели все они, как свечи,

А я горю другим огнем, иным желанием —

Я вырабатываю миросозерцание!

Еще зовут меня на новые великие дела

Лесной травы разнообразные тела.

В траве жуки проводят время в занимательной беседе,

Спешит кузнечик на своем велосипеде.

Запутавшись в строении цветка,

Бежит по венчику ничтожная мурашка.

Бежит... бежит... я вижу резвость эту, и меня берет

тоска.

Мне тяжело!

Я вспоминаю дни, когда я свежестью превосходил коня.

И гложет тайный витамин меня.

И я молчу, сжимаю руки,

Гляжу на травы не дыша...

Но бьет тимпан! И над служителем науки

Восходит солнце не спеша.

(1932)

МУХА

Я муху безумно любил!

Давно это было, друзья,

Когда еще молод я был,

Когда еще молод был я.

Бывало, возьмешь микроскоп,
На муху направишь его —
На щечки, на глазки, на лоб,
Потом на себя самого.

И видишь, что я и она,
Что мы дополняем друг друга,
Что тоже в меня влюблена
Моя дорогая подруга.

Кружилась она надо мной,
Стучала и билась в стекло,
Я с ней целовался порой,
И время для нас незаметно текло.

Но годы прошли, и ко мне
Болезни сошлись толпой —
В коленках, ушах и спине
Стреляют одна за другой.

И я уже больше не тот.
И нет моей мухи давно.
Она не жужжит, не поет,
Она не стучится в окно.

Забытые чувства теснятся в груди,
И сердце мне гложет змея,
И нет ничего впереди...
О муха! О птичка моя!

<1934>

О НУЛЯХ

Приятен вид тетради клетчатой:
В ней нуль могучий помещен,
А рядом нолик искалеченный
Стоит, как маленький лимон.

О вы, нули мои и нолики,
Я вас любил, я вас люблю!
Скорей лечитесь, меланхолики,
Прикосновением к нулю!

Нули — целебные кружочки,
Они врачи и фельдшера,
Без них больной кричит от почки,
А с ними он кричит «ура».

Когда умру, то не кладите,
Не покупайте мне венок,
А лучше нолик положите
На мой печальный бугорок.

<1934>

ЧАРЛЬЗ ДАРВИН

Чарльз Дарвин, известный ученый,
Однажды синичку поймал.
Ее красотой увлеченный,
Он зорко за ней наблюдал.

Он видел головку змеиную
И рыбий раздвоенный хвост,
В движениях — что-то мышинное
И в лапках — подобие звезд.

«Однако, — подумал Чарльз Дарвин, —
Однако синичка сложна.
С ней рядом я просто бездарен.
Пичужка, а как сложена!

Зачем же меня обделила
Природа своим пирогом?
Зачем безобразные щеки всучила,
И пошлые пятки, и грудь колесом?»

...Тут горько заплакал старик омраченный.
Он даже стреляться хотел!..
Был Дарвин известный ученый,
Но он красоты не имел.

1933

ПЕРЕМЕНА ФАМИЛИИ

Пойду я в контору «Известий»,
Внесу восемнадцать рублей
И там навсегда распрощаюсь
С фамилией прежней моей.

Козловым я был Александром,
Но больше им быть не хочу.
Зовите Орловым Никандром,
За это я деньги плачу.

Быть может, с фамилией новой
Судьба моя станет иной.
И жизнь потечет по-иному,
Когда я вернуся домой.

Собака при виде меня не залает,
А только замашет хвостом.
И в жакте меня обласкает
Сердитый подлец управдом.

Свершилось! Уже не Козлов я!
Меня называть Александром нельзя.
Меня поздравляют, желают здоровья
Родные мои и друзья.

Но что это значит? Откуда
На мне этот синий пиджак?
Зачем на подносе чужая посуда?
В бутылке зачем вместо водки коньяк?

Я в зеркало глянул стенное,
И в нем отразилось чужое лицо.
Я видел лицо негодяя,
Волос напوماженных ряд,
Печальные тусклые очи,
Холодный уверенный взгляд.

Тогда я ощупал себя, свои руки,
Я зубы свои сосчитал,
Потрогал суконные брюки —
И сам я себя не узнал.

Я крикнуть хотел — и не крикнул.
Заплакать хотел — и не смог.
Привыкну, сказал я, привыкну.
Однако привыкнуть не смог.

Меня окружали привычные вещи,
И все их значения были злоещи.
Тоска мое сердце сжимала,
И мне же моя же нога угрожала.

Я шутки шутил! Оказалось,
Нельзя было этим шутить.
Сознание мое разрывалось,
И мне не хотелось жить.

Я черного яду купил в магазине,
В карман положил пузырек.
И вышел оттуда шатаясь,
Ко лбу прижимая платок.

С последним коротким сигналом
Пробьет мой двенадцатый час.
Орлова не стало. Козлова не стало.
Друзья, помолитесь за нас!

(1934)

СМЕРТЬ ГЕРОЯ

Шумит земляника над мертвым жуком,
В траве его лапки раскинуты.
Он думал о том, и он думал о сем —
Теперь из него размышления вынуты.

И вот он коробкой пустою лежит,
Раздавлен копытом коня,
И хрящик сознания в нем не дрожит,
И нету в нем больше огня.

Он умер, и он позабыт, незаметный герой,
Друзья его заняты сами собой.

От страшной жары изнывает паук,
На нитке отдельной висит.

Гремит погремушками лук,
И бабочка в клюкве сидит.

Не в силах от счастья лететь,
Лепечет, лепечет она,
Ей хочется плакать, ей хочется петь,
Она вожделенья полна.

Вот ягода падает вниз,
И капля стучит в тишине,
И тля муравьиная бегаёт близ,
И мухи бормочут во сне.

А там, где шумит земляника,
Где свищет укроп-молодец,
Не слышно ни пенья, ни крика —
Лежит равнодушный мертвец.

1933

ПУЧИНА СТРАСТЕЙ

»

Философская поэма

ПРОЛОГ

Вот вам бочка —
Неба дно.
Вот вам точка —
Вот окно.
Это звезд большая кружка,
А над ней
Нарисована игрушка —
Туз червей.
И сверкают в полумраке
Стекла — множители звезд.
Телескопы, как собаки,
У кометы ищут хвост.

1

Я стою в лесу, как в лавке,
Среди множества вещей.
Вижу смыслы в каждой травке,
В клюкве — скопище идей.

На кустах сидят сомненья
В виде черненьких жуков,
Раскрываются растенья
Наподобие подков,

И летят ко мне навстречу,
Раздуваясь от жары,
Одуванчики, как свечи,
Как воздушные шары.

Надо мной гудит машина —
Это шмель ко мне летит,

И шумит, шумит осина,
О прошедшем говорит.

И тебя, моя Наташа,
Вижу я в одном цветке.
У тебя на шее кашка
И настурция в руке.

Я сажусь и забываю
Все, что было до меня,
И тихонько закрываю
Очи, полные огня.

2

Лампа — ласточка терпенья.
Желудь с веткою высок.
В деревьях столпотворенье,
Под водой лежит песок.

Над водой последний кормчий
Зажигает свой фонарь.
Птицы злей, тюленя зорче,
Вылезает пономарь.

Распустив кусты и ветки,
На крыльце сидит павлин.
На окошке вместо клетки
Повисает георгин.

Рядом — мраморная ваза
И развесистый каштан.
Соловьем прорепета фраза
О пришествии мидян.

Наклонил репейник шапку,
Где пчела шипит, как змей,
Шмель, захваченный в охалку,
Выползает из стеблей.

На дубовую вершину
Сели птица с мотыльком,
Превосходную картину
Составляючи вдвоем.

Дама, сняв свои пеленки,
Сделав доступ ветерку,
Поливает из воронки
Племя листьев табаку.

Прямо к дереву из мрака
Лошадь белая бежит.
Это конная атака —
Кавалерия спешит.

Налетают командиры,
Рубят травы и цветы,
На лошадках; их мундиры
Полны высшей красоты.

Вот уже последний конный,
Догоня их, спешит.
И опять низкопоклонный
Ветер травку шевелит...

Рядом с маленькой постройкой,
С невысокою стеной
Ходит с мутною настойкой
Человечек холостой.

3

Где под вывеской железной
Крест и ножницы висят,
Где на стуле бесполезный
Золотой лежит наряд,

Там внизу, в траве широкой,
В глубине стеблей сквозных
Жук сидит по воле рока,
Притаившийся, как мних.

И в цветка дворец открытый
Забирается с утра,
Словно в банку иль в корыто,
Золотая мошкара.

В замке с белыми стенами
 За оградю сквозной,
 Окруженную кустами,
 Гусь спешит на водопой.

В той гостинице Елена,
 Распустив свои власы
 На роскошные колена,
 Испугалася осы.

Спрятав крылья между плечик
 И коленки подобрал,
 На цветке сидит кузнечик,
 Музыкант и костоправ.

На груди его широкой
 Черный бархатный камзол.
 Он под яблоней высокой
 Стебелек себе нашел.

И к нему Мария-муха,
 Задыхаяся, летит.
 И, целуя его в ухо
 (непотребная старуха,
 но красавица на вид),
 И, целуя его в ухо,
 Задыхаяся, кричит:

«Дайте мне, — кричит Мария, —
 Дайте мяса и костей,
 Дайте ключ времен Батыя
 К отысканию путей!»

И, решетку распирая,
 Отворивши ворота,
 Он заходит в двери рая,
 Позабыв свои лета...

Виснет ветвь с орехом грецким,
 Камень падает на дно.
 В светлом платье немецком
 Вылетает жук в окно.

Позабыв свою тревогу
И сомнений целый ряд,
Выбегает на дорогу
Барабанщиков отряд.

«Здравствуй, здравствуй, — закричали
Барабанщики ему, —
Мы в конце, а вы в начале
Прибегаете к уму!»

И тогда лесная челядь —
Комары и мошкара —
Закричавши, налетели
Громко с криками «ура».

И в роскошном отдаленье,
Шесть коленок вверх подняв,
Замирает в восхищенье
Знаменитый костоправ.

5

Геометрия — причина
Прорастания стеблей.
Перед бабочкой — пучина
Неразгаданных страстей.

Все, что видел я и слышал,
Перевернуто в уме.

...И когда на люди вышел,
Не мечтал он о суме.

Легким циркулем прекрасным
Очертивши круг в цветке,
Он его платочком красным
Сделал в Катиной руке...

Тигры воют на поляне,
Стрекоза гремит, как гром, —
Это русские древляне
Заколачивают дом,

Это почерком превратным
Посетитель искушен,

Это вечер необъятный
Прихорашивает жен...

Поручители смеялись,
Банку пороха взорвав,
Потому что испугались
Стрекоза и костоправ.

ФИНАЛ

Как букварь читает школьник,
Так читаю я в лесу.
Вижу в листьях — треугольник,
Колесо ищу в глазу.

Вижу, вижу, как в идеи
Вещи все превращены.
Те — туманней, те — яснее,
Как феномены и сны.

Возникает мир чудесный
В человеческом мозгу.
Он течет водою пресной
Разгонять твою тоску.

То не ягоды, не клюквы
Предо мною встали в ряд —
Это символы и буквы
В виде желудей висят.

На кустах сидят сомненья
В виде галок и ворон,
В деревьях — столпотворенье
Чисел, символов, имен.

Перед бабочкой пучина
Неразгаданных страстей...
Геометрия — причина
Прорастания стеблей.

**АЛЕКСАНДР
ВВЕДЕНСКИЙ**

〈СВЯЩЕННЫЙ ПОЛЕТ ЦВЕТОВ〉

Солнце светит в беспорядке,
и цветы летят на грядке.
Тут жирная земля лежит как рысь.
Цветы сказали: небо, отворись,
и нас возьми к себе.
Земля осталась подчиненная своей горькой судьбе.

Э ф сидит на столе у ног воображаемой летающей Д е в у ш к и.
Крупная ночь.

Э ф

Здравствуй, девушка движенье,
ты даешь мне наслажденье
своим баснословным полетом
и размахом ног.
Да, у ног твоих прекрасный размах,
когда ты, пышная, сверкаешь и носишься над
болотом,
где шипит вода, —
тебе не надо никаких дорог,
тебе чужд человеческий страх.

Д е в у ш к а

Да, я ничего не боюсь,
я существую без боязни.

Э ф

Вот, родная красотка, скоро будут казни,
пойдем смотреть?
А я, знаешь, все бьюсь да бьюсь,
чтоб не сгореть.

Д е в у ш к а

Интересно, кого будут казнить?

Э ф

Людей.

Д е в у ш к а

Это роскошно.
Им голову отрежут или откусят?
Мне тошно.
Все умирающие трусят.
У них работает живот,
он перед смертью усиленно живет.
А почему ты боишься сгореть?

Э ф

А ты не боишься, дура?
Валетела, как вершина на горе,
блестит, как смех, твоя волшебная фигура.
Не то ты девушка, не то вы птичка.
Боюсь я каждой спички.
Чиркнет спичка,
и заплачет птичка,
Пропадет отвага,
вспыхну как бумага.
Будет чашка пепла
на столе вонять,
или ты ослепла,
не могу понять.

Д е в у ш к а

Чем ты занимаешься ежедневно?

Э ф

Пожалуйста. Расскажу.
Утром встаю в два —
гляжу на минуту гневно,
потом зеваю, дрожу.
На стуле моя голова
лежит и смотрит на меня с нетерпением.
Ладно, думаю, я тебя надену.
Стаканы мои наполняются пением,
в окошко я вижу морскую пену.
А потом через десять часов я ложусь.
Лягу, посвищу, покружусь,
голову отклею. Потом сплю.
Да, иногда еще Бога молю.

Девушка

Молишься, значит?

Эф

Молюсь, конечно.

Девушка

А знаешь, Бог скачет
вечно.

Эф

А ты откуда знаешь,
идиотка?
Летать летаешь,
а глупа, как лодка.

Девушка

Ну, не ругайся.
Ты думаешь, долго сможешь так жить?
Скажу тебе, остерегайся,
учись гадать и ворожить.
Надо знать все, что будет.
Может, жизнь тебя забудет.

Эф

Я тебя не пойму:
голова у меня уже в дыму.

Девушка

Да знаешь ли ты, что значит время?

Эф

Я с временем знаком,
увиду я его на ком?
Как твое время потрагаю?
Оно фикция, оно идеал.
Был день? был.
Была ночь? была.
Я ничего не забыл.
Видишь четыре угла?
Были углы? были.
Есть углы? скажи, что нет, чертовка.
День — это ночь в мыле.

Все твое время веревка.
Тянется, тянется.
А обрежь, на руках останется.
Прости, милая,
я тебя обругал.

Д е в у ш к а

Мужчина, пахнувший могилою,
уж не барон, не генерал,
ни князь, ни граф, ни комиссар,
ни Красной армии боец,
мужчина этот Валтасар,
он в этом мире не жилец.
Во мне не вырастет обида
на человека-мертвеца.
Я не Мазепа, не Аида,
а ты, не видящий своего конца,
идем со мной.

Э ф

Пойду без боязни
смотреть на чужие казни.

В о р о б е й *(кляущий зерна радости)*

Господи, как мир волшебен,
как все в мире хорошо.
Я пою богам молебен,
я стираюсь в порошок
перед видом столь могучих,
столь таинственных вещей,
что проносятся на тучах
в образе мешка свечей.
Боже мой, все в мире пышно,
благолепно и умно.
Богу молятся неслышно
море, лось, кувшин, гумно,
свечка, всадник, человек,
ложка и Хаджи-Абрек.

Толпа тащится. Гуляют коровы, они же быки.

К о р о в ы

Что здесь будут делать?

Они же быки

Будут резать, будут резать.

К о р о в ы

Неужто нас, неужто вас?

Г о л о с

Коровы, во время холеры не пейте квас,
и будет чудесно.

К о р о в ы, о н и ж е б ы к и, спокойно уходят.
Появляется Ц а р ь. Царь появляется. Темнеет в глазах.

Ц а р ь

Сейчас, бесценная толпа,
ты подойди сюда.
Тут у позорного столба
будет зрелище суда.
Палач будет казнить людей,
несть эллин и несть иудей.
Всякий приходи созерцай,
слушай и не мерцай.
Заглушите приговоренных плач
криком, воплями и хохотом.
Бонжур, палач,
ходи, говорю, шепотом.
Люди бывают разные,
трудящиеся и праздные,
сытые и синие,
мокрые и высокие,
зеленые и глаженные,
треугольные и напмаженные.
Но все мы, люди бедные, в тиши
однажды плачем, зная, что мы без души.
Это действительно тяжелый удар
подумать, что ты пар.
Что ты умрешь и тебя нет.
Я плачу.

П а л а ч

Я тоже.

Т о л п а

Мы плачем.

П р и г о в о р е н н ы е

Мы тоже.

На площади раздался страшный плач. Всем стало страшно.
Входит Эф и Девушка.

Девушка

Повадился дурак на казни ходить,
тут ему и голову сложить.

Эф

Гляди, потаскуха, на помост,
но мне не наступай на хвост.
Сейчас произойдет начало.

Толпа, как Лондон, зарычала,
схватила Эф за руки-ноги,
и, потащив на эшафот,
его прикончила живот,
и, стукнув жилкой и пером
и добавив немного олова,
веревочным топором
отняла ему голову.
Он сдох.

Царь

Он плох.
Скажите, как его имя.
Пойду затоплю камин
и выпью с друзьями своими.

Воображаемая девушка (*исчезая*)

Его фамилия Фомин.

Царь

Ах, какой ужас. Это в последний раз.

Палач убегает.

Фомин лежал без движенья
на красных свинцовых досках.
Казалось ему, наслажденье
сидит на усов волосках.
Потрогаю, думает, волос,
иль глаз я себе почешу,
а то закричу во весь голос
или пойду подышу.
Но чем, дорогой Фомин,

чем ты будешь кричать,
чем ты сможешь чесать,
нету тебя, Фомин,
умер ты, понимаешь?

Ф о м и н

Нет, я не понимаю.
Я жив.
Я родственник.

Д е в у ш к а

Кто ты, родственник небес,
снег, бутылка или бес?
Ты число или понятие,
приди, Фомин, в мои объятия.

Ф о м и н

Нет, я, кажется, мертв.
Уйди.

Она спешит уйти.

Ф о м и н

Боги, Боги, понял ужас
состоянья моего.
Я, с трудом в слезах натужась,
свой череп вспомнить не могу.
Как будто не было его.
Беда, беда.

Расписывается в своем отчаянном положении
и с трудом бежит.

Д е в у ш к а

Фомин, ведь ты же убежал,
и вновь ты здесь.

Ф о м и н

Я убежал не весь.
Когда ревел морской прибой,
вставал высокий вал,
я вспоминал, что я рябой,
я выл и тосковал.
Когда из труб взвивался дым
и было все в кольце,
и становился я седым,
росли морщины на лице,

я приходил в огонь и в ярость
на приближающуюся старость.
И когда осыпался лес,
шевелился на небе бес.
И приподнимался Бог.
Я в унынии щелкал блох,
наблюдая борьбу небесных сил,
я насекомых косил.
Но, дорогая дура,
я теперь безработный,
я безголов.

Девушка

Бесплотный
садится час на крышку гроба,
где пахнет тухлая фигура,
вторая тысяча волов
идет из города особо.
Удел твой глуп,
Фомин, Фомин.

Вбегает мертвый господин.
Они кувыркаются.

Петр Иванович Стирkobреев один в своей комнате
жжет поленья.

Скоро юноши придут,
скоро девки прибегут
мне рассеяться помочь.
Скоро вечность, скоро ночь.
А то что-то скучно,
я давно не хохотал
и из рюмки однозвучной
водку в рот не грохотал.
Буду пальму накрывать,
а после лягу на кровать.

Звонит машинка, именуемая «телефон».

Да, кто говорит?

Голос

Метеорит.

Стирkobреев

Небесное тело?

Г о л о с

Да, у меня к вам дело.
Я, как известно, среди планет игрушка.
Но я слышал, что у вас сегодня будет пирушка.
Можно прийти?

С т и р к о б р е е в

Прилетайте.
(*Вешает трубку.*)
Горжусь, горжусь, кусок небесный
находит это интересным,
собрание пламенных гостей,
их столкновение костей.
Не то сломался позвонок,
не то еще один звонок.
Кто это? Петр Ильич?

Г о л о с

Нет, Стирkobреев, это я. Паралич.

С т и р к о б р е е в

А, здрасте.
(*В стороны.*)
Вот так несчастье.
Что вам надо?

Г о л о с

Шипенье слышишь ада,
вонючий Стирkobреев?
Зачем тебе помада,
ответь, ответь скорее.

С т и р к о б р е е в

Помада очень мне нужна,
сюда гостить придет княжна,
у нея Рюрик был в роду.

Г о л о с

Я тоже приду.

С т и р к о б р е е в

Час от часу не легче.
Пойду приготовлю свечи,
а то еще неладною порой
напросится к нам в гости геморрой.

Комната тукнет. Примечание: временно. Раздаются звонки.
Входят гости.

Николай Иван.

Как дела, как дела?

Степан Семенов.

Жутко. Жутко.

Мар. Натальев.

Я едва не родила,
оказалось, это шутка.
Где уборная у вас,
мы дорогой пили квас.

Фомин

Здравствуй, Боря.

Стирkobреев

Здравствуй, море.

Фомин

Как? как ты посмел?
Я тебе отомщу.

В его ногах валялся мел.
Он думал: не спущу
я Стирkobрееву обиды.
Летали мухи и болиды.

Фомин

Если я море,
где мои волны?
Если я море,
то где челны?

А гости, веселы, довольны,
меж тем глодали часть халвы
с угрюмой жадностью волны.

Открывается дверь. Влетает озябший Метеорит.

Метеорит

Как церковный тать,
обокравший кумира,
я прилетел наблюдать
эту стенку мира.

Г о с т и (пьют)

В лесу растет могилка,
на ней цветет кулич.
Тут вносят на носилках
Болезнь паралич.

С т и р к о б р е е в

Ну, все в сборе,
сядем пить и есть.

Ф о м и н

Я напомню, Боря,
что мне негде сесть.

С т и р к о б р е е в

Эй ты, море,
сядь под елью.

М а р и я Н а т а л.

Быть, чувствую, ссоре.

В с е (хором)

Да, дело кончится дуэлью.

Они пьют.

С е р г. Ф а д е е в.

Нина Картиновна, что это, ртуть?

Н и н а К а р т и н.

Нет, это моя грудь.

С е р г. Ф а д е е в.

Скажите, прямо как вата,
вы пушка.

Н и н а К а р т и н.

Виновата,
а что у вас в штанах?

С е р г. Ф а д е е в.

Хлопушка.

Все смеются. За окном сияние лент.

Куно Петр. Фишер.

Мария Натальевна, я не монах,
разрешите, я вам поцелую пуп.

Мария Натал.

Сумасшедший, целуйте себе зуб.
Ниночка, пойдём в ванну.

Гости

Зачем?

Мария Натал.

Пойдем попишем.

Гости

Слава богу.

А мы чистым воздухом пока подышим.

Стиркобреев

В отсутствие прекрасных женщин
тут вырастет мгновенно ель.
На это нужно часа меньше.
Сейчас мы сделаем дуэль.

Фомин

Я буду очень рад
отправить тебя в ад.
Ты, небесное светило,
ты, что всех нас посетило,
на обратном пути
этого мертвеца захвати.

Стиркобреев

Паралич, ты царь болезней,
сам пойми, в сто крат полезней,
чтобы этот полутруп
умер нынче бы к утру б.

Паралич и Метеорит

Мы будем секундантами. Вот вам ножи.
Колитесь. Молитесь.

Фомин

Я сейчас тебя зарежу,
изойдешь ты кровью свежей,

из-под левого соска
потечет на снег тоска.
Ты глаза закроешь вяло,
неуклюже ляжешь вниз.
И загробного подвала
ты увидишь вдруг карниз.

Стиркобреев

Не хвастай. Не хвастай.
Сам живешь последние минуты.
Кто скажет «здравствуй»
ручке каюты?
Кто скажет «спасибо»
штанам и комоду?
Ты дохлая рыба,
иди в свою воду.

Дуэль превращается в знаменитый лес. Порхают призраки птичек.
У девушек затянулась переписка.

Шел сумасшедший царь Фомин
однажды по земле,
и ядовитый порошок кармин
держал он на своем челе.
Его волшебная рука
ИЗОБ-ражала старика.
Волнуется ночной лесок,
в нем Божий слышен голосок.
И этот голос молньеносный
сильней могучего ножа.
Его надменно ловят сосны,
и смех лисицы, свист ужа
сопутствуют ему.
Вся ночь в дыму.
Вдруг видит Фомин дом,
это зданье козла,
но полагает в расчете седом,
что это тарелка добра и зла.
И он берет кувшин добра,
и зажигает канделябры,
и спит.
Наутро, в час утра,
где нынче шевелятся арбры¹,

¹ А р б р — по-франц. дерево. (Примеч. автора.)

его встречает на березе нищий
и жалуется, что он без пищи.

Ни щ и й

Здравствуй, Фомин, сумасшедший царь.

Ф о м и н

Здравствуй, добряк.
Уж много лет
я странствую.
Ты фонарь?

Ни щ и й

Нет, я голодаю.
Нет моркови, нет и репы.
Износился фрак.
Боги стали свирепы.
Мое мнение будет мрак.

Ф о м и н

Ты думаешь так.
А я иначе.

Ни щ и й

Тем паче.

Ф о м и н

Что паче?
Я не о том.
Я говорю про будущую жизнь за гробом,
я думаю, мы уподобимся микробам,
станем почти нетелесными
насекомыми прелестными.
Были глупые гиганты,
станем крошечные бриллианты.
Ценно это? Ценно, ценно.

Ни щ и й

Фомин, что за сцена?
Я есть хочу.

Ф о м и н

Ешь самого себя.

Н и щ и й (пожирая самого себя)

Фомин, ты царь,— они исчезли,
и толстые тела часов
на множество во сне залезли,
и стала путаница голосов.

БЕСЕДА ЧАСОВ

Первый час говорит второму:
я пустынный.

Второй час говорит третьему:
я пучина.

Третий час говорит четвертому:
одень утро.

Четвертый час говорит пятому:
сбегают звезды.

Пятый час говорит шестому:
мы опоздали.

Шестой час говорит седьмому:
и звери те же часы.

Седьмой час говорит восьмому:
ты приятель рощи.

Восьмой час говорит девятому:
перебежка начинается.

Девятый час говорит десятому:
мы кости времени.

Десятый час говорит одиннадцатому:
быть может, мы гонцы.

Одиннадцатый час говорит двенадцатому:
подумаем о дорогах.

Двенадцатый час говорит: первый час,
я догоню тебя, вечно мчась.

Первый час говорит второму:
выпей, друг, человеческого брому.

Второй час говорит: час третий,
на какой точке тебя можно встретить?

Третий час говорит четвертому:
я кланяюсь тебе, как мертвому.

Четвертый час говорит: час пятый,
и мы, сокровища земли, тьмою объаты.

Пятый час говорит шестому:
я молюсь миру пустому.

Шестой час говорит: час седьмой,
время обеденное идти домой.
Седьмой час говорит восьмому:
мне бы хотелось считать по-другому.
Восьмой час говорит: час девятый,
ты как Енох, на небо взятый.
Девятый час говорит десятому:
ты подобен ангелу, пожаром объятому.
Десятый час говорит: час одиннадцатый,
разучился вдруг что-то двигаться ты.
Одиннадцатый час говорит двенадцатому:
и все же до нас не добраться уму.

Ф о м и н

Я буду часы отравлять.
Примите, часы, с ложки лекарство.
Иное сейчас наступает царство.

С о ф. М и х.

Прошу, прошу,
войдите.
Я снег сижу крошу.
Мой дядя, мой родитель
ушли к карандашу.

Ф о м и н

Не может быть. Вы одна. Вы небо.

С о ф. М и х.

Я, как видите, одна,
сижу изящно на столе,
Я вас люблю до дна,
достаньте пистолет.

Ф о м и н

Вы меня одобряете. Это превосходно.
Вот как я счастлив.

С о ф. М и х.

Сергей, Иван и Владислав и Митя,
покрепче меня обнимите.
Мне что-то страшно, я изящна,
но все-таки кругом все мрачно,
целуйте меня в щеки.

Ф о м и н

Нет, в туфлю. Нет, в туфлю. Большого не
заслуживаю.
Святыня. Богиня. Богиня. Святыня.

С о ф. М и х.

Разве я так божественна? Нос у меня курносый,
глаза щелки. Дура я, дура.

Ф о м и н

Что вы, любящему человеку, как мне, вы кажется
лучше, чем на самом деле.
И ваши пышные штанишки
я принимаю за крыло,
и ваши речи — это книжки
писателя Анатоля Франса.
Я в вас влюблен.

С о ф. М и х.

Фомин, золотой. Лейка моя.

Фомин ее целует и берет. Она ему, конечно, отдается. Возможно, что
зарождаются еще один человек.

С о ф. М и х.

Ах, по-моему, мы что-то наделали.

Ф о м и н .

Это только кошки и собаки могут наделать.
А мы люди.

С о ф. М и х.

Я бы хотела еще разик.

Ф о м и н

Мало ли что. Как я тебя люблю. Скучно что-то.

С о ф. М и х.

Ангел. Богатырь, ты уходишь? Когда же мы
увидимся?

Ф о м и н

Я когда-нибудь приду.

Они обнялись и заплакали.

Фомин пошел на улицу, а Софья Михайловна подошла к окну и стала смотреть на него. Фомин вышел на улицу и стал мочиться. А Софья Михайловна, увидев это, покраснела и сказала счастливо: «Как птичка, как маленький».

Венера сидит в своей разбитой спальне и стрижет последние ногти.

Увидев одного пострела,
я поняла, что постарела.
Он был изящен и усат,
он был высоким, будто сон.
Дул, кажется, пассат,
а может быть, муссон.

Вбегают мертвый господин.

Я думаю, теперь уж я не та,
похожая когда-то на крота,
сама красота.

Теперь я подурнела,
живот подался вниз,
а вместе с ним пупок обвис.
Поганое довольно стало тело.

Щетиной поросло; угрями.
Я воздух нюхаю ноздрями.
Не нравится мне мой запах.
Вбегают мертвый господин.

И мысли мои стали другие,
уж не такие нагие.
Не может быть случки обнаженной
у семьи прокаженной,
поэтому любитеесь на сундуках,
и человек, и женщина в штанах.
Господи, что-то будет, что-то будет.
Вбегают мертвый господин.

Возьму я восковую свечку
и побегу учить на речку.
Темнеет парус, одинокий,
между волос играет огонек.
Вбегают мертвый господин.

Фомин

Спаси меня, Венера,
это тот свет?

Венера

Что вы, душка.

Ф о м и н

Надежда, Любовь, София и Вера
мне дали совет.

В е н е р а

Зачем совет? Вот подушка.
Приляг и отдохни.

Ф о м и н

Венера, чихни.
Венера чихает.

Ф о м и н

Значит, это не тот свет.

В е н е р а

Давай, давай мы ляжем на кровать
и будем сердца открывать.

Ф о м и н

Я же безголовый.
Вид имея казака,
я между тем без языка.

В е н е р а (*разочар.*)

Да, это обидно,
да и другого у тебя,
мне кажется, не видно.

Ф о м и н

Не будем об этом говорить. Мне неприятно. Ну,
неспособен и неспособен. Подумаешь. Не за тем
умирал, чтобы опять все сначала.

В е н е р а

Да уж ладно, лежи спи.

Ф о м и н

А что будет, когда я проснусь?

В е н е р а

Да ничего не будет. Все то же.

Ф о м и н

Ну хорошо. Но тот свет-то я увижу наконец?

В е н е р а

Иди ты к чертям.

Фомин спит. Венера моется и поет.

Люблю, люблю я мальчиков,
имеющих одиннадцать пальчиков,
и не желаю умирать.

А потому я начинаю скотскую жизнь. Буду мычать.

Богиня Венера мычит,
а Бог на небе молчит,
не слышит ее мычанья,
и всюду стоит молчанье.

Ф о м и н *(просыпаясь)*

Это коровник какой-то, я лучше уйду.
Спустите мне, спустите сходни,
пойду искать пути Господни.

В е н е р а

Тебе надо штаны спустить и отрезать то, чего у тебя нет. Беги, беги.

Вбегает мертвый господин.

Ф о м и н

Я вижу, женщина цветок
садится на ночную вазу,
из ягодиц ее поток
иную образует фазу
нездешних свойств.

Я полон снов и беспокойств.

Гляжу туда,
но там звезда,
гляжу сюда в смущеньи,
здесь человеческое гнездо
и символы крещенья.

Гляди, забрав с собою в путь зеркало, суму и свечи,
по комнатам несется вскачь ездок.

И харкают свечи.

О женщина! о мать!

Ты спишь, накрыта одеялом,
устала ноги поднимать,
но тщишься сниться идеалом

кое-каким влюбленным мужчинам,
украшив свой живот пером.
Скажу развесистым лучинам:
я сам упал под топором...

Спросим: откуда она знает, что она то?

Женщина (просыпаясь с блестящими глазами)

Я видела ужасный сон,
как будто бы исчезла юбка,
горами вся покрылась шубка
и был мой голос унесен.
И будто бы мужчины неба
с крылами жести за спиной,
как смерти, требовали хлеба.
Узор виднелся оспяной
на лицах их.
Я век не видела таких.
«Я женщина!» — я им сказала
и молча руки облизала
у диких ангелов тоски,
щипая на своей фигуре разные волоски.
Какой был страшный сон.
У меня руки и ноги шуршали в страхе.
Скажи мне, Бог, к чему же он?
Я мало думала о прахе,
подумаю еще.

Ф о м и н

Подумай, улыбнись свечой,
едва ли только что поймешь.
Смерть — это смерти еж.

Ж е н щ и н а

Слаб мой ум,
и сама я дура.
Слышу смерти шум,
говорит натура:
все живут предметы
лишь недолгий век,
лишь весну да лето,
вторник да четверг.
В тщетном издыхании
время проводя,
в любовном колыхании

ловя конец гвоздя,
ты думаешь, дева, беспечно,
что все кисельно и млечно?
Нет, дева дорогая,
нет, жизнь это не то,
и ты окончишь путь, рыгая,
как пальмы и лото.

Д е в у ш к а

Однако этот разговор
вести бы мог и черный двор.
Ты, глупая натура, не блещешь умом,
как великие ученые Карл Маркс, Бехтерев
и профессор Ом.

Все знают, что придет конец,
все знают, что они свинец.
Но это пустяки,
ведь мы еще не костяки,
и мне не страшен сотник адовый,
вернись, Фомин, шепчи, шепчи, подглядывай.

Ф о м и н

Я подглядываю? ничтожество,
есть на что смотреть.

Ж е н щ и н а

Давно ты так стоишь?

Ф о м и н

Не помню. Дней пять или семь.
Я счет потерял.
Мне не по себе.
А ты что делаешь?

Ж е н щ и н а

Хочется, хочется,
хочется поворочаться.

Ворочается и так и сяк.

Ф о м и н (воет)

Ты сумрак, ты непоседа,
ты тухлое яйцо.
Победа, Господи, Победа,
я вмиг узнал ее лицо.

Г о с п о д ь

Какое же ее лицо?

Ф о м и н

Географическое.

Н о с о в

Важнее всех искусств,
я полагаю, музыкальное.
Лишь в нем мы видим кости чувств.
Оно стеклянное, зеркальное.
В искусстве музыки творец
десятое значение имеет,
он отвлеченного купец,
в нем человек немеет.
Когда берешь ты бубен или скрипку,
становишься на камень пеня,
то воздух в маленькую рыбку
превращается от нетерпенья.
Тут ты стоишь, играешь чудно,
и стол мгновенно удаляется,
и стул бежит походкой трудной,
и география является.
Я под рокот долгих струн
стал бы думать — я перун
или география.

Ф о м и н *(в испуге)*

Но, по-моему, никто не играл. Ты где был?

Н о с о в

Мало ли что тебе показалось, что не играли.

Ж е н щ и н а

Уж третий час вы оба здесь толчетесь,
все в трепете, в песке и в суете,
костями толстыми и голосом сочтетесь,
вы ездоки науки в темноте.
Когда я лягу изображать Валдай,
волшебные не столь большие горы,
Фомин, езжай вперед. Гусаров, не болтай.
Вон по краям дороги валяются ваши разговоры.

Ф о м и н

Кто «ваши»? Не пойму твоих вопросов.
Откуда ты взяла, что здесь Носов?
Здесь все время один Фомин,
это я.

Н о с о в *(вскипая)*

Ты? ты скотина!

Ф о м и н

Кто я? я? *(Успокаиваясь.)* Мне все равно. *(Уходит.)*

Н о с о в

Фомина надо лечить. Он сумасшедший, как ты думаешь?

Ж е н щ и н а

Женщина спит.
Воздух летит.
Ночь превращается в вазу.
В иную нездешнюю фазу
вступает живущий мир.
Дормир, Носов, дормир.
Жуки выползают из клеток своих,
олени стоят, как убитые.
Деревья с глазами святых
качаются, Богом забытые.
Весь провалился мир.
Дормир, Носов, дормир.
Солнце сияет в потемках леса,
блоха допускается на затылок беса.
Сверкают мохнатые птички.
В саду гуляют привычки.
Весь рассыпался мир.
Дормир, Носов, дормир.

Ф о м и н *(возвращаясь)*

Я сразу сказал: у земли невысокая стоимость.

Н о с о в

Ты, бедняга, не в своем уме.

Они тихо и плавно уходят.

И тогда на трон природы
сели гордые народы

берег моря созерцать,
землю мерить и мерцать.
Так сидят они, мерцают
и негромко восклицают:
«Волны, бейте, гром, греми,
время, век вперед стреми».
По бокам стоят предметы,
безразличные молчат.
На небе вялые кометы
во сне худую жизнь влачат.
Иные звери веселятся
под бессловесною луной,
их душ^я мрачно шевелятся,
уста закапаны слюной.
Приходит властелин приказчик,
кладет зверей в ужасный ящик
и везет их в бешенства дом,
где они умирают с трудом.
Бойтесь бешеных собак.
Как во сне сидят народы
и глядят на огороды.
Сторож нюхает табак.
Тут в пылающий камин
вдруг с числом вошел Фомин.

Ф о м и н

Человек во сне бодрится,
рыбы царствуют вокруг.
Только ты, луна сестрица,
только ты не спишь, мой друг.
Здравствуйте, народы,
Петровы, Ивановы, Николаи, Марии, Силантии,
на хвост природы
надевшие мантии.
Куда глядите вы?

Н а р о д ы

Мы, бедняк, мы, бедняк,
в зеркало глядим.
В этом зеркале земля
отразилась как змея.
Ее мы будем изучать.
При изучении земли
иных в больницу увезли,
в сумасшедший дом.

Ф о м и н

А что вы изучали, глупцы?

Н а р о д ы

Мы знаем, что земля кругла,
что камни скупцы,
что на земле есть три угла,
леса, дожди, дорога,
и человек — начальник Бога.
А над землею звезды есть
с химическим составом,
они, покорны нашим уставам,
в кружении небес находят долг и честь.
Да, вообще есть о чем говорить.
Все мы знаем, все понимаем.

З а т ы ч к и н

Ты смотришь робко,
подобный смерти,
пустой коробкой
пред нами вертишь.
Ужели эта коробка зла?
Приветствую пришествие козла.

Ф о м и н

Родона начальники, я к вам пришел
и с вами говорить намерен,
ведь сами видите вы хорошо,
что не козел я и не черт, не мерин,
тем более не кто-нибудь другой.

Фомин сказал. Махнул рукой
и заплакал от смущенья,
и начал превращенье.

Р е ч ь Ф о м и н а

Господа, господа,
все предметы. Всякий камень,
рыбы, птицы, стул и пламень,
горы, яблоки, вода,
брат, жена, отец и лев,
руки, тысячи и лица,
войну, и хижину, и гнев,
дыхание горизонтальных рек

занес в свои таблицы
неумный человек.
Если создан стул, то зачем?
Затем, что я на нем сижу и мясо ем.
Если сделана мановением руки река,
мы полагаем, что сделана она для наполнения
нашего мочевого пузыря.
Если сделаны небеса,
они должны показывать научные чудеса.
Также созданы мужские горы,
назначения, туман и мать.
Если мы заводим разговоры,
вы, дураки, должны их понимать.
Господа, господа,
а вот перед вами течет вода,
она рисует сама по себе.
Там под кустом лежат года
и говорят о своей судьбе.
Там стул превращается в победу,
наука изображает собой среду,
и звери, чины и болезни
плавают, как линии в бездне.
Царь мира Иисус Христос
не играл ни в «очко», ни в штосс,
не бил детей, не курил табак,
не ходил в кабак.
Царь мира преобразил мир.
Он был небесный бригадир,
а мы грешны.
Мы стали скучны и смешны.
И в нашем посмертном вращении
спасенье одно в превращении.
Господа, господа,
глядите: вся земля — вода.
Глядите: вся вода — сутки.
Выходит летающий жрец из будки
и в ужасе глядит на перемену,
на смерть, изображающую пену.
Родона начальники, довольны ли вы?

Н а р о д

Мы не можем превращенья вынести.

После этого Фомин пошел в темную комнату, где посередине была
дорога.

Ф о м и н

Остроносов, ты здесь?

О с т р о н о с о в

Я весь.

Ф о м и н

Что ты думаешь, о чем?

О с т р о н о с о в

Я, прислонясь плечом к стене,
стою, подобно мне.
Здесь должно нечто произойти.
Допустим, мы оба взаперти.
Оба ничего не знаем, не понимаем.
Сидим и ждем.

Ф о м и н

Война проходит под дождем,
бряцающая вооружением.
Война полна наслаждением.

О с т р о н о с о в

Слушай, грохочет зеркало на обороте,
гуляет стул надменный.
Я вижу в этом повороте
его полет одновременный.

Ф о м и н

Дотронься до богатого стола.
Я чувствую присутствие угла.

О с т р о н о с о в

Ай, жжется!

Ф о м и н

Что горит?

О с т р о н о с о в

Диван жжется. Он горячий.

Ф о м и н

Боже мой. Ковер горит.
Куда мы себя спрячем?

Остронос о в

Ай, жжется!
Кресло подо мной закипело.

Ф о м и н

Беги, беги,
чернильница запела.
Господи, помоги.
Вот беда так беда.

Остронос о в

Все останавливаетс .
Все пылает.

Ф о м и н

Мир накаляется Богом,
что нам делать?

Остронос о в

Я в жизни вина
не знал и не пи
Прощайте, я превр тился в пепел.

Ф о м и н

Если вы, предметы, боги,
где, предметы, ваша речь?
Я боюсь, такой дороги
мне вовек не пересечь.

Предметы (*бормочут*)

Да это особый рубикон. Особый рубикон.

Ф о м и н

Тут раскаленные столы
стоят, как вечные котлы,
и стулья, как больные горячкой,
чернеют вдали живую пачкой.
Однако это хуже, чем сама смерть,
перед этим всё игрушки.
День ото дня все становится хуже и хуже.

Ф о м и н

Успокойся, сядь светло,
это последнее тепло.

Тема этого события —
Бог, посетивший предметы.
Понятно?

Б у р н о в

Какая может быть другая тема,
чем смерти вечная система?
Болезни, пропасти и казни —
ее приятный праздник.

Ф о м и н

Здесь противоречие,
я уйду.

Лежит в столовой на столе
труп мира в виде крем-брюле.
Кругом воняет разложением.
Иные дураки сидят,
тут занимаясь умножением.
Другие принимают яд.
Сухое солнце, свет, кометы
уселись молча на предметы.
Дубы поникли головой,
и воздух был гнилой.
Движенье, теплота и твердость
потеряли гордость.
Крылом озябшим плещет вера,
одна над миром всех людей.
Воробей летит из револьвера
и держит в клюве кончики идей.
Все прямо с ума сошли.
Мир потух. Мир потух.
Мир зарезали. Он петух.
Однако много пользы приобрели.
Миру, конечно, еще не наступил конец,
еще не облетел его венец.
Но он действительно потускнел.
Фомин лежащий посинел
и двухоконною рукой
молиться начал. Быть может только Бог.
Легло пространство вдалеке.
Полет орла струился над рекой.
Держал орел икону в кулаке.
На ней был Бог.
Возможно, что земля пуста от сна,

худа, тесна.
Возможно, мы виновники, нам страшно.
И ты, орел аэроплан,
сверкнешь стрелой в океан
или коптящей свечкой
рухнешь в речку.
Горит бессмыслицы звезда,
она одна без дна.
Вбегает мертвый господин
и молча удаляет время.

<1931>

ПОТЕЦ

3 части

Часть первая

Сыны стояли у стенки, сверкая ногами, обутыми в шпоры. Они обрадовались и сказали:

Обнародуй нам, отец,
Что такое есть Потец?

Отец, сверкая очами, отвечал им:

Вы не путайте, сыны,
День конца и дочь весны.
Страшен, синь и сед Потец.
Я, ваш ангел, я, отец,
Я его жестокость знаю,
Смерть моя уже близка.
На главе моей зияют
Плеши, лысины — тоска.
И если жизнь протянется,
То скоро не останется
Ни сокола, ни волоска.
Знать, смерть близка.
Знать-глядь тоска.

Сыновья, позвенов в колокольчики, загремели в свои языки:

Да мы тебя не о том спрашиваем.
Мы наши мысли, как чертог, вынашиваем.
Ты скажи-ка нам, отец,
Что такое есть Потец?

И воскликнул отец: Пролог.

А в прологе главное Бог.
Усните, сыны,
Посмотрите сны.

Сыновья легли спать, спрятав в карманы грибы. Казалось, что стены и те были послушны. Ах, да мало ли что казалось. Но, в общем, немногое и нам, как и им, казалось. Но чу! Что это? Отец опять не прямо отвечал на вопрос. И вновь проснувшимся сыновьям он сказал вот что, восклицая и сверкая бровями:

Пускай поет и пляшет
Седой народ.
Пускай руками машет,
Как человек.

В мирный день блаженства
Ты истекаешь.
Как скоро смерти совершенство
Я сам постигну.

Несутся лошади, как волны,
Стучат подковы.
Лихие кони, жаром полны,
Исчезнув, скачут.

Но где ж понять исчезновение,
И все ль мы смертны?
Что сообщишь ты мне, мгновение,
Тебя ль пойму я?

Кровать стоит передо мною,
Я тихо лягу.
И уподоблюсь под стеною
Цветам и флагу.

Сыны, сыны. Мой час приходит.
Я умираю. Я умираю.
Не ездите на пароходе —
Всему конец.

Сыновья, построясь в ряды, сверкая ногами, начинают танцевать кадрили.

Первый сын, или он же первая пара:

Что такое есть Потец,
Расскажите мне, отец.

Второй сын, или он же вторая пара:

Может быть, Потец свинец,
И младенец, и венец?

Третий сын, или он же третья пара:

Не могу понять, отец,
Где он? кто же он, Потец?

Отец, сверкая очами, грозно стонет:

Ох, в подушках я лежу.

Первый сын:

Эх, отец, держу, жужжу.
Ты не должен умереть,
Ты сначала, клеть, ответь.

Второй сын, танцуя, как верноподданный:

Ах, Потец, Потец, Потец.
Ах, отец, отец, отец.

И третий сын, танцуя, как выстрел:

Кукли все туша колпак,
Я челнок, челнок, челнак.

Сыновья прекращают танцевать — не вечно же веселиться — и садятся молча и тихо возле погасшей кровати отца. Они глядят в его увядающие очи. Им хочется все повторить. Отец умирает. Он становится крупным, как гроздь винограда. Нам страшно поглядеть в его, что называется, лицо. Сыновья негласно и бесшумно входят каждый в свою суеверную стену.

Потец — это холодный пот, выступающий на лбу умершего. Это роса смерти, вот что такое Потец.

Часть вторая

Отец летает над письменным столом. Но не думайте, он не дух.

Я видел, пожалуйста, розу,
Сей скучный земли лепесток.
Последние мысли, казалось,
Додумывал этот цветок.

Он горы соседние гладил
Последним дыханьем души.

Над ним проплывали княгини
И звезды в небесной глуши.

Мои сыновья удалились.
И лошадь моя, как волна,
Стояла и била копытом,
А рядом желтела луна.

Цветок убежденный блаженства,
Приблизился божеский час.
Весь мир, как заря, наступает,
А я, словно пламя, погас.

Отец перестает говорить стихами и закуривает свечу, держа ее в зубах, как флейту. При этом он подушкой опускается в кресло.

Входит первый сын и говорит: «Не ответил же он на вопросы». Поэтому он сразу обращается к подушке с вопросом:

Подушка, подушка,
Ответь наконец,
Что такое есть Потец?

Подушка, она же отец:

Я знаю.
Знаю!

Второй сын спрашивает второпях:

Так отвечай же,
Почто безмолвствуешь?

Третий сын, совершенно распален:

Напрасно вдовствуешь,
Уютная подушка.
Давай ответ.

Первый сын:

Отвечай же.

Второй сын:

Огня сюда, огня!

Третий сын:

Я сейчас кого-нибудь повешу.

Подушка, она же отец:

Немного терпенья.
Может быть, я на все и отвечу.
Хотелось бы послушать пенью,
Тогда смогу разговаривать.

Я очень устал.
Искусство дало бы мне новые силы.
Прощай, пьедестал.
Я хочу послушать ваши голоса под музыку.

Тогда сыновья не смогли отказать этой потрясенной
просьбе отца. Они стали гуртом, как скот, и спели все-
общую песню:

Был брат брит Брут,
Римлянин чудесный.
Все врут. Все мрут.

Это был первый куплет.
Второй куплет:

Пел, пил, пробегал
Один канатоходец.
Он акробат. Он галл.

Третий куплет:

Иноходец
С того света
Дождается рассвета.

И пока они пели, играла чудная, превосходная, все и
вся покоряющая музыка. И казалось, что разным чувст-
вам есть еще место на земле. Как чудо стояли сыновья
вокруг невзрачной подушки и ждали с бессмысленной
надеждой ответа на свой незавидный и дикий, внуши-
тельный вопрос: что такое Потец? А подушка то порхала,
то взвивалась свечкою в поднебесье, то как Днепр бе-
жала по комнате. Отец сидел над письменным, как Иван
да Марья, столом, а сыновья, словно зонты, стояли у
стенки. Вот что такое Потец.

Часть третья

Отец сидел на бронзовом коне, а сыновья стояли по его бокам. А третий сын то стоял у хвоста, то у лица лошади. Как видно и нам, и ему, он не находил себе места. А лошадь была как волна. Никто не произносил ни слова. Все разговаривали мыслями.

Тут отец, сидя на коне и поглаживая милую утку, воскликнул мысленно и засверкал очами:

Все ждете, что скажет отец,
Объяснит ли он слово «Потец»?
Боже, я безутешный вдовец,
Я безгрешный певец.

Первый сын, нагибаясь, поднял с полу пятак, и простонал мысленно, и засверкал ногами:

Батюшка, наступает конец.
Зрю на лбу у тебя венец.
Зря звонишь в бубенец.
Ты уже леденец.

Второй сын был тоже очень омрачен, он нагнулся с другого бока и поднял дамский ридикюль. Он заплакал мыслями и засверкал ногами:

Когда б я был жрец
Или мертвец игрец,
Я Твой посетил бы дворец,
О Всесильный Творец!

А третий сын, стоя у хвоста лошади и пощипывая свои усы мыслями, засверкал ногами:

Где ключ от моего ума?
Где солнца луч,
Подаренный тобой, зима?

А переместясь к лицу лошади, которая была как волна, и поглаживая мыслями волосы, засверкал ногами:

Бровей не видишь ты, отец,
Кровей каких пустых Потец.

Тогда отец, вынув из карманов дуло одного оружия и показывая его детям, воскликнул громко и радостно, сверкая очами:

Глядите: дуло,
И до чего ж его раздуло.

Первый сын:

Где? Покажи.

Второй сын:

Везде. Как чиж.

Третий сын:

Последний страх
Намедни
После обедни
Рассыпался в прах.

И вдруг открылись двери рая,
И нянька вышла из сарая.
И был на ней надет чепец.
И это снова всем напомнило их вечный вопрос о том,
Что такое есть Потец?

Вмиг наступила страшная тишина. Словно конфеты,
лежали сыновья поперек ночной комнаты, вращая белы-
ми седыми затылками и сверкая ногами. Суеверие нашло
на всех.

На няньке был надет чепец,
Она висела, как купец.

Нянька стала укладывать отца спать, превратившего-
ся в детскую косточку. Она пела ему песню:

Над твоею колыбелью
По губам плывет слюна,
И живет луна
Над могилою, над елью.
Спи, тоскуй,
Не просыпайся,
Лучше рассыпайся.
Эй, кузнец, куй! куй!
Мы в кузнице уснем.
Мы все узники.

И пока она пела, играла чудная, превосходная, все и
вся покоряющая музыка. И казалось, что разным чув-

ствам есть еще место на земле. Как чудо стоят сыновья возле тихо погасшей кровати отца. Им хочется все повторить. Нам страшно поглядеть в его, что называется, лицо. А подушка то порхала, то взвивалась свечкой в поднебесье, то, как Днепр, бежала по комнате. Потец — это холодный пот, выступающий на лбу умершего. Это роса смерти, вот что такое Потец.

«Господи,— могли бы сказать сыновья, если бы они могли.— Ведь это мы уже знали заранее».

<1936—1937>

**НЕКОТОРОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗГОВОРОВ
(ИЛИ НАЧИСТО ПЕРЕДЕЛАННЫЙ ТЕМНИК)**

1. РАЗГОВОР О СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ

В карете ехали трое. Они обменивались мыслями.

Первый. Я знаю сумасшедший дом. Я видел сумасшедший дом.

Второй. Что ты говоришь? Я ничего не знаю. Как он выглядит?

Третий. Выглядит ли он? Кто видел сумасшедший дом?

Первый. Что в нем находится? Кто в нем живет?

Второй. Птицы в нем не живут. Часы в нем ходят.

Третий. Я знаю сумасшедший дом, там живут сумасшедшие.

Первый. Меня это радует. Меня это очень радует. Здравствуй, сумасшедший дом.

Хозяин сумасшедшего дома (*смотрит в свое дряхлое окошко, как в зеркало*). Здравствуйте, дорогие. Ложитесь.

Карета останавливается у ворот. Из-за забора смотрят пустыки. Проходит вечер. Никаких изменений не случается. Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли.

Первый. Вот он какой, сумасшедший дом. Здравствуй, сумасшедший дом.

Второй. Я так и знал, что он именно такой.

Третий. Я этого не знал. Такой ли он именно?

Первый. Пойдемте ходить. Всюду все ходят.

Второй. Тут нет птиц. Есть ли тут птицы?

Третий. Нас осталось немного, и нам осталось недолго.

Первый. Пишите чисто. Пишите скучно. Пишите тучно. Пишите звучно.

Второй. Хорошо, мы так и будем делать.

Отворяется дверь. Выходит доктор с помощниками. Все зябнут. Уважай обстоятельства места. Уважай то, что случается. Но ничего не происходит. Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли.

Первый (*говорит русскими стихами*)

Входите в сумасшедший дом,
Мои друзья, мои князья.
Он радостно ждет нас.
Мы радостно ждем нас.
Фонарь мы зажигаем здесь,
Фонарь как царь висит.
Лисицы бегают у нас,
Они пронзительно пищат.
Все это временно у нас,
Цветы вокруг трещат.

Второй. Я выслушал эти стихи. Они давно кончились.

Третий. Нас осталось немного, и нам осталось недолго.

Хозяин сумасшедшего дома (*открывая свое дряхлое окошко, как форточку*). Заходите, дорогие. Ложитесь.

В карете ехали трое. Они обменивались мыслями.

2. РАЗГОВОР ОБ ОТСУТСТВИИ ПОЭЗИИ

Двенадцать человек сидело в комнате. Двадцать человек сидело в комнате. Сорок человек сидело в комнате. Шел в зале концерт. Певец пел:

Неужели, о поэты,
Ваши песни все пропеты.
И в гробах лежат певцы,
Как спокойные скупцы.

Певец сделал паузу. Появился диван. Певец продолжал.

Дерево стоит без звука,
Без почета ночь течет.
Солнце тихо, как наука,
Рощи скучные печет.

Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец продолжал.

Тучи в небе ходят пышно.
Кони бегают умно.
А стихов нигде не слышно,
Все бесшумно, все темно.

Певец сделал паузу. Появился диван. Певец продолжал.

Верно, умерли поэты,
Музыканты и певцы,
И тела их, верно, где-то
Спят спокойно, как скупцы.

Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец продолжал.
О взгляните на природу.

Тут все подошли к окнам и стали смотреть на ничтожный вид.

На беззвучные леса.

Все взглянули на леса, которые не издавали ни одного звука.

Опостылели народу
Ныне птичьи голоса.

Везде и повсюду стоит народ и плюется, услышав птичье пение.

Певец сделал паузу. Появился диван. Певец продолжал.

Осень. Лист лежит пунцов.
Меркнет кладбище певцов.
Тишина. Ночная мгла
На холмы уже легла.

Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец продолжал.

Встали спящие поэты
И сказали: «Да, ты прав.
Мы в гробах лежим отпеты,
Под покровом желтых трав».

Певец сделал паузу. Появился диван. Певец продолжал.

Музыка в земле играет,
Червяки стихи поют.

Реки рифмы повторяют,
Звери звуки песен пьют.

Певец сделал паузу. Диван исчез. Певец умер. Что он этим доказал?

3. РАЗГОВОР О ВОСПОМИНАНИИ СОБЫТИЙ

Первый. Припомним начало нашего спора. Я сказал, что я вчера был у тебя, а ты сказал, что я вчера не был у тебя. В доказательство этого я сказал, что я говорил вчера с тобой, а ты в доказательство этого сказал, что я не говорил вчера с тобой.

Они оба важно поглаживали каждый свою кошку. На дворе уже стоял вечер. На окне горела свеча. Играла музыка.

Первый. Тогда я сказал: «Да как же, ведь ты сидел тут на месте А, и я стоял тут на месте Б». Тогда ты сказал: «Нет, как же, ты не сидел тут на месте А, и я не стоял тут на месте Б». Чтобы увеличить силу своего доказательства, чтобы сделать его очень, очень мощным, я почувствовал сразу грусть, и веселье, и плач и сказал: «Нас же было здесь двое, вчера в одно время, на этих двух близких точках, на точке А и на точке Б, — пойми же».

Они оба сидели запертые в комнате. Ехали сани.

Первый. Но ты тоже охватил себя чувствами гнева, свирепости и любви к истине и сказал мне в ответ: «Ты был тобою, а я был собою. Ты не видел меня, я не видел тебя. О гнилых этих точках А и Б я даже говорить не хочу».

Два человека сидели в комнате. Они разговаривали.

Первый. Тогда я сказал: «(Я помню) по тому шкапу ходил, посвистывая, конюх, и (я помню) на том комоде шумел прекрасными вершинами могучий лес цветов, и (я помню) под стулом журчащий фонтан, и под кроватью широкий дворец». Вот что я тебе сказал. Тогда ты, улыбаясь, ответил: «Я помню конюха, и могучий лес цветов, и журчащий фонтан, и широкий дворец, но где они, их нигде не видать». Во всем остальном мы почти были уверены. Но все было не так.

Два человека сидели в комнате. Они вспоминали. Они разговаривали.

Второй. Потом была середина нашего спора. Ты сказал: «Но ты можешь себе представить, что я был у тебя вчера». А я сказал: «Я не знаю. Может быть, и могу, но ты не был». Тогда ты сказал, временно совершенно изменив свое лицо: «Как же? как же? я это представляю. Я не настаиваю уже, что я был, но я представляю это. Вот вижу ясно. Я вхожу в твою комнату и вижу тебя — ты сидишь то тут, то там, и вокруг висят свидетели этого дела — картины, и статуи, и музыка.

Два человека сидели запертые в комнате. На столе горела свеча.

Второй. «Ты очень, очень убедительно рассказал все это, — отвечал я, — но я на время забыл, что ты есть, и все молчат мои свидетели. Может быть, поэтому я ничего не представляю. Я сомневаюсь даже в существовании этих свидетелей». Тогда ты сказал, что ты начинаешь испытывать смерть своих чувств, но все-таки, все-таки (и уже совсем слабо), все-таки тебе кажется, что ты был у меня. И я тоже притих и сказал, что все-таки мне кажется, что как будто бы ты и не был. Но все было не так.

Три человека сидели запертые в комнате. На дворе стоял вечер. Играла музыка. Свеча горела.

Третий. Припомним конец вашего спора. Вы оба ничего не говорили. Все было так. Истина, как нумерация, прогуливалась вместе с вами. Что же было верного? Спор окончился. Я невероятно удивился.

Они оба важно поглаживали каждый свою кошку. На дворе стоял вечер. На окне горела свеча. Играла музыка. Дверь была плотно закрыта.

4. РАЗГОВОР О КАРТАХ

«А ну, сыграем в карты!» — закричал ПЕРВЫЙ.

Было раннее утро. Было самое раннее утро. Было четыре часа ночи. Не все тут были из тех, кто бы мог быть; те, кого не было, лежали, поглощенные тяжелыми болезнями у себя на кроватях, и подавленные семьи окружали их, рыдая и прижимая к глазам. Они были люди. Они были смертны. Что тут поделаешь. Если оглядеться вокруг, то и с нами будет то же самое.

«А ну, сыграем в карты!» — закричал все-таки в этот вечер ВТОРОЙ.

«Я в карты играю с удовольствием», — сказал САНДОНЕЦКИЙ, или ТРЕТИЙ.

«Они мне веселят душу», — сказал ПЕРВЫЙ.

«А где же наши, тот, что был женщиной, и тот, что был девушкой?» — спросил ВТОРОЙ.

«О, не спрашивайте, они умирают», — сказал ТРЕТИЙ, или САНДОНЕЦКИЙ. — Давайте сыграем в карты».

«Карты хорошая вещь», — сказал ПЕРВЫЙ.

«Я очень люблю играть в карты», — сказал ВТОРОЙ.

«Они меня волнуют. Я становлюсь сам не свой», — сказал САНДОНЕЦКИЙ, он же ТРЕТИЙ.

«Да уж, когда умрешь, тогда в карты не поиграешь», — сказал ПЕРВЫЙ. — Поэтому давайте сейчас сыграем в карты».

«Зачем такие мрачные мысли? — сказал ВТОРОЙ. — Я люблю играть в карты».

«Я тоже жизнерадостный», — сказал ТРЕТИЙ. — И я люблю».

«А я до чего люблю», — сказал ПЕРВЫЙ. — Я готов все время играть».

«Можно играть на столе. Можно и на полу», — сказал ВТОРОЙ. — Вот я и предлагаю — давайте сыграем в карты».

«Я готов играть хоть на потолке», — сказал САНДОНЕЦКИЙ.

«Я готов играть хоть на стакане», — сказал ПЕРВЫЙ.

«Я хоть под кроватью», — сказал ВТОРОЙ.

«Ну, ходите вы», — сказал ТРЕТИЙ. — Начинайте вы. Делайте ваш ход. Покажите ваши карты. Давайте играть в карты».

«Я могу начать», — сказал ПЕРВЫЙ. — Я играл».

«Ну что ж», — сказал ВТОРОЙ. — Я сейчас ни о чем не думаю. Я игрок».

«Скажу не хвастаясь», — сказал САНДОНЕЦКИЙ. — Кого мне любить? Я игрок».

«Ну», — сказал ПЕРВЫЙ, — игроки собрались. Давайте играть в карты».

«Насколько я понимаю», — сказал ВТОРОЙ, — мне, как и всем остальным, предлагают играть в карты. Отвечаю — я согласен».

«Кажется, и мне предлагают,— сказал ТРЕТИЙ.— Отвечаю — я согласен».

«По-моему, это предложение относится и ко мне,— сказал ПЕРВЫЙ.— Отвечаю — я согласен».

«Вижу я,— сказал ВТОРОЙ,— что мы все тут словно сумасшедшие. Давайте сыграем в карты. Что так сидеть».

«Да,— сказал САНДОНЕЦКИЙ,— что до меня — сумасшедший. Без карт я никуда».

«Да,— сказал ПЕРВЫЙ,— если угодно — я тоже. Где карты — там и я».

«Я от карт совсем с ума схожу,— сказал ВТОРОЙ.— Играть так играть».

«Вот и обвели ночь вокруг пальца,— сказал ТРЕТИЙ.— Вот она и кончилась. Пошли по домам».

«Да,— сказал ПЕРВЫЙ.— Наука это доказала».

«Конечно,— сказал ВТОРОЙ.— Наука доказала».

«Нет сомнений,— сказал ТРЕТИЙ.— Наука доказала».

Они все рассмеялись и пошли по своим близким домам.

5. РАЗГОВОР О БЕГСТВЕ В КОМНАТЕ

Три человека бегали по комнате. Они разговаривали. Они двигались.

Первый. Комната никуда не убегает, а я бегу.

Второй. Вокруг статуй, вокруг статуй, вокруг статуй.

Третий. Тут статуй нет. Взгляните, никаких статуй нет.

Первый. Взгляни — тут нет статуй.

Второй. Наше утешение, что у нас есть души. Смотрите, я бегаю.

Третий. И стул беглец, и стол беглец, и стена беглянка.

Первый. Мне кажется, ты ошибаешься. По-моему, мы одни убегаем.

Три человека сидели в саду. Они разговаривали. Над ними в воздухе возвышались птицы. Три человека сидели в зеленом саду.

Второй

Хорошо сидеть в саду,
Улыбаясь на звезду,

И подсчитывать в уме,
Много ль нас умрет к зиме.

И, внимая стуку птиц,
Звуку человеческих лиц
И звериному рычанью,
Встать побегать на прощанье.

Три человека стояли на горной вершине. Они говорили стихами. Для усиленных движений не было места и времени.

Т р е т и й

Дивно, стоя на горе,
Думать о земной коре.
Пусть она черна, шершава,
Но страшна ее держава.
Воздух тут. Он стар и сед.
Здравствуй, воздух, мой сосед.
Я обнимаю высоту.
Я вижу Бога за версту.

Трое стояли на берегу моря. Они разговаривали. Волны слушали их в отдалении.

П е р в ы й

У моря я стоял давно
И думал о его пучине.
Я думал, почему оно
Звучит, как музыкант Пуччини.
И понял: море это сад.
Он музыкальными волнами
Зовет меня и вас назад,
Побегать в комнате со снами.

Три человека бегали по комнате. Они разговаривали. Они двигались. Они осматривались.

В т о р о й. Все тут как прежде. Ничто никуда не убежало.

Т р е т и й. Одни мы убегаем. Я выну сейчас оружие. Я буду над собой действовать.

П е р в ы й. Куда как смешно. Стреляться, или топиться, или вешаться ты будешь?

В т о р о й. О, не смейся! Я бегаю, чтобы поскорее кончиться.

Т р е т и й. Какой чудак. Он бегаёт вокруг статуй.

Первый. Если статуями называть все предметы, то и то.

Второй. Я назвал бы статуями звезды и неподвижные облака. Что до меня, я назвал бы.

Третий. Я убегаю к Богу — я беженец.

Второй. Известно мне, что я с собой покончил.

Три человека вышли из комнаты и поднялись на крышу. Казалось бы, зачем?

6. РАЗГОВОР О НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОДОЛЖЕНИИ

Три человека сидели на крыше сложа руки, в полном покое. Над ними летали воробьи.

Первый. Вот видишь ли ты, я беру веревку. Она крепка. Она уже намылена.

Второй. Что тут говорить. Я вынимаю пистолет. Он уже намылен.

Третий. А вот и река. Вот прорубь. Она уже намылена.

Первый. Все видят, я готовлюсь сделать то, что я уже задумал.

Второй. Прощайте, мои дети, мои жены, мои матери, мои отцы, мои моря, мой воздух.

Третий. Жестокая вода, что же шепнуть мне тебе на ухо? Думаю — только одно: мы с тобой скоро встретимся.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

Первый. Я подхожу к стене и выбираю место. Сюда, сюда вобьем мы крюк.

Второй

Лишь дуло на меня взглянуло,
Как тут же смертью вдруг подуло.

Третий. Ты меня заждалась, замороженная река. Еще немного, и я приближусь.

Первый. Воздух, дай мне на прощанье пожать твою руку.

Второй. Пройдет еще немного времени, и я превращусь в холодильник.

Третий. Что до меня — я превращусь в подводную лодку.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

Первый. Я стою на табурете одиноко, как свечка.

Второй. Я сижу на стуле. Пистолет в сумасшедшей руке.

Третий. Деревья, те, что в снегу, и деревья, те, что стоят окрыленные листьями, стоят в отдалении от этой синей проруби, я стою в шубе и в шапке, как стоял Пушкин, и я, стоящий перед этой прорубью, перед этой водой, — я человек кончающий.

Первый. Мне все известно. Я накидываю веревку себе же на шею.

Второй. Да, ясно все. Я вставляю дуло пистолета в рот. Я не стучу зубами.

Третий. Я отступаю на несколько шагов. Я делаю разбег. Я бегу.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

Первый. Я прыгаю с табурета. Веревка на шее.

Второй. Я нажимаю курок. Пуля в стволе.

Третий. Я прыгнул в воду. Вода во мне.

Первый. Петля затягивается. Я задыхаюсь.

Второй. Пуля попала в меня. Я все потерял.

Третий. Вода переполнила меня. Я захлебываюсь.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

Первый. Умер.

Второй. Умер.

Третий. Умер.

Первый. Умер.

Второй. Умер.

Третий. Умер.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

Они сидели на крыше в полном покое. Над ними летали воробьи.

7. РАЗГОВОР О РАЗЛИЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

Поясняющая мысль. Казалось бы, что тут продолжать, когда все умерли, что тут продолжать. Это каждому ясно. Но не забудь, тут не три человека действуют. Не они едут в карете, не они спорят, не они сидят на крыше. Быть может, три льва, три тапира, три аиста, три буквы, три числа. Что нам их смерть, для чего им их смерть.

Но все-таки они трое ехали на лодке, ежеминутно, ежесекундно обмениваясь веслами, с такой быстротой, с такой широтой, что их дивных рук не было видно.

Первый. Он дунул.
Второй. Он плюнул.
Третий. Все погасло.
Первый. Зажги.
Второй. Свечу.
Третий. Снова.
Первый. Не получается.
Второй. Гаснет.
Третий. Свеча снова.

Они начали драться и били молотками друг друга по голове.

Первый. Эх, спичек.
Второй. Достать бы.
Третий. Они помогли бы.
Первый. Едва ли.
Второй. Тут слишком.
Третий. Уж все погасло.

Они пьют кислоту, отдыхая на веслах. Но действительно, вокруг все непрозрачно.

Первый. Зажги же.
Второй. Зажигай, зажигай же.
Третий. Совсем как в Париже.
Первый. Тут не Китай же.
Второй. Неужто мы едем.
Третий. В далекую Лету.
Первый. Без золота, без меди.
Второй. Доедем ли к лету?
Третий. Стриги.
Первый. Беги.
Второй. Ни зги.
Третий. Если мертвый, то.
Первый. Не к
Второй. Если стертый, то.
Третий. Не ищи.

Так ехали они на лодке, обмениваясь мыслями, и весла, как выстрелы, мелькали в их руках.

8. РАЗГОВОР КУПЦОВ С БАНЩИКОМ

Два купца блуждали по бассейну, в котором не было воды. Но банщик сидел под потолком.

Два купца (*опустив головы, словно быки*). В бассейне нет воды. Я не в состоянии купаться.

Банщик

Однообразен мой обычай:
Сижу как сыч под потолком,
И дым предбанный,
Воздух бычий,
Стоит над каждым котелком.
Я, дым туманный,
Тьмы добычей,
Должно быть, стану целиком.
Мерцают печи,
Вянут свечи,
Пылает беспощадный пар.
Средь мокрых нар
Желтеют плечи,
И новой и суровой сечи
Уже готовится навар.
Тут ищут веник,
..... денег,
Здесь жадный сделался ловец.
Средь мрака рыщут,
Воют, свищут
Отец, и всадник, и пловец.
И дым колышется, как нищий,
В безбожном сумрачном жилище,
Где от лица всех подлецов
Слетает облак мертвецов.

Два купца (*подняв головы, словно онемели*). Пойдем в женское отделение. Я тут не в состоянии купаться.

Банщик (*сидит под потолком, словно банщица*)

Богини
Входят в отделение,
И небо стынет
В отдаленье.
Как крылья, сбрасывают шубки,
Как быстро обнажают юбки

И, превращаясь в голышей,
На шеях держат малышей.
Тут мыло пляшет, как Людмила,
Воркует губка, как голубка,
И яркий снег ее очей,
И ручеек ее речей,
И очертание ночей,
И то пылание печей
Страшной желанья свечей.
Тут я сижу и ненавижу
Ту многочисленную жижу,
Что брызжет из открытых кранов,
Стекает по стремнинам тел,
Где животы имеют вид тиранов.
Я банщик, но и я вспотел.
Мы, банщицы, унылы нынче.
Нам свет не мил. И мир не свеж.
Смотрю, удачно крюк привинчен.
Оружье есть. Петлю отрежь.
Пускай купаются красавицы,
Мне все равно они не нравятся.

Два купца (смотрят в баню, прямо как в волны).
Он, должно быть, бесполой, этот банщик.

Входит Елизавета. Она раздевается с целью начать мыться. Два купца смотрят на нее, как тени.

Два купца. Гляди. Гляди. Она крылата.

Два купца. Ну да, у нее тысячи крылышек.

Елизавета, не замечая купцов, вымылась, оделась и вновь ушла из бани. Входит Ольга. Она раздевается, верно хочет купаться. Два купца смотрят на нее, как в зеркало.

Два купца. Гляди, гляди, как я изменился.

Два купца. Да, да. Я совершенно неузнаваем.

Ольга замечает купцов и прикрывает свою наготу пальцами.

Ольга. Не стыдно ль вам, купцы, что вы на меня смотрите?

Два купца. Мы хотим купаться. А в мужском отделении нет воды.

Ольга. О чем же вы сейчас думаете?

Два купца. Мы думали, что ты зеркало. Мы ошиблись. Мы просим прощенья.

Ольга. Я женщина, купцы. Я застенчива. Не могу я стоять перед вами голой.

Два купца. Как странно ты устроена. Ты почти не похожа на нас. И грудь у тебя не та, и между ногами существенная разница.

Ольга. Вы странно говорите, купцы, или вы не видели наших красавиц. Я очень красива, купцы.

Два купца. Ты купаешься, Ольга?

Ольга. Я купаюсь.

Два купца. Ну купайся, купайся.

Ольга кончила купаться. Оделась и вновь ушла из бани. Входит Зоя. Она раздевается, значит, хочет мыться. Два купца плавают и бродят по бассейну.

Зоя. Купцы, вы мужчины?

Два купца. Мы мужчины. Мы купаемся.

Зоя. Купцы, где мы находимся? Во что мы играем?

Два купца. Мы находимся в бане. Мы моемся.

Зоя. Купцы, я буду плавать и мыться. Я буду играть на флейте.

Два купца. Плавай. Мойся. Играй.

Зоя. Может быть, это ад.

Зоя кончила купаться, плавать, играть. Оделась и вновь ушла из бани. Банщик, он же банщица, спускается из-под потолка.

Банщик. Одурачили вы меня, купцы.

Два купца. Чем?

Банщик. Да тем, что пришли в колпаках.

Два купца. Ну что ж из этого, мы же это не нарочно сделали.

Банщик. Оказывается, вы хищники.

Два купца. Какие?

Банщик. Львы, или тапиры, или аисты. А вдруг да и коршуны.

Два купца. Ты, банщик, догадлив.

Банщик. Я догадлив.

Два купца. Ты, банщик, догадлив.

Банщик. Я догадлив.

9. ПРЕДПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР ПОД НАЗВАНИЕМ «ОДИН ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА»

Суровая обстановка. Военная обстановка. Боевая обстановка. Почти атака или бой.

Первый. Я один человек и земля.

Второй. Я один человек и скала.

Т р е т и й. Я один человек и война. И вот что я еще скажу. Я сочинил стихи о тысяча девятьсот четырнадцатом годе.

П е р в ы й. Без всяких предисловий читаю.

В т о р о й

Немцы грабят русскую землю.
Я лежу
И грабежу
Внемлю.
Немцам позор, Канту стыд.
За нас
Каждый гренадер отомстит.
А великий князь К. Р.
Богу льстит.
Наблюдая
Деятельность немцев,
Распухал,
Как звезда, я.
Под взором адвокатов и земцев
Без опахал
Упал
Из гнезда я.

Т р е т и й. Сделай остановку. Надо об этом подумать.

П е р в ы й. Присядем на камень. Послушаем выстрелы.

В т о р о й. Повсюду, повсюду стихи осыпаются, как деревья.

Т р е т и й. Я продолжаю.

П е р в ы й

Что же такое,
Нет, что случилось,
Понять я не в силах,—
Царица молилась
На запах левкоя,
На венки,
На кресты
На могилах,
Срывая с себя листы
Бесчисленных русских хилых.

В т о р о й. Неужели мы добрались до братского кладбища?

Третий. И тут лежат их останки.

Первый. Звучат выстрелы. Шумят пушки.

Второй. Я продолжаю.

Третий

Сражаясь в сраженьях
Ужасных,
Досель не забытых,
Изображенья
Несчастных
Я видел трупов убитых.
Досель
Они ели кисель.
Отсель
Им бомбежка постель.
Но шашкой,
Но пташкой
Бряцаая,
Кровавой рубашкой
Мерцаая,
Но пуча
Убитые очи,
Как гуча,
Как лошади, бегали ночи.

Первый. Описание точное.

Второй. Выслушайте пение или речь выстрелов.

Третий. Ты внес полную ясность.

Первый. Я продолжаю.

Второй

Ты хороша, прекрасная война,
И мне мила щека вина,
Глаза вина и губы,
И водки белые зубы.
Три года был грабеж,
Крики, пальба, бомбеж.
Штыки, цветки, стрельба,
Бомбеж, грабеж, гроба.

Третий. Да, это правда, тогда была война.

Первый. В том году гусары были очень красиво одеты.

Второй. Нет, уланы лучше.

Третий. Гренадеры были красиво одеты.

Первый. Нет, драгуны лучше.

Второй. От того года не осталось и косточек.

Третий. Просыпаются выстрелы. Они зевают.

Первый (*выглядывая в окно, имеющее вид буквы А*). Нигде я не вижу надписи, связанной с каким бы то ни было понятием.

Второй. Что ж тут удивительного. Мы же не учительницы.

Третий. Идут купцы. Не спросить ли их о чем-нибудь?

Первый. Спроси. Спроси.

Второй. Откуда вы, два купца?

Третий. Я ошибся. Купцы не идут. Их не видно.

Первый. Я продолжаю.

Второй. Почему нам приходит конец, когда нам этого не хочется?

Обстановка была суровой. Была военной. Она была похожей на сражение.

10. ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Первый. Я из дому вышел и далеко пошел.

Второй. Ясно, что я пошел по дороге.

Третий. Дорога, дорога, она была обсажена.

Первый. Она была обсажена дубовыми деревьями.

Второй. Деревья, те шумели листьями.

Третий. Я сел под листьями и задумался.

Первый. Задумался о том.

Второй. О своем условно прочном существовании.

Третий. Ничего я не мог понять.

Первый. Тут я встал и опять далеко пошел.

Второй. Ясно, что я пошел по тропинке.

Третий. Тропинка, тропинка, она была обсажена.

Первый. Она была обсажена цветами мучителями.

Второй. Цветы, те разговаривали на своем цветочном языке.

Третий. Я сел возле них и задумался.

Первый. Задумался о том.

Второй. Об изображениях смерти, о ее чудачествах.

Третий. Ничего я не мог понять.

Первый. Тут я встал и опять далеко пошел.

Второй. Ясно, что я пошел по воздуху.

Третий. Воздух, воздух, он был окружен.

Первый. Он был окружен облаками, и предметами, и птицами.

Второй. Птицы, те занимались музыкой, облака порхали, предметы, подобно слонам, стояли на месте.

Третий. Я сел поблизости и задумался.

Первый. Задумался о том.

Второй. О чувстве жизни, во мне обитающем.

Третий. Ничего я не мог понять.

Первый. Тут я встал и опять далеко пошел.

Второй. Ясно, что я пошел мысленно.

Третий. Мысли, мысли, они были окружены.

Первый. Они были окружены освещением и звуками.

Второй. Звуки, те слышались, освещение пылало.

Третий. Я сел под небом и задумался.

Первый. Задумался о том.

Второй. О карете, о банщике, о стихах и о действиях.

Третий. Ничего я не мог понять.

Первый. Тут я встал и опять далеко пошел.

Конец

⟨1936—1937⟩

ЕЛКА У ИВАНОВЫХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

| | | |
|--|---|------|
| Петя Перов — годовалый мальчик | } | дети |
| Нина Серова — восьмилетняя девочка | | |
| Варя Петрова — семнадцатилетняя девочка | | |
| Володя Комаров — двадцатипятилетний мальчик | | |
| Соня Острова — тридцатидвухлетняя девочка | | |
| Миша Пестров — семидесятишестилетний мальчик | | |
| Дуня Шустрова — восьмидесятидвухлетняя девочка | | |
| Пузырева — мать | | |
| Пузырев — отец | | |
| Собака Вера | | |
| Гробовщик | | |
| Горничные, повара, солдаты, учителя латинского и греческого языка. | | |

Действие происходит в 90-х годах

ДЕЙСТВИЕ I

Картина первая

На первой картине нарисована ванна. Под сочельник дети купаются. Стоит и комод. Справа от двери повара режут кур и режут поросят. Няньки, няньки, няньки моют детей. Все дети сидят в одной большой ванне, а Петя Перов, годовалый мальчик, купается в тазу, стоящем прямо против двери. На стене слева от двери висят часы. На них 9 часов вечера.

Годовалый мальчик Петя Перов. Будет елка? Будет. А вдруг не будет? Вдруг я умру?

Нянька (*мрачная, как скунс*). Мойся, Петя Перов. Намыль себе уши и шею. Ведь ты еще не умеешь говорить.

Петя Перов. Я умею говорить мыслями. Я умею плакать. Я умею смеяться. Что ты хочешь?

Варя Петрова (девочка 17 лет). Володя, потри мне спину. Знает Бог, на ней вырос мох. Как ты думаешь?

Володя Комаров (мальчик 25 лет). Я ничего не думаю. Я обжег себе живот.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). Теперь у тебя будет клякса. Которую, я знаю, не вывести ничем и никогда.

Соня Острова (девочка 32 лет). Вечно ты, Миша, говоришь неправильно. Посмотри лучше, какая у меня сделалась грудь.

Дуня Шустрова (девочка 82 лет). Опять хвастаешься. То ягодицами хвасталась, а теперь грудью. Побоялась бы Бога.

Соня Острова (девочка 32 лет. Поникает от горя, как взрослый малороссийский человек). Я обижена на тебя. Дура, идиотка, блядь.

Нянька (замахиваясь топором, как секирой). Сонька, если ты будешь ругаться, я скажу отцу-матери, я зарублю тебя топором.

Петя Перов (мальчик 1 года). И ты почувствуешь на краткий миг, как разорвется твоя кожа и как брызнет кровь. А что ты почувствуешь дальше, нам неизвестно.

Нина Серова (девочка 8 лет). Сонечка, эта нянька сумасшедшая или преступница. Она все может. Зачем ее только к нам взяли.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). Да бросьте, дети, ссориться. Так и до елки не доживешь. А родители свечек купили, конфет и спичек, чтобы зажигать свечи.

Соня Острова (девочка 32 лет). Мне свечи не нужны. У меня есть палец.

Варя Петрова (девочка 17 лет). Соня, не настаивай на этом. Не настаивай. Лучше мойся почище.

Володя Комаров (мальчик 25 лет). Девочки должны мыться чаще мальчиков, а то становятся противными. Я так думаю.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). Ох, да будет вам говорить гадости. Завтра елка, и мы все будем очень веселиться.

Петя Перов (мальчик 1 года). Один я буду сидеть на руках у всех гостей по очереди с видом важным

и глупым, будто бы ничего не понимая. Я и невидимый Бог.

С о н я О с т р о в а (*девочка 32 лет*). А я, когда в зал выйду, когда елку зажгут, я юбку подниму и всем все покажу.

Н я н ь к а (*зверя*). Нет, не покажешь. Да и нечего тебе показывать — ты еще маленькая.

С о н я О с т р о в а (*девочка 32 лет*). Нет, покажу. А то, что у меня маленькая, это ты правду сказала. Это еще лучше. Это не то, что у тебя.

Н я н ь к а (*хватает топор и отрубает ей голову*). Ты заслужила эту смерть.

Д е т и кричат: «Убийца, она убийца. Спасите нас. Прекратите купанье».

Повара перестают резать кур и резать поросят. Удаленная на два шага от тела, лежит на полу кровавая отчаянная голова. За дверями воет собака В е р а. Входит п о л и ц и я.

П о л и ц и я

Где же родители?

Д е т и (*хором*)

Они в театре.

П о л и ц и я

Давно ль уехали?

Д е т и (*хором*)

Давно, но не навеки.

П о л и ц и я

И что же смотрят,
Балет иль драму?

Д е т и (*хором*)

Балет, должно быть.
Мы любим маму.

П о л и ц и я

Приятно встретить
Людей культурных.

Д е т и (*хором*)

Всегда ль вы ходите в котурнах?

Полиция

Всегда. Мы видели труп
И голову отдельно.
Тут человек лежит бесцельно,
Сам нецельный.
Что тут было?

Дети (*хором*)

Нянька топором
Сестренку нашу зарубила.

Полиция

А где ж убийца?

Нянька

Я пред вами.
Вяжите меня.
Ложите меня.
И казните меня.

Полиция

Эй, слуги, огня.

Слуги

Мы плачем навзрыд,
А огонь горит.

Нянька (*плачет*)

Судите коня,
Пожалейте меня.

Полиция

За что ж судить коня,
Коль конь не виноват
В кровотечение этом.
Да нам и не найти
Виновного коня.

Нянька. Я сумасшедшая.

Полиция. Ну, одевайся. Там разберут. Пройдешь экспертизу. Надевайте на нее кандалы или вериги.

Один повар. Тебе, нянька, и вериги в руки.

Другой повар. Душегубка.

Полиция. Эй вы, потише, повара. Ну-ну, пошли.
До свиданья, дети.

Слышен стук в дверь. Врывается Пузырев-отец и Пузырева-мать. Они страшно кричат, лаят и мычат. На стене слева от двери висят часы, на них 12 часов вечера.

Конец первой картины

Картина вторая

Тот же вечер и лес. Снегу столько, что хоть возами его вози. И верно, его и возят. В лесу лесорубы рубят елки. Завтра во многих русских и еврейских семействах будут елки. Среди других лесорубов выделяется один, которого зовут Федор. Он жених няньки, совершившей убийство. Что знает он об этом? Он еще ничего не знает. Он плавно рубит елку для елки в семействе Пузыревых.

Все звери попритаились по своим норам. Лесорубы поют хором гимн.
На тех же часах слева от двери те же 9 часов вечера.

Лесорубы

Как хорошо в лесу,
Как светел снег.
Молитесь колесу,
Оно круглее всех.

Деревья на конях
Бесшумные лежат.
И пасынки в санях
По-ангельски визжат.

Знать, завтра Рождество,
И мы, бесчестный люд,
Во здравие его
Немало выпьем блюд.

С престола смотрит Бог,
И, улыбаясь кротко,
Вздыхает тихо, ох,
Народ ты мой сиротка.

Федор (*задумчиво*). Нет, не знаете вы того, что я вам сейчас скажу. У меня есть невеста. Она работает нянькой в большом семействе Пузыревых. Она очень красивая. Я ее очень люблю. Мы с ней уже живем, как муж с женою.

Лесорубы, каждый как умеет, знаками показывают ему, что их интересуется то, что он им сказал. Тут выясняется, что они не умеют говорить. А то, что они только что цели, — это простая случайность, которых так много в жизни.

Федор. Только она очень нервная, эта моя невеста. Да что поделаешь, работа тяжелая. Семейство большое. Много детей. Да что поделаешь.

Лесоруб. Фрукт.

Хотя он и заговорил, но ведь сказал невпопад. Так что это не считается. Его товарищи тоже всегда говорят невпопад.

2-й лесоруб. Желтуха.

Федор. После того, как я ее возьму, мне никогда не бывает скучно и противно не бывает. Это потому, что мы друг друга любим. У нас одна близкая душа.

3-й лесоруб. Помочи.

Федор. Вот сейчас отвезу дерево и пойду к ней ночью. Она детей перекупала и меня теперь поджидает. Да что поделаешь.

Федор и Лесорубы садятся на сани и уезжают из леса. Выходят звери. **Жирафа** — чудный зверь, **Волк** — бобровый зверь, **Лев-государь** и **Свиной поросенок**.

Жирафа. Часы идут.

Волк. Как стада овец.

Лев. Как стада быков.

Свиной поросенок. Как осетровый хрящ.

Жирафа. Звезды блещут.

Волк. Как кровь овец.

Лев. Как кровь быков.

Свиной поросенок. Как молоко кормилицы.

Жирафа. Реки текут.

Волк. Как слова овец.

Лев. Как слова быков.

Свиной поросенок. Как богиня семга.

Жирафа. Где наша смерть?

Волк. В душах овец.

Лев. В душах быков.

Свиной поросенок. В просторных сосудах.

Жирафа. Благодарю вас. Урок окончен.

Звери: Жирафа — чудный зверь, Волк — бобровый зверь, Лев-государь и Свиной поросенок — совсем как в жизни, уходят. Лес остается один. На часах слева от двери 12 часов ночи.

Конец второй картины

Картина третья

Ночь. Гроб. Уплывающие по реке свечи. Пузырев-отец. Очки. Борода. Слюни. Слезы. Пузырева-мать. На ней женские доспехи. Она красавица. У нее есть бюст. В гробу плашмя лежит Соня Острова. Она обескровлена. Ее отрубленная голова лежит на подушке, приложенная к своему бывшему телу. На стене слева от двери висят часы. На них 2 часа ночи.

Пузырев-отец (*плачет*). Девочка моя, Соня, как же так. Как же так. Еще утром ты играла в мячик и бегала как живая.

Пузырева-мать. Сонечка. Сонечка. Сонечка. Сонечка. Сонечка. Сонечка. Сонечка.

Пузырев-отец (*плачет*). Дернул же нас черт уехать в театр и смотреть там этот дурацкий балет с шерстяными пузатыми балеринами. Как сейчас помню, одна из них, прыгая и сияя, улыбнулась мне, но я подумал, на что ты мне нужна, у меня ведь есть дети, есть жена, есть деньги. И я так радовался, так радовался. Потом мы вышли из театра и я позвал лихача и сказал ему: «Ваня, вези нас поскорее домой, у меня что-то сердце неспокойно».

Пузырева-мать (*зевает*). О жестокий Бог, жестокий Бог, за что ты нас наказываешь.

Пузырев-отец (*сморкается*). Мы были как пламя, а ты нас тушишь.

Пузырева-мать (*пудрится*). Мы хотели детям елку устроить.

Пузырев-отец (*целуется*). И мы устроим ее, устроим. Несмотря ни на что.

Пузырева-мать (*раздевается*). О, это будет елка. Всем елкам ель.

Пузырев-отец (*разжигая свое воображение*). Ты у меня красавица, и дети так милы.

Пузырева-мать (*отдается ему*). Боже, почему так скрипит диван. Как это ужасно.

Пузырев-отец (*кончив свое дело, плачет*). Господи, у нас умерла дочь, а мы тут как звери.

Пузырева-мать (*плачет*). Не умерла же, не умерла, в том-то и дело. Ведь ее убили.

Входит нянька с годовалым Петей Перовым на руках.

Нянька. Мальчик проснулся. Ему что-то неспокойно на душе. Он морщится. Он с отвращением на все смотрит.

Пузырева - мать. Спи, Петенька, спи. Мы тебя караулим.

Петя Перов (*мальчик 1 года*). А что Соня, все мертвая?

Пузырев - отец (*вздыхает*). Да, она мертва. Да, она убита. Да, она мертва.

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Я так и думал. А елка будет?

Пузырева - мать. Будет. Будет. Что вы все дети сейчас делаете?

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Мы все дети сейчас спим. И я засыпаю. (*Засыпает.*)

Нянька подносит его к родителям, те крестят его и целуют.
Нянька уносит его.

Пузырев - отец (*жене*). Ты побудь пока одна у гроба. Я сейчас вернусь. Я пойду погляжу, не несут ли елку. (*Выбегает из гостиной. Через секунду возвращается, потирая руки.*) А кстати, и свечей подкинуть надо, а то эти уж совсем отплыли в Лету. (*Низко кланяется гробу и жене и на цыпочках выходит.*)

Пузырева - мать (*остается одна*). Сонечка, знаешь, когда мы поднимались по лестнице, надо мной все время летала черная ворона, и я нравственно чувствовала, как мое сердце сжимается от тоски. А когда мы вошли в квартиру и когда слуга Степан Николаев сказал: «Она убита. Она убита», — я закричала беспросветным голосом. Так стало мне страшно. Так страшно. Так нелегко.

Соня Острова (*бывшая девочка 32 лет*). Лежит, как поваленный железнодорожный столб. Слышит ли она, что ей говорит мать? Нет, где ж ей. Она совершенно мертва. Она убита.

Дверь открывается нараспашку. Входит Пузырев - отец. За ним Федор. За ним лесорубы. Они вносят елку. Видят гроб, и все снимают шапки. Кроме елки, у которой нет шапки и которая в этом ничего не понимает.

Пузырев - отец. Тише, братцы, тише. Тут у меня дочка девочка при последнем издыхании. Да, впрочем (*всхлипывает*), даже уже не при последнем, у нее голова отрезана.

Федор. Вы нам сообщаете горе. А мы вам радость приносим. Вот елку принесли.

1 - й Лесоруб. Фрукт.

2 - й Л е с о р у б. Послание грекам.

3 - й Л е с о р у б. Человек тонет. Спасайте.

Все выходят. Соня Острова, бывшая девочка 32 лет, остается одна.
Остаются ее голова и тело.

Г о л о в а. Тело, ты все слышало?

Т е л о. Я, голова, ничего не слышало. У меня ушей нет. Но я все перечувствовало.

Конец третьей картины и I действия

На часах слева от двери 3 часа ночи.

ДЕЙСТВИЕ II

Картина четвертая

Участок. Ночь. Сургуч. Полиция. На часах слева от двери 12 часов ночи. Сидит писарь и сидит городской.

П и с а р ь. У сургуча всегда грудь горяча. У пера два прекрасных бедра.

Г о р о д о в о й

Мне скучно, писарь.
Я целый день стоял затмением на посту.
Промерз. Простыл. И все мне опостыло.
Скитающийся дождь и пирамиды
Египетские в солнечном Египте.
Потешь меня.

П и с а р ь. Да ты, городской, я вижу, с ума сошел.
Чего мне тебя тешить, я твое начальство.

Г о р о д о в о й

Ей-богу,
Аптеки, кабаки и пубдома
Сведут меня когда-нибудь с ума.
Да чем сводить отравленных в аптеки,
Я б предпочел сидеть в библиотеке,
Читать из Маркса разные отрывки,
А по утрам не водку пить, а сливки.

П и с а р ь. А что с тем пьяным? Что он, все еще качается?

Городовой

Качается, как маятник вот этот,
И Млечный Путь качается над ним.
Да, сколько их, тех тружеников моря,
Отверженных и крепостных крестьян.

Входят становой пристав и жандармы.

Становой пристав. Все встать. Все убрать.
Помолиться Богу. Сейчас сюда введут преступницу.

Солдаты, слуги, повара и учителя латинского и греческого языка
волокут няньку, убившую Соню Острову.

Становой пристав. Оставьте ее. (*Обращаясь
к няньке.*) Садитесь в тюрьму.

Нянька. Мои руки в крови. Мои зубы в крови. Ме-
ня оставил Бог. Я сумасшедшая. Что-то она сейчас де-
лает?

Становой пристав. Ты, нянька, о ком гово-
ришь? Ты смотри, не заговаривайся. Дайте мне чарку
водки. Кто она?

Нянька. Соня Острова, которую я зарезала. Что-то
она сейчас думает? Мне холодно. У меня голова, как
живот, болит.

Писарь. А еще молода. А еще недурна. А еще хо-
роша. А еще как звезда. А еще как струна. А еще как
душа.

Городовой (*к няньке*)

Воображаю ваше состоянье,
Вы девочку убили топором.
И на душе у вас теперь страданье,
Которое не описать пером.

Становой пристав. Ну, нянька, как вы себя
чувствуете? Приятно быть убийцей?

Нянька. Нет. Тяжело.

Становой пристав. Ведь вас казнят. Ей-богу,
вас казнят.

Нянька. Я стучу руками. Я стучу ногами. Ее го-
лова у меня в голове. Я Соня Острова — меня нянька
зарезала. Федя-Федор, спаси меня.

Городовой

Некогда, помню, стояя я на посту на морозе.
Люди ходили кругом, бегали звери лихие.

Всадников греческих туча как тень пронеслась по проспекту.

Свистнул я в громкий свисток, дворников вызвал к себе.

Долго стояли мы все, в подзорные трубы глядели, Уши к земле приложив, топот ловили копыт.

Горе нам, тщетно и праздно искали мы конное войско.

Тихо заплакав потом, мы по домам разошлись.

Становой пристав. К чему ты это рассказал? Я тебя спрашиваю об этом. Дурак! Чинодрал. Службы не знаешь.

Городовой. Я хотел отвлечь убийцу от ее мрачных мыслей.

Писарь. Стучат. Это санитары. Санитары, возьмите ее в ваш сумасшедший дом.

В дверь стучат, входят санитары.

Санитары. Кого взять — этого Наполеона?

Уходят. На часах слева от двери 4 часа ночи.

Конец четвертой картины

Картина пятая

Сумасшедший дом. У бруствера стоит врач и целится в зеркало. Кругом цветы, картины и коврики. На часах слева от двери 4 часа ночи.

Врач. Господи, до чего страшно. Кругом одни ненормальные. Они преследуют меня. Они поедают мои сны. Они хотят меня застрелить. Вот один из них подкрался и целится в меня. Целится, а сам не стреляет. Целится, а сам не стреляет. Не стреляет, не стреляет, не стреляет, а целится. Итого: стрелять буду я.

Стреляет. Зеркало разбивается. Входит каменный санитар.

Санитар. Кто стрелял из пушки?

Врач. Я не знаю; кажется, зеркало. А сколько вас?

Санитар. Нас много.

Врач. Ну то-то. А то у меня немного чепуха болит. Там кого-то привезли?

Санитар. Няньку-убийцу привезли из участка.

Врач. Она черная как уголь.

Санитар. Знаете ли, я не все знаю.

Врач. Как же быть? Мне не нравится этот коврик. *(Стреляет в него. Санитар падает замертво.)* Почему вы упали, я стрелял не в вас, а в коврик.

Санитар *(поднимаясь)*. Мне показалось, что я коврик. Я обознался. Эта нянька говорит, что она сумасшедшая.

Врач. Это она говорит — мы этого не говорим. Мы зря этого не скажем. Я, знаете, весь наш сад со всеми его деревьями, и с подземными червяками, и с неслышными тучами держу вот тут, вот тут, ну, как это место называется? *(Показывает на ладонь руки.)*

Санитар. Виноград.

Врач. Нет.

Санитар. Стена.

Врач. Нет. В ладони. Ну впускай же эту няньку.

Входит нянька.

Нянька. Я сумасшедшая. Я убила ребенка.

Врач. Нехорошо убивать детей. Вы здоровы.

Нянька. Я сделала это не нарочно. Я сумасшедшая. Меня могут казнить.

Врач. Вы здоровы. У вас цвет лица. Сосчитайте до трех.

Нянька. Я не умею.

Санитар. Раз. Два. Три.

Врач. Видите, а говорите, что не умеете. У вас железное здоровье.

Нянька. Я говорю с отчаяньем. Это же не я считала, а ваш санитар.

Врач. Сейчас это уже трудно установить. Вы меня слышите?

Санитар. Слышу. Я нянька, я обязана все слышать.

Нянька. Господи, кончается моя жизнь. Скоро меня казнят.

Врач. Уведите ее и лучше приведите елку. Ей-богу, это лучше. Чуть-чуть веселее. Так надоело дежурство. Спокойной ночи.

На лодке из зала, отталкиваясь об пол веслами, плывут больные.

С добрым утром, больные. Куда вы?

Сумасшедшие. По грибы, по ягоды.

Врач. Ах, вот оно что.

Санитар. И я с вами купаться.

Врач. Нянька, иди казниться. Ты здорова. Ты кровь с молоком.

На часах слева от двери 6 часов утра.

Конец пятой картины

Картина шестая

Коридор. Тут двери. Там двери. И здесь двери. Темно. Федор, лесоруб, жених няньки, убившей Сою Острову, во фраке, с конфетами в руках идет по коридору. Ни с того ни с сего у него завязаны глаза.
На часах слева от двери 5 часов утра.

Федор (*входя в одну дверь*). Ты спишь?

Голос одной служанки. Я сплю, но ты входи.

Федор. Значит, ты в кровати. Смотри-ка, я угощение припас.

Служанка. Откуда же ты пришел?

Федор. Я был в бане. Я мыл себя щетками, как коня. Мне там в шутку глаза завязали. Дай-ка я сниму фрак.

Служанка. Раздевайся. Ложись на меня.

Федор. Я лягу, лягу. Ты не торопись. Ешь угощенье.

Служанка. Я ем. А ты делай свое дело. У нас завтра елка будет.

Федор (*ложится на нее*). Знаю. Знаю.

Служанка. И девочка у нас убита.

Федор. Знаю. Слышал.

Служанка. Уже в гробу лежит.

Федор. Знаю. Знаю.

Служанка. Мать плакала, тоже и отец.

Федор (*встает с нее*). Мне скучно с тобой. Ты не моя невеста.

Служанка. Ну и что же из этого?

Федор. Ты мне чужая по духу. Я скоро исчезну, словно мак.

Служанка. Куда как ты мне нужен. А впрочем, хочешь еще раз?

Федор. Нет, нет, у меня страшная тоска. Я скоро исчезну, словно радость.

Служанка. О чем ты сейчас думаешь?

Федор. О том, что весь мир стал для меня неинтересен после тебя. И стол потерял соль, и небо, и сте-

ны, и окно, и небо, и лес. Я скоро исчезну, словно ночь.

Служанка. Ты невежлив. За это я накажу тебя. Взгляни на меня. Я расскажу тебе что-то неестественное.

Федор. Попробуй. Ты жаба.

Служанка. Твоя невеста убила девочку. Ты видел убитую девочку? Твоя невеста отрубила ей голову.

Федор (*квакает*).

Служанка (*усмехаясь*). Девочку Соню Острову знаешь? Ну вот ее она и убила.

Федор (*мяукает*).

Служанка. Что, горько тебе?

Федор (*поет птичьим голосом*).

Служанка. Ну вот, а ты ее любил. А зачем? А для чего? Ты, наверно, и сам.

Федор. Нет, я не сам.

Служанка. Рассказывай, рассказывай, так я тебе и поверила.

Федор. Честное слово.

Служанка. Ну уходи, я хочу спать. Завтра будет елка.

Федор. Знаю. Знаю.

Служанка. Что ты опять приговариваешь? Ведь ты же теперь в стороне от меня.

Федор. Я приговариваю просто так, от большого горя. Что мне еще остается?

Служанка. Горевать, горевать и горевать. И все равно тебе ничего не поможет.

Федор. И все равно мне ничто не поможет. Ты права.

Служанка. А то, может, попробуешь учиться, учиться и учиться.

Федор. Попробую. Изучу латынь. Стану учителем. Прощай.

Служанка. Прощай.

Федор исчезает. Служанка спит. На часах слева от двери 6 часов утра.

Конец шестой картины

ДЕЙСТВИЕ III

Картина седьмая

Стол. На столе гроб. В гробу Соня Острова. В Соне Островой сердце. В сердце свернувшаяся кровь. В крови красные и белые шарики. Ну, конечно, и трупный яд. Всем понятно, что светает. Собака Вера, поджав хвост, ходит вокруг гроба. На часах слева от двери 8 часов утра.

Собака Вера

Я хожу вокруг гроба
Я гляжу вокруг в оба
Эта смерть — это проба.

Бедный молится хлебу
Медный молится небу
Поп отслужит тут требу.

Труп лежит коченея
Зуб имел к ветчине я
Умерла Дульчиная.

Всюду пятна кровавы
Что за черные нравы
Нянька, пет вы не правы.

Жизнь дана в украшенье
Смерть дана в устрашенье
Для чего ж разрушенье.

Самых важных артерий
И отважных бактерий
В чем твой, нянька, критерий.

Федор гладил бы круп
Твой всегда по утру б
А теперь ты сама станешь труп.

Входит, ковыляя, годовалый мальчик Петя Перов.

Петя Перов. Я самый младший — я просыпаюсь раньше всех. Как сейчас помню, два года назад я еще ничего не помнил. Я слышу, собака произносит речь в стихах. Она так тихо плачет.

Собака Вера

Как холодно в зале.
Что вы, Петя, сказали?

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Что я могу сказать? Я могу только что-нибудь сообщить.

Собака Вера

Я вою я вою я вою я вою
Желая увидеть Соню живою.

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Она была неприлично неприлична. А теперь на нее страшно смотреть.

Собака Вера. Вас не удивляет, что я разговариваю, а не лаю?

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Что может удивить меня в мои годы? Успокойтесь.

Собака Вера. Дайте мне стакан воды. Мне слишком.

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Не волнуйтесь. За мою недолгую жизнь мне придется и не с тем еще ознакамливаться.

Собака Вера. Эта Соня несчастная Острова была безнравственна. Но я ее. Объясните мне все.

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Папа. Мама. Дядя. Тетя. Няня.

Собака Вера. Что вы говорите? Опомнитесь.

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Мне теперь год. Не забывайте. Папа. Мама. Дядя. Тетя. Огонь. Облако. Яблоко. Камень. Не забывайте.

Отбывает в штанах на руках у няньки.

Собака Вера (*припоминая*). Он действительно еще мал и молод.

Входят, шамкая, за руки Миша Пестров и Дуня
Шустрова.

Миша Пестров (*мальчик 76 лет*). Поздравляю. Сегодня Рождество. Скоро будет щелка.

Дуня Шустрова (*девочка 82 лет*). Не щелка, а пчелка. И не пчелка, а елка. Поздравляю. Поздравляю. А что, Соня спит?

Собака Вера. Нет, она мочится.

На часах слева от двери 9 часов утра.

Конец седьмой картины

Картина восьмая

На восьмой картине нарисован суд. Судейские в стариках — судейские в париках. Прыгают насекомые. Собирается с силами нафталин. Жандармы пухнут. На часах слева от двери 8 часов утра.

Судья (*издыхая*). Не дождавшись Рождества — я умираю.

Его быстро заменяют другим судьей.

Другой судья. Мне плохо, мне плохо. Спасите меня.

Умирает. Его быстро заменяют другим судьей.

Все (*хором*)

Мы напуганы двумя смертями,
Случай редкий — посудите сами.

Другие все (*по очереди*)

Судим.
Будем.
Судить.
И будить.
Людей
Несут
Суд
И сосуд
На блюде.
Несут
На посуде.
Судей.

Пришедший к делу суд приступает к слушанию дела Козлова и Ослова.

Секретарь (*читает протокол*)

Зимним вечером Козлов
Шел к реке купать козлов
Видит шествует Ослов
Он ведет с реки ослов.

Говорит Ослов Козлову
Честному ты веришь слову
Зря ведешь купать козлов
А читал ты Часослов.

Говорит Козлов Ослову
Чти Псалтырь, а к Часослову
Отношенья не имей
Говорю тебе немей.

Говорит Ослов Козлову
Тут Псалтырь пришелся к слову
На пустырь веди, Козлов,
Чтя Псалтырь, пасти козлов.

Говорит Козлов Ослову
Я не верю пустослову
На тебя сегодня злы
Погляди мои козлы.

Отвечал Ослов Козлову
Ветку я сорву лозову
И без лишних снов и слов
Похлещу твоих козлов.

Отвечал Козлов Ослову
Ветвь и я сорву елову
И побью твоих ослов
Словно вражеских послов.

Голова твоя баранья
Голова твоя коровья.
Долго длились препиранья
Завершилось дело кровью.

Словно мертвые цветы
Полегли в снегу козлы
Пали на землю ослы
Знаменем подняв хвосты.

Требует Козлов с Ослова
Вороти моих козлов
Требует Ослов с Козлова
Воскреси моих ослов.
Вот и все.

Судьи. Признак смерти налицо.
Секретарь. Ну, налицо.
Судьи (*мягко*). Не, говорите «ну».
Секретарь. Хорошо, не буду.

Судья

Начинаю суд.

Сужу

Ряжу

Сижу

Решаю

— нет не погрешаю.

Еще раз.

Сужу

Ряжу

Сижу

Решаю

— нет не погрешаю.

Еще раз.

Сужу

Ряжу

Сижу

Решу

— нет не согрешу.

Я кончил судить, мне все ясно. Аделину Францевну Шметтерлинг, находившуюся нянькой и убившую девочку Соню Острову, *казнить — повесить*.

Нянька (*кричит*). Я не могу жить.

Секретарь. Вот и не будешь. Вот мы и идем тебе навстречу.

Всем ясно, что нянька присутствовала на суде, а разговор Коалова и Ослова велся просто для отвода глаз. На часах слева от двери 9 часов утра.

Конец восьмой картины

Конец III действия

ДЕЙСТВИЕ IV

Картина девятая

Картина девятая, как и все предыдущие, изображает события, которые происходили за шесть лет до моего рождения или за сорок лет до нас. Это самое меньшее. Так что же нам огорчаться и горевать о том, что кого-то убили. Мы никого их не знали и они все равно все умерли. Между третьим и четвертым действием прошло несколько часов. Перед дверями, плотно прикрытыми, чисто умытыми, цветами увятыми, стоит группа детей. На часах слева от двери 6 часов утра вечера.

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Сейчас откроют. Сейчас откроют. Как интересно. Елку увижу.

Нина Серова (*девочка 8 лет*). Ты и в прошлом году видел.

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Видел. Видел. Но я не помню. Я же еще мал. Еще глуп.

Варя Петрова (*девочка 17 лет*). Ах, елка, елка. Ах, елка, елка. Ах, елка, елка.

Дуня Шустрова (*девочка 82 лет*). Я буду прыгать вокруг. Я буду хохотать.

Володя Комаров (*мальчик 25 лет*). Нянька, я хочу в уборную.

Няня. Володя, если тебе нужно в уборную, скажи себе на ухо, а так ты девочек смущаешь.

Миша Пестров (*мальчик 76 лет*). А девочки ходят в уборную?

Няня. Ходят. Ходят.

Миша Пестров (*мальчик 76 лет*). А как? Как ходят? А ты ходишь?

Няня. Как надо, так и ходят. И я хожу.

Володя Комаров (*мальчик 25 лет*). Вот я уже и сходил. Вот и легче стало. Скоро ли нас пустят?

Варя Петрова (*девочка 17 лет. Шепчет*). Няня. Мне тоже нужно. Я волнуюсь.

Няня (*шепчет*). Делай вид, что ты идешь.

Миша Пестров (*мальчик 76 лет*). Куда ж бы она с вами пошла?

Девочки (*хором*). Туда, куда царь пешком ходит. (*Плачут и остаются.*)

Няня. Дуры вы. Сказали бы, что идете на рояли играть.

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Зачем ты их учишь врать? Что толку в таком вранье? Как скучно жить, что бы вы там ни говорили.

Вдруг открывается дверь. В дверях стоят родители.

Пузырев-отец. Ну веселитесь. Что мог, то и сделал. Вот ель. Сейчас и мама сыграет.

Пузырева-мать (*садится без обмана к роялю, играет и поет*)

Вдруг музыка гремит
Как сабля о гранит.
Все открывают дверь
И мы въезжаем в Тверь.
Не в Тверь, а просто в зало
Наполненное елкой.
Все прячут злобы жало
Один летает пчелкой.

Другая мотыльком
Над елки стебельком.
А третий камельком,
Четвертая мелком,
А пятый лезет на свечу
Кричит и я и я рычу.

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Елка, я должен тебе сказать. Какая ты красивая.

Нина Серова (*девочка 8 лет*). Елка, я хочу тебе объяснить. Как ты хороша.

Варя Петрова (*девочка 17 лет*). Ах, елка, елка. Ах, елка, елка. Ах, елка, елка.

Володя Комаров (*мальчик 25 лет*). Елка, я хочу тебе сообщить. Как ты великолепна.

Миша Пестров (*мальчик 76 лет*). Блаженство, блаженство, блаженство, блаженство.

Дуня Шустрова (*девочка 82 лет*). Как зубы. Как зубы. Как зубы. Как зубы.

Пузырев-отец. Я очень рад, что вам весело. Я очень несчастен, что Соня умерла. Как грустно, что всем грустно.

Пузырева-мать (*поет*)

А о у е и я
В Г Р Т

(*Не в силах продолжать пение, плачет.*)

Володя Комаров (*мальчик 25 лет. Стреляет над ее ухом себе в висок*). Мама, не плачь. Вот я и застрелился.

Пузырева-мать (*поет*). Ладно, не буду омрачать ваше веселье. Давайте веселиться. А все-таки бедная, бедная Соня.

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Ничего, ничего мама. Жизнь пройдет быстро. Скоро все умрем.

Пузырева-мать. Петя, ты шутишь. Что ты говоришь?

Пузырев-отец. Он, кажется, не шутит. Володя Комаров уже умер.

Пузырева-мать. Разве умер?

Пузырев-отец. Да конечно же. Ведь он застрелился.

Дуня Шустрова (*девочка 82 лет*). Я умираю, сидя в кресле.

Пузырева - мать. Что она говорит?

Миша Пестров (*мальчик 76 лет*). Хотел долголетия. Нет долголетия. Умер.

Нянька. Детские болезни. Детские болезни. Когда только научатся их побеждать? (*Умирает.*)

Нина Серова (*девочка 8 лет. Плачет*). Няня, няня, что с тобой? Почему у тебя такой острый нос?

Петя Перов (*мальчик 1 года*). Нос острый, но все-таки нож или бритва еще острее.

Пузырев - отец. Двое младших детей у нас еще остались. Петя и Нина. Что ж, проживем как-нибудь.

Пузырева - мать. Меня это не может утешить. Что, за окном солнце?

Пузырев - отец. Откуда же солнце, когда сейчас вечер. Будем елку тушить.

Петя Перов. Умереть до чего хочется. Просто страсть. Умираю. Умираю. Так, умер.

Нина Серова. И я. Ах, елка, елка. Ах, елка, елка. Ах, елка. Ну вот и все. Умерла.

Пузырев - отец. И они тоже умерли. Говорят, что лесоруб Федор выучился и стал учителем латинского языка. Что это со мной? Как кольнуло сердце. Я ничего не вижу. Я умираю.

Пузырева - мать. Что ты говоришь. Вот видишь, человек престопадный, а своего добился. Боже, какая печальная у нас елка. (*Падает и умирает.*)

*Конец девятой картины, а вместе с ней и действия,
а вместе с ним и всей пьесы.*

На часах слева от двери 7 часов вечера.

(1938)

**ИГОРЬ
БАХТЕРЕВ**

П О В Е С Т В О В А Н И Я

В МАГАЗИНЕ СТАРЬЕВЩИКА

Среди участников здешних происшествий и Введенский, и Левин, и Туфанов, и Хармс, и Заболоцкий, и Вагинов, и Владимиров, и Олейников. Кроме названных, никому неведомые: Гржибайло, Молвок, а еще одноногий, одноглазый, однорукий — хозяин.

У него на прилавке косматые вещи. Одни — утратившие форму, даже назначение, другие — посеревшие от старости.

Какие-то маленькие с круглыми ротиками, с вилками вместо локотков, все кружатся, кружатся... Ах, идиотики! И зачем только их положили на верхнюю полку! Пусть ум у них разнообразен, мысли устойчивы, желания продолговаты, им все равно не придется управлять судьбами людей, а возможно, и насекомых.

Смотрите, что так закопошилось под самой витриной? И какой отвратительный запах тухлой рыбы. Нет, не будем туда подходить.

— Уберите, доктор, уберите, миленький. Оно губительно отзывается на всеобщем здоровье.

Нужно ли перечислять остальное? На полках ржавые кастрюли, на стенах перевернутые картины. Вокруг всевозможные несообразности. Тут же собраны сувениры исторического и личного употребления. Первым когда-то действительно подчинялись времена и поступки, теперь вот: жалкое подобие предметов.

Сам хозяин приходит в магазин только раз. Пухлый затылок, редкие зубы, на плечах — чужие кудельки, в ушах — нитки. Ни второй руки, ни второй ноги, ни второго глаза. Вот его портрет. До чего же дурен! А какие отвратительные мысли поворачиваются между

тех разноцветных, местами позолоченных ниток. Наверное, ему хочется икнуть. Даже противно.

В другой раз с протяжным, мечтательным звуком появился министр просвещения. Он так и не вошел, и до сих пор нельзя понять, куда он девался.

Со мной получилось иначе. Я не раздумывая заглянул в шкаф, где хранилась касса. Там я заметил, во-первых, чьи-то дряблые конечности, во-вторых, древнейшую позолоту на выцветших нитках.

Это был он. Конечно, он!

— Где Гржибайло? — строго спросил хозяин. И, не дождавшись ответа, вытянул единственную руку с единственным тонким пальцем, собираясь поймать — я это сразу понял — небольшого комара с красивым красным крылышком.

— Где Гржибайло? — снова спросил хозяин, на этот раз сладким тоскующим голосом.

Я действительно не видел человека, которого имел в виду хозяин. Даже не знал: он это или она? И конечно, чем это Гржибайло занимается.

А хозяину я соврал. Каюсь — соврал.

— Вон там, — проговорил я, зеленея от стыда, показывая взмахом руки...

В общем, Гржибайло оказалась женщиной, которая обнаружилась там, куда я показал. Ну, а по занятиям она напоминала милицейского работника, только невероятно вытянутого.

Поначалу я и не предполагал заходить в магазин. И, уж конечно, вглядываться в глубину колодца. Поэтому я и спросил сам себя:

— Позволь, может быть, там, под прилавком, и не яма вовсе? А уж если и колодец, то совсем не такой глубокий, как болтают некоторые водопроводчики?

Иначе почему в той, в общем-то, дыре что ни день открывается палисадник с ветлами, кленами, добрыми, отзывчивыми дятлами. Почему, как вы полагаете?

Вскоре я убедился, что прав. И тогда отчетливо рассмотрел всех восьмерых, шагавших по длинному, длинному кругу. Не представляю, как их лучше назвать? Во всяком случае, не настолько побледневших, насколько усохших.

Трудно определить причину, по которой они все были построены согласно росту. Скорее всего, повинуюсь командам Гржибайло, доброжелательно помахивавшей стозарядным пистолетом. Все так. Единственное, что

непонятно, зачем эта женщина оказалась в подпольном палисаднике?

Ну, а первым ступал по кругу, конечно же, самый длинный, может быть и самый костлявый, в оранжевой шелковой шапочке, обвешанной шарикоподобными висюльками, с языком-треугольником у пиджачного кармана. Он шагал, обходя кругом каждое дерево, шагал, выпятив живот, с игральными косточками за щеками. А рядом бежало что-то черное, повизгивая узким носиком.

— Кепочка-кепи! — шамкал тот долговязый, подгибая колени, вздрагивая отсутствующими бровями, приставляя кулаки к едва приметным глазницам.

Согласно росту, сразу за длинным шагал другой, который вскидывал негладкое лицо, изображая гордость.

Как знакомо поводит он ноздрями! Все-таки я вспомнил и одну его неповадную историю с награждениями. Назвался чинарем, и, чтобы нашлось перед кем шуметь пятками, расплодил столько ему подобных, сколько сумел. Сначала наградил тем веселым именем знакомую привратницу, затем управдома с Коломенской, не говоря про долговязого. В общем, чинарей подобрался целый взвод, не меньше.

Получивший титул должен был уткнуть по углам каждый свою щеку и гнусавить чины. Но так, понимаете ли, не получалось, не происходило. Каждый занимался чем попало. И все же кое-кто разбрелся по назначению, вроде того Молвока. Его встречали не то в «Саянах», не то в «Праге», возможно, на Крещатике. Точно не знаю. Приходилось слышать одно: мал ростом, пискляв, но криклив.

Следом за тем, кого по праву обзывают главным из чинарного рода, вышагивал крепко сколоченный, еще недавно, лет сорок назад, розовощекий, о чем нетрудно было судить по румянцу, который сохранился на его правом ухе.

Этот дерев не обходил, а через очки степенного учителя разглядывал на стволах немолодых черешен разные паутинки, всевозможных букашек. Кем-то когда-то он был прозван солдатом по фамилии Дуганов, так эта кличка за ним и осталась. Вот как иной раз нескладно получается.

Тремя шагами позади шлепал в дохлых тапочках, с негромкой улыбкой Афродиты на изящном носу, почему-то прозванный Лодейниковым.

Потом невесело ступал, пожалуй, самый из них приветливый. Обмотав шею женским чулком, наподобие вязаного шарфа, картавя на несколько букв, он пытался дирижировать в такт собственному пению, напоминавшему ветхий шйбот из эшйбота.

По его пятам следовали двое. Оба невеликие ростом. Один медленно покашливал, изображая древнего из Фив эльфа. Покашливал и другой. На чем их сходство и заканчивалось. Будучи капитаном, второй словно надувал паруса швертбота, словно взлетал потухающим Моцартом.

За этим бежал совсем уж махонький, хотя и коренастый, в камзоле и кружевах, пронизанный комнатной пылью. Когда он оборачивался, обнаруживал немалый горб и длинные нечесанные волосы посадника Евграфа.

Почему мне трудно туда смотреть? Надо бы забить и забыть эту скважину. Неужели нет куска фанеры? Ладно, завалю ее старым креслом. Слава богу, втиснулось.

Теперь из-под перекрученных пружин слышались слабеющие голоса:

— А мы просо сеяли, сеяли, сеяли...

Покричат, покричат да и смолкнут.

В тонкое, плохо прибранное утро я вошел в магазин, вернее лавчонку, простым покупателем, и не по своей вине задержался. Поверьте мне, ради бога! (А вы не заходите; никакого, скажу вам, резона. В лавке лопнули трубы, залетел вспотевший журавль. Ходят-ходят доисторические до ужаса горячие ветры. Хорошо ли все это?)

Тогда-то и произошло, пожалуй, самое, самое, самое непонятное.

— О чем ты задумался? Вонь устейшая, ты же по-хозяйски оскаешь, — пищит незнакомый голосишко.

Принялся я на правах главного хозяина осматриваться и, представьте, высмотрел. В это, конечно, трудно поверить, но там, под самым карнизом, притаился тот самый... Думаете, кто? Бонапарт, Софокл, коробейник из Вытегры? Нет, нет и нет. Под карнизом притаился тот самый чинаришка по имени... Ну конечно, Молвок. Вот история!

— Я изрядно остыл в непроглядной вашей погоде, — громогласно пищал он, — даже зонтики проступили на моем самом тайном месте. Даже лежики выступили между выколок. А выколки, они, между прочим, выкол-

ки. Они-они выколки: блей плыс ваген. Блец плесак!
Без прыс флатер...

И дальше, наверное, опять по-иностранному: бр. Гру.
Вря.

Пойди определи, чего он желает?

Как бы вы поступили на моем месте? Не знаете? А я,
ученик давно прошедшего, произнес:

— Давай-давай, спускайся! И немедленно.

Сначала Молвок сопротивлялся собственному рас-
судку. А потом...

Не спеша, но мгновенно снял я висевшую за дверью
стремянку. И вот чинаришка уже стоит у прилавка.

— Кто это вопит? — спросил он, стараясь заглянуть
под кресло.

— Наши с тобой сородичи, — нашелся я. И тут же
спросил: — Откуда он, чинарь, взялся?

— Большой секрет, — шепотом проговорил Мол-
вок, — хотите правду?

— Конечно, нет.

— Так вот. Выписал с одним ажочкой по фамилии
Ванькин.

Я вместе с вами не знаю, что такое «ажока», и,
конечно, Молвоку не поверил.

А между тем Гржибайло уже тут как тут.

— Гони документ, — выкрикнула она тихо и доволь-
но вежливо.

Документов, конечно, не оказалось.

Тогда Гржибайло взялась за свое: бац-бац-бац,
палить принялась. Думаете, невозможно? Но так было.

Говорю ей:

— Мне, хозяину, да и вам нужна только победа,
а вы?

— Верно, — соглашается Гржибайло, — только побе-
да. — А сама продолжает и продолжает. Разумеется,
не в меня, не в Молвока. Просто так, в пустоту. И что
самое отвратительное, эти «бац» без малейшего звука.
Представляете наш страх: пш-пш, и все!

Что же было для меня в ту минуту главным? Да убе-
речь подопечного чинарушку от испуга.

Она — «пш», а его на прежнем месте, представьте,
уже нет. Я под прилавок, под кресло, на шкаф, на пото-
лок. Нет как нет.

Она — бац да бац, а я ей:

— Ты что наделада, негодяйка?!

Молчит и знай свое.

— Эй ты, выколка-выполка. Сис-пыс батер-флатер!
Подай хоть знак. Хоть отзовись!

В ответ тишина. Только изредка «пш» да чуть слышное из подполья:

— ...сеяли, сеяли...

— Ну и крень ты еголая! Ну и крень!

А негодяйка на меня и не смотрит.

— Крень-крень! Еголая-еголая! Знай, и мне на тебя смотреть тошно! Ты для меня фистула без горлышка. Ясно?

Одна надежда: кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь его повстречает. Может быть, в Праге, может быть, на Крещатике.

Тогда все сначала, все, что здесь приключилось.

Вот и вся наша былъ и небылъ, все, что я хотел рассказать.

Вот и все.

*Москва — Ленинград
Ноябрь 1948*

ТОЛЬКО ШТЫРЬ

Часть первая

Мой спутник и я оказались на окраине города неподалеку от моста через довольно быструю речку.

Мы спустились по заросшему лопухами откосу к самой воде. Как раз тогда с ревом и пеной воду прорезала моторная лодка. Большая скорость да и солнце, светившее прямо в лицо, помешали разглядеть, что за уродливая сила подняла, перевернула моторку, бросила через перила, волокла по проезжей части моста, потом по широкой пыльной улице.

От встречных очевидцев мы узнали, что вскоре лодку развернуло, вынесло на тротуар, уперло в простенок дома, где находилась парикмахерская. Выбежали парикмахеры и те, кого они не успели добрить или достричь, останавливались случайные прохожие, каждый на свой лад объяснял небывалое происшествие. Одни, неизвестно зачем, осматривали винт, другие — киль, кто-то обстукивал борта.

Мой спутник и я отличались от собравшихся уже тем, что оказались единственными, кто заметил появление непонятого предмета, там, на мостовой, где только что с шумом тащило моторную лодку.

Нам бы отвернуться, уйти как можно скорее, как можно дальше... Мы же поступили иначе, в странном порыве побежали назад, в сторону моста. Еще не поздно, есть время повернуть, а мы все бежали, пока не оказались там, где появился непонятный предмет. Тогда мы остановились. На мостовой что-то шевелилось. Не хотелось верить, но это было именно так. У наших ног открывала рот, поднимала брови женская голова.

Я и теперь не могу объяснить, что происходило: голва держалась на истерзанных плечах. Уцелевшие руки впились друг в друга пальцами.

Свидетели утверждали, что голову и руки отсекло и туловище уплыло, когда моторку пронесло над железными перилами. А теперь на нас глядели глаза, ясные и злые.

Приходилось ли вам наблюдать, чтобы в небольших источниках сосредоточилась физически ощутимая энергия? Не припомню фамилию того кандидата наук, который пытался растолковать, что энергия подобной иступленной ярости способна создать — взрывы, размеры которых мой тщедушный ум не в силах объять.

Глаза скосились. Мне показалось, что они уставились только в меня. И только мне чуть приоткрытый рот дребезжащим звуком произнес:

— Не смей заступить...

— Поликлиника близко, врачи поймут, вам помогут, — я говорил что-то несуразное.

— Не смей заступить, — повторил скривившийся рот.

Злоба меркла, щеки зеленели, руки упали на мостовую.

— А поможет ей только штырь, — деловито произнес мой спутник и размеренным шагом ушел прочь, неизвестно куда.

Я тоже ушел, только в обратном направлении, растерянно глядя по сторонам. Тогда из дверей парикмахерской появилась тонконогая, несообразно высокая коричневая кошка. И побрела на другую сторону улицы.

В подворотне кошка шарахнулась от пронзительного звука, который издал носом узкогрудый, узкоплечий старик, видимо маляр. Он вышел со двора с ведром

в руке, с флейцем под мышкой и, даже не взглянув на толпу и моторку, засеменял в противоположном от моста направлении.

«Спасение в нем», — подумал я и припустил за стариком. Догнал я его у дверей в подвальное помещение, над которым я прочитал:

ПЕТРОВ И СЫНЬ

ПЕИ ДО ДНА

РАСПИВОЧНО И НАВЫНОСТЬ

Твердые знаки остались, как видно, с дореволюционных времен, теперь наступили другие дни и другая политика, на подобные мелочи никто внимания не обращал.

Воспользовавшись тем, что старик небыстро спулся по кособоким ступеням, я схватил его за локоть и потащил обратно. Под звуки заикающейся пианолы и пьяные выкрики я принялся уговаривать маляра, хотя тот и не думал сопротивляться:

— Идемте, прошу вас, туда! — показывал я в сторону дома, откуда маляр только что появился. — Вы мне до крайности нужны, до самой, самой крайности!

Я говорил, а старик упорно молчал, хотя и продолжал за мной семенить.

— Покрасить чего? — впервые произнес он, оказавшись в подворотне.

— Как же ты, голубчик, узнал? Именно покрасить один предметец.

— А велик он у тебя?

— Небольшой портрет, вот и все.

— Нам что партрет, что матрет — работа известная.

«Не врет ли», — подумал я, решив соединить два дела: покрасить и убраться из этого постылого места. Опять вдвоем, чем таскаться в одиночестве. И тогда я решил выложить старику главное:

— Необходимо покрасить небольшой портрет, ну, словом, козы.

— Козы, говоришь? Значит, матрет. Это можно.

— Будьте добры, голубчик, — принялся я уговаривать маляра, — коза хоть и немолода, но самая, самая породистая.

Не знаю почему, но старик озлился.

— Мне-то чего до твоей животной, под ручку прогуливаться или еще чего?

Возможно, со зла он снова издал отвратительный звук носом, от которого я вздрогнул.

— Не обессудьте, ваше благородие, — маляр заговорил совсем спокойно, — мы, ваше высокоблагородие, мастера особенные. В нашей артели икатели собрались. Работа у тебя немалая, а нам за работой икать охота.

— И на здоровье! — с радостью согласился я. — Икайте, икайте, сколько хотите. Мне с того не убудет.

Маляр снова нахмурился.

— Извини — пардон, ваше высочество, наша икота за наличные.

— Экий ты, право, — я старался не выдать недоумения, за какие заслуги возведен до высочества. И тут же решил его перевеличить: — Не все ли равно, за что мне платить, ваше величество. За то или за другое.

А он и внимания не обратил на высочайший титул, и впрямь, не все ли равно, за что платить, лишь бы выбраться из этого необычного предместья. Он же задал вопрос, разрушив все мои надежды.

— Долго мы будем вола вертеть? На какую высоту людей сзывать?

— У меня четвертый этаж.

— А тут всего три, как понимать?

— Нездешний я, понимаешь, ко мне трамвайчиком до Касаткина.

На этот раз старик не озлился, а заулыбался.

— Вот и хорошо. Всем нашим радость. Где проживаешь? Денежки пропьем, пешочком прибудем...

Без особой радости я сказал адрес. Видно, по безграмотности старик не записал.

— Все, что ни будете просить в молитве, верьте, получите, и будет вам... — выговорил старик молитвенно. Думается, из Евангелия от Луки. И засеменял из подворотни в сторону питейного подвала.

Голос маляра затих, и я снова остался в одиночестве.

За то недолгое время, пока я канителился в подворотне, на улице, как мне показалось, ничего не изменилось. Разве народу у моторки поприбавилось, то же размахивание руками и бесцельные разговоры. Все было так, и все же чего-то на улице не хватало. «Головы, — осенило меня. — Как же я не заметил сразу?..»

С чувством облегчения я направился в сторону моста искать спутника или извозчика.

Головы на дороге действительно не было, однако радостная уверенность оказалась преждевременной. Приблизившись к четырежды отвратительному месту, я заметил сначала остатки рук, потом плечи, наконец волосы. Останки валялись в кювете, а за длинной ямой, по вытоптанному футбольному полю, очень длинноносые, коротко остриженные мальчишки с криком гоняли голову.

Временами они удовлетворенно били головой по воротам, один мальчишка со свистком в зубах гундосо взывал:

— Один! Три! Пять!

Имея в виду голы.

Почему-то ноги перетасили меня через кювет.

— Не сметь! Не сметь! — вопил я, не узнавая собственного голоса. — Заступить... — проговорил мой рот задрезавшим звуком.

Пыль и булыжники оказались у самых глаз. Я хотел оттолкнуться, рук не оказалось, шеи — тоже. Порывы горячего ветра трепали волосы.

Два длинноносых гроыхали бутсами, приближаясь. Еще немного, еще секунда — и один из двоих длинноносых занесет ногу...

— А поможет штырь, — услышал я знакомый голос, звучавший откуда-то сверху.

Конец первой части

Часть вторая

О чем говорить дальше? Конечно же, про то, что происходило накануне. Позвольте, быть может, это случилось совсем не вчера? Ей-богу, не помню, ничего не знаю. Мне известно одно: сегодня это сегодня. Я лежу на чем-то мягком, глаза плотно зажмурены, но я боюсь их открыть. Да, брюсь. Потому что никогда не отличался решительностью. И все же рукой пытался пошевелить. Оказалось — двигается. Тогда глаза открылись, похоже, сами собой.

Уж не сон ли мне приснился? Представьте, я лежал в собственной комнате, на собственной постели. А за окном светило холодное ноябрьское солнце.

— Только штырь, — послышался знакомый, напоминавший о недавнем голос, наверное из коридора. Оттуда

раздавалось и другое. Кто-то упорно хотел до меня достучаться.

Обязан сообщить: с детских лет я живу в ком-квартире. Иначе говоря, коммуналке. Что же необычного, что кому-то понадобилась папираса, спички или чайная ложка соли? Нет, сегодня все складывалось иначе.

«Маляры», — вспомнилось мне. Я же хотел уяснить все, что случилось накануне или сколько-то дней назад.

— Войдите! — прозвучал ничуть не изменившийся басистый голос. Мой голос.

И в комнате появился не маляр с подручными, не мой постоянный спутник в блужданиях по городу, а соседка: Матильда Яковлевна. Ее дверь первая от кухни, моя — вторая.

— Товарищ Дря, — обратилась она ко мне, хотя много лет знала мое имя, иногда обращалась даже с отчеством, — зачем вы наградили меня этим чудовищем?

На руках Матильда держала кошку, ту, коричневую, на длинных ногах.

— Да и вообще натворили...

— Вы это про что?

— Сами знаете, господин Дря. Знаете, знаете... Вопреки обычному явились под утро, стали гроыхать и всех в квартире разбудили.

— Быть не может. Чем же я гроыхал?

— Ходулями, господин Фря, ходулями.

— Нет у меня никаких ходуль.

Да, действительно, ходуль в комнате не оказалось. Зато стояла здоровенная мотыга.

— Зачем это вам? — спросила Матильда.

Я не знал, откуда появился совершенно ненужный мне предмет, потому пробурчал что-то невнятное. Меня волновало совсем другое. Кошка пыталась замяукать, я же не сводил глаз с соседкиной головы... Как же я не догадался там, у моста. И тут же вскочил с кровати. Слава богу, ноги оказались там, где им положено быть.

— И вам не совестно спать одетым? — говорила Матильда.

— Голова! — крикнул я. — Посмотри на голову, она крепко держится? — говорил я, шумно волнуясь. Никогда не называл я Матильду на «ты». Сегодня все прощалось.

Ее шею окаймляла фиолетовая полоска вроде цепочки.

— А шея?.. Посмотри...— выговаривал я.

— Определенно, рехнулся,— произнесла Матильда.— Что это с вами?

— Вместо ненужной ругани возьми зеркало и посмотри.

Зеркало висело рядом с портретом козы. Я его снял и передал Матильде.

Она долго рассматривала стекло зеркала, потом сунула мне его обратно.

— Бесстыдник! Откуда вы взяли это мерзкое неприличие?

— У тебя же нет головы. Понимаешь ли ты почему?

— Еще бы. Лицо у меня голое, там его нет. А что одетое — там голое.

Подозрения оправдались. Она ничего не помнила, даже тех носатых. Но я тоже ничего не помнил, решительно... В голову пришло самое обычное: избавиться от Матильды. И как можно скорее. Это оказалось почти невозможно. Тем более что решение мое мгновенно переменялось.

— Я хочу тебя пригласить...

— Куда? — радостно согласилась она.

— В увеселительный сад или в кинематограф... Но увы...

— Ты очень занят.

— Нет, то есть да... ко мне придут маляры.

— Он действительно рехнулся... — возмутилась Матильда.— Какие там маляры... К нему приехала из Барселоны мать и отчим...

— Как ты сказала? Мама! Нет, нет, я совершенно свободен. Черт с ними, с малярами. А родные, что они, они же не известили, я могу и не знать... Идем в рестораню...

— Я же их весь вечер развлекала...

— Разве ты не была занята? — я окончательно сбился... — О чем же вы разговаривали?

— Как ты живешь, где работаешь...

— Надо было сказать, как есть: конюх при скачках...

— Первый раз слышу.

Раздался звонок — три раза. Потом стук в дверь.

— Маляры! — проговорил я с надеждой.

— Нет — они!

И вот они вошли — маленькие, толстенные. Началось, как проложено: «О, а, у!» Вчера они проводили вре-

мя у Матильды, поэтому сегодня сразу стали осматриваться.

— Зеркало, слава богу, здесь, портрет козочки — тоже здесь. И кушетка моя любимая... А где шифоньер? где люстра?..

— Ой, мамочка, о делах потом, — вмешалась в разговор Матильда, предвидя неладное. — Вы же несколько лет не видали вашего сыночка.

— Правильно сказано, — отрезал отчим. — Вечно ты начинаешь...

— Да, о делах успеется, — заговорил обожаемый сыночек. — Будем пить чай. У меня отличный цейлонский. Сбегаю на угол, куплю кое-чего...

— Ничего не надо, у меня все есть, — сказала Матильда тоном хозяйки и тут же исчезла. Исчез и я.

Выйдя в коридор, я увидел у всех дверей жильцов, они выстроились как оловянные солдатики.

— Как вам не совестно, молодой человек!

— Дядя Федя, ну не надо, к нему же родичи из Испании пожаловали, а вы с мелочами, самыми пустяжными...

Тогда жильцы, словно по команде, исчезли, двери захлопнулись, иногда открываясь там, где жили наиболее любопытные. Исчез на кухне и я, где и принялся наливать в чайник воду, разжигать примус.

В это время в коридоре снова послышался хриплый звонок. Нагруженная продуктовыми припасами, мимо кухонных дверей проследовала Матильда, после чего в коридоре появились маляры, человек семь, возможно, восемь, все в одинаковых фуражках, каждый с ведром и флейцем.

— Где его превосходительство? — вроде в шутку спросил старший.

— Проходите, никуда не делся. Сейчас прибудет. — И Матильда повела маляров в мою комнату, где дверь оставалась открытой, и я слышал все, что там происходило.

— Нам тут козу покрасить приказано...

— Верно. Вот она. Это по моему профилю, — сказала маманя. — Зачем же столько народу? Хватит двоих. Стольких в гостиницу и не пустят...

— Зачем, мадамочка, мы здесь и покрасим.

Я понял, что буду здесь совершенно лишний, и, не интересуясь дослушивать, чуть слышно закрыл за собой входную дверь.

Извозчик подвернулся незамедлительно.

— Куда, барин, прикажете?

Я назвал первое, что пришло в голову.

— Далеко, батя. Значит, в подвальчик. Знакомое местечко. Рублик отвалите?

— Поехали. Только быстрее...

В пролетке пахло кожей и, как всегда, дегтем. Ехали долго, когда миновали футбольное поле, длинноносых не оказалось, лодка у парикмахерской тоже отсутствовала. В парикмахерской мирно светились электрические огоньки.

— Ждать прикажешь или как?

— Жди, если не лень...

Я спустился по кривобокой лестнице.

Из общего гула выкриков и звуков пианолы я ничего не расслышал, но почувствовал, кто-то схватил меня за локоть.

— Здорово, братишка! Или не узнал? А я сразу. По спине и по рассказу... Один глаз поболе, на щеке вмятина — значит, он и есть. Наши ребята к тебе пешочком. А меня вроде сторожем. Нас здесь всегда найти возможно. Пиво у Ивановых отличное.

— Пиво — это хорошо...

— Сядем, только подале. Музыку не уважаю. Сейчас кружки раздобуду, для начала по четыре и моченый горох. Мы с детишками его прилюбили, даже с пристрастием. Может, есть хочешь? Тут миноги преотличные.

В ближайший час, после шести, я сидеть не мог, не говоря про то, чтобы стоять. Как же быть?

— Уладим: мы к девочкам на постоя. Тут недалеко.

Ехали на извозчике долго... Девочек дома не оказалось. Мамаша, главная в доме, — пустила.

— Все отлично, — говорил я, — мне бы прилечь.

И тут же прилег, не дожидаясь разрешения, прилег на софе, как был — в башмаках и бушлате (одетый, когда собирался на уголок), и сразу увидел хороший сон, как гусыни гусака хоронили. И сон интересный, и девочки пришли. Пригласили старичка извозчика. Побежали за штофом... А когда мы с песней домой катили, извозчик разговорился, стал рассказывать, как в здешних местах лодки по воздуху — кого по заливку, кого пополам...

Дома все как было. Внизу у дверей поджидал мой вечный спутник.

— Да ты, брат, не в себе. А поможет тебе только штырь, только он. Ладно, до завтра. В конюшне увидимся.

И в комнате было как было. Зеркала, правда, не оказалось и портрета тоже, и коричневая то ли сбежала, то ли прихватил кто-то.

В постели разбросалась Матильда, моя будущая половина. Я притулился рядом, досматривать тот занимательный сон, который про гусынь и гуся.

А дальше все текло по-обычному, без приключений или чего-то подобного.

КОЛОБОРОТ

Краткое сообщение

Наука много сделала, чтобы облегчить земное существование человека. И все же нашему прогрессу более всего способствует личный опыт...

Академик Р. В.

С некоторых пор у меня появилось настойчивое желание открыть важный секрет. Хотя, говоря по совести, какая же тайна ходить задом наперед. Вопрос в другом: полезно такое умение или бесполезно? Вы, конечно, заявите: двигаться шиворот-навыворот прежде всего неудобно. И вы, несомненно, правы — да, неудобно. И все же горячо советую взять с меня пример, вроде Элеоноры Фохт, которую многие уважают уже за то, что она меня не посрамила. Заявляю самым решительным образом: кто ей уподобится, получит ни с чем не сравнимое преимущество. Сколько раз мое умение заставляло отъявленных проходимцев выбрасывать на тротуар или еще куда: кортики, пики, шампуры, мало ли чего. Примеров, сами видите, множество. Начну с самого что ни на есть заурядного, но убедительного. Так вот.

Выхожу на Литейный, где много лет жил. Приближаюсь к Невскому. И представляете, странность: шагает за мной средних лет брюнетка, дамочка вроде приличная, а ступает шаг за шагом. Я, конечно, насторожился, и неспроста, так и следовало — с определенного времени я всегда насторожен и вам советую. Что бы, вы

думали, произошло? Стоило мне, по своему обычаю, вывернуться, продолжить путь, заглядывая в ее неумные мигающие глаза, эта, простите за грубость, шарманка сразу остановилась, сразу залезла самой себе, простите за откровенность, под юбку, хотите — верьте, хотите — нет, немного повозилась и вытащила, из того места, небольшого размера топорик. Ну скажите, пожалуйста, зачем обыкновенной брюнетке держать при себе опасный для жизни другого человека предмет? Не знаете. Я же сразу догадался и потому хватить ее по правой щеке, хватить — по левой. Так что она сразу присела и, не вызывая внимания окружающих, успокоилась. А топорик хорош, такой в хозяйстве обязательно пригодится. Сколько лет прошло, а, как видите, не забыл. Некоторые знакомые называли милицию. Да разве боги там восседают, как полагаете? Сунься я туда, меня бы в главные виновники сразу бы записали. Мы же с вами знаем действительно виноватого. Милиция что?.. Нет состава у гражданки, на которую заявление, и все. А зачем той гражданке с тем предметом поспешно уходить, милиции дела нет. Леня превыше всего.

Теперь другое приключение и на другой улице. У Пяти Углов. Идет мне навстречу седой, длинноволосый, бородатый. Чем-то он мне подозрительным показался. Я, конечно, за ним. Думал, не иначе подозрительный церковнослужитель. Расстегиваю, как положено, пуговицу, отсчитываю по примете шаги. Думалось, обойдется дело. А встречный ускоряет ход и ускоряет. Вижу, дрянь дело, пора действовать. Нахожу подходящий номер дома, выворачиваюсь, после чего шагаем глядя друг другу в глаза. Скорее всего такая неожиданность попутчику поднадоела. Почесал он в голове и спрашивает:

— Чего это вы, любезнейший, задом наперед шестуете?

— Меня как бы сразу и осенило...

— А ты чего привязался? Чего за пазухой прячешь? А ну, выкладывай!

Старикашка вроде обозлился, хотя противоречить не посмел. И представляете, я, в известной мере, не ошибся. Наблюдаю, что будет дальше, а дальше вынимает мой попутчик круглый предмет, размером с гусиное яйцо. Думаю, не иначе старинного образца граната. Я, конечно, дело, не растерялся.

— Клади, — приказываю, — на панель.

Хоть он, по всему видно, распоряжением недоволен остался, указание выполнил. И, совсем как та брюнетка с Литейного, тут же от меня ходу. А я на него не смотрю. Мать честная, никак осечка. На асфальте совсем не граната, а лежит самая обычная просфора. Хочу поднять, а булочное изделие тяжелее чугуна. До сих пор не разберусь, почему такое получилось. Булку я, конечно, в бюро находок не понес; а в карман ухитрился засунуть с таким расчетом, чтобы потом размочить и в голодную минуту отобедать...

Забыл рассказать. Я же того встречного не в последний раз увидал. Захожу в шашлычную, что неподалеку от Знаменской церкви, вижу — стоит мой полужнакомец не в рясе, а в ливрее с позументами и говорит обычные для его сана слова:

— Проходите, граждане. Все места заняты...

А какой-то субъект, иначе не скажешь, сунул, кажется, рублевку, дед его и пропустил. Вот как жизнь учит...

А теперь другой случай. Пожалуй, самый интересный. Произошел он опять в центре, на этот раз неподалеку от Публички — Публичной библиотеки. Там я повстречал прелюбопытного человечка: пальто до пят, на башке соломенная панамка, то ли мясник от Елисева, то ли артист. За все годы единственный попался — не захотел, чтобы я перед ним выкручивался. Я к нему боком — и он боком, я спиной — и он спиной поворачивается. Вот черт! Так раскрутился — смотреть противно. Вертится на удивление прохожим.

Тут я ему сюрприз и выдал, говорю:

— Думаешь, не вижу, чего у тебя во рту? Плюй, иначе не поздоровится.

Плюнул, конечно. Слюна как слюна, главное в другом, в удаче. Шампур из его глотки вылез, я его, конечно, подобрал, а он все крутится, даже слезы на лице выступили, а изо рта неизвестно что течет.

— Видали, граждане? — кричу прохожим, которые собрались. И побежал к постовому. Да разве его найдешь, когда тебе помощь необходима.

Вернуться на то место, каюсь, не смог. Запах длиннополый распространял непереносимый.

Дома под шубу залез, чтобы скорее тот случай забыть. Вспомнил дня через три, когда снова мимо Публички проходил. И увидел невероятное. Как три дня назад, длиннополый кручение продолжал. На лице ни носа,

ни других выпуклостей — до чего докрутился. Ни лицо, ни голова, а тыква. А что особенно удивило — запаха никакого, куда девался — неизвестно. И прохожие... На длиннополого ноль внимания: кружишься — и черт с тобой, своих дел невпроворот. Любопытная особенность: клейщики афиш, эти сразу сообразили, как в свою пользу кружителя использовать. Со всех сторон длиннополого афишами облепили, про кубанских казаков, про хор Пятницкого. Прямо скажем, интерес невелик, а новая тумба в городе появилась. Как видите, от моего открытия хоть небольшая, а хозяйственная польза...

Шли недели, может быть, месяцы, когда уже упоминавшаяся Фохт меня чуть вопросом не озадачила, спрашивает:

— Зачем ты иной раз задом наперед прогуливаешься?

— Так лучше, бабуся. Польза от подобного гуляния невероятная. — Кое-что старухе рассказал и название сообщил: «колоборот». Ничего бабуся Фохт не ответила. Только гляжу, пошла тощим местом вперед. А за бабусей и другие, и другие. Не все, конечно...

И стал мой секрет общеизвестным, или общедоступным. Интерес для каждого значительный, и благодарности не требуется, разве комплексный обед в районной столовой: суп горох, на второе — треска по-пролетарски, значит с горчичкой, на третье — компот из сухофруктов. А сверх того — ни копейки, ни полкопейки.

Можете слову открывателя раз и навсегда поверить.

С данным сообщением, считаем, покончено. Остается не менее занимательное. Предупреждаю, к предыдущему никакого отношения. Разговор пойдет про ту часть человеческого тела, которая одних украшает, других, вроде меня, безусловно уродует, разговор пойдет про усы. Вспоминаются симпатичные усики той брюнетки с Литейного или седые у неоправданно названного священнослужителем. Ясно вижу курчавые, рыжие у длинноволосого — то ли мясника, то ли лицедея, из какого театра неизвестно... Разговор пойдет о других усах, совсем о других... Я бы так выразился: об усах самых что ни есть правительственных.

По несомненному распоряжению, кого неизвестно, милицейские работники принялись, правду сказать, очень вежливо тревожить граждан, носивших чуть

пониже носа, в некотором смысле, украшение. Этих граждан, жителей нашего города, направляли в пикет или отделение, ведя примерно такое собеседование:

— Вам, гражданин хороший, носить усы не положено... Вам ходить с усами некрасиво. Сбрить придется, и немедленно...

Или другой разговор:

— Что у вас, товарищ, за усы: смотреть невозможно. То ли дело у товарища Буденного или у того, который повыше. Придется данным вопросом подзаняться. В противном отношении штраф или посерьезнее. Записываю. Кто следующий?

Об усах разговор велся повсеместно, кто сбривает, другие, наоборот, из желания понравиться отпускают, прямо сказать, усищи.

Велись разговоры среди ребят, даже девчат, как я сужу, особо важные: запомнилось одно предложение самое дельное.

— Вот если бы наиболее в стране главный ничем другим, только своими усами, и занимался, и его сподвижники, разумеется. Пусть бы усы их (особенно главного для всего человечества) в час по аршину, не задерживаясь, увеличивались. Он их стрижет, а они растут. Вот он и остальные ничем другим, только усами бы и занимались. Ни на что другое время бы не оставалось. Дело бы куда лучше пошло...

Думается, никаких добавлений не требуется. И так все ясно, и для меня, и каждому.

*Ленинград — Всеволожск
Период оттепели*

СЛУЧАЙ В «КРИВОМ ЖЕЛУДКЕ»

История, которую я собираюсь рассказать, произошла с хорошим приятелем лучших друзей моего старогородского знакомого. Мало того, произошел тот случай с моим родным братом.

Он долго спал в тот день, спал по самой обыкновенной причине: вместо того чтобы прозвонить, будильник, принадлежавший тому спящему человеку, вдруг переместился на городскую площадь, где находился ресторанчик с самым обыкновенным названием: «Кривой же-

лудок». Это название предложили жившие по соседству, кажется, товароведы. Одно могу сказать, с тех пор в «Кривом желудке» стали подавать обыкновенных кривых кур и лишь изредка необыкновенных.

Скорее всего вы не слышали, что за кривые куры бродят по некоторым переулкам нашего города. Многие не слышали. Однако про кур потом. Только будильник переместился в «Кривой желудок», сразу попросил подать кривую курицу. Ему, конечно, отказали. Тогда пришелец принялся звонить, пока не прибежал вполне обходительный работник пожарного ведомства, спрашивает:

— Чего звонишь?

Этот, то есть сразу притихший будильник весь затрясся. Откуда ему знать, кто перед ним стоит, да еще с кривым перевязанным затылком.

Ах да, совсем забыл выполнить обещанное, рассказать о перевернутых курах. Пожалуй, ничего интересного про них не скажешь, когда в ресторанчике и столы, и фужеры, и лафитники, даже передняя часть буфетчицы — все-все перекручено. Помните, как называется ресторанчик? «Перекрученные внутренности». И опять забыл поделиться: в туалете тех «Перекрученных внутренностей» висело трюмо, совсем махонькое, почти незаметное. В нем даже «передняя часть буфетчицы или другая обыкновенная внешность могла показаться вполне прямой. Как видите, к всеобщей кривизне многие приспособились, кроме самого главного: директора коммунального банка, одного там Кривошеина, нет, другого главного, тоже Кривошеина. Благодаря своей фамилии другой Кривошеин приказал все изменить, в первую очередь название, но об этом в другой раз, а тогда по прошествии некоторого времени будильнику все же что-то подали, кажется незначительную пичужку, которая в меню была обозначена цыпленком, кривым разумеется. Проглотил будильник ту называемую цыпленком пичужку и стал перемещаться, конечно в обратном направлении. Металлический объем с винтами, цепочками, разными там гвоздиками переполнен, ничего ни стучит, ни цвиркает. Вот будильник, добравшись до дома, и стал подпрыгивать, каждый раз дергая ручку дверного колокольчика. Тогда тот, крепко спавший, перевернулся на другой бок, громко сказав:

— Порви кривой полотенец.— И побежал.

Про дальнейшее рассказывать неинтересно. А забавляет меня то, что происходило до перемещения будильника на опрокинутую площадь. Как же так? Ему предложили ничтожного цыпленка, после чего этот всеми установленный распорядитель минутных и часовых стрелок, металлический предмет, был просто обязан подождать, пока желтый шарик начнет Господом Богом предписанное превращение. В конце концов шарик непременно бы оказался многоцветной кривой округлостью.

Нет, все это, попросту сказать, необъяснимо. Да и многое другое. Я, простите, понять отказываюсь. Почему у того же будильника — вика да стинь? А у меня — ногти и уши. Почему у меня то да се? А у него информация, в крайнем случае — персифлексия.

Так я, понимаете ли, и живу: задаю вопросы, рассказываю самому себе истории.

ПРИТЧА О НЕДОСТОЙНОМ СОСЕДЕ

Он имел толстый живот, носил широкие штаны и убивал попадавших на пути собак, иной раз кошек.

Ранней весной он сменил штаны на узкие-узкие и стал убивать главным образом котят.

А когда одним сияющим утром надел брюки-шаровары, стал протыкать красивеньких детей, иной раз обыкновенными ножницами, в другие, чаще дождливые, дни — тупыми ржавыми иголками.

Однажды, довольный самим собой, он вышел на взморье, снял брючки-клеш, оставил их под вполне новыми, хотя и успевшими прогнить, мостками.

Тогда к нему приблизился немолодой человек, что было ясно каждому по его рыжей челке и зеленоватому носу, подошел к соседу и ткнул то ли пальцем, то ли острием зонта в жирное брюхо того соседа.

Из образовавшегося отверстия поползли тонкие смрадные кишки. Они ползли до тех пор, пока брюхо не стало пустым.

Тогда тот, кому оно принадлежало, осел.

Его повезли на дрогах. Маленькая девочка махала изнуренной, малинового цвета кобыле полосатым платочком. Тем временем другая девчушка громко шептала:

— Ой-ё, ой-ё!

Кишки с требухой никто не стал есть, ни кошки, ни собаки, ни вороны, решительно никто.

Нет, все же согласитесь, не бывало окончания мрачнее и безобразнее, а самого случая красивее, хотелось бы даже сказать, прекраснее.

1968

ВЕЧНО СТОЯЩЕЕ

Реальное сновидение

Почему, зачем, для чего, главное, где, главное, перед кем?

Предложенные вопросы к тому, который будет читать; кому такое несчастье предстоит, ему и отведу. Собственно, ответа нет. Такого не жди. Ничего не жди. Иногда разъяснения дать не берусь, не смею...

Теперь про других, у которых глаза не на затылке, как у всех, а сбоку, где нос. Посмотрите и размыслите, иначе невозможно, иначе все, что предстоит: шипит, булькает. И все это наверху, в пространстве, в просторах черных и бесцветных...

Оно там и шагало, по необъятному, ничего не имея позади, впереди. В глубинах ни с чем не соизмеримого тела. Продолжало шагать и шагало...

Уже тогда, потеряв самое необходимое, что глотает, что поворачивается — шея, плечи и уши. Затем всевозможное другое: носоглотка и далеко торчащий нос, глазницы и глаза. Имеются данные, даже гремоновобия.

И все же оно ступало, иначе не могло. Продолжая крутить руками или другими равнодействующими сочленами. Вскоре, лет через пятьсот, рук тоже не стало. Они превратились в щеки. И тут же окаменели.

Зато оставались ноги — два или три упора. Но и они стали затвердевать.

Сменилось тысячелетие...

И тогда окаменело многое другое — яйцо головы, горло, шея, наконец окаменело почти все. Что-то оставалось внутри. После чего окаменело все.

Не осталось и последнего. Самого последнего. Наипоследнейшего, названного (всюду и везде) движением.

Вперед.

Назад.

Движение вбок.

Не двигалось ничего.

Кроме Ядликов, произносивших на окаменевшем затылке единственное доступное тем крошкам созвучие:

З Р Я

И

З Р Ю

Пока эти пернатые гномики, карлики, навозные блохи не разложились. Там, в далеком необъятном просторе, далеком мужественном мужестве, оставив после себя тишину.

Та окаменелость, на которой они недавно суетились.

По мировому исчислению лет восемьсот назад, не более того.

Пролетали из других миров странные плоскости... А она стояла, продолжала стоять в недвижимости.

Стоит и теперь — в темноте и тишине. И будет стоять всегда, наверное вечно, утешая ангелов, раздражая Всевышнего,

АМИНЬ.

*Ленинград
1932*

ЦАРЬ МАКЕДОН, ИЛИ ФЕНЯ И ЧЕБОЛВЕКИ

Представление для чтения

Стол, на котором довольно большое человеческое изображение. Входят двое: неказистых, неопрятных, увитых нечесаными прядями. Одетый в темное стоит, а в более светлом опускается на четвереньки.

Который в темном и стоит. Кто ты есть?

Который в более светлом и на четвереньках. Я есть собака.

Который в темном и стоит. Ты есть самая плохая собака. Самая неумытая, неумная, вонючая...

Который в более светлом и на четвереньках (*покорно*). Неумытая, вонючая...

Который в темном и стоит. Самая глупая, паршивая собака. А кто есть я?

Который в более светлом и на четвереньках. Чеболвек, ты есть чеболвек.

Который в темном и стоит. Слышали? Вы слышали? Он же хотел меня — вот этак. *(Изображает рукой движение змеи.)* Чеболвеков не бывает. Ясно? Говорю как Фипагор. Запомни: не бывает. А я есть челвейк. Самый красивый челвейк. Весь в одеждах. Вот. *(Показывает.)* В усеми прядях. *(Тоже показывает.)* И сильнейший. Челвейк добр, добр! Значит, он есть добрейший и сильнейший. И это про меня. Я самый храбрый, даже храбрейший, и я тебя — пну.

Который в более светлом и на четвереньках (покорно). А я лизну.

Который в темном и стоит. А я пну.

Который в более светлом и на четвереньках. А я лизну.

Который в темном и стоит. Я же тебя пну! *(Неустово.)* Пну! Пну! Пну! Я тебя пну! *(Замахивается ногой.)*

Который в более светлом и на четвереньках. А я тебя фну. *(Постепенно вставая.)* Хну! Гзну! *(Вставая во весь рост.)* И все повыгнузу.

Который в темном, продолжая стоять. Ой! *(Опускается на колени.)* Только не выгнузай, ради бога! *(Опускается на четвереньки.)* К чему тогда будет пригоден мой организм?..

Который в более светлом и теперь стоит. Не понимаешь, нет? *(Величественно.)* Ловить олувей.

Который в темном и теперь на четвереньках. Пропади твои олуви! *(Хнычет.)* Все пропадите... Феня! Фенечка! Спаси хоть ты меня, хоть самую малость. И пнуть нет сил. Никакой возможности *(Может прядями.)* Я же самый неумный, самый паршивый, грязный. Я же есть пес, и всё, и всё...

Который в более светлом и теперь стоит. Конечно. Да-да, паршивый, неумытый, самый дурак.

Который в темном и теперь на четвереньках. Как ты сказал? Кто я таков? Повтори, нет, нет, непременно повтори! *(Вскакивает.)* Я же царь. Царь Македон! Я есть царь Македон! И все. Тебе ясно, кто я таков? Тебе ясно, с кем ты говоришь?

Который в более светлом, продолжая стоять. Боже ты мой! (*Хватает себя за грудь, ноги и так далее.*) Македон?! А я-то и не знал. Эх ты, Македон. Что же ты наделал...

Который в темном и продолжает стоять, дирижируя руками (*упрямо*). Не Македон, а царь Македон. Царь Македон! И все!

Который в более светлом, продолжая, как прежде, стоять. Пусть так. Только не выгнужай! Я же любить желаю, я же тосковать хочу. Без конца без края. Ваше величество, скажи, ну откуда ты хоть узнал? Царь Македон, милейший! Ну откуда!

Который в темном, опускаясь на четвереньки. Видали, ему не ясно! Все не ясно. Видали? Захочу — отвечу...

Который в более светлом, продолжая стоять. Захоти, ну захоти, очень тебя прошу, даже умоляю. Захоти, пожалуйста.

Который в темном, продолжая стоять. Откуда-откуда? Яснее ясного: узнал из песен... Стихов и песен... Теперь понял?

Который в более светлом, продолжая стоять. Да не совсем... Спеть бы для уяснения. Ну, царь, ну, Македон — соизволь.

Который в темном, продолжая, как прежде, стоять. Так и быть — соизволяю.

Оба машут руками и поют:

разык Феня
двазык Феня
на девятый — Каперсоль
пятый Феня
шестой Феня
на десятый — пылесос.

Который в более светлом, продолжая стоять, приплясывая. Теперь уяснил. Все как есть. Каждую мелочь, каждую мелочишку!

Который в более темном, продолжая стоять. И про меня ясно? Допустим, я тебе поверил. И кто есть ты? Да, да, кто есть ты? Говори, говори!

Который в более светлом, опускаясь на четвереньки (*задумался*). Кто же есть я?

Который в более темном, продолжая стоять. Все известно. И про тебя, и про себя. Я есть челвейк. А ты, кто ты есть?

Который в более светлом и на четвереньках. Чеболвек.

Который в более темном, продолжая стоять. Таких не бывает. Да потому что ты есть паршивая собака, самая неумная!

Который в более светлом и на четвереньках (*радостно*). Значит, я есть собака? Самая, самая неумная! А еще-то чего сказал?

Который в более темном; опускается на четвереньки. Сказал «челвейк», а бывает еще чевек! А бывает собака. Я есть собака. (*Хочет.*) Я есть собака — самая умная, самая красивая!

Который в более светлом и на четвереньках. Откуда ты взялся? Это я! Это я! Какая ты собака? Ты есть Македон! Хау, хау!

Наваливаются друг на друга.

Который в темном и тоже на четвереньках. Нет я!

Который в светлом и на четвереньках. Ты, ты!

Который в темном и на четвереньках. Какой такой Македон? Я есть собака. Гр-р-р-гра! (*Опять наваливаются.*) Ничего я не говорил, ничего не знаю. Я — собака.

Появляется собака Феня. В рубищах, хороша собой, с ошейником на шее.

Феня. Я собака Феня. Лау-лау! Гау-гау! Я же — я!

Ни в более светлом, ни в более темном не обращают на нее внимания. Тогда собака Феня оборачивается к ним спиной.

Который в более светлом. А я тебя лизну, укушу... и убью.

Который в темном и стоит. Слушать невозможно!.. Конец мне приходит... О Господи!

Который в более светлом (*вскакивает, хватая со стола фигуру*). Пришел твой конец, паршивый

нес! (Бросает фигуру в голову того, который в более светлом.) Бац! (Попадает в голову того, который в более светлом, но фигура резиновая, надувная — отскакивает.)

Феня. Бау-бау. Вау-вау!

Который в более темном (хнычет). Хотел меня того! Убить хотел!

Феня. Бр-р-р. Уу-ау-уу-ау!

Который в более светлом и стоит. Сам виноват, что жив! Что жив! Что жив! Горюшко твое горькое!

Феня. Гр-р-р! Вау! (Неожиданно поворачивается.) Вы мне окончательно надоели. Долго еще ждать!

Который в более светлом и стоит. Фенюшка-милаша! Мы ее не узнали. А у нас тут семейный разговор!

Который в более темном, тоже стоит. Не узнали Фенюшу... Совсем, совсем не узнали!..

Феня. При чем тут Фенюша! Я пришел вас поприветствовать, чтобы потом прижать.

Который в более темном, продолжает стоять. Простите, мадам. Это за что?

Феня. Сами знаете. Меня зовут Фекла Агафоновна. Я представитель. И молчать, молчать! Я представитель. Вот кто перед вами.

Который в более светлом, продолжает стоять. Подумаешь, а перед вами Царь. Царь Македон. (В сторону.) Убери фигуру, от этой Фени жди чего хочешь! А почему, простите, у вас на шее ошейник?

Феня. Потому что перед вами главный представитель. Можем поменяться. Я вам ошейник, а вы главную улику, которая вон, на полу.

Который в более светлом и стоит. Конечно, конечно. Только фигурка за директором. А перед вами собаки, нет, царь Македон и его собака. Самая безобразная, паршивая...

Который в более темном, продолжая стоять. Все он! Это не я.

Феня. Что вы мне глупости вкручиваете. То одно, то другое.

В более светлом. Это не я. Это он! Я собака...

В более темном. Имейте в виду. Я не Македон...

Феня. А мне безразлично... Спешно иду к директору.

В более светлом. Директора нет. И все.

Феня. Как же так. Если директор, значит, он есть.

В более светлом. Молчи. Пусть ищет.

Феня. Что значит — пусть? Я же представитель. Вот! *(Бросает ошейник.)* Вот. *(Хватает фигурку, унося.)* Гау-хау!

В светлом. Ого! Узнаю! *(Она уже исчезла.)* Нам будет плохо. Очень плохо. Совсем плохо. Ты царь — тебе еще хуже...

В темном. Я не царь. Это ты.

В светлом. Ошибочка — я чеболвек. Понятно? Нас в отлов, каждого туда.

В темном. Только не выгнузай. Ради бога, не выгнузай!

Который в светлом. Ну чего ты бубнишь? Ничего не понять.

Который в темном. Сам же говорил...

Который в светлом. Погоди... Кажется, идет...

Который в темном. Кто-кто — директор, конечно... Совсем плохо...

Который в светлом. Кажется, с ней...

Который в темном. С кем это «с ней»?

Который в светлом. Все тебе объясни. Идем...

Который в темном. Куда?

Который в светлом. Ты мне надоел. Под стол. Попробуем влезть.

Пробуют. С трудом ввешаются.

Который в светлом. Опустим сковородку.

Который в темном. Какую, зачем?

Который в светлом. Значит, другое... Словом, занавеску.

Который в темном. Какую занавеску?

Который в светлом. Ладно, скатерку.

Который в темном. Это другое дело. Идут... уже близко... Значит, нашла... Смотри, остановились. Чего-то несут. Она — самовар... А он? Конечно, пулемет.

Который в светлом. Это зачем?

Который в темном. Смотри, остановились...

Который в светлом. Споем для смеха.

Который в темном. Зачем им пулемет?

Который в светлом. Сам не знаю...
Который в темном. То-то...

Поют:

Разик Феня
Двазик Феня
На десятый — каперсоль...

Который в светлом. Идут, идут. Ну, дела...

Опускают скатерку.

Который в темном. Ни звука, ни ползвук и
четверть звука...

Темнота и тишина.

Москва
1950

ВСТРЕЧИ

С Виктором Борисовичем Шкловским

Наши литературные дела почти всегда начинались телефонными разговорами. Так случилось и на этот раз. Хармсу позвонили с Лито Института Истории Искусств, сообщили, что профессура Отделения хочет встретиться с участниками «Левого фланга».

Находившиеся в Ленинграде четыре участника «Фланга» были проинформированы. Но как же быть с пятым участником, призванным в армию, Заболоцким? Институт пошел Николаю навстречу, дал бумагу, и даже с необязательной круглой печатью.

Несколько дней спустя все пять сочленов собрались на Исаакиевской площади, вошли в бывший Zubовский особняк, нашли нужную им аудиторию...

Мы, конечно, не опоздали, и все же профессура нас опередила. Не слишком вежливое начало, зато появились все вместе: в неизменной, странной, золотистой шапочке и длинном, фантастического покроя сюртуке — Даниил Хармс; в гимнастерке рядового — Николай Заболоцкий; в обычных, не слишком новых пиджачных парах и тройках — Вагинов, Введенский и пишущий эти строки.

Мы находились в узкой длинной комнате, с длинным столом — от единственного окна до противоположной стены. Взявший на себя роль распорядителя Юрий Николаевич Тынянов попросил вошедших сесть. Так мы оказались визави Томашевского, Эйхенбаума, Щербы, Тынянова.

Будущие слушатели с интересом нас разглядывали.

— Почему я не вижу поэта Туфанова? — спросил Лев Владимирович Щерба.

— Не входит в нынешний состав, — ответил то ли Введенский, то ли Заболоцкий, главные противники заумника Туфанова.

— Жаль, — сказал Лев Владимирович, — фонетическое писание Александра Туфанова лично мне кажется интересным...

Первым выступил Юрий Николаевич, предложивший читать, как сидим, один за другим, не ограничивая авторов количеством стихов.

Тогда кто-то из «Фланга» рассказал о нашей жизнью проверенной практике. Мы не только регламентировали количество стихов, но даже заранее их хронометрировали. В Институте предполагалось прочитать по три стихотворения. От слушателей зависело, продлить ли чтение каждого или не продлевать. Наш опыт был единогласно одобрен.

До начала выступлений вошел последний слушатель — Виктор Борисович Шкловский и сразу внес оживление: кому-то что-то шепнул, кто-то засмеялся.

Юрий Николаевич повторил принятые условия.

— Все правильно, — согласился Шкловский.

Чтение началось.

Постоянный именинник Заболоцкий оказался потеснен Шурой Введенским, единственным, кого просили читать еще и еще. Да и в последующих критических высказываниях Шурина фамилия звучала чаще других.

И все же, должен признаться, я не помню, за что хвалили Введенского, кто и что о нем говорил. Зато, как оказалось, на всю жизнь я запомнил выступление Виктора Борисовича. И не только потому, что он единственный говорил не об отдельных стихах и поэтах, нет, о всей группе в целом, считая, что ленинградский «Фланг» — несомненное явление.

Наших сочленов удивило, даже обрадовало другое: совпадение мыслей и характеристик Шкловского с тем, что мы сами про себя думали и говорили.

— Наиболее для меня ценны не отдельные стихотворные удачи и даже не талант авторов, многих из которых слышу впервые. Важно то, что прочитанные стихи, все без исключения, возвращены отечественной поэзией.

Так говорил Шкловский, предварив сегодняшние ответы многочисленным западным славистам, которые

продолжают спрашивать, какая же зарубежная школа, какие западные авторы влияли на поэтов ленинградского объединения?

Виктор Борисович отмечал несомненное влияние русской поэзии XVIII века, поэтов пушкинского круга, самого Александра Сергеевича, говорил о влиянии братьев Жемчужниковых и А. К. Толстого, когда они выступали вместе. И конечно же, о продолжении дела кубофутуристов, в первую очередь Велимира Хлебникова.

— Не только, — раздался чей-то голос. — Самый молодой из читавших явно тяготеет к футуристу Кручных.

Говоривший, конечно, имел в виду меня. Хотя я активно не любил, когда подчеркивали мой почти несовершеннолетний возраст, упоминание прочитанных стихов позволило и мне вступить в общий разговор. А сказал я, что Запад на нас все же влиял, не через литературу — через живопись. В подтверждение этих слов я назвал своих любимцев: Пауля Клее, Миро, Пабло Пикассо.

И тогда на меня буквально обрушился Введенский:

— Говори о самом себе, а не обобщай, на меня никакая живопись не влияла и повлиять не может.

Помнится, меня взял под защиту Заболоцкий, сказав, что на него давно и бесспорно влияла живопись Павла Филонова.

Завершая наш недлинный разговор, Шкловский помянул господина Маринетти. «Если бы лидер западных футуристов снова пожаловал к нам в гости, — сказал Виктор Борисович, — я не сомневаюсь, участники «Фланга» заняли бы позицию Хлебникова».

Виктор Борисович был, несомненно, прав, оптимистичное творчество «Фланга» — явление, безусловно, русское, только русское. Он это понял, и мы были ему за это благодарны.

Встреча закончилась, члены содружества вышли из аудитории, а заседание продолжалось, разговор о нас без нашего участия.

Мы направились к трамвайной остановке. Кто-то из нас полушутя поздравил Введенского с большим успехом.

— Иначе и быть не могло, — ответил Александр.

Нашего общего друга нельзя было упрекнуть в излишней скромности.

Прошло несколько лет. По указанию администрации приютившего нас Дома печати мы заменили название группы «Левый фланг» глуповатым словом «обэриуты», производным от ОБЭРИУ, что расшифровывалось примерно так: Объединение реального искусства.

Мы продолжали собираться, но не в комнате Хармса, как это бывало прежде, а в одной из гостиных Дома печати. И было нас теперь на трех обэриутов больше. К нам примкнули кинематографист А. Разумовский, прозаик Дойвбер Левин, поэт Николай Олейников.

Как-то Введенский нам сообщил, что в ленинградской Капелле намечен вечер Маяковского с непременно в те годы диспутом.

— Не мешало бы и нам выступить, не с критикой прочитанных стихов, а с чтением собственной декларации, — говорил он.

Идея понравилась. Черновой проект декларации было предложено подготовить Николаю Заболоцкому, автору статьи о поэзии ОБЭРИУ, помещенной в журнале «Афиши Дома печати»..

Посетить Маяковского в номере, кажется «Европейской» гостиницы, согласился Даниил Хармс. Владимир Владимирович принял Хармса доброжелательно, однако от чтения составленного и всеми подписанного сочинения отказался.

— Я же услышу вашу декларацию в Капелле, этого вполне достаточно, — сказал Маяковский.

На следующий день семь обэриутов стояли на эстраде Капеллы (восьмой — Олейников — по служебно-дипломатическим соображениям выйти на эстраду отказался). Произнести декларацию с короткими примерами обэриутского творчества было поручено Введенскому. Выйдя на авансцену и объяснив, что мы не самозванцы, а творческая секция Дома печати, он огласил результат нашего коллективного сочинения, что заняло минут двадцать. Неизбалованная подобными выступлениями публика слушала Введенского внимательно. Когда же Александр замолчал и присоединился к стоявшим на эстраде обэриутам, раздались отдельные негромкие хлопки.

За кулисами к нам подошел сопровождавший Маяковского Виктор Борисович.

— Эх, вы! — сказал он. — Когда мы были в вашем возрасте, мы такие шурум-бурум устраивали — всем жарко становилось. Это вам не Институт Истории Искусств. Словом, надо было иначе...

Как мы ни старались убедить Виктора Борисовича, что перед нами стояла узкоинформационная задача, он не сдавался.

По правде говоря, каждый из нас был убежден, что Шкловский забыл институтскую встречу, а помянул Институт лишь после того, как мы ему напомнили, что уже знакомы.

— В вашем возрасте мы жили веселее, — продолжал Шкловский. — У нас без шурум-бурум не обходилось. Да и примеры меня не очень удовлетворили, можно было подобрать поинтереснее, поголосистее.

«Конечно, не помнит», — подумал я и тут же понял, что ошибся, — память у Шкловского оказалась не хуже нашей.

— Для таких выступлений, — говорил он, — необходим плакат. Не верите мне — спросите Владимира Владимировича. Здесь шапочка была бы уместнее, чем в Институте. Почему вы не в шапочке? — обратился он к Даниилу.

А Маяковский отнесся к выступлению иначе, сказал, что объединение его заинтересовало, и тогда же попросил прислать на адрес «Лефа» статью с обстоятельным рассказом об ОБЭРИУ и обэриутах.

Статья была написана разъездным корреспондентом «Комсомольской правды», но в «Лефе» не появилась. Нашим противником оказался ведавший поэтическим отделом Осип Брик. Стало ясно, Маяковский смотрит на поэзию шире. Шире Брика смотрел на нее и Виктор Борисович.

В заключение хочу рассказать про своего самого большого друга и одновременно друга Шкловского — известного кинематографического художника Якова Наумовича Риваша.

Что связывало этих людей, разных по возрасту (Яша был моим ровесником), да и по профессиональным интересам? Очевидно, их знания в гуманитарных вопросах,

и еще — оба зарекомендовали себя блистательными выдумщиками.

Одной из последних Яшиных находок была книга «Время и вещи», которую он решил создать в самом конце жизни (Риваш умер в 1973 году). Рассказывала она о дизайне первой четверти двадцатого века. Пользуясь кинематографическими и архивными связями, Риваш подобрал уникальную коллекцию, около шестисот фотографий. Перед читателем раскрывалась картина вещественного мира, окружавшего людей разных социальных слоев России.

Увидав макет будущей книги, прочитав Яшин текст, Виктор Борисович был буквально потрясен.

— Эта книга, — говорил Шкловский, — неоценима как помощь художникам, режиссерам, а возможно, и актерам.

Тогда же он предложил написать к Яшиной книге предисловие. И написал, как всегда интересно, значительно.

Дело Риваша становилось одновременно делом Шкловского.

Продолжая триумфальное шествие у редакторов и специалистов, книга даже сегодня не защищена от неожиданностей. Примеров немало, вчера их было значительно больше. Вот один характерный случай из, в общем-то, недавнего прошлого. Редактор наконец обретенного издательства, из самых добрых намерений и сакраментального «как бы чего не вышло», предложил замазать белым цветом все лица, которые встречаются на страницах книги...

Давно нет среди нас ни автора книги, ни автора предисловия. И все же если написанные строки помогут появиться на прилавках очень нужной, очень интересной книге, и не в куцем виде, без двухсот изъятых фотографий, а в полном объеме, в каком ее впервые увидел и прочитал Виктор Борисович Шкловский, я бы считал, что эти воспоминания написать следовало.

С Анной Андреевной Ахматовой

Давние соавторы Игорь Бахтерев и Александр Разумовский (фамилии по алфавиту), совместно написавшие несколько пьес, с большой неохотой переместились из

Москвы в Ташкент. Анна Андреевна Ахматова прилетела в Ташкент из блокадного Ленинграда.

И она, и я — коренные петербуржцы, а познакомились за несколько тысяч километров от родного города. И произошло это совсем не в первые месяцы после приезда.

Где мы, временные жители узбекской столицы, чаще всего виделись? Ну, в продуктовых распределителях, потом у репродукторов, передававших последние известия, а литераторы, конечно, на Первомайской улице, где находилось Узбекское отделение Союза писателей. Встречались мы необязательно на общих собраниях или лекциях о положении на фронтах, чаще всего — в писательской столовке. Месяцами обедали в обширном дворе, когда же наступали холода — в продолговатом помещении, вроде застекленной веранды. В этом столовском зале мне и довелось впервые заговорить с Анной Андреевной. Поводом стала «затируха» — затертый из муки суп.

В первые дни узбекской жизни нас кормили — о чудо! — шашлыками на деревянных палочках-шампурах, лакомство, поражавшее приезжих не меньше уличных фонарей или незатемненных окон. Правда, вскоре многое переменилось. Фонари продолжали сиять, но появились продовольственные карточки, литеры, лимиты, а мясо шашлыков сменила малосъедобная трюха пирожков, жаренных на машинном масле.

Ну а меня и жену продолжала привлекать затируха. С кротким сожалением Ахматова смотрела на нас, сливавших в бидон эту клейкую жижу. И надо думать, совсем удивилась, когда жена попросила подарить недоеденный Ахматовой суп.

— Зачем вам это? — не удержалась и спросила Анна Андреевна, протягивая почти полную тарелку затертого супа.

Пришлось признаться, что объедки мы собираем для собак, которыми успели обзавестись в Ташкенте. Тогда Ахматова объявила, что не прочь познакомиться с нашими подопечными.

Решение Анны Андреевны понять нетрудно, для этого надо представить человеческие взаимоотношения тех лет. Они определялись емким понятием братства людей, связанных общей бедой. Вот почему Анна Андреевна и оказалась нашей неожиданной гостьей.

«Собачьи» разговоры явно не увлекали Анну Андреевну. Чтобы занять гостью, я предложил что-нибудь горячительное, которое мы систематически получали (кажется, по лимиту). Наша гостья категорически отказалась. Тут мы вспомнили про несколько бутылок натурального вина, полученных в Комитете драматургов. Анна Андреевна умеренно заинтересовалась. Извлеченная из-под кровати, одна из бутылок оказалась на столе. Она была откупорена, а содержимое разлито по стаканам (рюмок в доме не было).

И тут, к великой скорби хозяев и веселому смеху гостьи, выяснилось: в стаканах не вино, а винный уксус.

— Лучший уксус в мире! — объявила жена и предложила пару бутылок Анне Андреевне.

— Что вы! — отказалась она. — И так наша жизнь несладкая, не хватало еще, чтоб я шествовала по городу с бутылками уксуса.

Нет худа без добра, уксус помог нам избавиться от несомненной отчужденности. И все же вскоре наступила минута, когда малознакомым людям не о чем говорить. Не помог и появившийся индийский чай с уныло-серыми бубликами, которые нам время от времени выдавали вместо белого хлеба. Светский разговор «ни о чем» не получался. Возникали паузы. Во время одной из них, наиболее мучительной, мне пришлось на ум поговорить про ОБЭРИУ.

О нашей группе Анна Андреевна знала, хотя понятия не имела, что я не только один из ее создателей, но писал и продолжаю писать стихи. Состояло объединение из девяти человек, главным образом поэтов. В те дни я еще не знал, что представляю уже не группу, не содружество, а самого себя, если не считать Разумовского, кинематографиста и драматурга. Остальных уже не было в живых: Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Олейников погибли, незаконно репрессированные. Прозаик Дойвбер Левин был убит в первые месяцы войны на Ленинградском фронте. Николай Заболоцкий продолжал отбывать заключение, а когда после войны вернулся, по творческим устремлениям оказался совсем другим (хотя другим он стал давно, еще до ареста, когда писал «Горийскую симфонию»). Собственной смертью, от туберкулеза, умерли Константин Вагинов и Юрий Владимиров, поэт величайшей одарен-

ности. В год смерти ему исполнилось всего двадцать два.

Анна Андреевна и не слыхала про поэта Юрия Владимировича, но хорошо знала его мать, Лидию Павловну, урожденную Брюллову, правнучку прославленного живописца. Анна Андреевна встречалась с ней, когда та была секретарем редакции известного журнала «Аполлон». В 1908 году родился Юрий, усыновленный крупным до революции военным Дмитрием Петровичем Владимировичем.

О Юриных литературных возможностях можно судить по детским, не раз издававшимся стихам. Однако его подлинный талант могли оценить лишь те, кому посчастливилось читать стихи Владимировича, адресованные взрослым.

После убийства Кирова среди многих и многих беспричинно высланных из Ленинграда оказалась и семья Владимировичей. Им пришлось незамедлительно переселиться в Ташкент.

Разумовский и я предприняли попытку разыскать Юриных родителей, с которыми еще до войны неожиданно оборвалась переписка. Безуспешно. Владимировичей в Ташкенте не оказалось. Погиб и Юрин архив, и все его стихи, все до единого.

То, что касалось «Левого фланга», затем переименованного в ОБЭРИУ, интересовало Ахматову чрезвычайно. (И это несмотря на ошибочную информацию, полученную неизвестно от кого: Ахматова полагала, что поэты ОБЭРИУ не ценят ее творчество, считают его невесомым, даже дамским. Полнейшее заблуждение.)

Во время разговора об ОБЭРИУ за столом сидела другая Ахматова, полностью раскрепощенная, как говорится, человек в своей тарелке.

Финал встречи — безоговорочное тому подтверждение.

— А не выпить ли нам, друзья, чего-нибудь такого, что в укус не превращается, — сказала Анна Андреевна и заулыбалась собственной шутке.

Тревожную ташкентскую жизнь определяла наша жгучая заинтересованность, что нового на фронтах, что нового в мире. Центральные газеты шли долго, местная «Правда Востока» не удовлетворяла, оставалось ра-

дио. Ближайший от меня репродуктор находился за несколько домов, в холле Пушкинской гостиницы. Здесь рано утром я Анну Андреевну и встретил.

Под гостиничным репродуктором мы закончили незавершенный в первую встречу разговор. Теперь мы точно условились об удобном для Ахматовой вечере, послушать, что пишет она, а заодно и что пишу я, для себя разумеется, не для печати.

И вот в условленный день и час я впервые переступил порог ее комнаты. Мне не раз приходилось слышать от знакомых Ахматовой: где бы Анна Андреевна ни жила — всегда у нее бедлам, только с розами. Ни бедлама, ни роз я не обнаружил. Аккуратно прибранная комната, очень светлая, небольшая, почти без мебели. И на стенах, насколько помнится, пусто.

С чего же начался наш разговор? Анна Андреевна познакомила меня с новой эпической поэмой. «Поэма без названия» (кажется, так называла тогда поэму Ахматова) отличалась от всего, что читал я из ею написанного.

С вами беседует не литературовед, я не собираюсь анализировать то, что в тот вечер услышал. Могу сказать одно — на единственного в комнате слушателя (а читала Анна Андреевна так, будто перед нею переполненный зал) поэма произвела сильное впечатление. И не только точностью ахматовского слова, эту особенность стихов Ахматовой я знал и прежде, новым было другое: только ей присущее ощущение Петербурга. Пусть ее город сказочен, даже фантастичен, для меня он подлинный, реальный, тот Петербург, который всегда со мной.

Потом читал я. Значительно меньше. В 1941 году из Ленинграда я уезжал не в Москву, а под Москву (работать с Разумовским). То, что я принес Анне Андреевне, было восстановлено в Ташкенте.

Читал главным образом написанное перед войной. «Песня быка» — так называлось стихотворение, которое больше других понравилось Анне Андреевне. По ее просьбе стихотворение было прочитано дважды, а когда чтение закончилось, я сказал:

— Разрешите посвятить его вам. Пройдет время, может быть, это стихотворение дойдет и до читателя.

— Не сомневаюсь, — сказала Анна Андреевна. — Нас ждут другие времена. Я вам тоже что-нибудь посвящу из того, что напишу, обязательно.

Так закончилась, я бы так сказал, концертная часть вечера. Разговоры длились долго, до глубокой ночи.

— Вы, обэриуты, находились в более выгодном положении, чем, скажем, я или поэты моего склада, — говорила Ахматова. — Вам не требуется что-то объяснять. У нас всегда присутствует второй план, а иногда и третий. Вы же этот второй шаг умышленно не делаете, что написано, то и есть. Вы пишете: стоит стул. Он себе и стоит, без другого значения. Для меня же важно: почему? где? когда? и, главное, зачем? Говорю это ни в коем случае не в укор; можно — так, а можно — иначе. Важно другое — чтобы было талантливо. Качество у обэриутов присутствующее, на этот счет у меня обоняние...

Вдруг Анна Андреевна спросила:

— Бывает ли у вас такое: сначала сон, а потом его творческая реализация — стихи или живописное произведение? «Поэма без названия» появилась и создавалась именно так.

Ахматовой думалось, что подобный путь творчества ближе обэриутам, чем, скажем, символистам или акмеистам. Я же категорически возражал. Зыбкость сновидения — что может быть дальше конкретности, определенности обэриутского произведения? Первым импульсом может послужить не темная подсознательность видений, а вполне осознанные творения Малевича, Филонова, Матюшина. Конечно, это только возможная заправка, дальнейшее зависит от художника слова.

В наших беседах Анна Андреевна не обошла вопрос, который впоследствии задавали почти все, кто хотел вникнуть в творческую суть обэриутской поэзии или прозы: кто, по мнению самих обэриутов, был их предшественником? Такой вопрос задавался не только советскими литературоведами, но и западными славистами.

Могу с полной определенностью сказать (и, конечно, то же самое я говорил Ахматовой), что бессмысленно искать наших соседей среди итальянских футуристов, французских сюрреалистов, германского «баухауза». Адресат, конкретный — наш, отечественный. Ближайшие предшественники — русские кубофутуристы. В первую очередь Велимир Хлебников, во вторую — Алексей Крученых, наконец, братья Бурлюки, Давид и Нико-

лай (Владимир занимался только живописью). Остальным «измам» XX века мы свое искусство, по аналогии с кубофутуристами, полностью противопоставляли. Среди литераторов XIX века ближе других нам казались творцы Пруткова, конечно, Гоголь, воспринятый через поэзию Хлебникова Пушкин. Высоко оценивалась проза Вельмана, выборочно — Достоевского. Среди многочисленных творений XVIII века мы выделяли поэзию великого Ломоносова.

Из только что сказанного может показаться, что поэзия, драматургия, проза обэриутов оказалась в стороне от западного авангарда. Конечно, нет. Однако сближала нас не литература, а в первую очередь живопись. Литература Запада не оказала на нас должного воздействия хотя бы потому, что про формальные новации западных литераторов мы узнавали отрывочно, чаще понаслышке.

Однажды Анна Андреевна мне сказала, что в каждом художнике, и в этом она совершенно убеждена, уживаются, как правило, несколько художников, но проявляются они в разные периоды жизни по-разному: «Мы знаем нескольких Цветаевых, нескольких Маяковских, Пастернаков, наконец нескольких Блоков. А взгляните на мою поэзию: Ахматовых тоже несколько. Разве сопоставимы стихи военных лет и дореволюционная лирика?»

Я не мог не согласиться с Анной Андреевной, считая, что «Поэма без названия» или «Поэма без героя», как она стала вскоре называться, — совершенно новый этап в поэзии Ахматовой.

Кстати сказать, когда шел разговор о Поэме, я возражал против многочисленных эпиграфов, которые, как мне казалось, да и сегодня кажется (хотя эпиграфов стало значительно меньше), неверно ориентируют читателя на сугубую литературность произведения, чего нет и в помине. Поэму определяет личное, непосредственное восприятие несуществующего сегодня Петербурга. И хотя в ней нет слов о пророчестве опальной императрицы: «Быть пусту месту сему», оно не только подтверждается самой жизнью, но и постоянно ощущается в этом необычайно емком произведении.

Анна Андреевна задумалась, а потом сказала, что через чужие слова она хочет «вытащить на свет второй и третий подтекст Поэмы».

— Я собираюсь написать послесловие (частично оно уже написано), которое многое объяснит, — говорила она.

Мне же казалось, что позиция автора в Поэме выражена достаточно точно и не нуждается ни в эпиграфах, ни в послесловиях.

Вспоминается, что Анна Андреевна много и убежденно говорила про «точность авторского выражения» (ее определение), совершенно необходимую для профессионалов, но, к сожалению, отсутствующую у многих современных стихоплетов. И еще — что гладкость, которой не сложно добиться, не есть точность. Совершенно верно говорят далекие друг от друга Пастернак и Маршак, что самое важное в подлинной литературе — незаменимость слова. В каждом случае слово едино и никаким другим заменено быть не может.

Я безуспешно пытался доказать Анне Андреевне, что неясность, нелепость, алогизм — не есть «заумь». Например, Введенский — «авторитет бессмыслицы», как он себя иной раз называл, — выступает против «зауми». Неприемлема «заумь» и для Заболоцкого. Другое дело — «поэты звукописи» Алексей Крученых, Игорь Терентьев, Александр Туфанов. Они отстаивают любое словотворчество, рожденное фонемой.

Мои разглагольствования мало интересовали Ахматову. Как всегда в таких случаях она не реагировала, подчеркнуто молчала, а на этот раз вдруг произнесла:

— А знаете, получилось такое: задолго до революции Хлебников посвятил мне небольшой стишок. И неплохой, никакой зауми. Для него это, как видно, не было главным. Все равно Виктор для меня загадка.

Не знаю, какое хлебниковское стихотворение можно назвать «плохим» и что в Велимире загадочного. Гениальный поэт, этим все сказано.

И еще один сюжет, требующий повторения. Анна Андреевна сама не раз возвращалась к этой теме: что будет после войны? Сталинград позади, война приближается к нашим границам. Анна Андреевна была переполнена оптимизмом.

— Нас ждут необыкновенные дни, — повторяла она. — Вот увидите: будем писать то, что считаем необ-

ходимым. Возможно, через пару лет меня назначат редактором ленинградской «Звезды». Я не откажусь. Тогда буду печатать и ваши стихи, а возможно, и пьесу, если она не будет подчиняться давлению «комитетов».

Предсказать дальнейший ход событий не мог никто, даже Ахматова. И то, какое великое значение возымело для Советского Союза триумфальное завершение войны, и что означал этот триумф для отдельных людей, Анна Андреевна испытала на собственном опыте.

Приложение

ОБЭРИУ <ДЕКЛАРАЦИЯ>

ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства), работающее при Доме Печати, объединяет работников всех видов искусства, принимающих его художественную программу и осуществляющих ее в своем творчестве.

ОБЭРИУ делится на четыре секции: литературную, изобразительную, театральную и кино. Изобразительная секция ведет работу экспериментальным путем, остальные секции демонстрируются на вечерах, постановках и в печати. В настоящее время ОБЭРИУ ведет работу по организации музыкальной секции.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЛИЦО ОБЭРИУ

Громадный революционный сдвиг культуры и быта, столь характерный для нашего времени, задерживается в области искусства многими ненормальными явлениями. Мы еще не до конца поняли ту бесспорную истину, что пролетариат в области искусства не может удовлетвориться художественным методом старых школ, что его художественные принципы идут гораздо глубже и подрывают старое искусство до самых корней. Нелепо думать, что Репин, нарисовавший 1905 год, — революционный художник. Еще нелепее думать, что всякие АХР'ы несут в себе зерно нового пролетарского искусства.

Требование общепонятного искусства, доступного по своей форме даже деревенскому школьнику, — мы приветствуем, но требование только такого искусства заводит в дебри самых страшных ошибок. В результате мы имеем груды бумажной макулатуры, от которой ломятся книжные склады, а читающая публика первого Пролетарского Государства сидит на переводной беллетристике западного буржуазного писателя.

Мы очень хорошо понимаем, что единственно правильного выхода из создавшегося положения сразу найти нельзя. Но мы

совершенно не понимаем, почему ряд художественных школ, упорно, честно и настойчиво работающих в этой области, — сидят как бы на задворках искусства, в то время как они должны всемерно поддерживаться всей советской общественностью. Нам не понятно, почему Школа Филонова вытеснена из Академии, почему Малевич не может развернуть своей архитектурной работы в СССР, почему так нелепо освистан «Ревизор» Терентьева? Нам не понятно, почему так называемое левое искусство, имеющее за своей спиной немало заслуг и достижений, расценивается как безнадежный отброс и еще хуже — как шарлатанство. Сколько внутренней нечестности, сколько собственной художественной несостоятельности таится в этом ди-ком подходе.

ОБЭРИУ ныне выступает как новый отряд левого революционного искусства. ОБЭРИУ не скользит по темам и вершинам творчества — оно ищет органически нового мироощущения и подхода к вещам. ОБЭРИУ вгрызается в сердцевину слова, драматического действия и кинокадра.

Новый художественный метод ОБЭРИУ¹ универсален, он находит дорогу к изображению какой угодно темы. ОБЭРИУ революционно именно в силу этого своего метода.

Мы не настолько самонадеянны, чтобы смотреть на свою работу как на работу, сделанную до конца. Но мы твердо уверены, что основание заложено крепкое и что у нас хватит сил для дальнейшей постройки. Мы верим и знаем, что только левый путь искусства выведет нас на дорогу новой пролетарской художественной культуры.

ПОЭЗИЯ ОБЭРИУТОВ

Кто мы? И почему мы? Мы, обэриуты, — честные работники своего искусства. Мы — поэты нового мироощущения и нового искусства. Мы — творцы не только нового поэтического языка, но и создатели нового ощущения жизни и ее предметов. Наша воля к творчеству универсальна: она перехлестывает все виды искусства и врывается в жизнь, охватывая ее со всех сторон. И мир, замусоленный языками множества глупцов, запутанный в тину «переживаний» и «эмоций», — ныне возрождается во всей чистоте своих конкретных мужественных форм. Кто-то

¹ Метод конкретного материалистического ощущения вещи и явления. Именно это его свойство делает его наиболее современным и актуальным. См. статью «Поэзия обэриутов». (Примеч. авторов Декларации.)

и посейчас величает нас «заумниками». Трудно решить, что это такое: сплошное недоразумение или безысходное непонимание основ словесного творчества? Нет школы более враждебной нам, чем заумь. Люди реальные и конкретные до мозга костей, мы — первые враги тех, кто холостит слово и превращает его в бессильного и бессмысленного ублюдка. В своем творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его. Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достойным искусства. В поэзии — столкновение словесных смыслов выражает этот предмет с точностью механики. Вы как будто начинаете возражать, что это не тот предмет, который вы видите в жизни? Подойдите поближе и потрогайте его пальцами. Посмотрите на предмет голыми глазами, и вы увидите его впервые очищенным от ветхой литературной позолоты. Может быть, вы будете утверждать, что наши сюжеты «не-реальны» и «не-логичны»? А кто сказал, что «житейская» логика обязательна для искусства? Мы поражаемся красотой нарисованной женщины, несмотря на то, что, вопреки анатомической логике, художник вывернул лопатку своей героини и отвел ее в сторону. У искусства своя логика, и она не разрушает предмет, но помогает его познать.

Мы расширяем смысл предмета, слова и действия. Эта работа идет по разным направлениям, у каждого из нас есть свое творческое лицо, и это обстоятельство кое-кого часто сбивает с толку. Говорят о случайном соединении различных людей. Видимо, полагают, что литературная школа — это нечто вроде монастыря, где монахи на одно лицо. Наше объединение свободное и добровольное, оно соединяет мастеров, а не подмастерьев, — художников, а не маляров. Каждый знает самого себя, и каждый знает — чем он связан с остальными.

А. Введенский (крайняя левая нашего объединения), разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей конкретности. Введенский разбрасывает действие на куски, но действие не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровать до конца, то получается в результате — видимость бессмыслицы. Почему — видимость? Потому что очевидной бессмыслицей будет заумное слово, а его в творчестве Введенского нет. Нужно быть побольше любопытным и не полениться рассмотреть столкновение словесных смыслов. Поэзия не манная каша, которую глотают не жуя и о которой тотчас забывают.

К. Вагинов, чья фантазмагория мира проходит перед глазами как бы облеченная в туман и дрожание. Однако через этот туман вы чувствуете близость предмета и его

теплоту, вы чувствуете наплывание толп и качание деревьев, которые живут и дышат по-своему, по-вагиновски, ибо художник вылепил их своими руками и согрел их своим дыханием.

Игорь Бахтерев — поэт, осознающий свое лицо в лирической окраске своего предметного материала. Предмет и действие, разложенные на свои составные, возникают, обновленные духом новой обэриутской лирики. Но лирика здесь не самоценна, она — не более как средство сдвинуть предмет в поле нового художественного восприятия.

Н. Заболоцкий — поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя. Слушать и читать его следует более глазами и пальцами, нежели ушами. Предмет не дробится, но наоборот — сколачивается и уплотняется до отказа, как бы готовый встретить осязающую руку зрителя. Развертывание действия и обстановка играют подсобную роль к этому главному заданию.

Даниил Хармс — поэт и драматург, внимание которого сосредоточено не на статической фигуре, но на столкновении ряда предметов, на их взаимоотношениях. В момент действия предмет принимает новые конкретные очертания, полные действительного смысла. Действие, перелицованное на новый лад, хранит в себе «классический» отпечаток и в то же время — представляет широкий размах обэриутского мироощущения.

Бор. Левин — прозаик, работающий в настоящее время экспериментальным путем.

Таковы грубые очертания литературной секции нашего объединения в целом и каждого из нас в отдельности, остальное договорят наши стихи.

Люди конкретного мира, предмета и слова, в этом направлении мы видим свое общественное значение. Ощущать мир рабочим движением руки, очищать предмет от мусора стародавних истлевших культур — разве это не р е а л ь н а я потребность нашего времени? Поэтому и объединение наше носит название ОБЭРИУ — Объединение Реального Искусства.

НА ПУТЯХ К НОВОМУ КИНО

Кино как принципиально самостоятельного искусства до сего времени не было. Были наслоения старых «искусств» и в лучшем случае — отдельные робкие попытки наметить новые тропинки в поисках настоящего языка кино. Так было...

Теперь для кино настало время обрести свое настоящее лицо, найти собственные средства впечатляемости и с в о й, действительно с в о й язык. «Открыть» грядущую кине-

матографию никто не в силах, и мы сейчас тоже не обещаем этого сделать. За людей это сделает время.

Но экспериментировать, искать пути к новому кино и утверждать какие-то новые художественные ступени — долг каждого честного кинематографиста. И мы это делаем.

В короткой заметке не место подробно рассказывать обо всей нашей работе. Сейчас — только несколько слов об уже готовом «Фильме № 1». Время тематики в кино отошло. Теперь — самые некинематографические жанры — именно в силу своей тематичности, — авантурный фильм и комический. Когда тема (+ фабула + сюжет) самодовлеет, они подчиняют материал. А находка самобытного, специфического киноматериала — уже ключ к находке языка кино. «Фильм № 1» — первый этап нашей экспериментальной работы. Нам не важен сюжет, нам важна «атмосфера» взятого нами материала — темы. Отдельные элементы фильма могут быть никак не связаны между собой в сюжетно-смысловом отношении, они могут быть антиподами по своему характеру. Дело, повторяем, не в этом. Вся суть в той «атмосфере», которая свойственна данному материалу, — теме. Вскрыть эту атмосферу — наша первая забота. Как мы разрешаем данную задачу — легче всего понять, увидев фильм на экране.

Не в порядке саморекламы: 24 января с. г. в Доме Печати — наше выступление. Там мы покажем фильм и подробно расскажем о наших путях и исканиях. Фильм сделан авторами-режиссерами Александром Разумовским и Клементием Минцем.

ТЕАТР ОБЭРИУ

Предположим так: выходят два человека на сцену, они ничего не говорят, но рассказывают что-то друг другу — знаками. При этом они надувают свои торжествующие щеки. Зрители смеются. Будет это театр? Будет. Скажете — балаган? Но и балаган — театр.

Или так: на сцену опускается полотно, на полотне нарисована деревня. На сцене темно. Потом начинает светать. Человек в костюме пастуха выходит на сцену и играет на дудочке. Будет это театр? Будет.

На сцене появляется стул, на стуле — самовар. Самовар кипит. А вместо пара из-под крышки вылезают голые руки. Будет это? Будет.

И вот все это: и человек, и движения его на сцене, и кипящий самовар, и деревня — нарисованная на холсте, и свет —

то потухающий, то зажигающийся, — все это — отдельные театральные элементы.

До сих пор все эти элементы подчинялись драматическому сюжету — пьесе. Пьеса — это рассказ в лицах о каком-либо происшествии. И на сцене всё делают для того, чтобы яснее, понятнее и ближе к жизни объяснить смысл и ход этого происшествия.

Театр совсем не в этом. Если актер, изображающий министра, начнет ходить по сцене на четвереньках и при этом — выть по-волчьи; или актер, изображающий русского мужика, произнесет вдруг длинную речь по-латыни — это будет театр, это заинтересует зрителя, даже если это произойдет вне всякого отношения к драматическому сюжету. Это будет отдельный момент — ряд таких моментов, режиссерски организованных, создадут театральное представление, имеющее свою линию сюжета и свой сценический смысл.

Это будет тот сюжет, который может дать только театр. Сюжет театрального представления — театральный, как сюжет музыкального произведения — музыкальный. Все они изображают одно — мир явлений, но в зависимости от материала — передают его по-разному, по-своему.

Придя к нам, забудьте все то, что вы привыкли видеть во всех театрах. Вам, может быть, многое покажется нелепым. Мы берем сюжет — драматургический. Он развивается вначале просто, потом он вдруг перебивается как будто посторонними моментами, явно нелепыми. Вы удивлены. Вы хотите найти ту привычную логическую закономерность, которую — вам кажется — вы видите в жизни. Но ее здесь не будет. Почему? Да потому, что предмет и явление, перенесенные из жизни на сцену, — теряют «жизненную» свою закономерность и приобретают другую — театральную. Объяснять ее мы не будем. Для того, чтобы понять закономерность какого-либо театрального представления, — надо его увидеть. Мы можем только сказать, что наша задача — дать мир конкретных предметов на сцене в их взаимоотношениях и столкновениях. Над разрешением этой задачи мы работаем в нашей постановке «Елизавета Бам».

«Елизавета Бам» написана по заданию театральной секции ОБЭРИУ членом секции — Д. Хармсом. Драматургический сюжет пьесы расшатан многими как бы посторонними темами, выделяющими предмет как отдельное, вне связи с остальным, существующее целое; поэтому сюжет драматургический не встанет перед лицом зрителя как четкая сюжетная фигура, он как бы теплится за спиной действия. На смену ему приходит сюжет сценический, стихийно

возникающий из всех элементов нашего спектакля. На нем — центр нашего внимания. Но вместе с тем отдельные элементы спектакля для нас самоценны и дороги. Они ведут свое собственное бытие, не подчиняясь отстукиванию театрального метронома. Здесь торчит угол золотой рамы — он живет как предмет искусства; там выговаривается отрывок стихотворения — он самостоятелен по своему значению и в то же время — независимо от своей воли — толкает вперед сценический сюжет пьесы. Декорация, движение актера, брошенная бутылка, хвост костюма, — такие же актеры, как и те, что мотают головами и говорят разные слова и фразы.

Композиция спектакля разработана **И. Бахтеревым, Бор. Левиным и Даниилом Хармсом**. Оформление — **И. Бахтерева**.

**〈ПРОГРАММА ВЕЧЕРА
«Три левых часа»〉**

ДОМ ПЕЧАТИ

**Во вторник
24 января
1928 г.**

**В порядке показа
современных
течений в искусстве
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ВЕЧЕР
ОБЭРИУТОВ**

«Три левых часа»

**Обэриу — Объединение Реального Искусства:
литература — изо — кино — театр.**

Первый час

**Вступление. Конферирующий хор. Декларация
Обэриу. Декларация литературной секции.**

Читают стихи:

**К. Вагинов
Н. Заболоцкий
Даниил Хармс
Н. Кропачев
Игорь Бахтерев
А. Введенский**

**Конферансье будет ездить на трехколесном велоси-
педке по невероятным линиям и фигурам**

Второй час

Будет показано театральное представление.

«Елизавета Бам»

Текст Д. И. Хармса. Композиция спектакля И. Бахтерева, Бор. Левина, Д. И. Хармса. Декорация и костюмы И. Бахтерева. Актеры: Грин (Елизавета Бам), Маневич (Иван Иванович), Варшавский (Петр Николаевич), Вигилянский (папаша), Бабаева (мамаша), Хропачев (нищий). Инженер сцены П. Котельников.

По ходу действия:

«Сражение двух богатырей»

Текст Иммануила Красдайтейрик, музыка Велиопага Нидерландского пастуха. Движение неизвестного путешественника. Начало объявит колокол.

Третий час

Вечернее размышление о кино —
Александра Разумовского.
Будет показан кинофильм

Фильм № 1 «Мясорубка»

Работа режиссеров
Александра Разумовского
и Клементия Минца.
Специальная муз. иллюстр. к фильму —
Джаз — Михаила Курбанова. Вожатый вечера
Ю. Гольц. Театрализация вечера Бор. Левина.
Худ. оформитель — И. Бахтерев.

ДИСПУТ

Вечер сопровождает Джаз

Г. ГОР

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ЖИВОПИСИ

То, что у смертных людей называется мышлением, — кругосердечная кровь. Только ею и мыслимы, люди.

Эмпедокл

1

Четыре стены и четыреста окон и крыша: это был дом.

Это не был дом.

2

Петр Иванович Каплин сидел на стуле и читал книгу. А Вера Павловна Каплина ставила самовар, поглядывая в окно.

И вовсе не книгу читал Петр Иванович Каплин, а тетрадь, и не на стуле сидел, а лежал на полу... А Вера Павловна Каплина вовсе не поглядывала в окно, когда ставила самовар, да и самовар она вовсе не ставила, потому что не было самовара, а даже если и был у ней примус, то не могла она ставить примус, потому что Веры Павловны Каплиной не было в это время в квартире Петра Ивановича Каплина, ее не было как таковой, и вообще она никогда не существовала.

Просто Петр Иванович Каплин, когда лежал на полу и просматривал свою новую тетрадь, подумал:

«А хорошо, если бы у меня была жена Вера Павловна и самовар».

Он был уже немолодым человеком, среднего роста, и любил исполнять свои собственные желания: Для этого он сел на «четверку» и поехал к Обводному каналу.

Там он купил самовар.

Оставалось только жениться. Но он не женился потому, что среди его знакомых не оказалось женщины, имя которой было бы Вера Павловна, и вообще среди его знакомых не оказалось женщины.

Таков был ученый библиотекарь, Петр Иванович Каплин.

— Я ученый библиотекарь, — говорил он.

Он ученый библиотекарь.

— Я знаю физику, — говорил он, — знаю математику, знаю философию и столярное дело тоже знаю.

Он знает физику, знает математику, знает философию и столярное дело тоже знает.

— Я знаю астрономию, — говорил он, — знаю гастрономию, знаю агрономию, знаю анатомию, знаю зоологию, знаю биологию, знаю географию, знаю космографию, и это далеко не все, что я знаю.

Он знает астрономию, знает гастрономию, знает агрономию, знает анатомию, знает зоологию, знает биологию, знает географию, знает космографию, и это далеко не все, что он знает.

— Но я не знаю самого себя, — говорил он.

Но он не знает самого себя.

Каплин жил на четвертом этаже в квартире № 4, состоящей из четырех комнат. В каждой комнате стояло по четыре стола, по четыре стула, кровати не было совсем, так как четыре кровати было очень много, а одна кровать нарушила бы ритм, поэтому Каплин спал на полу. На четырех полках стояло по четыре книги, четыре чашки стояли на четырех столах, а на четырех примусах — четыре чайника кипели, задрав свои носы к потолку, который был один.

Потолок-то и нарушил ритм, число и спокойствие тихой научной жизни Петра Ивановича Каплина, потолок стоял, загородив дорогу его последовательности, до сих пор не знавшей преград. Потолок был доказательством того, что Петр Иванович не был прав, когда воображал, что его воля была свободной. В одной квартире можно было иметь только один потолок. Петр Иванович долго думал, как бы выйти из положения. Но домоуправление категорически запретило ему делать какие бы то ни было надстройки, а отказаться от потолка, как от кровати, было невозможно. Сначала он было решил обойти себя, как он обходил закон, продавая заперщенные или украденные из типографии книги. Но закон был закон. А он был он. И он решил остаться чест-

ным перед самим собой. Таким образом последовательности Петра Ивановича был поставлен предел и нарушено число. А раз был один потолок, то можно было завести один самовар, поставить одну кровать и жениться на одной жене.

Будучи странным человеком у себя дома, настолько странным, что многие считали его почти помешанным, на Литейном он был самым заурядным букинистом, и даже книги, которые он продавал, были ничем не замечательными сочинениями Чехова, отличаясь от книг, которые лежали на его полках и хранились в его ящиках дома, как Петр Иванович Каплин на Литейном от Петра Ивановича Каплина у себя дома.

Каплин на Литейном покупал книги за три рубля, продавал — за тридцать.

Каплин у себя дома отдавал суп кошке, а сам смотрел в окошко или пил квас, заедая колбасой.

Каплин на Литейном ходил на двух ногах, деньги брал руками и клал в карман, кланяясь, как кланяются все, говорил о погоде и помидорах, читал вечернюю «Красную» или улыбался, имея правильные черты лица.

Каплин у себя дома был наоборот.

Будучи типичным, не составлявшим исключения, вполне закономерным гражданином на Литейном, — у себя дома Петр Иванович был особенным, случайным, и составлять во всем исключение, выделяться из окружающего было его второй профессией.

Все ходили на двух ногах, брюки носили на ногах, а шляпу на голове, читали газеты, жили с женами, ходили на собрания, разрушали, строили, пили чай. А он наоборот. Потому что все были — все. А он был — он. Впрочем, индивидуализм, эксцентризм и противопоставление себя окружающему было не всегда свойственно Петру Ивановичу. Оно началось с того времени, когда толпа, по выражению Петра Ивановича, взяла верх над отдельной личностью. Желание противопоставить себя всем было не чем иным, как желанием подчеркнуть, что вот советская власть может сделать многое, она может его разорить, посадить в тюрьму, расстрелять, но она не может из него сделать другого. Все будут как все. А он будет наоборот. Все будут ходить в брюках, а он поедет верхом на котлете. Короче говоря, он плюет на всех...

Он был очень начитан и имел «теоретическое» обоснование для своих поступков. Он понимал, что он на-

ходится в разладе с обществом, и, не имея возможности бороться активно, боролся, как мог. Его любимыми писателями были Вилье де Лиль-Адан, Барбэ де Оревельи и Гюисманс, которые также ходили на голове. Но он подражал им не во всем и был гораздо последовательнее, чем все его предшественники. Он этим гордился, говоря, что в его время гораздо труднее быть последовательным, чем во времена декадентов.

Дома он был подчеркнуто непрактичным, непрактичным в поступках, непрактичным в еде, непрактичным в мыслях. Но вся его житейская непрактичность была не больше чем видимостью Петра Ивановича, так же как и вся его эксцентричная жизнь вверх ногами у себя дома. Все это было не больше чем маской. А сущность Петра Ивановича ходила на двух ногах, носила фетровую шляпу и крахмальные воротнички, улыбаясь очень хитро, показав один зуб.

Если бы взглянули в кладовую Петра Ивановича, то нашли бы у него и масло, и муку, и сахар, и крупу, и конфеты, и шоколад, и мыло, и компот, и кусочек мяса, и кусочек шерсти, и многое другое, но не в этом заключалась его сущность.

Впрочем, он не был умен. Он был не глуп, а хитер. Доказательством чему могли служить многие его поступки, которые он делал для того, чтобы обмануть окружающих. Но в результате обманывал он самого себя. Причиной была его старость. А окружающие обращали на него внимание не больше, чем на дохлую крысу.

Исключение составлял лишь один гражданин, известный биолог, профессор Тулумбасов, который уважал Петра Ивановича Каплина и, зная его много лет, интересовался им не меньше, чем своей наукой.

Профессор Тулумбасов жил в том же доме, что и Каплин, в том же флигеле, на той же лестнице, в квартире № 3, которая находилась под квартирой № 4, где проживал Каплин, так что потолок, который служил профессору Тулумбасову потолком, служил Каплину полом.

Прохаживаясь под Петром Ивановичем в прямом смысле, это не значит, что профессор Тулумбасов ходил под ним в переносном. Для этого он был слишком знаменит, слишком уважал себя и был уважаем другими. Не кто иной, а профессор протянул руку помощи Петру Ивановичу, когда советская власть поставила предел частной торговле книгами.

Профессор устроил его в тот научно-исследовательский институт, который он возглавлял, на должность заведующего библиотекой. Это как раз и было то, что и требовалось Петру Ивановичу, которого уже начало прижимать домоуправление во главе с товарищем Ивановым как частного торговца и лишенца. Петр Иванович легко справлялся со своей новой обязанностью. Он был начитан, правда, очень поверхностно, как все так называемые культурные букинисты. Он знал почти все, ничего не зная, так как, аккуратно прочитывая все обложки и оглавления, он прочитал далеко не все существующие на земле книги. Библиография пришлась ему по вкусу. Но оставим Петра Ивановича Каплина заниматься своей библиографией, так как он и вся его жизнь не больше чем эпизод, интересный нам только постольку, поскольку он может пролить свет на жизнь известного биолога, профессора Тулумбасова. Итак, оставим Петра Ивановича в библиотеке, а сами перейдем к описанию профессора.

3

Профессор не походил на свой портрет.

Портрет висел над столом. А профессор сидел за столом. У портрета было два носа. А у профессора один. У профессора были две руки, и обе продолжением плеч. А у портрета целых шесть, две продолжением плеч, одна на брюхе, другая в ухе, а шестая совсем в стороне. Портрет был в сюртуке, а профессор — в обыкновенной косоворотке. У портрета были усы и довольно странный вид неземного жителя. У профессора ни усов, ни вида, а самая обыкновенная внешность.

Профессор походил на отца и на мать. Портрет — на бревно, на луну, на кровать.

Портрет, как вы и сами видите, был не портрет, а одна сплошная нелепость. А профессор был профессор.

Почему же в таком случае висел портрет, не потому ли, что его писал русский кубист Иван Пуни в дни молодости профессора?

Висел потому портрет, что в характере известного биолога была одна черта, которую мы не решимся назвать упрямством, потому что это определение не соответствовало бы действительности, но, так как мы не можем пока найти подходящее название для этой черты, оставим ее незаванной.

Профессор не любил делать то, что любят делать другие. Но и не любил выделяться. В молодости, увлекаясь кубизмом, он дал написать с себя портрет, ни на что не похожий, отъявленному «новатору» Ивану Пуни. И, раз повесив его на стену над столом, ни за что не решился бы его снять, хотя бы давно изменил увлечению своей молодости, кубизму, не решился бы снять потому, что не решился. И все тут. Хотя портрет приносил профессору немало неприятностей, начиная от упреков жены и кончая насмешливыми взглядами студентов, приходивших сдавать зачет к нему на дом.

Даже Каплин, скромный и ненасмешливый, серьезный Петр Иванович, и тот постарался вспомнить стихи, когда-то им сочиненные, которые как будто не могли иметь непосредственного отношения к портрету, так как их автор тогда еще не был знаком ни с профессором, ни с его портретом.

И все же Петру Ивановичу удалось их вспомнить и прочесть:

Рано утром, не одет,
По паркету шел портрет,
У портрета, вместо глаз,
Ехал по лбу тарантас.
Там, где рот и голова,
На плечах росла трава.
Вместо плеч и вместо ног,
По земле ходил сапог.
А на этом сапоге
Были буквы: Бе и Ге.
Говорит тогда паркет:
«Я паркет, а ты портрет.
У тебя был страшный вид,
Точно в море рыба-кит».
Рассердился тут портрет,
Говорит ему в ответ:
«Ты не рыба. И не вид.
Баба пела. Дворник спит.
А у Насти много дел,
Ставлю я ему предел».

Профессор ничего не сказал на это. Он в это время ходил по комнате. А ходил он так: сначала ставил одну ногу на пол, потом ставил другую и подымал первую, затем опять ставил первую и подымал вторую. Так, похожий на других людей, ходил профессор Алексей Алексеевич Тулумбасов. Совсем иначе ходил Петр Иванович Каплин, не похожий на других людей. Он не ходил, а двигался, он не двигался, а плавал, он не плавал, а летал. Летал же он так: он ставил свои ноги на носки и, весь

устремаясь к потолку, шевелил руками, прямой как подсвечник. Безусловно, он ходил, как все люди, но казалось, что он летит на месте, похожий на памятник птице, если бы существовал такой памятник, противоречие между желанием и возможностью, тяжелый, но вместе с тем устремленный ввысь.

Разговор совершался без определенной руководящей мысли.

— А заметили ли вы, — сказал Алексей Алексеевич Петру Ивановичу, — что портрет похож на вас? Про него можно сказать то же самое, что и про вас: что он ни на кого не похож.

— Так, значит, я и есть портрет? — спросил Петр Иванович.

— Если хотите — да, — сказал профессор. — А если хотите — нет.

Он в это время думал о другом.

Тут вмешалось продолжительное молчание, похожее на полет насекомого, во время которого Петр Иванович постарался вспомнить мысль, пришедшую ему в голову вчера ночью, — цель его прихода к профессору. Наконец ему удалось ее вспомнить.

— Вселенная — это окружность, — сказал Петр Иванович, чертя при этом окружность пальцем в воздухе. — И точно так же устроено человеческое мышление. Человеческая мысль двигается по заколдованному кругу, не в состоянии из него выйти. Круг — это синоним замкнутости. Бессильное, выйдя из одной точки и описав окружность, человечество непременно вернется в то же самое место. Современная наука вернулась к средневековью. На страницах научного журнала высокоавторитетные западные биологи доказывают, что если бы человечество стало бы, например, питаться исключительно птичьим мясом, то, постепенно изменяясь, со временем оно бы превратилось в птиц, в рыб — если бы оно питалось исключительно рыбой, в слонов — если бы оно питалось исключительно слонами. Таким образом, дикари, античные писатели, творцы сказок и средневековые натурфилософы оказались правы. Метафизика торжествует. Реализм опровергнут.

— И вы верите этому? — спросил профессор.

— Я верю только тому, что невозможно доказать. Все доказуемое для меня скучно и нереально, — ответил Петр Иванович.

— Хотя ваша голова похожа на головы всех других людей, — пошутил профессор, — ваши мысли имеют свой недоступный для меня ход.

Петр Иванович принял важную позу, встал, сел, прошелся по комнате, выпятив живот.

— Мои мысли заперты, — сказал Петр Иванович с важностью. — Я открываю их очень редко. И я сам заперт.

«Напрасно, — подумал, но не сказал Алексей Алексеевич. — Вам не мешало бы их проветрить».

— Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать, — сказал он.

— Я хочу сказать, — сказал Петр Иванович, — что можно доказать все. Я, например, могу доказать, что все люди без исключения если не заперты, то закрыты. Мысли закрыты в голове, люди — в комнатах, комнаты — в домах. Я хотел бы быть человеком без крыши, а меня заставляют носить шляпу.

— И вы это доказываете? — спросил профессор.

— Доказываю, — отвечал Петр Иванович.

— И вы верите своему доказательству?

— Как самому себе, — сказал Петр Иванович, — как вам.

— Короче говоря, верите.

— Верю.

— В таком случае позвольте вам напомнить сказанное вами только что, — улыбнулся профессор. — Вы сказали, что верите всему, что невозможно доказать. Все доказуемое для вас скучно и нереально. Это противоречие. Не так ли?

— Так, но что из этого? — сказал Петр Иванович.

— В таком случае чему прикажете верить? — сказал профессор. — Тому или другому?

— И не тому, и не другому. Ничему не верьте. И не будьте последовательны. В наше время невозможна последовательность. Она натывается на такое препятствие, как управдом. В свою очередь я поражаюсь вашей памяти.

— Да, я ею горжусь, — сказал профессор.

— А я ее ни во что не ставлю.

— Объясните.

— Память обезличивает. Человек набивает голову чужим в том случае, когда у него нет своего. Разумеется, я не отношу вас к этому типу людей.

— Ваша последняя мысль, — сказал профессор, —

банальна. И правильна. После того как я это сказал, я уверен, что вы откажетесь от вашей последней мысли, как и от предшествующих.

— У меня нет мыслей.

— Как прикажете понимать?

— У меня есть только слова. Мысли я не ставлю ни во что.

— За что? — спросил профессор.

— За то, что и науку, — сказал Петр Иванович, — за пот. За плановость. За усилие, похожее на усилие клячи, вытягивающей завязнувший воз. Я — за импровизацию слов против напряжения всякой мысли. Я — за неожиданность искусства против логики науки. Под искусством я имею в виду не современное русское искусство, которое плетется в хвосте у науки. Я имею в виду другое искусство.

— По-вашему, получается, что не мысли рождают слова, а слова — мысли. Это самобытно. Но я верю только доказательствам и прошу их у вас, — сказал профессор с довольно лукавым видом.

— Я готов доказывать. Хотя доказательства — это необходимый атрибут науки, против которой я воюю. Как доказательство возьму искусство, наиболее вам знакомое. Живопись. Аэроплан, если не ошибаюсь, был изобретен в конце XIX века. Не так ли?

— Так, но причем тут живопись?

— Притом, что живопись на четыреста лет раньше изобрела аэроплан, чем наука. Иеронимус Босх изобразил летательные машины в пятнадцатом веке. А Франциск Гойя — в восемнадцатом. Искусство намного опередило науку.

— Но одно дело — нарисовать, — возразил профессор. — Совсем другое — начертить проект. И его реализовать.

— Вы летали? — спросил Петр Иванович.

— Нет, не летал.

— А я летал, — сказал Петр Иванович. — Я летал по комнате, смотря на репродукции картин Босха, Брейгеля, Гойи или Шагала.

— В таком случае и я летал, — засмеялся профессор. — Я летал во сне.

— И еще я хотел вам сказать, — прервал его Петр Иванович, — впрочем, я боюсь показаться банальным и поэтому не признаюсь, как Шпенглер или Чейз, в ненависти к машинам. Я — за машины! Они идут

на смену человеку, как человек шел на смену животным.

— Но последняя мысль уже принадлежит не вам, — сказал профессор, зевая.

— У меня нет мыслей. Я уже говорил. У меня слова. А слова не могут быть своими. Они всегда чужие, так как достаются нам в наследство от дедов.

— Итак, между нами граница, — сказал Алексей Алексеевич. — Я за науку. А вы?

— А я за пародию на науку, — сказал Петр Иванович. — Я ее создаю. Такую пародию, от которой науке придется плохо. В скором времени я ее покажу. Сначала вам. Потом всему свету.

— Я снова начинаю удивляться вам, — сказал профессор, делая любезный жест. — Своей эксцентричностью вы способны заразить даже меня. И уже, кажется, заразили. Боюсь, что последняя моя работа будет походить на пародию науки.

— Благодарю, — сказал Петр Иванович и протянул профессору руку. Затем он надел шляпу и ушел, шевеля ногами.

«Кто он, — долго размышлял профессор, — забавный букинист, сборище украденных мыслей или ум большой и оригинальный?»

Профессор не пришел ни к чему.

4

Четыре стены и четыреста окон и крыша — это был дом.

Это не был дом.

Сто тридцать квартир с вентиляторами, примусами, лестницами, корзинами, паровым отоплением, кухнями, электрическими лампочками, водопроводными трубами, наполненными водой, вешалками, уборными, зеркалами, звонками, ванными комнатами, капустой, коридорами, подоконниками, полами, швейными машинами, потолками, роялями, спальнями, металлическими кроватями, письменными столами, фотографиями родственников, умеющих смотреть прямо, плевательницами, шкапами, телефонами, стульями, радиоприемниками, ночными горшками, книгами, обоями, оленьими рогами; двести восемьдесят съемщиков с семьями, без семей, с бородками, коротко подстриженными, без бород, с уси-

ками, без усов, с ушами, носами, с детьми, без детей, с собаками, творогом, без собак, с кошками, без нянек, с коньками, с мылом, без зубов, с няньками, мухами, с рыбой, с глазами, полотенцами, сапогами, одеколоном, с изображениями природы и мяса, с пирожками, венниками, с ногтями на пальцах, мандолинами, цветами, чайниками, с улыбающимися лицами и с бровями, чуть-чуть приподнятыми, и почти без бровей — это был дом.

Это не был дом.

С товарищем Ивановым, управдомом, и до товарища Иванова, управдома, и после него, с людьми конкретными и особенными и с противоречием их сложных и простых взаимоотношений, с Петровыми, Лебедевыми, Молчановыми, Подсасонами, Глуховыми, Лукьяновыми, Вострецовыми, Рубинштейнами, Катушкиными, Михайловыми, Егоровыми, Николаевыми, Коромысло, а не вообще с людьми, отличающимися друг от друга только расположением носа и формой щек, с людьми, преодолевающими время и пространство работой и борьбой, с людьми, переделывающими себя и других, и, наконец, с людьми, бешено сопротивляющимися наступлению пролетариата, с днями, вовсе не похожими один на другой, так как следующий день — не только продолжение предыдущего, но и его преодоление. И все ж это была только часть дома.

Четыре угла и тысяча дверей — его видимость, а сущность, сущность — сможет ли ее показать этот рассказ?

Чтобы понять дом, нужно увидеть управляющего домом, товарища Иванова.

Сначала вы видите его ноги над воротами, широко расставленные, как ворота. Ворота над воротами. Вы видите только ноги, которые шумят, которые передвигаются, которые живут самостоятельные, и кажется, что они курят. Но вот вы слышите их владельца. Он в темноте. Он под потолком. Он проверяет проводку. Но вот он на земле. Он здоровается. И вы видите, что, кроме ног, у него есть и туловище, и голова. Он смеется. И его смех, и его ноги, и его туловище, и его лицо — это он сам. Но вот он убегает от вас. Вы бежите, вы гонитесь, и вдруг вы спотыкаетесь о длинное тело. Оно лежит недвижимое, с широко раскрытыми ногами. И вы не знаете, что делать. Но оно подымается. Это он же. Он проверяет водосточные трубы. Он снова улыбается вам и говорит:

— Нам не нужна домовая книга, — говорит он. — Я могу рассказать вам про всех жильцов вместе и про каждого в отдельности больше, чем вам сможет рассказать домовая книга. Вас интересует профессор Тулумбасов. Этот человек не интересуется, скоро ли ему выдадут дрова, хотя их у него нет. Микроскоп заменяет ему все. Что касается Петра Ивановича Каплина... Смотрите, вот он идет. Говорите тише. Он обидчив. Нарветесь на скандал. Но, какая жалость, я не могу показать вам наш клуб. Он еще не закончен. Кстати, я хочу с вами посоветоваться, кого пригласить расписать его стены. Мы непременно хотим его расписать.

Вы размышляете, кого бы. И если вы знаете и любите искусство, и если вы революционер, вы дадите совет:

— Пригласите Изорам.

Затем вы идете через двор, чистый как стекло. Вы видите играющих детей — направо, а налево — дрова, столько дров, сколько понадобится всему дому в течение долгой зимы. И вы успокаиваетесь, профессор будет работать в тепле.

5

Внизу, во втором этаже, в квартире № 3 создавалась наука.

Вверху, в третьем этаже, в квартире № 4 создавалась пародия на науку.

Они граничили. Потолок науки был полом пародии на науку. Кабинет пародии на науку находился над кабинетом науки, одни и те же стены служили им, одни и те же трубы проходили там и тут. И если бы продолжить вниз ножки стола Петра Ивановича Каплина, они бы совпали с ножками стола профессора Алексея Алексеевича Тулумбасова, и если бы продолжить руки Петра Ивановича Каплина вниз, то они совпали бы с руками профессора Алексея Алексеевича Тулумбасова, и если бы представить, что пол, который служил Петру Ивановичу полом, а Алексею Алексеевичу потолком, вдруг провалился бы, Петр Иванович упал бы на голову Алексею Алексеевичу, стол на стол, а вещи на вещи. Потому что так стояли стол и стол и так лежали вещи и вещи.

Итак, Петр Иванович сидел над Алексеем Алексеевичем.

Только Алексей Алексеевич сидел за столом, а Петр Иванович под столом, только Алексея Алексеевича окру-

жали книги и препараты, а Петра Ивановича доски и соленые огурцы, только Алексей Алексеевич думал, а Петр Иванович размышлял.

Алексей Алексеевич думал так.

Он всматривался в различные стекла и микроскопы, думал не только головой, но и руками, то есть действовал, сложное тело мысленно разбирал на клеточки и от клеточки к клеточке соединял их вновь, снова соединял, затем, спокойный, спектрическими измерениями он установил, что необходимое ему вещество содержится в булецетерине в количестве $\frac{1}{20000} - \frac{1}{50000}$. В его руках было активизирующее действие ультрафиолетовых лучей, при помощи которых он и положит ему необходимое вещество на две лопатки, предварительно посмотрев левым и правым глазом, имея перед собой строгий план.

А с подоконника белыми глазами наблюдала за ним печальная крыса — постоянный объект его опытов.

Петр Иванович размышлял так.

Он записывал случайные слова на маленьких бумажках, смешивал их в колпаке и, вытаскивая наугад, создавал из них фразы. Фразы заменяли ему мысли. Короче говоря, он заставлял думать за себя случай. А иногда он выбегал из-под стола, прыгал на одной ноге, заедая огурцом, чертил на полу мелом круг и плевал в него через плечо, ложился в воду и читал стихи: ■

Я смотрю из бороды,
Как из светлой из воды.
На себя смотрю вокруг,
Мимо крыши и наук.
Я ученый или маг,
Я аршин или дурак,
Или просто я забор.
На заборе сидит вор.
Вор открыл в науку вход,
Наблюдая небосвод.
От всего имея ключ,
Был могуч, как солнца луч,
Наблюдая из воды,
Изучая из брады.
Поздно, рано и кровать,
На кровати лежит мать,
Она спит, и я усну,
Прислонившись к кусту.
Я машину изобрел,
А в машине той осел.
Не осел, а пистолет.
Много лет мне и котлет!

Сложив кулак трубой, смотрел в окно из воды. Ворожил, плакал, молился или делал другие еще более нелепые движения с единственной целью, чтобы его методы и приемы были как можно дальше от методов и приемов науки.

Алексей Алексеевич ставил перед собой цель. Для него важно было не только «как», но и «что».

Петр Иванович тоже ставил перед собой цель. Его цель была не «что», а «как», и его «как» было «как можно дальше от науки».

Алексей Алексеевич следил за изменением материи под стеклами своих препаратов. И следующая его мысль была проверкой и преодолением предыдущей.

Для Петра Ивановича его мысль и реализация его мыслей были ничто, так же как и окружающий мир.

Он следил за неожиданными поворотами своих желаний и движений, почти бессознательных.

Был ли Алексей Алексеевич рационалистом или он был эмпириком? Во всяком случае, он еще не владел тем единственно правильным методом, который преодолел односторонность того и другого.

Петр Иванович не был рационалистом и не был эмпириком. Был ли он мистиком? Он был представителем мышления разложения и упадка, которое нашло свое место не только в буржуазном искусстве, но и в буржуазной науке, такого мышления, для которого главное была не мысль, а тень мысли, не познание, а поза, такого мышления, которое сводило все к игре, к мышлению половых и слюнных желез. Петр Иванович отличался от многих буржуазных философов, художников и ученых лишь большей последовательностью и крайностью. И кто знает, может быть, в этом и заключалась его заслуга перед настоящей наукой.

Алексей Алексеевич искал. Его поиски пока что были безрезультатны. Еще полгода назад ему удалось показать, что существует специальный витамин, получивший название витамина Т, отсутствие которого в пище действует разрушающим образом на нервную и мозговую деятельность животных. И вот ему пришла мысль искусственным, механическим путем усилить нервную и мозговую деятельность, мысль если не фантастическая, то во всяком случае спорная. Теперь он искал способа реализации этой мысли, такого синтеза пищевых веществ, который способствовал бы усилению мозговой

работы. Его поиски не были подобны поискам кита в дождевой воде. Он был уверен, что он идет по следам ускользавшего от него результата.

Совсем иного порядка были поиски Петра Ивановича. Не имея ничего, он хотел открыть все. Он надеялся на случай или на чудо.

Алексей Алексеевич имел большой стаж научно-исследовательской работы. И запасы его терпения походили на запасы путешественника, отправляющегося в арктическое путешествие.

У Петра Ивановича было терпения ровно столько, чтобы сказать: «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять».

Это было молчаливое состязание двух антиподов: науки и пародии на науку, действительности и недействительности, разума и случая, логичности и алогичности, практичности и апрактичности, подлинного труда и подлинного мышления и глупой игры и позерства, доведенного до крайнего выражения впавшего в детство современного буржуазного мышления. Впрочем, профессор не был в этом твердо уверен.

Состязание продолжалось.

Серьезный Алексей Алексеевич имел дело с молекулой еще неизвестного науке вещества, которому он еще не подыскал подходящего названия. Вещество это встречается в природе в низших растениях, в грибах, дрожжах, хмеле, водорослях и т. д. Молекула этого вещества лежала перед Алексеем Алексеевичем, сопротивляясь его опыту.

Алексей Алексеевич думал. Что произойдет с молекулой этого вещества, думал он, под влиянием облучения? Декомпозиция? Полимеризация? Изменение молекулярного строения?

Ответ на этот вопрос мог дать только опыт. И он приступил к опыту.

Веселый, Петр Иванович имел дело с обыкновенной доской. Он имел дело с доской, известной не только науке, но всем без исключения. Ей не надо было подыскивать названия, так как она уже называлась доской. Она была распространена везде в виде деревьев, в виде досок, в виде заборов, в виде дров, в виде столов, в виде столбов, в виде стульев, в виде шкафов, в виде кроватей и в виде досок.

Доска лежала перед Петром Ивановичем, не сопротивляясь.

Петр Иванович размышлял. Что произойдет с этой доской, размышлял он, если я вырежу из нее круг? Миликолизиция? Полимоликация? Изменение доски?

Ответ на этот вопрос мог дать только нож. И он взял со стола нож.

Молекула оказывала упорное сопротивление. Молчаливая, она лежала на стекле, не поддаваясь облучению. А на подоконнике зевала глупая крыса, которой предстояло стать умной. Алексей Алексеевич же откинулся на спинку кресла, вытирая пот левой рукой, делая правой безнадежный жест.

Доска не оказывала почти никакого сопротивления. Податливая, она быстро принимала форму круга. Вырезав несколько кругов разнообразной величины, Петр Иванович приделал их к одному центру. Затем он испытал их вращение; они вращались не хуже любого колеса. Оставалось только взять перо и чернила. И Петр Иванович взял перо и чернила. Тут он изменил себе. Он сначала мысленно разметил и только после того обозначил все известные ему разряды мысли, все родовые и видовые понятия во всех возможных комбинациях. Посредством вращения кругов разнообразные подлежащие и определения передвигаются одно к другому, образуя предложения и сплетаясь в умозаключения. Короче говоря, он изобрел мыслительную машину. Торжествующий, он вытянулся во весь свой рост и вытянул свою руку. До потолка было еще далеко. Тогда он встал на стул, со стула на стол, со стола на подоконник. Открыл раму и высунулся в окно. Теперь, машущий руками, он напоминал не памятник птице, а самую птицу. Ему казалось, что он парит над двором. Люди во дворе, уменьшенные расстоянием, только увеличивали его иллюзию. Он был уверен, что весь мир будет смотреть на него с изумлением или гневом. Ведь он заменил незаменимое — голову. Теперь он мог смеяться над человечеством, как никто не смеялся до него. И вдруг ему показалось, что в комнате кто-то смеется. Он спрыгнул с подоконника на пол и оглянулся. Он оглянулся и вспомнил. На стене висел смеющийся портрет того, у кого он заимствовал свое изобретение. Портрет забытого всеми Раймунда Луллия, францисканского монаха и средневекового ученого, смотрел на него в упор.

Тогда Петр Иванович покраснел, так как ему стало неудобно. А покраснев, он начал подыскивать для себя оправдание. И он его отыскал. Он рассуждал так: «У ко-

го, как не у средневековья, заимствуют мысли современная западная философия и искусство? У кого?» — сказал он снова, принимая вид памятника. И он был прав.

Он снова гордо заходил по полу, тому самому полу, который служил Алексею Алексеевичу потолком. Затем он начал спускаться в квартиру № 3, чтобы показать изобретение.

— Я изобрел не голову дикаря, не голову крестьянина или среднего интеллигента, — сказал он, протягивая свою машину Алексею Алексеевичу. — Я изобрел такую голову, которая сможет заменить голову всему человечеству. Она вместила в себя все мысли, которые уже существовали и которые только будут существовать. Не больше, но и не меньше.

Алексей Алексеевич не знал о существовании Раймунда Луллия, он был поражен, если не уничтожен.

6

Тогда вмешалась живопись...

Проходя через двор, Алексей Алексеевич остановился у вновь открытого домового клуба. Широкая приветливая дверь, казалось, приглашала войти. И он вошел.

Тогда живопись всеми своими красками ударила ему в уши и в глаза, во все его поры. Монументальная на стенах и молодая, написанная бригадой Изорама, она ударила в барабаны, чистая, как музыка, она приняла, как вода, Алексея Алексеевича всего без остатка. Ее несмешанные краски, простые, как цвета радуги, и ее ритм, похожий на биение пульса, спускался к нему с потолка по стенам, и вот, подхватив его, он парил с ним в воздухе. То был ритм живой живописи, ритм самой жизни. То были вещи, схваченные реалистическим глазом со всех сторон, вещи, просвечивающие: видимость и сущность. То были вещи, переставшие быть вещами, потому что под вещами, особенно вещами домашнего обихода, мы привыкли видеть неподвижность неизменяющихся столов и стульев, тучность комодов, безличность плевательниц во всей метафизической их устойчивости. То были вещи не только увиденные, но увиденные и понятые, вещи, переходившие одна в другую, движение машин, широкое, как колесо, и сама жизнь вещей, похожая на колесо. И все же эти вещи были не

сами по себе, не вещи человека, а человека и человечества. И изображенный человек был не фигура человека, а человек. Не похожий на птицу, но летающий, не похожий на рыбу, но плавающий, человек, не похожий на свое изображение, а сам на себя. Реальный, он не позировал на стене, а жил. Он жил, и жили его машины, он жил, и жили его животные, коричневые коровы, оранжевые лошади, голубые овцы, желтые собаки, фиолетовые кошки, белые козы, зеленые петухи, он жил, и жили его дома, потому что живут настоящие дома и не живут плохо писанные, жили его фабрики, молоко жило, хлеб жил, вода жила. И стены жили. На одной стене была изображена классовая борьба в деревне. Поп, но не изолированный, а действующий. Кулак, но не статичный портрет кулака, а эксплуататор. И вся деревня: кулаки, бедняки, середняки, колхозники, единоличники — во всем противоречии. И даже вещи кулака и домашние животные попа — не просто вещи и не вообще животные, а вещи кулака и животные попа.

То был новый метод, помогавший не только видеть, но и понимать. То была живопись, похожая на живопись современной буржуазии, как астрономия на астрологию, как химия на алхимию, как наука на религию, как человек на чучело.

В то время как живопись современной буржуазии, подобная волшебнику в сказке или полицейскому, регулирующему движение мановением своей палочки, останавливала жизнь, спешащую, текучую, превращающуюся, тем самым лишая жизнь жизни, делая ее похожей на смерть, главное отличие которой от жизни — это отсутствие движения.

Та живопись, перед которой стоял профессор, показывала движение как борьбу двух противоречий в едином, не чучело жизни, а самое жизнь и самое науку.

История науки от Эмпедокла и Эвклида до Павлова и Эйнштейна, история мышления от Гераклита и Аристотеля до Маркса и Ленина была рассказана средствами живописи просто и выразительно. Но тень науки, ее пародия, также не была забыта художниками. От Эмпедокла до наших дней она боролась с настоящей наукой, меняя видимость, но не сущность. Рабле своим смехом и Свифт своей выдумкой помогали молодым художникам изображать пародию на науку всех времен. Спро-

тивляющуюся, живопись тащила ее на расправу. Алексей Алексеевич узнал Петра Ивановича всех времен и его машину. Он был изображен в виде свифтовского старика из «Путешествия в Лапуту», изобретателя мыслительной машины, которая отличалась от машины Петра Ивановича несущественными деталями. Профессор удивился, как он не вспомнил Свифта тогда, когда Петр Иванович показывал ему свое изобретение. Но следующий эпизод заставил его удивиться еще больше. В следующем свифтовском персонаже он узнал самого себя. Это был тот самый свифтовский учитель, который учил своих учеников математике, давая им микстуру. Микстура поднималась в мозг, принося с собой туда же теорему. Что это так, нельзя было сомневаться. Диалектика изображения, рисунков, последовательно связанных между собой, подтверждала это так же, как и надпись. Теперь он интересовался уже не изображением, а собой и своей работой. Его последние эксперименты по усилению мозговой деятельности механическим путем при помощи синтеза пищевых веществ, разве не было это то же самое?

Теперь он не видел принципиальной разницы между «наукой» Каплина и своей наукой. И он уже не смотрел на живопись. Он не замечал ни того мастерства, с которым была рассказана история науки, ни тех особенностей живописи, которая не боялась рассказывать подробно, как литература, в то же время оставаясь живописью.

— Надо с этим покончить, — сказал он и вдруг почувствовал, что кто-то трогает его за руку.

Тогда вмешался управдом.

— Сегодня торжественное открытие нашего клуба, — сказал он, — мы хотим просить вас, чтобы вы присутствовали и прочли доклад о ваших научных изысканиях. Не бойтесь, что вас не поймут. Весь дом гордится тем, что живет с вами в одном доме. Он сделает все, чтобы понять вас.

«Сегодня я занят и, к сожалению, не смогу быть», — хотел было уже сказать профессор, но сказал другое. Он сказал:

— Хорошо, я буду.

И пришел.

Перед собравшимися в клубе рабочими и служащими, учащимися и домашними хозяйками стоял стол, на столе стояли препараты, за столом профессор.

— Науку тормозит не только религия в прямом смысле этого слова, — начал профессор, — но та псевдонаука, которая в буржуазном обществе идет вместе с наукой, стараясь подменить ее собой. Недавно она протянула свою руку и к советской науке. Я расскажу вам все по порядку... Полгода тому назад я доказал существование одного витамина, вещества, входящего в пищу, отсутствие которого в последней действует разрушающим образом на нервную систему и мозг. Следующие полгода я украл у настоящей науки... Дело в том, что под влиянием чуждых науке теорий я задался целью отыскать синтез таких пищевых веществ, которые смогли бы механическим путем усилить мозговую деятельность человека и животных. Я забыл, что это противоречит законам природы, я забыл, что человек развивает свой мозг не искусственным путем, не принятием какого-либо вещества, например фосфора, а практикой, борьбой, изучением и изменением природы и общества. Я уподобился средневековым алхимикам, искавшим золота в человеческой моче, или вон тому псевдоученому, изображение которого при помощи пилюль хочет выучить своих учеников геометрии. На этом я остановлюсь. Пусть изображения на стене продолжают меня. Они расскажут лучше, чем смогу рассказать я.

Между аудиторией и профессором, между зрителями и искусством не было разобщенности. Они составляли единство.

7

Портрет лежал под столом, а профессор сидел за столом.

Были слышны шаги Петра Ивановича, который спускался, чтобы пожаловаться на то, что его 'уплотняют.

— Меня уплотняют, — сказал он. — Из четырех комнат мне оставляют одну. Что это, как не вмешательство в частную жизнь? Нарушить мой ритм — это значит лишить меня воздуха. Как рыба, я задохнусь на этой земле.

— Для вашей ерунды, — резко ответил профессор, — я не оставил бы и полкомнаты, я не оставил бы четверть комнаты, ни одного метра, ни одного сантиметра не оставил бы я.

Задыхаясь от бешенства, с открытым ртом, как у рыбы, и выпученными, как у рака, глазами он выплыл из комнаты профессора. Он ушел, чтобы никогда сюда не вернуться.

«И все же я оставил ему больше сантиметра и больше метра для его ерунды,— подумал профессор.— В своем докладе я не назвал его, не разоблачил».

И, встав с места, профессор увидел потолок, тот потолок, который служил еще Каплину полом. Потолок был потолок.

Примечания

В условиях острой литературной борьбы 20-х годов даже небольшие школы и группировки стремились издать свои коллективные сборники. Осуществить эту цель было непросто из-за разного рода препятствий, материального и организационного характера.

Выпустить сборник хотели и «чинари», затем обэриуты. В 1927 году «чинари» вместе со своими союзниками составили план будущего сборника «Радикс» (от лат. *radix* — корень). Приводим его по записной книжке Д. Хармса (хранится в частном собрании):

«Теоретический отдел. 1. Шкловский — О Хлебникове. 2. Малеви́ч — Об искусстве. 3. Липавский — О чинарях. 4. Ключиков — О левом фланге (радиксе). 5. Бахтерев — О живописи. 6. Кох-Боот (псевдоним Г. Кацмана. — А. А.) — О театре. 7. Цымбал — Информация «Радикса». 8. Островский — Московский Леф. 9. Бухштаб — Константин Вагинов. 10. Л. Гинзбург. 11. Гофман. 12. Степанов.

Творческий отдел. 1. Введенский — Прозу и стихи. 2. Хармс — Стихи и драма. 3. Заболоцкий — Стихи. 4. Бахтерев — Стихи. 5. Вагинов — Прозу и стихи. 6. Хлебников — Стихи. 7. Туфанов — Стихи?

Живопись. 1. Бахтерев. 2. Дмитриев. 3. Из Инхука. Графика. 1. Заболоцкий. 2. Филонов».

Сборник не вышел. Возможно, к нему относится следующая записка Хармса в первой половине 1927 года: «Наши ближайшие задачи: 1. Создать твердую Академию левых классиков. 2. ...составить манифест. 3. Войти в Дом Печати. 4. Добиться вечера с танцами для получения суммы около 600 рублей на издание сборника. 5. Издать сборник» (Записная книжка Д. Хармса).

В 1929 году у обэриутов возникает план нового сборника под названием «Ванна Архимеда»: «Стихи: 1. Заболоцкий. 2. Введенский. 3. Хармс. 4. Хлебников. 5. Тихонов; «Елизавета Бам». Проза: 1. Каверин. 2. Введенский. 3. Добычин. 4. Хармс. 5. Тынянов. 6. Шкловский. 7. Олеша» (Записная книжка Хармса).

О судьбе «Ванны Архимеда» см. вступ. статью (с. 7—8 наст. изд.).

Настоящее издание, повторяя название несостоявшегося сборника обэриутов, не ставит перед собой задачу продублировать его состав. Цель сборника — познакомить читателя с характерными литературными жанрами писателей, входивших в ОБЭРИУ.

Ниже указываются источники, по которым печатаются тексты. Их орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами с сохранением особенностей стиля публикуемых авторов и отдельных форм написания, отражающих колорит эпохи. Все произведения расположены, за исключением некоторых случаев, в хронологическом порядке. Датировка в основном авторская, предполагаемые даты приводятся в угловых скобках.

Ванна Архимеда — публ. по автографу, хранящемуся в Рукописном отделе ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ф. 1232. Ед. хр. 364).

Вагинов Константин Константинович (1899—1934)

Труды и дни Свистонова — публ. по первому изданию романа: Вагинов К. Труды и дни Свистонова. Л.: Прибой, 1929.

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903—1958)

Битва слонов, Торжество Земледелия, Безумный волк — публ. по тексту подготовленного автором в 1933 году (но тогда не изданного) сб. «Стихотворения. 1926—1932», включенного в кн.: Заболоцкий Н. Вешних дней лаборатория/Сост. Н. Н. Заболоцкий. М.: Молодая гвардия, 1987.

Хармс Даниил Иванович (наст. фамилия Ювачев, 1905—1942)

«Одна муха ударила в лоб...», Вещь, История сдыграappr, О явлениях и существованиях № 1 и № 2, «Теперь я расскажу, как я родился...», Инкубаторный период, «Я решил растрепать одну компанию...», «Иван Яковлевич Бобов проснулся...», Рыцарь, Праздник, Судьба жены профессора, Грязная личность, Шапка, Тетрадь, Случай, Воспоминания одного мудрого старика, Власть, Победа Мышина, Помеха, Старуха — публ. по кн.: Хармс Д. Полет в небеса. Л., 1988.

Карьера Ивана Яковлевича Антонова, Новая анатомия, Новые альпинисты, Новый талантливый писатель, Отец и дочь, «Одному французцу подарили диван...», Лекция, Упадение, Симфония № 2 — публ. по изд.: Хармс Д. Случаи. Рассказы и сцены/Сост. В. Глоцер. М., 1989. Серия «Библиотека Крокодила», № 1 (1061).

Лапа, «Однажды Андрей Васильевич...», «Едет трамвай...», Кассирша, Пассакалия № 1, «Есть ли что-нибудь на земле...», Реабилитация — публ. по авторограммам, хранящимся в Рукописном отделе ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ф. 1232. Ед.хр. 80, 213, 270, 283, 312, 367).

Олейников Николай Макарович (1898—1937)

Все стихотворения публ. по кн.: Олейников Н. Пучина страстей/Сост. А. Н. Олейников. Л., 1991.

Введенский Александр Иванович (1904—1941)

Священный полет цветов, Потец, Некоторое количество разговоров, Елка у Ивановых — публ. по авторизованной машинописи, хранящейся в Рукописном отделе ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ф. 1232. Ед. хр. 39, 57).

В Полном собрании сочинений А. Введенского, подготовленном М. Мейлахом (Введенский А. Полн. собр. соч. Мичиган, 1980. Т.1), «Священный полет цветов» имеет название «Кругом возможно Бог». Публикатор повторил название, предложенное другом поэта Я. С. Друскиным, но на листах машинописи оно отсутствует. Заголовок же, написанный рукой Введенского в углу первой страницы, Друскин посчитал относящимся только к прологу. Получается, что Введенский озаглавил — почему-то сбоку, в углу страницы — пролог из шести строчек, но не дал название произведению из 900 строк. Утверждение Друскина представляется нам спорным.

Бахтерев Игорь Владимирович (р. 1908)

Все произведения, за исключением рассказа «В магазине старьевщика», публикуются впервые (по авторской рукописи).

В магазине старьевщика — публ. по изд.: Родник. 1987. № 12. С. 52—54.

Приложение

ОБЭРИУ (Декларация) и программа вечера «Три левых часа» — публ. по изд.: Афиши Дома печати. Л., 1928. № 2. С. 11—13. О Декларации см. вступ. ст. к настоящему изданию (с. 6), а также кн.: Македонов А. Николай Заболоцкий. Творчество, метаморфозы. Л., 1987. С. 50—76.

Гор Геннадий Самойлович (1907—1981)

Вмешательство живописи — публ. по кн.: Гор Г. Живопись. Л., 1933. С. 124—156.

СОДЕРЖАНИЕ

Анатолий Александров. Эврика обэриутов 3

Даниил Хармс. Ванна Архимеда 35

КОНСТАНТИН ВАГИНОВ

Труды и дни Свистонова. *Роман* 38

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

Битва слонов 132

Торжество Земледелия. *Поэма* 135

Безумный волк. *Поэма* 157

ДАНИИЛ ХАРМС

«Одна муха ударила в лоб...» 170

Вещь 173

История сдыгр аппр 176

Лапа 183

«Однажды Андрей Васильевич...» 198

«Едет трамвай...» 200

О явлениях и существованиях. № 1 201

О явлениях и существованиях. № 2 202

«Теперь я расскажу, как я родился...» 204

Инкубаторный период 205

〈Я решил растрепать одну компанию...〉 205

«Иван Яковлевич Бобов проснулся...» 210

Рыцарь 213

Праздник 215

Судьба жены профессора 216

Кассирша 218

Грязная личность 220

| | |
|--|-----|
| Шапка | 221 |
| Карьера Ивана Яковлевича Антонова | 222 |
| Пассакалия № 1 | 223 |
| Тетрадь | 224 |
| Новая анатомия | 225 |
| Новые альпинисты | 225 |
| Новый талантливый писатель | 226 |
| Отец и дочь | 227 |
| «Одному французу подарили диван...» | 228 |
| С л у ч а и | |
| ⟨1⟩ Голубая тетрадь № 10 | 229 |
| ⟨2⟩ Случай | 229 |
| ⟨3⟩ Вываливающиеся старухи | 230 |
| ⟨4⟩ Сонет | 230 |
| ⟨5⟩ Петров и Камаров | 231 |
| ⟨6⟩ Оптический обман | 231 |
| ⟨7⟩ Пушкин и Гоголь | 231 |
| ⟨8⟩ Столяр Кушаков | 232 |
| ⟨9⟩ Сундук | 233 |
| ⟨10⟩ Случай с Петраковым | 234 |
| ⟨11⟩ История дерущихся | 234 |
| ⟨12⟩ Сон | 235 |
| ⟨13⟩ Математик и Андрей Семенович | 236 |
| ⟨14⟩ Молодой человек, удививший сторожа | 237 |
| ⟨15⟩ Четыре иллюстрации того, как новая идея огораживает человека, к ней не подготовленного | 239 |
| ⟨16⟩ Потери | 239 |
| ⟨17⟩ Макаров и Петерсен. № 3 | 240 |
| ⟨18⟩ Суд Линча | 241 |
| ⟨19⟩ Встреча | 242 |
| ⟨20⟩ Неудачный спектакль | 242 |
| ⟨21⟩ Тюк! | 243 |
| ⟨22⟩ Что теперь продают в магазинах | 244 |
| ⟨23⟩ Машкин убил Кошкина | 245 |
| ⟨24⟩ Сон дразнит человека | 245 |
| ⟨25⟩ Охотники | 246 |
| ⟨26⟩ Исторический эпизод | 247 |
| ⟨27⟩ Федя Давидович | 249 |
| ⟨28⟩ Анекдоты из жизни Пушкина | 251 |
| ⟨29⟩ Начало очень хорошего летнего дня. <i>Симфония</i> | 252 |
| ⟨30⟩ Пакин и Ракукин | 253 |
| «Есть ли что-нибудь на земле...» | 255 |
| Воспоминания одного мудрого старика | 255 |
| Лекция | 259 |
| Упадание | 260 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Власть | 261 |
| Победа Мышина | 263 |
| Помеха | 266 |
| Симфония № 2 | 268 |
| Реабилитация | 268 |
| Старуха. <i>Повесть</i> | 270 |

НИКОЛАЙ ОЛЕЙНИКОВ

| | |
|---|-----|
| Начальнику отдела | 294 |
| Карась | 294 |
| Посвящение | 296 |
| Короткое объяснение в любви | 297 |
| «Муха жила в лесу...» | 297 |
| Таракан | 299 |
| Озарение | 301 |
| На выздоровление Генриха | 301 |
| Генриху Левину (<i>по поводу влюбления его в Шурочку Любарскую</i>) | 302 |
| Быль, случившаяся с автором в Ц. Ч. области. <i>Стихотворение, бичующее разврат</i> | 305 |
| Фруктовое питание | 306 |
| Послание, бичующее ношение одежды | 307 |
| Лиде | 308 |
| Чревоугодие. <i>Баллада</i> | 309 |
| Послание. <i>Написано по случаю заболевания автора раком желудка</i> | 311 |
| Послание, одобряющее стрижку волос | 312 |
| Послание | 313 |
| Шуре Любарской | 314 |
| Послание, бичующее ношение длинных платьев и юбок | 316 |
| Хвала изобретателям | 317 |
| Служение науке. | 318 |
| Муха | 319 |
| О нулях | 320 |
| Чарльз Дарвин | 321 |
| Перемена фамилии | 322 |
| Смерть героя | 323 |
| Пучина страстей. <i>Философская поэма</i> | 325 |

АЛЕКСАНДР ВВЕДЕНСКИЙ

| | |
|----------------------------------|-----|
| Священный полет цветов | 332 |
| Потец | 363 |

| | |
|--|-----|
| Некоторое количество разговоров (или начисто переделанный темник) | 371 |
| Елка у Ивановых | 389 |

ИГОРЬ БАХТЕРЕВ

П о в е с т в о в а н и я

| | |
|---|-----|
| В магазине старьевщика | 412 |
| Только штырь | 417 |
| Колоборот. <i>Краткое сообщение</i> | 426 |
| Случай в «Кривом желудке» | 430 |
| Притча о недостойном соседе | 432 |
| Вечно стоящее. <i>Реальное свидение</i> | 433 |
| Царь Македон, или Феня и чеболбеки. <i>Представление для чтения</i> | 434 |
| В с т р е ч и | |
| С Виктором Борисовичем Шкловским | 441 |
| С Анной Андреевной Ахматовой | 446 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

| | |
|---|-----|
| ОБЭРИУ (Декларация) | 456 |
| Программа вечера «Три левых часа» | 463 |
| <i>Г. Гор.</i> Вмешательство живописи | 465 |
| <i>П р и м е ч а н и я</i> | 486 |

Ванна Архимеда: Сборник/Сост., подгот. тек-
В17 **ста, вступ. ст., примеч. А. А. Александрова.— Л.:**
Худож. лит., 1991.— 496 с.

ISBN 5-280-01832-5

Книгу «Ванна Архимеда» составили избранные произведения участников известной в 20—30-е годы литературной группы ОБЭРИУ (Объединение реального искусства): Д. Хармса, А. Введенского, Н. Заболоцкого, К. Вагинова, Н. Олейникова, И. Бахтерева. Идея подобного коллективного сборника (с тем же названием) родилась у обариутов еще в 1929 году, а свет он увидел только шестьдесят лет спустя...

В книге воспроизводится Декларация группы ОБЭРИУ.

В 4702010206-084 без объявл.
028(01)-91

ББК 84.Р7

ВАННА АРХИМЕДА

СБОРНИК

Составитель
Анатолий Анатольевич Александров

Редактор *И. Степанов*
Художественный редактор *В. Лужин*
Технический редактор *М. Шафрова*
Корректоры *А. Борисенкова, М. Зимина*

ИБ № 6473

Сдано в набор 02.02.90. Подписано в печать 18.06.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,46. Уч.-изд. л. 25,02. Тираж 100 000 экз. Изд. № ЛПН-290. Заказ 515. Цена 4 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.

**В 1991 ГОДУ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

ВЫЙДЕТ КНИГА

**В л а с т и т е л ь д у м. Ф. М. Достоевский в рус-
ской критике конца XIX — начала XX века**

В сборник вошло лучшее, что было написано о Федоре Михайловиче Достоевском на протяжении сорока лет (с 80-х гг. прошлого века по 20-е гг. века нынешнего): фундаментальные религиозно-философские работы (Вл. Соловьев, К. Леонтьев, Н. Бердяев, Л. Шестов) и образцы литературной критики, написанные в жанре эссе (В. Розанов, Ю. Айхенвальд), блестящие культурологические исследования (Вяч. Иванов) и литературоведческие статьи (Б. Энгельгардт, В. Комарович).

4 р. 50 к.

